



Дж.Д.Сэлинджер

НАД
ПРОПАСТЬЮ
ВО РЖИ



ТИХООКЕАНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА

Дж.Д.Сэлинджер

НАД
ПРОПАСТЬЮ
ВО РЖИ

Повести
и рассказы



Владивосток
Дальневосточное книжное издательство
1989

ББК 84.37

С 97

В книгу популярного американского писателя Джерома Дэвида Сэлинджера (р. 1919) вошли известные произведения: повести «Над пропастю во ржи», «Выше стропила, плотники»; рассказы «Грустный мотив», «Дорогой Эсме с любовью — и мерзопакостью» и др.

Текст печатается по изданию: Джером
Д. Сэлинджер. Повести и рассказы.
Курт Воннегут. Романы. Библиотека
литературы США. М., Радуга, 1983.
Дж. Д. Сэлинджер. Над пропастю во
ржи. Повести и рассказы. М., Художест-
венная литература, 1983.

С 4703040000-41 — 89
142(01)-89

© Дальневосточное книжное издательство, 1989, оформление
ISBN 5—7440—0057—7

Над пропастью во ржи

Повесть

1

Если вам на самом деле хочется услышать эту историю, вы, наверно, прежде всего захотите узнать, где я родился, как провел свое дурацкое детство, что делали мои родители до моего рождения — словом, всю эту дандонперфилдовскую муть. Но, по правде говоря, мне не охота в этом копаться. Во-первых, скучно, а во-вторых, у моих предков, наверно, случилось бы по два инфаркта на брата, если б я стал болтать про их личные дела. Они этого терпеть не могут, особенно отец. Вообще-то они люди славные, я ничего не говорю, но обидчивые до чертиков. Да я и не собираюсь рассказывать свою автобиографию и всякую такую чушь, просто расскажу ту сумасшедшую историю, которая случилась прошлым рождеством. А потом я чуть не отдал концы, и меня отправили сюда — отдохнуть и лечиться. Я и ему — Д. Б. — только про это и рассказывал, а ведь он мне как-никак родной брат. Он живет в Голливуде. Это не очень далеко отсюда, от этого треклятого санатория, он часто ко мне ездит, почти каждую неделю. И домой он меня сам отвезет — может быть, даже в будущем месяце. Купил себе недавно «ягуар». Английская штучка, может делать двести миль в час. Выложил за нее чуть ли не четыре тысячи. Денег у него теперь куча. Не то что раньше. Раньше, когда он жил дома, он был настоящим писателем. Может, слыхали — это он написал мировую книжку рассказов «Спрятанная рыбка». Самый лучший рассказ так и назывался — «Спрятанная рыбка», там про одного мальчишку, который никому не позволял смотреть на свою золотую рыбку, потому что купил ее на собственные деньги. С ума сойти, какой

**рассказ! А теперь мой брат в Голливуде совсем про-
дался. Если я что ненавижу, так это кино. Терпеть не
могу.**

Лучше всего начну рассказывать с того дня, как я ушел из Пэнси. Пэнси — это закрытая средняя школа в Эгерстауне, штат Пенсильвания. Наверно, вы про нее слыхали. Рекламу вы, во всяком случае, видели. Ее печатают чуть ли не в тысяче журналов — этакий хлюст, верхом на лошади, скакет через препятствия. Как будто в Пэнси только и делают, что играют в поло. А я там и лошади ни разу в глаза не видел. И под этим конным хлюстом — подпись: «С 1888 года в нашей школе выковывают смелых и благородных юношей». Вот уж липа! Никого они там не выковывают, да и в других школах тоже. И ни одного «благородного и смелого» я не встречал, ну, может, есть там один-два — и обчелся. Да и то они такими были и до школы.

Словом, началось это в субботу, когда шел футбольный матч с Сэксон-холлом. Считалось, что для Пэнси этот матч важней всего на свете. Матч был финальный, и, если бы наша школа проиграла, нам всем полагалось чуть ли не перевешаться с горя. Помню, в тот день, часов около трех, я стоял черт знает где, на самой горе Томпсона, около дурацкой пушки, которая там торчит, кажется, с самой Войны за независимость. Оттуда видно было все поле и как обе команды гоняют друг другу из конца в конец. Трибун я как следует разглядеть не мог, только слыхал, как там орут. На нашей стороне орали во всю глотку — там собралась вся школа, кроме меня, — а на их стороне что-то вякали: у приезжей команды народу всегда мало-вато.

На футбольных матчах всегда мало девчонок. Только старшеклассникам разрешают их приводить. Гнусная школа, ничего не скажешь. А я люблю бывать там, где вертятся девчонки, даже если они просто сидят, ни черта не делают, только почесываются, носы вытирают или хихикают. Дочка нашего директора, старника Термера, часто ходит на матчи, но не такая это девчонка, чтоб по ней с ума сходить. Хотя в общем она ничего. Как-то я с ней сидел рядом в автобусе, ехали из Эгерстауна и разгово-рились. Мне она понравилась. Правда, нос у нее длинный, и ногти обкусаны до крови, и в лифчик что-то подложено, чтоб торчало во все стороны, но ее почему-то было жалко. Понравилось мне то, что она тебе не вкручивала, какой у нее замечательный папаша. Наверно, сама знала, что он трепло несусветное.

Не пошел я на поле и забрался на гору, так как только что вернулся из Нью-Йорка с командой фехтовальщиков. Я капитан этой вонючей команды. Важная шишка. Поехали мы в Нью-Йорк на состязание со школой Мак-Берни. Только состязание не состоялось. Я забыл шпаги, и костюмы, и вообще всю эту петрушку в вагоне метро. Но я не совсем виноват. Приходилось все время вставать, смотреть на план, где нам выходить. Словом, вернулись мы в Пэнси не к обеду, а уже в половине третьего. Ребята меня бойкотировали всю дорогу. Даже смешно.

И еще я не пошел на футбол оттого, что собрался зайти к старику Спенсеру, моему учителю истории, попрощаться перед отъездом. У него был грипп, и я сообразил, что до начала рождественских каникул я его не увижу. А он мне прислал записку, что хочет меня видеть до того, как я уеду домой. Он знал, что я не вернусь.

Да, забыл сказать — меня вытурили из школы. После рождества мне уже не надо было возвращаться, потому что я провалился по четырем предметам и вообще не занимался и все такое. Меня сто раз предупреждали — страйся, учись. А моих родителей среди четверти вызывали к старому Термеру, но я все равно не занимался. Меня и вытурили. Они много кого выгоняют из Пэнси. У них очень высокая академическая успеваемость, серьезно, очень высокая.

Словом, дело было в декабре, и холодно, как у ведьмы за пазухой, особенно на этой треклятой горке. На мне была только куртка — ни перчаток, ни черта. На прошлой неделе кто-то спер мое верблюжье пальто прямо из комнаты, вместе с теплыми перчатками — они там и были, в кармане. В этой школе полно жулья. У многих ребят родители богачи, но все равно там полно жулья. Чем дороже школа, тем в ней больше ворюг. Словом, стоял я у этой дурацкой пушки, чуть зад не отморозил. Но на матч я почти и не смотрел. А стоял я там потому, что хотелось почувствовать, что я с этой школой прощаюсь. Вообще я часто откуда-нибудь уезжаю, но никогда и не думаю ни про какое прощание. Я это ненавижу. Я не задумываюсь, грустно ли мне уезжать, неприятно ли. Но когда я расстаюсь с каким-нибудь местом, мне надо почувствовать, что я с ним действительно расстаюсь. А то становится еще неприятней.

Мне повезло. Вдруг я вспомнил про одну штуку и сразу почувствовал, что я отсюда уезжаю навсегда. Я вдруг вспомнил, как мы однажды в октябре втроем — я, Роберт Тичнер и Пол Кембл — гоняли мяч перед учебным кор-

пусом. Они славные ребята, особенно Тичнер. Время шло к обеду, совсем стемнело, но мы все гоняли мяч и гоняли. Стало уже совсем темно, мы и мяч-то почти не видели, но ужасно не хотелось бросать. И все-таки пришлось. Наш учитель биологии, мистер Зембизи, высунул голову из окна учебного корпуса и велел идти в общежитие, одеваться к обеду. Как вспомнишь такую штуку, так сразу почувствуешь, что тебе ничего не стоит уехать отсюда навсегда, — у меня по крайней мере почти всегда так бывает. И только я понял, что уезжаю навсегда, я повернулся и побежал вниз с горы, прямо к дому старика Спенсера. Он жил не при школе. Он жил на улице Энтони Уэйна.

Я бежал всю дорогу, до главного выхода, а потом переждал, пока не отдохнется. У меня дыхание короткое, по правде говоря. Во-первых, я курю как паровоз, то есть раньше курил. Тут, в санатории, заставили бросить. И еще — я за прошлый год вырос на шесть с половиной дюймов. Наверно, от этого я и заболел туберкулезом и попал сюда на проверку и на это дурацкое лечение. А в общем я довольно здоровый.

Словом, как только я отдохнул, я побежал через дорогу на улицу Уэйна. Дорога вся обледенела до черта, и я чуть не грохнулся. Не знаю, зачем я бежал, наверно просто так. Когда я перебежал через дорогу, мне вдруг показалось, что я исчез. День был какой-то сумасшедший, жуткий холод, ни проблеска солнца, ничего, и казалось, стоит тебе пересечь дорогу, как ты сразу исчезнешь навек.

Ух, и звонил же я в звонок, когда добежал до старика Спенсера! Промерз я нас kvозь. Уши болели, пальцем пошевельнуть не мог. «Ну скорей, скорей! — говорю чуть ли не вслух. — Открывайте!» Наконец старушка Спенсер мне открыла. У них прислуги нет и вообще никого нет, они всегда сами открывают двери. Денег у них маловато.

— Холден! — сказала миссис Спенсер. — Как я рада тебя видеть! Входи, милый! Ты, наверно, закоченел до смерти!

Мне кажется, она и вправду была рада меня видеть. Она меня любила. По крайней мере мне так казалось.

Я пулей влетел к ним в дом.

— Как вы поживаете, миссис Спенсер? — говорю. — Как здоровье мистера Спенсера?

— Дай твою куртку, милый! — говорит она. Она и не слышала, что я спросил про мистера Спенсера. Она была немножко глуховата.

Она повесила мою куртку в шкаф в прихожей, и я

пригладил волосы ладонью. Вообще я ношу короткий ежик, мне причесываться почти не приходится.

— Как же вы живете, миссис Спенсер? — спрашиваю, но на этот раз громче, чтобы она услыхала.

— Прекрасно, Холден. — Она закрыла шкаф в прихожей. — А ты-то как живешь?

И я по ее голосу сразу понял: видно, старик Спенсер рассказал ей, что меня выперли.

— Отлично, — говорю. — А как мистер Спенсер? Кончился у него грипп?

— Кончился? Холден, он себя ведет как... как не знаю кто!.. Он у себя, милый, иди прямо к нему.

2

У них у каждого была своя комната. Лет им было под семьдесят, а то и больше. И все-таки они получали удовольствие от жизни, хоть одной ногой и стояли в могиле. Знаю, свинство так говорить, но я вовсе не о том. Просто я хочу сказать, что я много думал про старика Спенсера, а если про него слишком много думать, начинаешь удивляться — за каким чертом он еще живет. Понимаете, он весь сгорбленный и еле ходит, а если он в классе уронит мел, так кому-нибудь с первой парты приходится нагибаться и подавать ему. По-моему, это ужасно. Но если не слишком разбираться, а просто так подумать, то выходит, что он вовсе не плохо живет. Например, один раз, в воскресенье, когда он меня и еще нескольких других ребят угождал горячим шоколадом, он нам показал потрепанное индейское одеяло — они с миссис Спенсер купили его у какого-то индейца в Йеллоустонском парке. Видно было, что старик Спенсер от этой покупки в восторге. Вы понимаете, о чем я? Живет себе такой человек, вроде старого Спенсера, из него уж песок сыплется, а он все еще приходит в восторг от какого-то одеяла.

Дверь к нему была открыта, но я все же постучался, просто из вежливости. Я видел его — он сидел в большом кожаном кресле, закутанный в то самое одеяло, про которое я говорил. Он обернулся, когда я постучал.

— Кто там? — заорал он. — Ты, Колфилд? Входи, мальчик, входи!

Он всегда орал дома, не то что в классе. На нервы действовало, серьезно.

Только я вошел — и уже пожалел, зачем меня привнесло. Он читал «Атлантик мансли», и везде стояли какие-то пузырьки, пилюли, все пахло каплями от насморка. Тоску

нагоняло. Я и вообще-то не слишком люблю больных. И еще унылее все казалось оттого, что на старом Спенсере был ужасно жалкий, потертый, старый халат — наверно, он его носил с самого рождения, честное слово. Не люблю я стариков в пижамах или в халатах. Вечно у них грудь наружу, все их старые ребра видны. И ноги жуткие. Видели стариков на пляжах, какие у них ноги белые, безволосые?

— Здравствуйте, сэр! — говорю. — Я получил вашу записку. Спасибо вам большое. — Он мне написал записку, чтобы я к нему зашел проститься перед каникулами: знал, что я больше не вернусь. — Вы напрасно писали, я бы все равно зашел попрощаться.

— Садись вон туда, мальчик, — сказал старый Спенсер. Он показал на кровать.

Я сел.

— Как ваш грипп, сэр?

— Знаешь, мой мальчик, если бы я себя чувствовал лучше, пришлось бы послать за доктором! — Старик сам себя рассмешил. Он стал хихикать как сумасшедший. Наконец отышался и спросил: — А почему ты не на матче? Кажется, сегодня финал?

— Да. Но я только что вернулся из Нью-Йорка с фехтовальной командой.

Господи, ну и постель! Настоящий камень!

Он вдруг напустил на себя страшную строгость — я знал, что так будет.

— Значит, ты уходишь от нас? — спрашивает.

— Да, сэр, как видно, ухожу.

Тут он начал качать головой. В жизни не видел, чтобы человек столько времени подряд мог качать головой. Не поймешь, оттого ли он качает головой, что задумался, или просто потому, что он уже совсем старикашка и ни хрена не понимает.

— А о чем с тобой говорил доктор Термер, мой мальчик? Я слыхал, что у вас был долгий разговор.

— Да, был. Поговорили. Я просидел у него в кабинете часа два, если не больше.

— Что же он тебе сказал?

— Ну... всякое. Что жизнь — это честная игра. И что надо играть по правилам. Он хорошо говорил. То есть ничего особенного он не сказал. Все насчет того же, что жизнь — это игра и всякое такое. Да вы сами знаете.

— Но жизнь действительно игра, мой мальчик, и играть надо по правилам.

— Да, сэр. Знаю. Я все это знаю.

Тоже сравнили! Хороша игра! Попадешь в ту партию, где классные игроки, — тогда ладно, куда ни шло, тут действительно игра. А если попасть на другую сторону, где одни мазилы, — какая уж тут игра? Ни черта похожего. Никакой игры не выйдет.

— А доктор Термер уже написал твоим родителям? — спросил старик Спенсер.

— Нет, он собирается написать им в понедельник.

— А ты сам им ничего не сообщил?

— Нет, сэр, я им ничего не сообщил, увижу их в среду вечером, когда приеду домой.

— Как же, по-твоему, они отнесутся к этому известию?

— Как сказать... Рассердятся, наверно, — говорю. — Должно быть, рассердятся. Ведь я уже в четвертой школе учусь.

И я тряхнул головой. Это у меня привычка такая.

— Эх! — говорю. Это тоже привычка — говорить «Эх» или «Ух, ты!», отчасти потому, что у меня не хватает слов, а отчасти потому, что я иногда держусь совсем не по возрасту. Мне тогда было шестнадцать, а теперь мне уже семнадцать, но иногда я так держусь, будто мне лет тринацать, не больше. Ужасно цепело выходит, особенно потому, что во мне шесть футов и два с половиной дюйма, да и волосы у меня с проседью. Это правда. У меня на одной стороне, справа, миллион седых волос. С самого детства. И все-таки иногда я держусь, будто мне лет двенадцать. Так про меня все говорят, особенно отец. Отчасти это верно, но не совсем. А люди всегда думают, что они тебя видят пасквиль. Мне-то наплевать, хотя тоска берет, когда тебя поучают — веди себя как взрослый. Иногда я веду себя так, будто я куда старше своих лет, но этого-то люди не замечают. Вообще ни черта они не замечают.

Старый Спенсер опять начал качать головой. И при этом ковырял в носу. Он старался делать вид, будто потирает нос, но на самом деле он весь палец туда запустил. Наверно, он думал, что это можно, потому что, кроме меня, никого тут не было. Мне-то все равно, хоть и противно видеть, как ковыряют в носу.

Потом он заговорил:

— Я имел честь познакомиться с твоей матушкой и с твоим отцом, когда они приезжали побеседовать с доктором Термером несколько недель назад. Они изумительные люди.

— Да, конечно. Они хорошие.

«Изумительные». Ненавижу это слово! Ужасная пошля-

тина. Мутит, когда слышишь такие слова.

И вдруг у старого Спенсера стало такое лицо, будто он сейчас скажет что-то очень хорошее, умное. Он выпрямился в кресле, сел поудобнее. Оказалось, ложная тревога. Просто он взял журнал с колен и хотел кинуть его на кровать, где я сидел. И не попал. Кровать была в двух дюймах от него, а он все равно не попал. Пришлось мне встать, поднять журнал и положить на кровать. И вдруг мне захотелось бежать к чертам из этой комнаты. Я чувствовал, сейчас начнется жуткая проповедь. Вообще-то я не возражаю, пусть говорит, но чтобы тебя отчитывали, а кругом воняло лекарствами и старый Спенсер сидел перед тобой в пижаме и халате — это уж слишком. Не хотелось слушать.

Тут и началось.

— Что ты с собой делаешь, мальчик? — сказал старый Спенсер. Он заговорил очень строго, так он раньше не разговаривал. — Сколько предметов ты сдал в этой четверти?

— Пять, сэр.

— Пять. А сколько завалил?

— Четыре. — Я поерзal на кровати. На такой жесткой кровати я никогда в жизни не сидел. — Английский я хорошо сдал, потому что учил «Беовульфа» и «Лорд Рэндал, мой сын» и всю эту штуку еще в Хуттонской школе. Английским мне приходилось заниматься, только когда задавали сочинения.

Он меня даже не слушал. Он никогда не слушал, что ему говорили.

— Я провалил тебя по истории, потому что ты совершенно ничего не учил.

— Понимаю, сэр. Отлично понимаю. Что вам было делать?

— Совершенно ничего не учил! — повторил он. Меня злит, когда люди повторяют то, с чем ты сразу согласился. А он и в третий раз повторил: — Совершенно ничего не учил! Сомневаюсь, открывал ли ты учебник хоть раз за всю четверть! Открывал? Только говори правду, мальчик!

— Нет, я, конечно, просматривал его раза два, — говорю. Не хотелось его обижать. Он был помешан на своей истории.

— Ах, просматривал? — сказал он очень ядовито. — Твоя, с позволения сказать, экзаменационная работа вон там, на полке. Сверху, на тетрадях. Дай ее сюда, пожалуйста!

Это было ужасное свинство с его стороны, но я взял свою тетрадку и подал ему — больше ничего делать не оставалось. Потом я опять сел на эту цементную кровать. Вы себе представить не можете, как я жалел, что зашел к нему проститься!

Он держал мою тетрадь, как навозную лепешку или еще что похуже.

— Мы учили Египет с четвертого ноября по второе декабря, — сказал он. — Ты сам выбрал эту тему для экзаменационной работы. Не угодно ли тебе послушать, что ты написал?

— Да нет, сэр, не стоит, — говорю.

А он все равно стал читать. Уж если преподаватель решил что-нибудь сделать, его не остановишь. Все равно сделает по-своему.

«Египтяне были древней расой кавказского происхождения, обитавшей в одной из северных областей Африки. Опа, как известно, является самым большим материком в восточном полушарии».

И я должен был сидеть и слушать всю эту несусветную чушь. Свинство, честное слово

«В наше время мы интересуемся египтянами по многим причинам. Современная наука все еще добивается ответа на вопрос: какие тайные составы употребляли египтяне, бальзамируя своих покойников, чтобы их лица не стенивали в течение многих веков? Эта таинственная загадка все еще бросает вызов современной науке двадцатого века».

Он замолчал и положил мою тетрадку. Я почти что ненавидел его в эту минуту.

— Твой, так сказать, экскурс в науку на этом кончается, — проговорил он тем же ядовитым голосом. Никогда бы не подумал, что в таком древнем старишке столько яду. — Но ты еще сделал внизу небольшую приписку лично мне, — добавил он.

— Да, да, помню, помню! — сказал я. Я заторопился, чтобы он хоть это не читал вслух. Куда там — разве его остановишь! Из него прямо искры сыпались!

«Дорогой мистер Спенсер! — он читал ужасно громко. — Вот все, что я знаю про египтян. Меня они почему-то не очень интересуют, хотя Вы читаете про них очень хорошо. Ничего, если Вы меня провалите: я все равно уже провалился по другим предметам, кроме английского. Уважающий Вас Холден Колфилд».

Тут он положил мою треклятую тетрадку и посмотрел на меня так, будто сделал мне сухую в пинг-понг. Никогда не прошу ему, что он прочитал эту чушь вслух. Если б он написал такое, я бы ни за что на свете вслух не прочел, слово даю. А главное, добавил-то я эту проклятую приписку, чтобы ему не было неловко меня проваливать.

— Ты сердишься, что я тебя провалил, мой мальчик? — спросил он.

— Что вы, сэр, ничуть! — говорю. Хоть бы он перестал называть меня «мой мальчик», черт подери!

Он бросил мою тетрадку на кровать. Но, конечно, опять не попал. Пришлось мне вставать и подымать ее. Я ее положил на «Атлантик мансли». Вот еще тоска зеленая — поминутно нагибаться.

— А что бы ты сделал на моем месте? — спросил он. — Только говори правду, мой мальчик.

Да, видно, ему было здорово не по себе оттого, что он меня провалил. Тут, конечно, я принялся наворачивать. Говорил, что я умственно отсталый, вообще кретин, что я сам на его месте поступил бы точно так же и что многие не понимают, до чего трудно быть преподавателем. И все в таком роде. Словом, наворачивал как надо.

Но самое смешное, что думал-то я все время о другом. Сам наворачиваю, а сам думаю про другое. Живу я в Нью-Йорке и думаю про тот пруд, в Центральном парке, у Южного выхода: замерзает он или нет, а если замерзает, куда деваются утки? Я не мог себе представить, куда деваются утки, когда пруд покрывается льдом и промерзает насеквоздь. Может быть, подъезжает грузовик и увозит их куда-нибудь в зоопарк? А может, они просто улетают?

Все-таки у меня это хорошо выходит. Я хочу сказать, что я могу наворачивать что попало старику Спенсеру, а сам в это время думаю про уток. Занятно выходит. Но когда разговариваешь с преподавателем, думать вообще не надо. И вдруг он меня перебил. Он всегда перебивает.

— Скажи, а что ты по этому поводу думаешь, мой мальчик? Интересно было бы знать. Весьма интересно.

— Это насчет того, что меня вытурили из Пэнси? — спрашиваю. Хоть бы он запахнул свой дурацкий халат. Смотреть неприятно.

— Если я не ошибаюсь, у тебя были те же затруднения и в Хуттонской школе и в Элктон-хилле?

Он это сказал не только ядовито, но и как-то противно.

— Никаких затруднений в Элктон-хилле у меня не было, — говорю. — Я не проваливался, ничего такого. Просто ушел — и все.

— Разреши спросить — почему?

— Почему? Да это длинная история, сэр. Все это вообще довольно сложно.

Ужасно не хотелось рассказывать ему, что да как. Все равно он бы ничего не понял. Не по его это части. А ушел я из Элктон-хилла главным образом потому, что там была одна сплошная липа. Все делалось напоказ — прдохнуть невозможно. Например, их директор мистер Хаас. Такого подлого притворщика я в жизни не встречал. В десять раз хуже старика Термера. По воскресеньям, например, этот чертов Хаас ходил и жал ручки всем родителям, которые приезжали. И до того мил, до того вежлив — просто картинка. Но не со всеми он одинаково здоровался — у некоторых ребят родители были попроще, победнее. Вы бы посмотрели, как он, например, здоровался с родителями моего соседа по комнате. Понимаете, если у кого мать толстая или смешно одета, а отец ходит в костюме с ужасно высокими плечами и башмаки на нем старомодные, черные с белым, тут этот самый Хаас только протягивал им два пальца и притворно улыбался, а потом как начнет разговаривать с другими родителями — полчаса разливается! Не выношу я этого. Злость берет. Так злюсь, что с ума можно спятить. Ненавижу я этот проклятый Элктон-хилл.

Старый Спенсер меня спросил о чем-то, но я не слышал. Я все думал об этом подлом Хаасе.

— Что вы сказали, сэр? — говорю.

— Но ты хоть огорчен, что тебе приходится покидать Пэнси?

— Да, конечно, немножко огорчен. Конечно... но все-таки не очень. Наверное, до меня еще не дошло. Мне на это нужно время. Пока я больше думаю, как поеду домой в среду. Видно, я все-таки кретин!

— Неужели ты совершенно не думаешь о своем будущем, мой мальчик?

— Нет, как не думать — думаю, конечно. — Я остановился. — Только не очень часто. Не часто.

— Призадумаешься! — сказал старый Спенсер. — Потом призадумаешься, когда будет поздно!

Мне стало неприятно. Зачем он так говорил — будто я уже умер? Ужасно неприятно.

— Непременно подумаю, — говорю, — я подумаю.

— Как бы объяснить тебе, мальчик, вдолбить тебе в голову то, что нужно? Ведь я помочь тебе хочу, понимаешь?

Видно было, что он действительно хотел мне помочь.

‘По-настоящему. Но мы с ним тянули в разные стороны — вот и все.

— Знаю, сэр, — говорю, — и спасибо вам большое. Честное слово, я очень это ценю, правда!

Тут я встал с кровати. Ей-богу, я не мог бы просидеть на ней еще десять минут даже под страхом смертной казни.

— К сожалению, мне пора! Надо забрать вещи из гимнастического зала, у меня там масса вещей, а они мне понадобятся. Ей-богу, мне пора!

Он только посмотрел на меня и опять стал качать головой, и лицо у него стало такое серьезное, грустное. Мне вдруг стало жалко его до чертиков. Но не мог же я торчать у него весь век, да и тянули мы в разные стороны. И вечно он бросал что-нибудь на кровать и промахивался, и этот его жалкий халат, вся грудь видна, а тут еще пахнет гриппозными лекарствами на весь дом.

— Знаете что, сэр, — говорю, — вы из-за меня не огорчайтесь. Не стоит, честное слово. Все наладится. Это у меня переходный возраст, сами знаете. У всех это бывает.

— Не знаю, мой мальчик, не знаю...

Ненавижу, когда так бормочут.

— Бывает, — говорю, — это со всеми бывает! Правда, сэр, не стоит вам из-за меня огорчаться, — я даже руку ему положил на плечо. — Не стоит! — говорю.

— Не выпьешь ли чашку горячего шоколада на дорогу? Миссис Спенсер с удовольствием...

— Я бы выпил, сэр, честное слово, но надо бежать. Надо скорее попасть в гимнастический зал. Спасибо вам огромное, сэр. Огромное спасибо.

И тут мы стали жать друг другу руки. Все это чушь, конечно, но мне почему-то сделалось ужасно грустно.

— Я вам черкну, сэр. Берегитесь после гриппа, ладно?

— Прощай, мой мальчик.

А когда я уже закрыл дверь и вышел в столовую, он что-то заорал мне вслед, но я не рассыпался. Кажется, он орал «Счастливого пути!». А может быть, и нет. Надеюсь, что нет. Никогда я не стал бы орать вслед «Счастливого пути!». Гнусная привычка, если вдуматься.

3

Я ужасный лгун — такого вы никогда в жизни не видели. Страшное дело. Иду в магазин покупать какой-нибудь журналчик, а если меня вдруг спросят, куда я, я могу сказать, что иду в оперу. Жуткое дело! И то, что я сказал старику Спенсеру, будто иду в гимнастический зал

забирать вещи, тоже было вранье. Я и не держу ничего в этом треклятом vale.

Пока я учился в Пэнси, я жил в новом общежитии, в корпусе имени Оссенбергера. Там жили только старшие и младшие. Я был из младших, мой сосед — из старших. Корпус был назван в честь Оссенбергера, был тут один такой, учился раньше в Пэнси. А когда окончил, заработал кучу денег на похоронных бюро. Он их понастроил по всему штату — знаете, такие похоронные бюро, через которые можно хоронить своих родственников по дешевке — пять долларов с носа. Вы бы посмотрели на этого самого Оссенбергера. Ручаюсь, что он просто запихивает покойников в мешок и бросает в речку. Так вот этот тип пожертвовал на Пэнси кучу денег, и наш корпус назвали в его честь. На первый матч в году он приехал в своем роскошном «кадиллаке», а мы должны были вскочить на трибуны и трубить вовсю, то есть кричать ему «Ура!». А на следующее утро в капелле он отгрохал речь часов на десять. Сначала рассказал пятьдесят анекдотов вот с такой бородицей, хотел показать, какой он молодчага. Сила. А потом стал рассказывать, как он в случае каких-нибудь затруднений или еще чего никогда не стесняется — станет на колени и помолится богу. И нам тоже советовал всегда молиться богу — беседовать с ним в любое время. «Вы, — говорит, — обращайтесь ко Христу просто как к приятелю. Я сам все время разговариваю с Христом по душам. Даже когда веду машину». Я чуть не сдох. Воображаю, как этот сукин сын переводит машину на первую скорость, а сам просит Христа послать ему побольше покойников. Но тут во время его речи случилось самое замечательное. Он как раз дошел до середины, рассказывал про себя, какой он замечательный парень, какой ловкач, и вдруг Эдди Марсалла — он сидел как раз передо мной — пукнул на всю капеллу. Конечно, это ужасно, очень невежливо, в церкви, при всех, но очень уж смешно вышло. Молодец Марсалла! Чуть крышу не сорвал. Никто вслух не рассмеялся, а этот Оссенбергер сделал вид, что ничего не слышал, но старик Тернер, наш директор, сидел рядом с ним на кафедре, и сразу было видно, что он-то хорошо слыхал. Ух, и разозлился он! Ничего нам не сказал, но вечером заставил всех прийти на дополнительные занятия и произнес речь. Он сказал, что ученик, который так нарушил порядок во время службы, не достоин находиться в стенах школы. Мы пробовали заставить нашего Марсаллу еще дать залп, во время речи старика Тернера, но он был не в настроении. Так вот, я жил в корпусе имени

этого Оссенбергера, в новом общежитии.

Приятно было от старика Спенсера попасть к себе в комнату, тем более что все были на футболе, а батареи в виде исключения хорошо грелись. Даже стало как-то уютно. Я снял куртку, галстук, расстегнул воротник рубашки, а потом надел красную шапку, которую утром купил в Нью-Йорке. Это была охотничья шапка с очень-очень длинным козырьком. Я ее увидел в окне спортивного магазина, когда мы вышли из метро, где я потерял эти чертовы рапиры. Заплатил всего доллар. Я ее надевал задом наперед — глупо, конечно, но мне так нравилось. Потом я взял книгу, которую читал, и сел в кресло. В каждой комнате было два кресла. Одно — мое, другое — моего соседа, Уорда Стрэдлейтера. Ручки у кресел были совсем поломаны, потому что вечно на них кто-нибудь садился, но сами кресла были довольно удобные.

Читал я ту книжку, которую мне дали в библиотеке по ошибке. Я только дома заметил, что мне дали не ту книгу. Они мне дали «В дебрях Африки» Исаака Дайнсена. Я думал, дрянь, а оказалось интересно. Хорошая книга. Вообще я очень необразованный, но читаю много. Мой любимый писатель — Д. Б., мой брат, а на втором месте — Ринг Ларднер. В день рождения брат мне подарил книжку Ринга Ларднера, это было еще перед поступлением в Пэнси. В книжке были пьесы — ужасно смешные, а потом рассказ про полисмена-регулировщика: он влюбляется в одну очень хорошенюкую девушку, которая вечно нарушает правила движения. Но полисмен женат и, конечно, не может жениться на девушке. А потом девушка гибнет, потому что она вечно нарушает правила. Потрясающий рассказ. Вообще я больше всего люблю книжки, в которых есть хоть что-нибудь смешное. Конечно, я читаю всякие классические книги, вроде «Возвращения на родину»¹, и всякие книги про войну, и детективы, но как-то они меня не очень увлекают. А увлекают меня такие книжки, что как их дочитаешь до конца — так сразу подумаешь: хорошо, если бы этот писатель стал твоим лучшим другом и чтоб с ним можно было поговорить по телефону, когда захочется. Но это редко бывает. Я бы с удовольствием позвонил этому Дайнсену, ну и, конечно, Рингу Ларднеру, только Д. Б. сказал, что он уже умер. А вот, например, такая книжка, как «Бремя страстей человеческих» Сомерсета Моэма, совсем не то — я ее прочел прошлым летом.

¹ Роман Томаса Харди. — Здесь и далее примечания переводчиков.

Книжка, в общем, ничего, но у меня нет никакого желания звонить этому Сомерсету Моэму по телефону. Сам не знаю почему. Просто не тот он человек, с которым хочется поговорить. Я бы скорее позвонил покойному Томасу Харди. Мне нравится его Юстасия Вэй.

Значит, надел я свою новую шапку, уселся в кресло и стал читать «В дебрях Африки». Один раз я ее уже прочел, но мне хотелось перечитать некоторые места. Я успел прочитать всего страницы три, как вдруг кто-то вышел из душевой. Я и не глядя понял, что это Роберт Экли — он жил в соседней комнате. В нашем крыле на каждые две комнаты была общая душевая, и этот Экли врывался ко мне раз восемьдесят на дюю. Кроме того, он один из всего общежития не пошел на футбол. Он вообще никуда не ходил. Странный был тип. Он был старшеклассник и проучился в Пэнси уже четыре года, но все его называли только по фамилии — Экли. Даже его сосед по комнате, Херб Гейл, никогда не называл его «Боб» или хотя бы «Эк». Наверное, и жена будет звать его «Экли» — если только он когда-нибудь женится. Он был ужасно высокий — шесть футов четыре дюйма, страшно сутулый, и зубы гнилые. Ни разу, пока мы жили рядом, я не видел, чтобы он чистил зубы. Они были какие-то грязные, заплесневелые, а когда он в столовой набивал рот картошкой или горохом, меня чуть не тошило. И потом — прыщи. Не только на лбу или там на подбородке, как у всех мальчишек, у него все лицо было прышавое. Да и вообще он был противный. И какой-то подлый. По правде говоря, я не очень-то его любил.

Я чувствовал, что он стоит на пороге душевой, прямо за моим креслом, и смотрит, здесь ли Стрэдлейтер. Он не павидел Стрэдлейтера и никогда не заходил к нам в комнату, если тот был дома. Вообще, он почти всех ненавидел.

Он вышел из душевой и подошел ко мне.

— Привет! — говорит. Он всегда говорил таким тоном, как будто ему до смерти скучно или он до смерти устал. Он не хотел, чтобы я подумал, будто он зашел ко мне в гости. Он делал вид, будто зашел нечаянно, черт его дери.

— Привет! — говорю, но книгу не бросаю. Если при таком типе, как Экли, бросить книгу, он тебя замучает. Он все равно тебя замучает, но не сразу, если ты будешь читать.

Он стал бродить по комнате, медленно, как всегда, и трогать все мои вещи на столе и на тумбочке. Вечно он

все вещи перетрогаст, пересмотрит. До чего же он мне действовал на нервы!

— Ну как фехтованье? — говорит. Ему непременно хотелось помешать мне читать, испортить все удовольствие. Плевать ему было на фехтованье. — Кто победил — мы или не мы? — спрашивает.

— Никто не победил, — говорю, а сам не поднимаю головы.

— Что? — спросил он. Он всегда переспрашивал.

— Никто не победил. — Я покосился на него, посмотрел, что он там крутит на моей тумбочке. Он рассматривал фотографию девчонки, с которой я дружил в Нью-Йорке, ее звали Салли Хейс. Он эту треклятую карточку, наверно, держал в руках по крайней мере пять тысяч раз. И ставил он ее всегда не на то место. Нарочно — это сразу было видно.

— Никто не победил? — сказал он. — Как же так?

— Да я все это дурацкое снаряжение забыл в метро. — Голову я так и не поднял.

— В метро? Что за черт! Потерял, что ли?

— Мы не на ту линию сели. Все время приходилось вставать и смотреть на план.

Он подошел, заслонил мне свет.

— Слушай, — говорю, — я из-за тебя уже двадцатый раз читаю одну и ту же фразу.

Всякий, кроме Экли, понял бы намек. Только не он.

— А тебя не заставят платить? — спрашивает.

— Не знаю и знать не хочу. Может, ты сядешь, Экли, детка, а то ты мне весь свет загородил.

Он ненавидел, когда я называл его «Экли, детка». А сам он вечно говорил, что я еще маленький, потому что мне было шестнадцать, а ему уже восемнадцать. Он бился, когда я называл его «детка».

А он стал и стоит. Такой это был человек — ни за что не отойдет от света, если его просят. Потом, конечно, отойдет, но, если его попросить, он нарочно не отойдет.

— Что ты читаешь? — спрашивает.

— Не видишь — книгу читаю.

Он перевернул книгу, посмотрел заголовок.

— Хорошая? — спрашивает.

— Да, особенно эта фраза, которую я все время читаю. — Я тоже иногда могу быть довольно ядовитым, если я в настроении. Но до него не дошло. Опять он стал ходить по комнате, опять стал цапать все мои вещи и даже вещи Стрэдлейтера. Наконец я бросил книгу на пол. Все равно при Экли читать немыслимо. Просто невозможно.

Я развалился в кресле и стал смотреть, как Экли ходит в моей комнате. От поездки в Нью-Йорк я порядком устал, зевота напала. Но потом начал валять дурака. Люблю иногда подурячиться просто от скучи. Я повернул шапку козырьком вперед и надвинул на самые глаза. Я так ни черта не мог видеть.

— Увы, увы! Кажется, я слепну! — говорю я сиплым голосом. — О моя дорогая матушка, как темно стало вокруг.

— Да ты спятил, ей-богу! — говорит Экли.

— Матушка, родная, дай руку своему несчастному сыну! Почему ты не подашь мне руку помощи?

— Да перестань, ты, балда!

Я стал шарить вокруг, как слепой, не вставая. И все время сипел:

— Матушка, матушка! Почему ты не подашь мне руку?

Конечно, я просто валял дурака. Мне от этого иногда бывает весело. А кроме того, я знал, что Экли злится как черт. С ним я становился настоящим садистом. Злил его изо всех сил, нарочно злил. Но потом надоело. Я опять надел шапку козырьком назад и развалился в кресле.

— Это чье? — спросил Экли. Он взял в руки наколенник моего соседа. Этот проклятый Экли все хватал. Он что угодно мог схватить — шнурки от ботинок, что угодно. Я ему сказал, что наколенник — Стрэдлейтера. Он его сразу швырнул к Стрэдлейтеру на кровать; взял с тумбочки, а швырнул нарочно на кровать.

Потом подошел, сел на ручку второго кресла. Никогда не сядет по-человечески, обязательно на ручку.

— Где ты взял эту дурацкую шапку? — спрашивает.

— В Нью-Йорке.

— Сколько отдал?

— Доллар.

— Обдули тебя. — Он стал чистить свои гнусные ногти концом спички. Вечно он чистил ногти. Странная привычка. Зубы у него были заплесневелые, в ушах — грязь, но ногти он вечно чистил. Наверно, считал, что он — чистоплотный. Он их чистил, а сам смотрел на мою шапку. — В моих краях на охоту в таких ходят, понятно? В них дичь стреляют.

— Черта с два! — говорю. Потом снимаю шапку, смотрю на нее. Прищурил один глаз, как будто целюсь. — В ней людей стреляют, — говорю, — я в ней людей стреляю.

— А твои родные знают, что тебя вытурили?

— Нет.

— Где же твой Стрэдлейтер?

— На матче. У него там свидание. — Я опять зевнул. Зевота одолела. В комнате стояла страшная жара, меня разморило, хотелось спать. В этой школе мы либо мерзли как собаки, либо пропадали от жары.

— Знаменитый Стрэдлейтер, — сказал Экли. — Слушай, дай мне на минутку ножницы. Они у тебя близко?

— Нет, я их уже убрал. Они в шкафу, на самом верху.

— Достань их на минутку, а? У меня ноготь задрался, надо срезать.

Ему было совершенно наплевать, убрал ли ты вещь или нет, на самом верху она или еще где. Все-таки я ему достал ножницы. Меня при этом чуть не убило. Только я открыл шкаф, как ракетка Стрэдлейтера — да еще в рамке! — упала прямо мне на голову. Так грохнула, ужасно больно. Экли чуть не помер, до того он хохотал. Голос у него визгливый, тонкий. Я для него снимаю чемодан, вытаскиваю ножницы — а он заливается. Таких, как Экли, хлебом не корми — дай ему посмотреть, как человека стукнуло по голове камнем или еще чем: он просто обхочется.

— Оказывается, у тебя есть чувство юмора, Экли, детка, — говорю ему. — Ты этого не знал? — Тут я ему подал ножницы. — Хочешь, я буду твоим менеджером, устрою тебя на радио?

Я сел в кресло, а он стал стричь свои паршивые ногти.

— Может, ты их будешь стричь над столом? — говорю. — Стриги над столом, я не желаю ходить босиком по твоим гнусным ногтям. — Но он все равно бросал их прямо на пол. Отвратительная привычка. Честное слово, противно.

— А с кем у Стрэдлейтера свидание? — спросил он. Он всегда высматривал, с кем Стрэдлейтер водится, хотя он его ненавидит.

— Не знаю. А тебе что?

— Просто так. Не терплю я эту сволочь. Вот уж не терплю!

— А он тебя обожает! Сказал, что ты — настоящий принц! — говорю. Я часто говорю кому-нибудь, что он — настоящий принц. Вообще я часто валяю дурака, мне тогда не так скучно.

— Он всегда задирает нос, — говорит Экли. — Не выношу эту сволочь. Можно подумать, что он...

— Слушай, может быть, ты все-таки будешь стричь ногти над столом? — говорю. — Я тебя раз пятьдесят просял...

— Задирает нос все время, — повторил Экли. — По-мо-

ему, он просто болван. А думает, что умный. Он думает, что он — самый умный...

— Экли! Черт тебя дерн! Будешь ты стричь свои паршивые ногти над столом или нет? Я тебя пятьдесят раз просил, слышишь?

Тут он, конечно, стал стричь ногти над столом. Его только и заставишь что-нибудь сделать, когда накричишь на него.

Я посмотрел на него, потом сказал:

— Ты злишься на Стрэдлейтера за то, что он говорил, чтобы ты хоть иногда чистил зубы. Он тебя ничуть не хотел обидеть! И сказал он не нарочно, ничего обидного он не говорил. Просто он хотел сказать, что ты чувствовал бы себя лучше и выглядел бы лучше, если б ты хоть изредка чистил зубы.

— А я не чищу, что ли? И ты туда же!

— Нет, не чишишь! Сколько раз я за тобой следил, не чишишь — и все!

Я с ним говорил спокойно. Мне даже его было жаль. Я понимаю, не очень приятно, когда тебе говорят, что ты не чишишь зубы.

— Стрэдлейтер — не сволочь. Он не такой уж плохой. Ты его просто не знаешь, в этом все дело.

— А я говорю — сволочь. И воображала.

— Может, он и воображает, но в некоторых вещах он человек широкий, — говорю. — Это правда. Ты пойми. Представь себе, например, что у Стрэдлейтера есть галстук или еще какая-нибудь вещь, которая тебе нравится. Ну, например, на нем галстук, и этот галстук тебе ужасно понравился — я просто говорю к примеру. Знаешь, что он сделал бы? Он, наверно, снял бы этот галстук и отдал тебе. Да, отдал. Или знаешь, что он сделал бы? Он бы оставил этот галстук у тебя на кровати или на столе. В общем, он бы тебе подарил этот галстук, понятно? А другие — никогда.

— Черта лысого! — сказал Экли. — Будь у меня столько денег, я бы тоже дарил галстуки.

— Нет, не дарил бы! — Я даже головой покачал. — И не подумал бы, детка! Если б у тебя было столько денег, как у него, ты был бы самым настоящим...

— Не смей называть меня «детка»! Черт! Я тебе в отцы гожусь, дуралей!

— Нет, не годишься! — До чего он меня раздражал, сказать не могу. И ведь не упустит случая ткнуть тебе в глаза, что ему восемнадцать, а тебе шестнадцать. — Во-первых, я бы тебя в свой дом на порог не пустил...

— Словом, не смей меня называть...

Вдруг дверь открылась и влетел сам Стрэдлейтер. Он всегда куда-то летел. Вечно ему было некогда, все важные дела. Он подбежал ко мне, похлопал по щекам — тоже довольно неприятная привычка — и спрашивает:

— Ты идешь куда-нибудь вечером?

— Не знаю. Возможно. А какая там погода — снег, что ли?

Он весь был в снегу.

— Да, снег. Слушай, если тебе никуда не надо идти, дай мне свою замшевую куртку на вечер.

— А кто выиграл? — спрашиваю.

— Еще не кончилось. Мы уходим. Нет, серьезно, дашь мне свою куртку, если она тебе не нужна? Я залил свою серую какой-то дрянью.

— Да, а ты мне ее всю растянем, у тебя плечи черт знает какие, — говорю. Мы с ним почти одного роста, но он весил раза в два больше, и плечи у него были широченные.

— Не растяну! — Он подбежал к шкафу. — Как делишки, Экли? — говорит. Он довольно приветливый малый, этот Стрэдлейтер. Конечно, это притворство, но все-таки он всегда здоровался с Экли.

А тот только буркнул что-то, когда Стрэдлейтер спросил: «Как делишки?» Экли не желал отвечать, но все-таки что-то буркнул — промолчать у него духу не хватило. А мне говорит:

— Ну я пойду! Еще увидимся.

— Ладно! — говорю. Никто не собирался плакать, что он наконец ушел к себе.

Стрэдлейтер уже снимал пиджак и галстук.

— Надо бы побриться! — сказал он. У него здорово росла борода. Настоящая борода.

— А где твоя девочка?

— Ждет в том крыле, — говорит. Он взял полотенце, бритвенный прибор и вышел из комнаты. Так и пошел без рубашки. Он всегда расхаживал голый до пояса, считал, что он здорово сложен. И это верно, тут ничего не скажешь.

Делать мне было нечего, и я пошел за ним в умывалку потрепать языком, пока он будет бриться. Кроме нас, там никого не было: ребята сидели на матче. Жара была адская, все окна запотели. Вдоль стенки стояло штук де-

ть умывальников. Стрэдлейтер занял среднюю раковину, а я сел на другую, рядом с ним, и стал открывать и закрывать холодный кран. Это у меня чисто нервное. Стрэдлейтер брился и насвистывал «Индийскую песню». Свистел он ужасно пронзительно и всегда фальшивил, а выбирал такие песни, которые и хорошему свистуну трудно высыпеть, например «Индийскую песню» или «Убийство на Десятой авеню». Он любую песню мог исковергать.

Я уже говорил, что Экли был зверски нечистоплотен. Стрэдлейтер тоже был нечистоплотный, но как-то по-другому. Снаружи это было незаметно. Выглядел он всегда отлично. Но вы бы посмотрели, какой он бритвой брился. Ржавая как черт, вся в волосах, в засохшей пене. Он ее никогда не мыл. И хоть выглядел он отлично, особенно когда наводил на себя красоту, но все равно он был нечистоплотный — уж я-то его хорошо знал. А наводить красоту он любил, потому что был безумно в себя влюблен. Он считал, что красивей его нет человека на всем западном полуширии. Он и на самом деле был довольно красивый — это верно. Но красота у него была такая, что все родители, когда видели его портрет в школьном альбоме, непременно спрашивали: «Кто этот мальчик?» Понимаете, красота у него была какая-то альбомная. У нас в Пэнси было сколько угодно ребят, которые, по-моему, были в тысячу раз красивей Стрэдлейтера, но на фото они выходили совсем не такими красивыми. То у них носы казались слишком длинными, то уши торчали. Я это хорошо знаю.

Я сидел на умывальнике рядом со Стрэдлейтером и то закрывал, то открывал кран. На мне все еще была моя красная охотничья шапка, задом наперед. Ужасно она мне нравилась, эта шапка.

— Слушай! — сказал Стрэдлейтер. — Можешь сделать мне огромное одолжение?

— Какое? — спросил я. Особого удовольствия я не испытывал. Вечно он просил сделать ему огромное одолжение. Эти красивые ребята считают себя пупом земли и вечно просят сделать им огромное одолжение. Они до того в себя влюблены, что считают, будто ты тоже в них влюблен и только мечтаешь сделать им одолжение. Чудаки, право.

— Ты куда-нибудь идешь вечером?

— Может, пойду, а может, и нет. А что?

— Мне надо к понедельнику прочесть чуть ли не сто страниц по истории, — говорит он. — Не напишешь ли ты

за меня английское сочинение? Мне несдобровать, если я в понедельник ничего не сдам, потому и прошу. Напишишь?

— Ну не насмешка ли? Честное слово, насмешка!

— Меня выгоняют из школы к чертам собачьим, а ты просишь, чтобы я за тебя писал какое-то сочинение! — говорю.

— Знаю, знаю. Но беда в том, что мне будет плохо, если я его не подам. Будь другом. А, дружище? Сделаешь?

Я не сразу ответил. Таких типов, как он, полезно подержать в неизвестности.

— О чём писать? — спрашиваю.

— О чём хочешь. Любое описание. Опиши комнату. Или дом. Или какое-нибудь место, где ты жил. Что угодно, понимаешь? Лишь бы вышло живописно, черт его дери. — Тут он зевнул во весь рот. Вот от такого отношения у меня все кишки переворачивает! Понимаете — просит тебя сделать одолжение, а сам зевает вовсю! — Ты особенно не старайся! — говорит он. — Этот чертов Хартселл считает, что ты в английском собаку съел, а он знает, что мы с тобой вместе живем. Так ты уж не очень старайся правильно расставлять запятые и все эти знаки препинания.

От таких разговоров у меня начинается ёрзь в животе. Человек умеет хорошо писать сочинения, а ему начинают говорить про запятые. Стрэдлейтер только так и понимал это. Он старался доказать, что не умеет писать исключительно из-за того, что не туда растыкивает запятые. Совсем как Экли — он тоже такой. Один раз я сидел рядом с Экли на баскетбольных состязаниях. Там в команде был потрясающий игрок, Хови Кайл, — он мог забить мяч с самой середины точно в сетку, даже доски не тронет. А Экли всю игру бубнил, что у Кайла хороший рост для баскетбола — и все, понимаете? Ненавижу такую болтовню!

Наконец мне надоело сидеть на умывальнике, я скочил и стал выбивать чечетку, просто для смеху. Хотелось поразмяться, а танцевать чечетку я совсем не умею. Но в умывалке пол каменный, на нем очень здорово отбивать чечетку. Я стал подражать одному актеру из кино. Видел его в музыкальной комедии. Ненавижу кино до чертиков, но ужасно люблю изображать актеров. Стрэдлейтер все время смотрел на меня в зеркало, пока брился. А мне только подавай публику. Я вообще люблю выставляться.

— Я сын самого губернатора! — говорю. Вообще я тут стал стараться. Ношуясь по всей умывалке. — Отец не позволяет мне стать танцором. Он посыпает меня в ()ксфорд. Но чечетка у меня в крови, черт подери!

Стрэдлейтер захохотал. У него все-таки было чувство юмора.

— Сегодня — премьера обозрения Зигфилда. — Я уже стал задыхаться. Дыхание у меня ни к черту. — Герой не может выступать! Пьян как стелька. Кого же берут на его место? Меня, вот кого! Меня — бедного, несчастного губернаторского сынка!

— Где ты отхватил такую шапку? — спросил Стрэдлейтер. Он только сейчас заметил мою охотничью шапку.

Я уже задыхался и перестал валять дурака. Снял шапку, посмотрел на нее в сотый раз.

— В Нью-Йорке купил сегодня утром. Заплатил доллар. Нравится?

Стрэдлейтер кивнул.

— Шик, — сказал он. Он просто ко мне подлизывался — и тут же спросил: — Слушай, ты напишешь за меня сочинение или нет? Мне надо знать.

— Будет время — напишу, а не будет — не напишу.

Я опять сел на умывальник рядом с ним.

— А с кем у тебя свидание? С Фитцджеральд?

— Какого черта! Я с этой свиньей не возжусь.

— Ну? Так уступи ее мне, друг! Серьезно. Она в моем вкусе.

— Бери, пожалуйста! Только она для тебя старовата.

И вдруг просто так, без всякой причины, мне захотелось соскочить с умывальника и сделать дураку Стрэдлейтеру двойной нельсон. Сейчас объясню — это такой прием в борьбе: хватаешь противника за шею и ломаешь пасмерть, если надо. Я и прыгнул. Прыгнул на него, как пантера!

— Брось, Холден, балда! — сказал Стрэдлейтер. Он не любил, когда валяли дурака. Тем более он брился. — Хочешь, чтоб я тебе глотку перерезал!

Но я его не отпускал... Я его здорово сжал двойным нельсоном.

— Попробуй, — говорю, — вырвись из моей железной хватки!

— О, черт! — Он положил бритву и вдруг вскинул руки и вырвался от меня. Он очень сильный. А я очень слабый. — Брось дурить! — сказал он. Он стал бриться второй раз. Он всегда бреется по второму разу, красоту наводит. А бритва у него грязная.

— С кем же у тебя свидание, если не с Фитцджеральдом? — спрашиваю. Я опять сел рядом с ним на умывальник. — С маленькой Филлис Смит, что ли?

— Нет. Должен был встретиться с ней, но все перепуталось. Меня ждет подруга девушки Бэда Ту. Погоди, чуть не забыл. Она тебя знает.

— Кто меня знает?

— Моя девушка.

— Ну да! — сказал я. — А как ее зовут? — Мне даже стало интересно.

— Сейчас вспомню... Да, Джин Галлахер.

Господи, я чуть не сдох, когда услышал.

— Джейн Галлахер! — говорю. Я даже вскочил с умывальника, когда услышал. Честное слово, я чуть не сдох! — Ну конечно, я с ней знаком! Позапрошлым летом она жила совсем рядом. У нее еще был такой огромный доберман-пинчер. Мы из-за него и познакомились. Этот пес бегал гадить в наш сад.

— Ты мне свет застишишь, Холден, — говорит Стрэдлейтер. — Отойди к бесу, места другого нет, что ли?

Ох, как я волновался, честное слово!

— Где же она? — спрашиваю. — Надо пойти с ней по здороваться. Где же она? В том крыле, да?

— Угу.

— Как это она меня вспомнила? Где она теперь учится — в Брин-Море? Она говорила, что, может быть, поступит туда. Или в Шипли, она говорила, что, может быть, пойдет в Шипли. Я думал, что она учится в Шипли. Как это она меня вспомнила? — Я и на самом деле волновался, правда!

— Да почем я знаю, черт возьми! Встань, слышишь? Ты сел на мое полотенце.

— Джейн Галлахер! — сказал я. Я никак не мог опомниться. — Вот так история!

Стрэдлейтер припомаживал волосы. Моим бриолином.

— Она танцует, — сказал я. — Занимается балетом. Каждый день часа по два упражнялась, даже в самую жару. Боялась, что у нее ноги испортятся — растолстеют и все такое. Я с ней все время играл в шашки.

— Во что-оо?

— В шашки.

— Фу ты, дьявол, он играл в шашки!!

— Да, она никогда не переставляла дамки. Выйдет у нее какая-нибудь шашка в дамки, она ее с места не сдвигает. Так и оставит в заднем ряду. Выстроит все дамки

в последнем ряду и ни одного хода не сделает. Ей просто правилось, что они стоят в последнем ряду.

Стрэдлейтер промолчал. Вообще такие вещи обычно никого не интересуют.

— Ее мать была в том же клубе, что и мы, — сказал я. — Я ей носил палки для гольфа, подрабатывал. Я несколько раз носил ее матери палки. Она на девяти ямках била чуть ли не сто семьдесят раз.

Стрэдлейтер почти не слушал. Он расчесывал свою роскошную шевелюру.

— Надо было бы пойти поздороваться с ней, что ли, — сказал я.

— Чего же ты не идешь?

— Я и пойду, через минутку.

Он стал снова делать пробор. Причесывался он всегда битый час.

— Ее мать развелась с отцом. Потом вышла замуж за какого-то алкоголика, — сказал я. — Худой такой черт, с волосатыми ногами. Я его хорошо помню. Всегда ходил в одних трусах. Джейн рассказывала, что он какой-то писатель, сценарист, что ли, черт его знает, но при мне он только пил как лошадь и слушал все эти идиотские детективы по радио. И бегал по всему дому голый. При Джейн, при всех.

— Ну? — сказал Стрэдлейтер. Тут он вдруг оживился, когда я сказал, что алкоголик бегал голый при Джейн. Ужасно распутная сволочь этот Стрэдлейтер.

— Детство у нее было страшное. Я серьезно говорю.

Но это его не интересовало, Стрэдлейтера. Он только всякой похабщиной интересовался.

— О, черт! Джейн Галлахер! — Я никак не мог опомниться. Ну никак! — Надо бы хоть поздороваться с ней, что ли.

— Какого же черта ты не идешь? Стоит тут, болтает.

Я подошел к окну, но ничего не было видно, окна за потели от жары.

— Я не в настроении сейчас, — говорю. И на самом деле я был совсем не в настроении. А без настроения ничего делать нельзя. — Я думал, что она поступила в Шипли. Готов был поклясться, что она учится в Шипли. — Я походил по умывалке. — Понравился ей футбол? — спрашиваю.

— Да, как будто. Не знаю.

— Она тебе рассказывала, как мы с ней играли в шашки, вообще рассказывала что-нибудь?

— Не помню я. Мы только что познакомились, не при-

ставай! — Стрэдлейтер уже расчесал свои роскошные кудри и складывал грязную бритву.

— Слушай, передай ей от меня привет, ладно?

— Ладно, — сказал Стрэдлейтер, но я знал, что он ничего не передаст. Такие, как Стрэдлейтер, никогда не передают приветов.

Он пошел в нашу комнату, а я еще поторчал в умывалке, вспомнил старушку Джейн. Потом тоже пошел в комнату.

Стрэдлейтер завязывал галстук перед зеркалом, когда я вошел. Онолжиши проводил перед зеркалом. Я сел в свое кресло и стал на него смотреть.

— Эй, — сказал я, — ты ей только не говори, что меня вытурили.

— Не скажу.

У Стрэдлейтера была одна хорошая черта. Ему не приходилось объяснять каждую мелочь, как, например, Экли. Наверно потому, что Стрэдлейтеру было на все плевать. А Экли — дело другое. Тот во все совал свой длинный нос.

Стрэдлейтер надел мою куртку.

— Не растягивай ее, слышишь? — сказал я. — Я ее всего раза два и надевал.

— Не растяну. Куда девались мои сигареты?

— Вон на столе... — Он никогда не знал, где что лежит. — Под твоим шарфом. — Он сунул сигареты в карман моей куртки.

Я вдруг перевернул свою красную шапку по-другому, козырьком вперед. Что-то я начинал нервничать. Нервы у меня вообще никуда.

— Скажи, а куда ты с ней поедешь? — спросил я. — Ты уже решил?

— Сам не знаю. Если будет время, поедем в Нью-Йорк. Она по глупости взяла отпуск только с половины десятого.

Мне не понравилось, как он это сказал, я ему и говорю:

— Она взяла отпуск только с половины десятого, потому что не разглядела, какой ты красивый и обаятельный, сукин ты сын. Если б она разглядела, она взяла бы отпуск с половины десятого утра!

— И правильно! — сказал Стрэдлейтер. Его ничем не подденешь. Слишком он воображает. — Брось темнить, — говорит, — напишешь ты за меня сочинение или нет? — Он уже надел пальто и собрался уходить. — Особенно не старайся, пусть только будет живописно, понял? Напишешь?

Я не ответил. Настроения не было. Я только сказал:

— Спроси ее, она все еще расставляет дамки в последнем ряду?

— Ладно, — говорит Стрэдлейтер, но я знал, что он не спросит. — Ну пока! — Он хлопнул дверью и смылся.

Я сидел еще с полчаса. Просто сидел в кресле, ни черта не делал. Все думал о Джейн и о том, что у нее свидание со Стрэдлейтером. Я так нервничал, чуть с ума не спятил. Я вам уже говорил, какой он похабник, сволочь такая.

И вдруг Экли опять вылез из душевой в нашу комнату. В первый раз за всю здешнюю жизнь я ему обрадовался. Отвлек меня от разных мыслей.

Сидел он у меня до самого обеда: говорил про ребят, которых ненавидит, и ковырял громадный прыш у себя на подбородке. Пальцами, без носового платка. Не знаю, был ли у этой скотины носовой платок. Никогда не видел у него платка.

5

По субботам у нас всегда бывал один и тот же обед. Считалось, что обед роскошный, потому что давали бифштекс.

Могу поставить тысячу долларов, что кормили они нас бифштексом потому, что по воскресеньям к ребятам приезжали родители и старик Термер, вероятно, представлял себе, как чья-нибудь мамаша спросит своего дорогого сыночка, что ему вчера давали на обед, и он скажет — бифштекс. Все это жульничество. Вы бы посмотрели на эти бифштексы. Жесткие как подметка ножом не разрежешь. К ним всегда подавали картофельное пюре с комками, а на сладкое — «рыжую Бетти» — пудинг с патокой, только его никто не ел, кроме малышей из первых классов да таких, как Экли, — те на все накидывались.

После обеда мы вышли на улицу, погода была славная. Снег лежал на земле дюйма на три и все еще сыпал как оголтелый. Красиво было до чертиков. Мы начали играть в снежки и тузить друг друга. Ребячество, конечно, но всем стало очень весело.

Делать мне было нечего, и мы с моим приятелем, с Мэлом Броусаром из команды борцов, решили поехать на автобусе в Эгерстаун съесть по котлете, а может быть, и посмотреть какой-нибудь дурацкий фильм. Не хотелось весь вечер торчать дома. Я спросил Мэла — ничего, если Экли тоже доедет с нами? Я решил позвать Экли, потому

ЧТО ОН ДАЖЕ ПО СУББОТАМ НИКУДА НЕ ХОДИЛ, СИДЕЛ ДОМА И ДАВИЛ ПРЫЩИ. Мэл сказал, что это, конечно, ничего, хотя он и не в восторге. Он не очень любил этого Экли. Словом, мы пошли к себе одеваться, и, пока я надевал калоши и прочее, я крикнул Экли, не хочет ли он пойти в кино. Он меня слышал через душевую, но ответил не сразу. Такие, как он, сразу не отвечают. Наконец он появился, раздвинул занавеску душевой, стал на пороге и спрашивает, кто еще пойдет. Ему обязательно нужно было знать, кто да кто идет. Честное слово, если бы он потерпел кораблекрушение и какая-нибудь лодка пришла его спасать, он, наверно, потребовал бы, чтоб ему сказали, кто гребет на этой самой лодке, иначе он и не сел бы в нее. Я сказал, что едет Мэл Бrossар. А он говорит:

— Ах, этот подонок... Ну ладно. Подожди меня минутку.

Можно было подумать, что он тебе делает величайшее одолжение.

Одевался он часов пять. А я пока что подошел к окну, открыл его настежь и слепил снежок. Снег очень хорошо лепился. Но я никуда не швырнул снежок, хоть и собрался его бросить. Сначала я хотел бросить в машину — она стояла через дорогу. Но потом передумал — машина вся была такая чистая, белая. Потом хотел залепить снежком в водокачку, но она тоже была чистая и белая. Так я снежком никуда и не кинул. Закрыл окно и начал его катать, чтоб он стал еще тверже. Я его еще держал в руках, когда мы с Бrossаром и Экли сели в автобус. Кондуктор открыл дверцу и велел мне бросить снежок. Я сказал, что не собираюсь ни в кого кидать, но он мне не поверил. Никогда тебе люди не верят.

И Бrossар и Экли уже видели картину, которая шла, так что мы съели по котлете, поиграли в рулетку-автомат, а потом поехали обратно в школу. Я не жалел, что мы не пошли в кино. Там шла какая-то комедия с Гэри Грантом — муть, наверно. А потом я уже как-то ходил в кино с Экли и Бrossаром. Они оба гоготали, как гиены, даже в несмешных местах. Мне и сидеть с ними рядом было неприятно.

Было всего без четверти десять, когда мы вернулись в общежитие. Бrossар обожал бридж и пошел искать партнеров. Экли, конечно, влез ко мне в комнату. Только теперь он сел не на ручку стрэйтлеровского кресла, а влюхнулся на мою кровать, прямо лицом в подушку. Лег и зазел волынку, монотонным таким голосом, а сам все время косырял прыщи. Я раз сто ему намекал, но никак

не мог от него отделаться. Он все говорил и говорил, монотонным таким голосом, про какую-то девчонку, с которой он путался прошлым летом. Он мне про это рассказывал раз сто, и каждый раз — по-другому. То он с ней спутался в «бьюике» своего кузена, то где-то в подъезде. Главное, все это было вранье. Ручаюсь, что он женщин не знал, это сразу было видно. Наверно, он и не дотрагивался ни до кого, честное слово. В общем, мне пришлось кровенно ему сказать, что мне надо писать сочинение за Стрэдлейтера и чтоб он выметался, а то я не могу сосредоточиться. В конце концов он ушел, только не сразу — он ужасно всегда канителится. А я надел пижаму, халат и свою красную охотничью шапку и сел писать сочинение.

Беда была в том, что я никак не мог придумать, про какую комнату или дом можно написать живописно, как задали Стрэдлейтеру. Вообще я не особенно люблю описывать всякие дома и комнаты. Я взял и стал описывать бейсбольную рукавицу моего братишки Алли. Эта рукавица была очень живописная, честное слово. У моего брата, у Алли, была бейсбольная рукавица на левую руку. Он был левша. А живописная она была потому, что он всю ее исписал стихами: и ладонь, и карман — везде. Зелеными чернилами. Он написал эти стихи, чтобы можно было их читать, когда мяч к нему не шел и на поле нечего было делать. Он умер. Заболел белокровием и умер 18 июля 1946 года, когда мы жили в Мейне. Он вам понравился бы. Он был моложе меня на два года, но раз в пятьдесят умнее. Ужасно был умный. Его учителя всегда писали маме, как приятно, что у них в классе учится такой мальчик, как Алли. И они не врали, они и на самом деле так думали. Но он не только был самый умный в нашей семье. Он был и самый хороший, во многих отношениях. Никогда он не разозлится, не вспылит. Говорят, рыжие чуть что — начинают злиться, но Алли никогда не злился, а он был ужасно рыжий. Я вам расскажу, до чего он был рыжий. Я начал играть в гольф с десяти лет. Помню, как-то весной, когда мне уже было лет двенадцать, я гонял мяч, и все время у меня было такое чувство, что стоит мне обернуться — и я увижу Алли. И я обернулся и вижу: так оно и есть — сидит он на своем велосипеде за забором — за тем забором, который шел вокруг всего поля, — сидит там, ярдов за сто пятьдесят от меня, и смотрит, как я бью. Вот до чего он был рыжий! И ужасно славный, ей-богу. Ему иногда за столом что-нибудь придет в голову, и он вдруг как начнет хохотать,

прямо чуть не падал со стула. Тогда мне было тринадцать лет, и родители хотели показать меня психиатру, потому что я перебил все окна в гараже. Я их понимаю, честное слово. В ту ночь, как Алли умер, я ночевал в гараже и перебил дочиста все стекла, просто кулаком, не знаю зачем. Я даже хотел выбить стекла в машине — в то лето у нас был «пикап», — но уже разбил себе руку и ничего не мог. Я понимаю, что это глупо, но я сам не соображал, что делаю, а кроме того, вы не знаете, какой был Алли. У меня до сих пор иногда болит рука, особенно в дождь, и кулак я не могу сжать крепко, как следует, но в общем это ерунда. Все равно я не собираюсь стать никаким-то там хирургом или скрипачом, вообще никем таким.

Вот об этом я и написал сочинение для Стрэдлейтера. О бейсбольной рукавице нашего Алли. Она случайно оказалась у меня в чемодане, я ее вытащил и переписал все стихи, которые на ней были. Мне только пришлось переменить фамилию Алли, чтоб никто не догадался, что он мой брат, а не Стрэдлейтер. Мне не особенно хотелось менять фамилию, но я не мог придумать ничего другого. А кроме того, мне даже нравилось писать про это. Сидел я битый час, потому что пришлось писать на дрянной машинке Стрэдлейтера и она все время заедала. А свою машинку я одолжил одному типу в другом коридоре.

Кончил я около половины одиннадцатого. Но не особенно устал и начал глядеть в окошко. Снег перестал, издали слышался звук мотора, который никак не заводился. И еще слышно было, как хрюкал Экли. Даже сквозь душевую был слышен его противный хрюк. У него был гайморит, и он не мог во сне дышать как следует. Все у него было: и гайморит, и прыщи, и гнилые зубы — изо рта пахнет, ногти ломаются. Даже как-то жаль его, дурака.

6

Бывает, что нипочем не можешь вспомнить, как все было. Я все думаю — когда же Стрэдлейтер вернулся со свидания с Джейн? Понимаете, я никак не вспомню, что я делал, когда вдруг услышал его шаги в коридоре, наглые, громкие. Наверно, я все еще смотрел в окно, но вспомнить точно не могу, хоть убей. Ужасно я волновался, потому и не могу вспомнить, как было. А уж если я волнуюсь, так это не притворство. Мне даже хочется в уборную, когда я волнуюсь. Но я не иду. Волнуюсь, оттого и не иду. Никак не перестану волноваться — и никуда не иду. Если бы

вы знали Стрэдлейтера, вы бы тоже волновались. Я раза два ходил вместе с этим подлецом на свидания. Я знаю, про что говорю. У него совести нет ни капли, ей-богу нет.

А в коридоре у нас — сплошной линолеум, так что издали было слышно, как он, мерзавец, подходит к нашей комнате. Я даже не помню, где я сидел, когда он вошел, — в своем кресле, или у окна, или в его кресле. Честное слово, не могу вспомнить.

Он вошел и сразу стал жаловаться, какой холод. Потом спрашивает:

— Куда к черту все пропали? Ни живой души — форменный морг.

Я ему и не подумал отвечать. Если он, болван, не понимает, что в субботу вечером все ушли, или спят, или уехали к родным, чего ради мне лезть вон из кожи и объяснять ему. Он стал раздеваться. А про Джейн — ни слова. Ни единого словечка. И я молчу. Только смотрю на него. Правда, он меня поблагодарил за куртку. Надел ее на плечики и повесил в шкаф.

А когда он развязывал галстук, спросил меня, написал ли я за него это дурацкое сочинение. Я сказал, что вон оно, на его собственной кровати. Он подошел и стал читать, пока расстегивал рубаху. Стоит читает, а сам гладит себя по голой груди с самым идиотским выражением лица. Вечно он гладил себя то по груди, то по животу. Он себя просто обожал.

И вдруг говорит:

— Что за чертовщина, Холден? Тут про какую-то дурацкую рукавицу!

— Ну так что же? — спрашиваю я. Ледяным голосом.

— То есть как это — что же? Я же тебе говорил, надо описать комнату или дом, балда!

— Ты сказал, нужно какое-нибудь описание. Не все ли равно что описывать — рукавицу или еще что?

— Эх, черт бы тебя подрал! — Он разозлился не на шутку. Просто рассвирепел. — Все ты делаешь через ж... кувырком. — Тут он посмотрел на меня. — Ничего удивительного, что тебя отсюда выкинули, — говорит. — Никогда ты ничего не сделаешь по-человечески. Никогда! Понял?

— Ладно, ладно, отдай листок! — говорю. Подошел, выхватил у него этот треклятый листок, взял и разорвал.

— Что за черт? — говорит. — Зачем ты разорвал?

Я ему даже не ответил. Бросил клочки в корзину, и все. Потом лег на кровать, и мы оба долго молчали. Он

разделся, остался в трусах, а я закурил, лежа на кровати. Курить в спальнях не полагается, но поздно вечером, когда одни спят, а другие ушли, никто не заметит, что пахнет дымом. И потом, мне хотелось позлить Стрэдлейтера. Он из себя выходил, когда нарушали правила. Сам он никогда в спальне не курил. А я курил.

Так он и не сказал ни единого словечка про Джейн, ничего. Тогда я сам заговорил:

— Поздно же ты явился, черт побери, если ее отпустили только в девять тридцать. Она из-за тебя не опоздала, вернулась вовремя?

Он сидел на краю своей койки и стриг ногти на ногах, когда я с ним заговорил.

— Самую малость опоздала, — говорит. — А какого черта ей было отпрашиваться только на девять тридцать, да еще в субботу?

О господи, как я его ненавидел в эту минуту!

— В Нью-Йорк ездили? — спрашиваю.

— Ты спятил? Как мы могли попасть в Нью-Йорк, если она отпросилась только в девять тридцать?

— Жаль, жаль! — сказал я.

Он посмотрел на меня.

— Слушай, если тебе хочется курить, шел бы ты в уборную. Ты-то отсюда выметаешься вон, а мне торчать в школе, пока не окончу.

Я на него даже внимания не обратил, будто его и нет. Курю как сумасшедший, и все. Только повернулся на бок и смотрю, как он стрижет свои подлые ногти. Да, ничего себе школа! Вечно при тебе то прыщи давят, то ногти на ногах стригут.

— Ты ей передал от меня привет? — спрашиваю.

— Угу.

Черта лысого он передал, подонок!

— А что она сказала? Ты ее спросил, она по-прежнему ставит все дамки в последний ряд?

— Нет. Не спросил. Что мы с ней — в шашки играли весь вечер, как по-твоему?

Я ничего ему не ответил. Господи, как я его ненавидел!

— Раз вы не ездили в Нью-Йорк, где же вы с ней были? — спросил я немного погодя. Я ужасно старался, чтоб голос у меня не дрожал, как студень. Нервничал я здорово. Видно, чувствовал, что что-то неладно.

Он наконец обрезал ногти. Встал с кровати в одних трусиках и вдруг начал дурака валять. Подошел ко мне, нагнулся и стал меня толкать в плечо — играет, гад.

— Брось, — говорю, — куда же вы девались, раз вы не поехали в Нью-Йорк?

— Никуда. Сидели в машине, и все! — Он опять стал толкать меня в плечо, дурак такой.

— Брось! — говорю. — В чьей машине?

— Эда Бэнки.

Эд Бэнки был наш тренер по баскетболу. Этот Стрэдлейтер ходил у него в любимчиках, он играл центра в школьной команде, и Эд Бэнки всегда давал ему свою машину. Вообще ученикам не разрешалось брать машины у преподавателей, но эти скоты спортсмены всегда заодно. Во всех школах, где я учился, спортсмены заодно.

А Стрэдлейтер все делает вид, будто боксирует с тенью, все толкает меня в плечо и толкает. В руках у него была зубная щетка, и он сунул ее в рот.

— Что ж вы с ней делали? Путались в машине Эда Бэнки? — Голос у меня дрожал просто ужас до чего.

— Ай-ай-ай, какие гадкие слова! Вот я сейчас памажу тебе язык мылом!

— Было дело?

— Это профессиональная тайна, братец мой!

Дальше я что-то не очень помню. Знаю только, что я вскочил с постели, как будто мне понадобилось кое-куда, и вдруг ударил его изо всей силы, прямо по зубной щетке, чтобы она разодрала его подлую глотку. Только не попал. Промахнулся. Стукнул его по голове, и все. Наверно, ему было больно, но не так, как мне хотелось. Я бы его мог ударить больнее, но был я правой рукой, а я ее как следует не могу сжать. Помните, я вам говорил, как я разбил эту руку.

Но тут я очутился на полу, а он сидел на мне красивый как рак. Понимаете, уперся коленями мне в грудь, а весил он целую тонну. Руки мне зажал, чтоб я его не ударил. Убил бы я его, подлеца.

— Ты что, спятил, спятил? — повторяет, а морда у него все краснее и краснее, у болвана.

— Пусти, дурак! — говорю. Я чуть не ревел, честное слово. — Уйди от меня, сволочь поганая, слышишь?

А он не отпускает. Держит мои руки, а я его обзываю сукиным сыном и всякими словами, часов десять подряд. Я даже не помню, что ему говорил. Я ему сказал, что он воображает, будто он может пугаться с кем угодно. Я ему сказал, что ему безразлично, переставляет девчонка шашки или нет, и вообще ему все безразлично, потому что он идиот и кретин. Он ненавидел, когда его обзывали кретином. Кретины ненавидят, когда их называют кретинами.

— Ну-ка, замолчи, Холден! — говорит, а рожа у самого глупая, красная. — Замолчи, слышишь?

— Ты даже не знаешь, как ее зовут — Джин или Джейн, кретин несчастный!

— Замолчи, Холден, тебе говорят, черт подери! — Я его таки вывел из себя. — Замолчи, или я тебе так врежу!

— Сними с меня свои вонючие коленки, болван, идиот!

— Я тебя отпушу — только замолчи! Замолчишь?

Я ему не ответил.

Он опять сказал:

— Если отпущу, ты замолчишь?

— Да.

Он слез с меня, и я тоже встал. От его паршивых коленок у меня вся грудь болела.

— Все равно ты кретин, слабоумный идиот, сукин сын! — говорю.

Тут он совсем взбесился. Тычет мне под нос свой толстый палец, кретин этакий, грозит:

— Холден, в последний раз предупреждаю, если ты не ваткнешь глотку, я тебе так дам...

— А чего мне молчать? — спрашиваю, а сам уже ору на него: — В том-то и беда с вами, кретинами. Вы и поговорить по-человечески не можете. Кретина за сто миль видно: он даже поговорить не умеет.

Тут он развернулся по-настоящему, и я опять очутился на полу. Не помню, потерял я сознание или нет — помоему, нет. Человека очень трудно нокаутировать — это только в кино легко. Но кровь у меня текла из носа отчаянно. Когда я открыл глаза, дурак Стрэдлейтер стоял прямо надо мной. У него в руках был умывальный прибор.

— Я же тебя предупреждал, — говорит. Видно, он здорово перепугался, боялся, должно быть, что я разбил голову, когда грохнулся на пол. Жаль, что я не разбился.

— Сам виноват, черт проклятый! — говорит. Ух, и перепугался же он!

А я и не встал. Лежу на полу и ругаю его идиотом, сукиным сыном. Так был зол на него, что чуть не ревел.

— Слушай, пойди-ка умойся! — говорит он. — Слышишь?

А я ему говорю, пусть сам пойдет умоет свою подлую рожу — конечно, это было глупо, ребячество так говорить, но уж очень я был зол, пусть, говорю, сам пойдет, а по дороге в умывалку пусть прижмет миссис Шмит. А миссис Шмит была жена нашего швейцара, старуха лет под семьдесят.

Так я и сидел на полу, пока дурак Стрэдлейтер не ушел. Я слышал, как он идет по коридору в умывалку. Тогда я встал. И никак не мог отыскать эту треклятую шапку. Потом все-таки нашел. Она закатилась под кровать. Я ее надел, повернул козырьком назад — мне так больше нравилось — и посмотрел на свою дурацкую рожу в зеркало. Никогда в жизни я не видел столько кроввищи! Весь рот у меня был в крови и подбородок, даже вся пижама и халат. Мне и страшно было и интересно. Вид у меня от этой крови был какой-то прожженный. Я и все-го-то дрался раза два в жизни — и оба раза проиграл. Из меня драчун плохой. Я вообще пацифист, если уж говорить всю правду.

Мне казалось, что Экли не спит и все слышит. Я прошел через душевую в его комнату посмотреть, что он там делает. Я к нему редко заходил. У него всегда чем-то вошло — уж очень он был нечистоплотный.

7

Через занавески из душевой чуть-чуть пробивался свет из нашей комнаты, и я видел, что он лежит в постели. Но я отлично знал, что он не спит.

— Экли? — говорю. — Ты спишь?

— Нет.

Было темно, и я споткнулся о чай-то башмак и чуть не полетел через голову. Экли приподнялся на подушке, оперся на локоть. У него все лицо было намазано чем-то белым от прыщей. В темноте он был похож на привидение.

— Ты что делаешь? — спрашиваю.

— То есть как это — что делаю? Хотел уснуть; а вы, черти, подняли тарарам. Из-за чего вы дрались?

— Где тут свет? — Я никак не мог найти выключатель. Шарил по всей стене впустую.

— А зачем тебе свет?.. Ты руку держишь у выключателя.

Я нашел выключатель и зажег свет. Экли заслонил лицо рукой, чтоб свет не резал ему глаза.

— О, ч-черт! — сказал он. — Что с тобой? — Он увидел на мне кровь.

— Поцапались немножко со Стрэдлейтером, — говорю. Потом сол на пол. Никогда у них в комнате не было стульев. Не знаю, что они с ними делали.

— Слушай, хочешь, сыграем разок в канасту? — говорю.

Он страшно увлекался канастой.

— Да у тебя до сих пор кровь идет! Ты бы приложил что-нибудь.

— Само пройдет. Ну как, сыграем в канасту или нет?

— С ума сошел — канаста! Да ты знаешь, который час?

— Еще не поздно. Часов одиннадцать, полдвенадцатого!

— Это, по-твоему, не поздно? — говорит Экли. — Слушай, мне завтра вставать рано, я в церковь иду, черт подери! А вы, дьяволы, подняли бучу среди ночи. Хоть скажи, из-за чего вы подрались?

— Долго рассказывать. Тебе будет скучно слушать, Экли. Видишь, как я о тебе забочусь! — Я с ним никогда не говорил о своих личных делах. Во-первых, он был еще глупее Стрэдлейтера. Стрэдлейтер по сравнению с ним был настоящий гений. — Знаешь что, — говорю, — можно мне эту ночь спать на кровати Эла? Он до завтрашнего вечера не вернется.

Я знал, что Эл не вернется. Он каждую субботу уезжал домой.

— А черт его знает, когда он вернется, — говорит Экли.

Фу, до чего он мне надоел!

— То есть как это? — говорю. — Ты же знаешь, что он в воскресенье до вечера никогда не приезжает.

— Знаю, но как я могу сказать — спи, пожалуйста, на его кровати! Разве полагается так делать?

Убил! Я протянул руку, все еще сидя на полу, и похлопал его, дурака, по плечу.

— Ты принц, Экли, детка, — говорю. — Ты знаешь это или нет?

— Нет, правда, не могу же я просто сказать человеку — спи на чужой кровати.

— Ты настоящий принц. Ты джентльмен и ученый, дитя мое! — сказал я. А может быть, он и был ученый. — У тебя случайно нет сигарет? Если нет — я умру!

— Нет у меня ничего. Слушай, из-за чего началась драка?

Но я ему не ответил. Я только встал и подошел к окну. Мне вдруг стало так тоскливо. Подожнуть хотелось, честное слово.

— Из-за чего же вы подрались? — в который раз спросил Экли. Он мог душу вымотать из человека.

— Из-за тебя, — говорю.

— Что за черт? Как это из-за меня?

— Да, я защищал твою честь. Стрэдлейтер сказал, что ты ужасно противный. Не мог же я ему спустить такую дерзость!

Он так и подскочил.

— Нет, ей-богу? Это правда? Он так и сказал?

Но тут я ему объяснил, что шучу, а потом лег на кровать Эла. Ох, до чего же мне было плохо. Такая тоска, ужасно.

— У вас тут воняет, — говорю. — Отсюда слышно, как твои носки воняют. Ты их отдаешь в стирку или нет?

— Не нравится — иди знаешь куда? — сказал Экли. Вот уж ума палата! — Может быть, потушишь свет, черт возьми?

Но я не сразу потушил. Я лежал на чужой кровати и думал про Джейн и про все, что было. Я просто с ума сходил, как только представлял себе ее со Стрэдлейтером в машине этого толстозадого Эда Бэнки. Как подумаю — так хочется выброситься в окошко. Вы-то не знаете Стрэдлейтера, вам ничего, а я его знаю. Все ребята в Пэнси только трепались, что путаются с девчонками, как Экли например, а вот Стрэдлейтер и вправду путался. Я сам был знаком с двумя девицами, с которыми он путался. Верно говорю.

— Расскажи мне свою биографию, Экли, детка, паверное, это увлекательно! — говорю.

— Да потуши ты этот чертов свет! Мне завтра утром в церковь, понимаешь?

Я встал, потушил свет, раз ему так хочется. Потом опять лег на кровать Эла.

— Ты что — собираешься спать тут? — спросил Экли. Да, радушный хозяин, ничего не скажешь.

— Не знаю. Может быть. Не волнуйся.

— Да я не волнуюсь, только будет ужасно неприятно, если Эл вдруг вернется, а на кровати спят...

— Успокойся. Не буду я тут спать. Не бойся, не злоупотреблю твоим гостеприимством.

Минуты через две он уже храпел как оголтелый. А я лежал в темноте и старался не думать про Джейн и Стрэдлейтера в машине этого проклятого Эда Бэнки. Но я не мог не думать. Плохо то, что я знал, какой подход у этого проклятого Стрэдлейтера. Мне от этого становилось еще хуже. Однажды мы с ним оба сидели с девушками в машине того же Эда. Стрэдлейтер со своей девушкой сидел сзади, а я — впереди. Ох, и подход у него был, у этого чертала! Он начинал с того, что охмурял свою барышню эта-

ким тихим, нежным, ужасно искренним голосом, как будто он был не только очень красивый малый, но еще и хороший, искренний человек. Меня чуть не стошило, когда я услышал, как он разговаривает. Девушка все повторяла: «Нет, не надо... Пожалуйста, не надо. Не надо...» Но Стрэдлейтер все уговаривал ее, голос у него был как у президента Линкольна, ужасно честный, искренний, и вдруг наступила жуткая тишина. Страшно невыносимо. Не знаю, спутался он в тот раз с этой девушкой или нет. Но к тому шло. Безусловно, шло.

Я лежал и старался не думать и вдруг услышал, что этот дурак Стрэдлейтер вернулся из умывалки в нашу комнату. Слышно было, как он убирает свои поганые мыльницы и щетки и открывает окно. Он обожал свежий воздух. Потом он потушил свет. Он и не взглянул, тут я иллюстрирую.

Даже за окном было тоскливо. Ни машин, ничего. Мне стало так одиноко, так плохо, что я решил разбудить Экли.

— Эй, Экли! — сказал я шепотом, чтобы Стрэдлейтер не услыхал.

Но Экли ничего не слышал.

— Эй, Экли!

Он ничего не слышал. Спал как убитый.

— Эй, Экли!

Тут он наконец услыхал.

— Кой черт тебя укусил? — говорит. — Я только что уснул.

— Слушай, как это поступают в монастыры? — спрашивала я. Мне вдруг вздумалось уйти в монастырь. — Надо быть католиком или нет?

— Конечно, надо. Свинья ты, неужели ты меня только для этого и разбудил?

— Ну ладно, спи! Все равно я в монастырь не уйду. При моем невезении я обязательно попаду не к тем монахам. Наверно, там будут одни кретины. Или просто подонки.

Только я это сказал, как Экли вскочил словно ошпаренный.

— Знаешь что, — говорит, — можешь болтать про меня что угодно, но если ты начнешь острить насчет моей религии, черт побери...

— Успокойся, — говорю, — никто твою религию не трогает, черт с ней.

Я встал с чужой кровати, пошел к двери. Не хотелось больше оставаться в этой духоте. Но по дороге я останов

вился, взял Экли за руку и нарочно торжественно пожал ее. Он выдернул руку.

— Это еще что такое?

— Ничего. Просто хотел поблагодарить тебя за то, что ты настоящий принц, вот и все! — сказал я, и голос у меня был такой искренний, честный. — Ты молодчина, Экли, детка, — сказал я. — Знаешь, какой ты молодчина!

— Умничай, умничай! Когда-нибудь тебе разобьют башку...

Но я не стал его слушать. Захлопнул дверь и вышел в коридор.

Все спали, а кто уехал домой на воскресенье, и в коридоре было очень-очень тихо и уныло. У дверей комнаты Леги и Гофмана валялась пустая коробка из-под зубной пасты «Колинос», и по дороге на лестницу я ее все время подкидывал носком, на мне были домашние туфли на меху. Сначала я подумал, не пойти ли мне вниз, дай, думаю, посмотрю, как там мой старик, Мэл Бrossар. Но вдруг передумал. Вдруг я решил, что мне делать: надо выкатываться из Пэнси сию же минуту. Не ждать никакой среды — и все. Ужасно мне не хотелось тут торчать. Очень уж стало грустно и одиноко. И я решил сделать вот что — снять номер в каком-нибудь отеле в Нью-Йорке, в недорогом, конечно, и спокойно пожить там до среды. А в среду вернуться домой: к среде я отдохну как следует, и настроение будет хорошее. Я рассчитал, что мои родители получат письмо от старика Термера насчет того, что меня вытурили, не раньше вторника или среды. Не хотелось возвращаться домой, пока они не получат письмо и не переварят его. Не хотелось смотреть, как они будут читать все это в первый раз. Моя мама сразу впадает в истерику. Потом, когда она переварит, тогда уже ничего. А мне надо было отдохнуть. Нервы у меня стали ни к черту. Честное слово, ни к черту.

Словом, так я и решил. Вернулся к себе в комнату, включил свет, стал укладываться. У меня уже почти все было уложено. А этот Стрэдлейтер и не проснулся. Я закурил, оделся, потом сложил оба своих чемодана. Минуты за две все сложил. Я очень быстро укладываюсь.

Одно меня немножко расстроило, когда я укладывался. Пришлось уложить новые коньки, которые мама прислала мне чуть ли не накануне. Я расстроился, потому что представил себе, как мама пошла в спортивный магазин, стала задавать продавцу миллион чудацких вопросов — а тут меня опять вытурили из школы! Как-то грустно

стало. И коньки она купила не те — мне нужны были беговые, а она купила хоккейные, но все равно мне стало грустно. И всегда так выходит — мне дарят подарки, а меня от этого только тоска берет.

Я все уложил, пересчитал деньги. Не помню, сколько у меня оказалось, но в общем порядочно. Бабушка как раз прислала мне на прошлой неделе перевод. Есть у меня бабушка, она денег не жалеет. У нее, правда, не все дома — ей лет сто, — и она посыпает мне деньги на день рождения раза четыре в год. Но хоть денег у меня было порядочно, я все-таки решил, что лишний доллар не помешает. Пошел в конец коридора, разбудил Фредерика Удрофа, того самого, которому я одолжил свою машинку. Я его спросил, сколько он мне даст за нее. Он был из богатых. Он говорит — не знаю. Говорит — я не собирался ее покупать. Но все-таки купил. Стоила она что-то около девяноста долларов, а он ее купил за двадцать. Да еще злился, что я его разбудил.

Когда я совсем собрался, взял чемоданы и все что надо, я остановился около лестницы и на прощание посмотрел на этот наш коридор. Кажется, я заплакал. Сам не знаю почему. Но потом надел свою охотничью шапку по-своему, задом наперед, и заорал во всю глотку:

— Спокойной ночи, кретины!

Ручаюсь, что я разбудил всех этих ублюдков! Потом побежал вниз по лестнице. Какой-то болван набросал ореховой скорлупы, и я чуть не свернул себе шею ко всем чертям.

Вызывать такси оказалось поздно, пришлось идти на станцию пешком. Вокзал был недалеко, но холод стоял собачий, и по снегу идти было трудно, да еще чемоданы стукали по ногам как нанятые. Но дышать было приятно. Плохо только, что от холодного воздуха саднил нос и верхняя губа — меня по ней двинул Стрэдлейтер. Он мне разбил губу об зубы, это здорово больно. Зато ушам было тепло. На этой моей шапке были наушники, и я их опустил. Плевать мне было, какой у меня вид. Все равно кругом ни души. Все давно храпели.

Мне повезло, когда я пришел на вокзал. Я ждал поезда всего десять минут. Пока ждал, я набрал снегу и вытер лицо.

Вообще я люблю ездить поездом, особенно ночью, когда в вагоне светло, а за окном — темень и по вагону разносят кофе, сандвичи и журналы. Обычно я беру сандвич

с ветчиной и штуки четыре журнала. Когда едешь ночью в вагоне, можно без особого отвращения читать даже идиотские рассказы в журналах. Вы знаете какие. Про всяких показных типов с квадратными челюстями, по имени Дэвид, и показных красоток, которых зовут Линда или Марсия, они еще всегда зажигают этим Дэвидам их дурацкие трубки. Ночью в вагоне я могу читать даже такую дрянь. Но тут не мог. Почему-то неохота было читать. Я просто сидел и ничего не делал. Только снял свою охотничью шапку и сунул в карман.

И вдруг в Трентоне вошла дама и села рядом со мной. Вагон был почти пустой, время позднее, но она все равно села рядом со мной, а не на пустую скамью, потому что я сидел на переднем месте, а у нее была громадная сумка. И она выставила эту сумку прямо в проход, так что кондуктор или еще кто мог об нее споткнуться. Должно быть, она ехала с какого-нибудь приема или бала — на платье были орхиден. Лет ей, вероятно, было около сорока — сорока пяти, но она была очень красивая. Я от женщин балдею. Честное слово. Нет, я вовсе не в том смысле, вовсе я не такой бабник, хотя я довольно-таки впечатительный. Просто они мне нравятся. И вечно они ставят свои дурацкие сумки посреди прохода.

Сидим мы так, и вдруг она говорит:

— Простите, но, кажется, это наклейка школы Пэнси?

Она смотрела наверх, на сетку, где лежали мои чемоданы.

— Да, — говорю я. Ее правда: у меня на одном чемодане действительно осталась школьная наклейка. Дешевка, ничего не скажешь.

— Ах, значит, вы учитесь в Пэнси? — говорит она. У нее был очень приятный голос. Такой хорошо звучит по телефону. Ей бы возить с собой телефончик.

— Да, я там учусь, — говорю.

— Как приятно! Может быть, вы знаете моего сына? Эрнест Морроу — он тоже учится в Пэнси.

— Знаю. Он в моем классе.

А сын ее был самый что ни на есть последний гад во всей этой мерзкой школе. Всегда он после душа шел по коридору и бил всех мокрым полотенцем. Вот какой гад.

— Ну, как мило! — сказала дама. И так просто, без кривляния. Она была очень приветливая. — Непременно скажу Эрнесту, что я вас встретила. Как ваша фамилия?

— Рудольф Шмит, — говорю. Не хотелось рассказывать ей всю свою биографию. А Рудольф Шмит был старик швейцар в нашем корпусе.

— Нравится вам Пэнси? — спросила она.

— Пэнси? Как вам сказать. Там неплохо. Конечно, это не рай, но там не хуже, чем в других школах. Преподаватели там есть вполне добросовестные.

— Мой Эрнест просто обожает школу!

— Да, это я знаю, — говорю я. И начиная наворачивать ей все, что полагается: — Он очень легко уживается. Я хочу сказать, что он умеет ладить с людьми.

— Правда? Вы так считаете? — спросила она. Видно, ей было очень интересно.

— Эрнест? Ну конечно! — сказал я. А сам смотрю, как она снимает перчатки. Ну и колец у нее!

— Только что сломала ноготь в такси, — говорит она. Посмотрела на меня и улыбнулась. У нее была удивительно милая улыбка. Очень милая. Люди ведь вообще не улыбаются или улыбаются как-то противно.

— Мы с отцом Эрнеста часто тревожимся за него, — говорит она. — Иногда мне кажется, что он не очень сходится с людьми.

— В каком смысле?

— Видите ли, он очень чуткий мальчик. Он никогда не дружил по-настоящему с другими мальчиками. Может быть, он ко всему относится серьезнее, чем следовало бы в его возрасте.

«Чуткий»! Бот умора! В крышке от упитаза и то больше чуткости, чем в этом самом Эрнесте.

Я посмотрел на нее. С виду она была вовсе не так глупа. С виду можно было подумать, что она отлично понимает, какой гад ее сынок. Но тут дело темное — я про матерей вообще. Морроу мне понравилась. Очень славная.

— Не хотите ли сигаретку? — спрашиваю.

Она оглядела весь вагон.

— По-моему, это вагон для некурящих, Рудольф! — говорит она. «Рудольф»! Подохнуть можно, честное слово!

— Ничего! Можно покурить, пока на нас не заорут.

Она взяла сигаретку, и я ей дал закурить.

Курила она очень мило. Затягивалась, конечно, но как-то не жадно, не то что другие дамы в ее возрасте. Очень она была обаятельная. И как женщина тоже, если говорить правду.

Вдруг она посмотрела на меня очень пристально.

— Кажется, у вас кровь идет носом, дружочек, — говорит она вдруг.

Я кивнул головой, вытащил носовой платок.

— В меня попали снежком, — говорю, — знаете, с ледышкой.

Я бы, наверное, рассказал ей всю правду, только долго было рассказывать. Но она мне очень понравилась. Я даже пожалел, зачем я сказал, что меня зовут Рудольф Шмит.

— Да, ваш Эрни, — говорю, — он у нас, в Пэнси, общий любимец. Вы это знали?

— Нет, не знала!

Я кивнул головой.

— Мы не сразу в нем разобрались! Он занятный малый. Правда, со странностями — вы меня понимаете? Взять, например, как я с ним познакомился. Когда мы познакомились, мне показалось, что он немного задается. Я так думал сначала. Но он не такой. Просто он очень своеобразный человек, его не сразу узнаешь.

Бедная миссис Морроу ничего не говорила, но вы бы на нее посмотрели! Она так и застыла на месте. С матерями всегда так — им только рассказывай, какие у них великолепные сыновья.

И тут я разошелся вовсю.

— Он вам говорил про выборы? — спрашиваю. — Про выборы в нашем классе?

Она покачала головой. Ей-богу, я просто загипнотизировал ее!

— Понимаете, многие хотели выбрать вашего Эрни старостой класса. Да, все единогласно называли его кандидатуру. Понимаете, никто лучше его не справился бы, — говорю. Ох, и наворачивал же я! — Но выбрали другого — знаете, Гарри Фенсера. И выбрали его только потому, что Эрни не позволил нам выдвинуть его кандидатуру. И все оттого, что он такой скромный, застенчивый. Вы бы его отучили, честное слово! — Я посмотрел на нее. — Разве он вам не рассказывал?

— Нет, не рассказывал.

Я кивнул.

— Это на него похоже. Да, главный его недостаток, что он слишком скромный, слишком застенчивый. Честное слово, вы бы ему сказали, чтоб он не так стеснялся.

В эту минуту вошел кондуктор проверять билет у миссис Морроу, и она мне сделала знак, чтобы я помолчал. А я рад, что я ей все это наговорил. Вообще, конечно, такие типы, как этот Морроу, которые бьют людей мокрым полотенцем, да еще норовят ударить побольнее, такие не только в детстве сволочи, они всю жизнь сволочи. Но я головой ручаюсь, что после моей брехни бедная миссис Морроу будет всегда представлять себе своего сына этаким скромным, застенчивым малым, который даже не позволил нам выдвинуть его кандидатуру. Это вполне воз-

можно. Кто их знает. Матери в таких делах не очень-то разбираются.

— Не угодно ли вам выпить коктейль? — спрашиваю. Мне самому захотелось выпить. — Можно пойти в вагон-ресторан. Пойдемте?

— Но, милый мой, разве вам разрешено заказывать коктейли? — спрашивает она. И ничуть не свысока. Слишком она была славная, чтоб разговаривать свысока.

— Вообще-то не разрешается, но мне подают, потому что я такой высокий, — говорю. — А потом, у меня седые волосы. — Я повернул голову и показал, где у меня седые волосы. Она прямо обалдела. — Правда, почему бы вам не выпить со мной? — спрашиваю. Мне очень захотелось с ней выпить.

— Нет, пожалуй, не стоит. Спасибо, дружочек, но лучше не надо. — говорит. — Да и ресторан, пожалуй, уже закрыт. Ведь сейчас очень поздно, вы это знаете?

Она была права. Я совсем забыл, который час.

Тут она посмотрела на меня и спросила о том, чего я боялся:

— Эрнест мне писал, что он вернется домой в среду, что рождественские каникулы начнутся только в среду. Но ведь вас не вызвали дою срочно, надеюсь, у вас никто не болен?

Видно было, что она действительно за меня волнуется, не просто любопытничает, а всерьез беспокоится.

— Нет, дома у нас все здоровы, — говорю. — Дело во мне самом. Мне надо делать операцию.

— Ах, как жалко! — Я видел, что ей в самом деле меня жалко. А я и сам пожалел, что сморозил такое, но было уже поздно.

— Да ничего серьезного. Просто у меня крохотная опухоль на мозгу.

— Не может быть! — Она от ужаса закрыла рот руками.

— Это ерунда! Опухоль совсем поверхностная. И совсем малюсенькая. Ее за две минуты уберут.

И тут я вытащил из кармана расписание и стал его читать, чтобы прекратить это вранье. Я как начну врать, так часами не могу остановиться. Буквально часами.

Больше мы уже почти не разговаривали. Она читала «Вог», а я смотрел в окошко. Вышла она в Ньюарке. На прощание пожелала мне, чтоб операция сошла благополучно, и все такое. И называла меня Рудольфом. А под конец пригласила приехать летом к Эрни в Глостер, в Массачусетсе. Говорит, что их дом прямо на берегу и там

есть теннисный корт, но я ее поблагодарил и сказал, что уезжаю с бабушкой в Южную Америку. Это я здорово на-врал, потому что наша бабушка даже из дома не выходит, разве что иногда на какой-нибудь утренник. Но я бы все равно не поехал к этому гаду Эрнесту, ни за какие деньги, даже если б деваться было некуда.

9

На Пенсильванском вокзале я первым делом пошел в телефонную будку. Хотелось кому-нибудь звякнуть по телефону. Чемоданы я поставил у будки, чтобы их было видно, но, когда я снял трубку, я подумал, что звонить мне некому. Мой брат, Д. Б., был в Голливуде, Фиби, моя сестренка, ложилась спать часов в девять — ей нельзя было звонить. Она бы не рассердилась, если б я ее разбудил, но вся штука в том, что к телефону подошла бы не она. К телефону подошел бы кто-нибудь из родителей. Значит, нельзя. Я хотел позвонить матери Джейн Галлахер, узнать, когда у Джейн начинаются каникулы, но потом мне расхотелось. И вообще, было поздно туда звонить. Потом я хотел позвонить этой девочке, с которой я довольно часто встречался, — Салли Хейс, я знал, что у нее уже каникулы, она мне написала это самое письмо, сплошная липа, ужасно длинное, приглашала прийти к ней в со-чельник помочь убрать елку. Но я боялся, что к телефону подойдет ее мамаша. Она была знакома с моей матерью, и я представил себе, как она сломя голову хватает трубку и звонит моей матери, что я в Нью-Йорке. Да кроме того, неохота было разговаривать со старухой Хейс по телефону. Она как-то сказала Салли, что я необузданный. Во-первых, необузданный, а во-вторых, что у меня нет цели в жизни. Потом я хотел звякнуть одному типу, с которым мы учились в Хуттонской школе, Карлу Льюсу, но я его недолюбливал. Кончилось тем, что я никому звонить не стал. Минут через двадцать я вышел из автомата, взял чемоданы и пошел через тоннель к стоянке такси.

Я до того рассеянный, что по привычке дал водителю свой домашний адрес. Совсем вылетело из головы, что я решил переждать в гостинице дня два и не появляться дома до начала каникул. Вспомнил я об этом, когда мы уже проехали почти весь парк. Я ему говорю:

— Пожалуйста, поверните обратно, если можно, я вам дал не тот адрес. Мне надо назад, в центр.

Но водитель попался хитрый.

— Не могу, Мак, тут движение одностороннее. Теперь надо ехать до самой Девяностой улицы.

Мне не хотелось спорить.

— Ладно, — говорю. И вдруг вспомнил: — Скажите, вы видали тех уток, на озере у Южного выхода в Центральном парке? На маленьком таком прудике? Может, вы случайно знаете, куда они деваются, эти утки, когда пруд замерзает? Может, вы случайно знаете?

Я, конечно, понимал, что это действительно была бы чистая случайность.

Он обернулся и посмотрел на меня, как будто я ненормальный.

— Ты что, братец, — говорит, — смеешься надо мной, что ли?

— Нет, — говорю, — просто мне интересно узнать.

Он больше ничего не сказал, и я тоже. Когда мы выехали из парка у Девяностой улицы, он обернулся.

— Ну, братец, а теперь куда?

— Понимаете, не хочется заезжать в гостиницу на Ист-Сайд, где могут оказаться знакомые. Я путешествую инкогнито, — сказал я. Ненавижу избитые фразы, вроде «путешествую инкогнито». Но с дураками иначе разговаривать не приходится. — Не знаете ли вы случайно, какой оркестр играет у Тафта или в «Нью-Йорке»?

— Понятия не имею, Мак.

— Ладно, везите меня в «Эдмонт», — говорю. — Может быть, вы не откажетесь по дороге выпить со мной коктейль? Я угощаю. У меня денег куча.

— Нельзя, Мак. Извините.

Да, веселый спутник, нечего сказать. Выдающаяся личность.

Мы приехали в «Эдмонт», и я взял номер. В такси я надел свою красную охотничью шапку просто ради щутки, но в вестибюле я ее снял, чтобы не приняли за психа. Смешно подумать: я тогда не знал, что в этом подлом отеле полным-полно всяких психов. Форменный сумасшедший дом.

Мне дали ужасно унылый номер, он тоску нагонял. Из окна ничего не было видно, кроме заднего фасада гостиницы. Но мне было все равно. Когда настроение скверное, не все ли равно, что там за окошком. Меня провел в номер коридорный — старый-престарый, лет под семьдесят. Он на меня нагонял тоску еще больше, чем этот номер. Бывают такие лысые, которые зачесывают волосы сбоку, чтобы прикрыть лысину. А я бы лучше ходил лысый, чем так причесываться. Вообще, что за работа для

такого старика — носить чужие чемоданы и ждать чаевых? Наверно, он ни на что больше не годился, но все-таки это было ужасно.

Когда он ушел, я стала смотреть в окошко, не снимая пальто. Все равно делать было нечего. Вы даже не представляете, что творилось в корпусе напротив. Там даже не потрудились опустить занавески. Я видел, как один тип, седой приличный господин, в одних трусах, вытворял такое, что вы не поверите, если я вам расскажу. Сначала он поставил чемодан на кровать. А потом вынул оттуда женскую одежду и надел на себя. Настоящую женскую одежду — шелковые чулки, туфли на каблуках, бюстгальтер и такой пояс, на котором болтаются резинки. Потом надел узкое черное платье, вечернее платье, клянусь богом! А потом стал ходить по комнате маленькими шажками, как женщины ходят, и курить сигарету и смотреться в зеркало. Он был совсем один. Если только никого не было в ванной — этого я не видел. А в окошке, прямо над ним, я видел, как мужчина и женщина брызгали друг в друга водой изо рта. Может, и не водой, а коктейлем, я не видел, что у них в стаканах. Сначала он наберет полный рот и как фыркнет прямо на нее! А потом она на него, по очереди, черт их дери! Вы бы на них посмотрели! Хохотут до истерики, как будто ничего смешнее не видали. Я не шучу, в гостинице было полно психов. Я, наверно, был единственным нормальным среди них, а это не так уж много. Чуть не послал телеграмму Стрэдлейтеру, чтоб он первым же поездом выезжал в Нью-Йорк. Он бы тут был королем, в этом отеле.

Плохо то, что на такую пошлятину смотришь не отрываясь, даже когда не хочешь. А эта девица, которой брызгали водой в физиономию, она даже была хорошенъкая. Вот в чем мое несчастье. В душе я, наверно, страшный распутник. Иногда я представляю себе ужасные гадости, и я мог бы даже сам их делать, если бы представился случай. Мне даже иногда кажется, что, может быть, это даже приятно, хоть и гадко. Например, я даже понимаю, что, может быть, занятно, если вы оба пьяны, взять девчонку и с ней плевать друг дружке в физиономию водой или там коктейлем. Но, по правде говоря, мне это и не чуть не нравится. Если разобраться, так это просто пошлятина. По-моему, если тебе нравится девушка, так нечего с ней валять дурака, а если она тебе нравится, так нравится и ее лицо, а тогда не станешь безобразничать и плевать в нее чем попало. Плохо то, что иногда всякие глупости доставляют удовольствие. А сами девчонки тоже

хороши — только мешают, когда стараешься не позволять себе никаких глупостей, чтобы не испортить что-то по-настоящему хорошее. Была у меня одна знакомая девчонка года два назад, она была еще хуже меня. Ох и дрянь же! И все-таки нам иногда бывало занято, хоть и гадко. Вообще я в этих сексуальных делах плохо разбираюсь. Никогда не знаешь, что к чему. Я сам себе придумываю правила поведения и тут же их нарушаю. В прошлом году я поставил себе правило, что не буду возиться с девчонками, от которых меня мутит. И сам нарушил это правило — в ту же неделю, даже в тот же вечер, по правде говоря. Целый вечер целовался с ужасной кривлякой — звали ее Анна Луиза Шерман. Нет, не понимаю я толком про всякий секс. Честное слово, не понимаю.

Я стоял у окна и придумывал, как бы позвонить Джейн. Звякнуть ей по междугородному прямо в колледж, где она училась, вместо того чтобы звонить ее матери и спрашивать, когда она приедет? Конечно, не разрешается звонить студенткам поздно ночью, но я уже придумал. Если подойдут к телефону, я скажу, что я ее дядя. Я скажу, что ее тетя только что разбилась насмерть в машине и я немедленно должен переговорить с Джейн. Наверно, ее позвали бы. Не позвонил я только потому, что настроения не было. А когда настроения нет, все равно ничего не выйдет.

Потом я сел в кресло и выкурил две сигареты. Чувствовал я себя препаршиво, сознаюсь. И вдруг я придумал. Я стал рыться в бумажнике — искать адрес, который мне дал один малый, он учился в Принстоне, я с ним познакомился летом на вечеринке. Наконец я нашел записку. Она порядком измялась в моем бумажнике, но разобрать было можно. Это был адрес одной особы, не то чтобы настоящей шлюхи, но, как говорил этот малый из Принстона, она иногда и не отказывала. Однажды он привел ее на танцы в Принстон, и его чуть за это не вытурили. Она танцевала в кабаре с раздеванием или что-то в этом роде. Словом, я взял трубку и позвонил ей. Звали ее Фей Кэвендиш, и жила она в отеле «Стэнфорд», на углу Шестьдесят шестой и Бродвея. Наверно, какая-нибудь трущоба.

Сначала я решил, что ее нет дома. Никто не отвечал. Потом взяли трубку.

— Алло! — сказал я. Я говорил басом, чтобы она не заподозрила, сколько мне лет. Но вообще голос у меня довольно низкий.

— Алло! — сказал женский голос не очень-то приветливо.

— Это мисс Фей Кэвендиш?

— Да, кто это? — спросила она. — Кто это звонит мне среди ночи, черт возьми!

Я немножко испугался.

— Да, я понимаю, что сейчас поздно, — сказал я взрослым голосом. — Надеюсь, вы меня простите, но мне просто необходимо было поговорить с вами! — И все это таким светским тоном, честное слово!

— Да кто же это? — спрашивала она.

— Вы меня не знаете, но я друг Эдди Бердселла. Он сказал, что, если я окажусь в городе, мы с вами непременно должны встретиться и выпить коктейль вдвоем.

— Кто сказал? Чей вы друг? — Ну и тигрица, ей-богу! Она просто о р а л а на меня по телефону.

— Эдмунда Бердселла, Эдди Бердселла, — повторил я. Я не помнил, как его звали — Эдмунд или Эдвард. Я его только раз и видел на какой-то идиотской вечеринке.

— Не знаю я такого, Джек! И если, по-вашему, мне приятно вскакивать ночью...

— Эдди Бердселл, из Принстона... Помните?

Слышно было, как она повторяет фамилию.

— Бердселл... Бердселл.. Из Принстонского колледжа?

— Да, да! — сказал я.

— А вы тоже оттуда?

— Примерно.

— Ага... А как Эдди? — сказала она. — Все-таки безобразие звонить в такое время!

— Он ничего. Просил передать вам привет.

— Ну спасибо, передайте и ему привет, — сказала она. — Он чудный мальчик. Что он сейчас делает? — Она уже становилась все любезнее и любезнее, черт ее дери.

— Ну, все то же, сами понимаете, — сказал я. Каким чертом я мог знать, что он там делает? Я почти не был с ним знаком. Я даже не знал, учится ли он еще в Принстоне или нет. — Слушайте, — говорю я. — Может быть, мы с вами встретимся сейчас, выпьем коктейль?

— Да вы представляете себе, который час? — сказала она. — И разрешите спросить, как ваше имя? — Она вдруг заговорила с английским акцентом. — Голос у вас что-то очень молодой.

— Благодарю вас за комплимент! — говорю я самым светским тоном. — Меня зовут Холден Колфилд. — Надо было выдумать другую фамилию, но я сразу не сообразил.

— Видите ли, мистер Коффл, я не привыкла назначать свидания по ночам. Я ведь работаю.

- Завтра воскресенье, — говорю.
- Все равно, мне надо хорошенько высаться. Сами понимаете.
- А я думал, мы с вами выпьем хоть один коктейль! И сейчас совсем не так поздно.
- Вы очень милы, право, — говорит она. — Откуда вы говорите? Где вы сейчас?
- Я? Я из автомата.
- Ах, так, — сказала она. Потом долго молчала. — Знаете, я очень рада буду с вами встретиться, мистер Коффл. По голосу вы очень милый человек. У вас удивительно симпатичный голос. Но сейчас все-таки слишком поздно.
- Я могу приехать к вам.
- Что ж, в другое время я сказала бы — чудно! Но моя соседка заболела. Она весь вечер лежала, не могла заснуть. Она только что закрыла глаза, спит. Вы понимаете?
- Да, это плохо.
- Где вы остановились? Может быть, мы завтра встретимся?
- Нет, завтра я не могу. Я только сегодня свободен. Ну и дурак! Не надо было так говорить.
- Что ж, очень жаль!
- Передам от вас привет Эдди.
- Правда, передадите? Надеюсь, вам будет весело в Нью-Йорке. Чудный город.
- Это я знаю. Спасибо. Спокойной ночи, — сказал я и повесил трубку.
- Дурак, сам все испортил. Надо было хоть условиться на завтра, угостить ее коктейлем, что ли.

10

Было еще довольно рано. Не знаю точно, который час, но, в общем, не так уж поздно. Больше всего я нсна-вижу ложиться спать, когда ничуть не устал. Я открыл чемодан, вынул чистую рубашку, пошел в ванную, вымылся и переоделся. Пойду, думаю, посмотрю, что у них там творится в «Сиреневом зале». При гостинице был ночной клуб, назывался «Сиреневый зал».

Пока я переодевался, я подумал, не позвонить ли все-таки моей сестренке Фиби. Ужасно хотелось с ней поговорить. Она-то все понимала. Но нельзя было рисковать звонить домой: все-таки она еще маленькая и, наверно, уже спала и не подошла бы к телефону. Конечно, можно было

бы повесить трубку, если бы подошли родители, но все равно ничего бы не вышло. Они узнали бы меня. Мама всегда догадывается. У нее интуиция. Но мне ужасно хотелось поболтать с нашей Фиби.

Вы бы на нее посмотрели. Такой хорошенькой, умной девчонки вы, наверно, никогда не видели. Умница, честное слово. Понимаете, с тех пор как она поступила в школу, у нее одни отличные отметки — никогда плохих не бывало. По правде говоря, я один в семье такой тупица. Старший мой брат, Д. Б., — писатель, а мой братишка Алли, который умер, тот прямо был колдун. Я один такой тупой. А посмотрели бы вы на Фиби. У нее волосы почти такие же рыжие, как у Алли, летом они совсем коротенькие. Летом она их закладывает за уши. Ушки у нее маленькие, красивые. А зимой ей отпускают волосы. Иногда мама их заплетает, иногда нет, и все равно красиво. Ей всего десять лет. Она худая, вроде меня, но очень складная. Худенькая, как раз для коньков. Однажды я смотрел в окно, как она переходила через улицу в парк, и подумал — как раз для коньков, худенькая, легкая. Вам бы она понравилась. Понимаете, ей что-нибудь скажешь, и она сразу соображает, про что ты говоришь. Ее даже можно брать с собой куда угодно. Например, поведешь ее на плохую картину — она сразу понимает, что картина плохая. А поведешь на хорошую — она сразу понимает, что картина хорошая. Мы с Д. Б. один раз повели ее на эту французскую картину — «Жена пекаря», — там играет Раймю. Она просто обалдела. Но любимый ее фильм — «Тридцать девять ступеней», с Робертом Дауном. Она всю эту картину знает чуть не наизусть: мы вместе смотрели ее раз десять. Например, когда этот самый Даун прячется на шотландской ферме от полицейских, Фиби громко говорит в один голос с этим шотландцем: «Вы едите селедку?» Весь диалог знает наизусть. А когда этот профессор, который на самом деле немецкий шпион, подымает мизинец, на котором не хватает сустава, и показывает Роберту Дауну, наша Фиби еще раньше, чем он, в темноте подымает свой мизинец и тычет прямо мне в лицо. Она ничего. Вам бы она поправилась. Правда, она немножко слишком привязчива. Часто все переживает, не по-детски. Это правда. А потом она все время пишет книжки. Только она их никогда не дописывает. Там все про девочку, по имени Гизела Уэзерфилд, только наша Фиби пишет «Кисела». Эта самая Кисела Уэзерфилд — девочка-сыщик. Она как будто сирота, но потом ее находит отец. А отец у нее «высокий привлекательный джентльмен лет двадцати». Обалдеть можно! Да, наша Фиби, Чест-

ное слово, она бы вам понравилась. Она была еще совсем крошка, а уже умная. Когда она была совсем-совсем маленькая, мы с Алли водили ее в парк, особенно по воскресеньям. У Алли была парусная лодка, он любил ее пускать по воскресеньям, и мы всегда брали с собой нашу Фиби. А она наденет белые перчатки и идет между нами, как настоящая леди. Когда мы с Алли про что-нибудь говорили, она всегда слушала. Иногда мы про нее забудем, все-таки она была совсем маленькая, но она непременно о себе напомнит. Все время вмешивалась. Толкнет меня или Алли и спросит: «А кто? Кто сказал — Бобби или она?» И мы ей ответим, кто сказал, она скажет: «А-а-а!» — и опять слушает как большая. Алли от нее тоже балдел. Я хочу сказать, он ее тоже любил. Теперь ей уже десять, она не такая маленькая, но все равно, от нее все балдеют — кто понимает, конечно.

Во всяком случае, мне очень хотелось поговорить с ней по телефону. Но я боялся, что подойдут родители и узнают, что я в Нью-Йорке и что меня вытурили из школы. Так что я только надел чистую рубашку, а когда переоделся, спустился в лифте в холл — посмотреть, что там делается.

Но там почти никого не было, кроме каких-то сутенеристых типов и шлюховатых блондинок. Слышно было, как в «Сиреневом зале» играет оркестр, и я пошел туда. И хотя там было пусто, мне дали дрянной стол — где-то на задворках. Надо было сунуть офицанту доллар. В Нью-Йорке за деньги все можно, это я знаю.

Оркестр был гнусный, Бадди Сингера. Ужасно громкий — но не по-хорошему громкий, а безобразно громкий. И в зале было совсем мало моих сверстников. По правде сказать, там их и вовсе не было — все больше какие-то расфуфыренные старики со своими дамами. И только за соседним столиком посетители были совсем другие. За соседним столиком сидели три девицы, лет под тридцать. Все три были довольно уродливые, и по их шляпкам сразу было видно, что они приезжие. Но одна, блондинка, была не так уж плоха. Что-то в ней было забавное, но, только я стал на нее поглядывать, подошел официант. Я заказал виски с содовой, но велел не разбавлять — говорил я нарочно быстро, а то, когда мнешься и мямлишь, можно подумать, что ты несовершеннолетний, и тогда тебе спиртного не дадут. И все равно он стал придираться.

— Простите, сэр, — говорит, — но нет ли у вас какого-нибудь удостоверения, что вы — совершеннолетний? Может быть, у вас при себе шоферские права?

Я посмотрел на него ледяным взглядом, как будто он меня смертельно оскорбил, и говорю:

— Разве я похож на несовершеннолетнего?

— Простите, сэр, но у нас есть распоряжение...

— Ладно, ладно, — говорю, а сам думаю: «Ну его к черту!» — Дайте мне кока-колы.

Он стал уходить, но я его позвал:

— Вы не можете подбавить капельку рома? — Я его попросил очень вежливо, ласково. — Как я могу сидеть в таком месте трезвый? Вы не можете подбавить хоть капельку рома?

— Простите, сэр, никак! — и ушел. Но он не виноват. Он может потерять работу, если подаст спиртное несовершеннолетнему. А я, к несчастью, несовершеннолетний.

Опять я стал посматривать на этих ведьм у соседнего столика. Вернее, на блондинку. Те две были страшные, как смертный грех. Но я не глазел как дурак. Наоборот, я их окунул равнодушным взором. И что же, по-вашему, они сделали? Стали хихикать как идиотки! Наверно, решили, что я слишком молод, чтобы строить глазки. Мне стало ужасно досадно — жениться я хочу на них, что ли? Надо было бы обдать их презрением, но мне страшно хотелось танцевать. Иногда мне ужасно хочется потанцевать — и тут захотелось. Я наклонился к ним и говорю:

— Девушки, не хотите ли потанцевать? — Вежливо спросил, очень светским тоном. А они, дуры, всполошились. И опять захихикали. Честное слово, форменные идиотки. — Пойдемте потанцуем! — говорю. — Давайте по очереди. Ну как! Потанцуем? — Ужасно мне хотелось танцевать.

В конце концов блондинка встала, видно поняла, что я обращался главным образом к ней. Мы вышли на площадку. А те два чучела закатились как в истерике. С такими только с горя и свяжешься.

Но игра стояла свеч. Как эта блондинка танцевала! Лучшей танцорки я в жизни не встречал. Знаете, иногда она дура, а танцует как бог. А бывает, что умная девчонка либо сама вас все время направляет, либо так плохо танцует, что только и остается сидеть с ней за столиком и напиваться.

— Вы здорово танцуете! — говорю я блондинке. — Вам надо бы стать профессиональной танцоркой. Честное слово! Я как-то раз танцевал с профессионалкой, но вы во сто раз лучше. Слыхали про Марко и Миранду?

— Что? — Она даже не слушала меня. Все время озиралась.

— Я спросил, вы слыхали про Марко и Миранду?

— Не знаю. Нет. Не слыхала.

— Они танцоры. Она танцовщица. Не очень хорошая.

То есть она делает, что полагается, и все-таки это не очень здорово. Знаете, как почувствовать, что твоя дама здорово танцует?

— Чего это? — переспросила она. Она совершенно меня не слушала, внимания не обращала.

— Я говорю, знаете, как почувствовать, что дама здорово танцует?

— Ага...

— Видите, я держу руку у вас на спине. Так вот, если забываешь, что у тебя под рукой и где у твоей дамы ноги, руки и все вообще, — значит, она здорово танцует!

Она и не слыхала, что я говорю. Я решил замолчать. Мы просто танцевали — и все. Ох, как эта дура танцевала! Бадди Сингер и его дрянной оркестр играли «Есть лишь одно на свете...» — и даже они не смогли испортить эту вещь. Чудесная песня. Танцевал я просто, без фокусов — ненавижу, когда вытворяют всякие фокусы во время танцев, — но я ее совсем закружила, и она слушалась отлично. Я-то, по глупости, думал, что ей тоже приятно танцевать, и вдруг она стала пороть какую-то чушь.

— Знаете, мы с подругами вчера вечером видели Питера Лорре, — говорит. — Киноактера. Живого! Он покупал газету. Такой хорошенъкий!

— Вам повезло, — говорю, — да, вам крупно повезло. Вы это понимаете? — Настоящая идиотка! Но как танцует. Я не удержался и поцеловал ее в макушку, эту дуру, прямо в пробор. А она обиделась!

— Это еще что такое?

— Ничего. Просто так. Вы здорово танцуете, — сказал я. — У меня есть сестренка, она, чертёночок, только в четвертом классе. Вы не хуже ее танцуете, а уж она танцует — чертям тошно!

— Пожалуйста, не выражайтесь!

Тоже мне леди! Королева, черт побери!

— Откуда вы приехали? — спрашиваю. Не отвечает. Глазеет во все стороны — видно, ждет, что явится сам Питер Лорре.

— Откуда вы приехали? — повторяю.

— Чего?

— Откуда вы все приехали? Вы не отвечайте, если вам не хочется. Не утруждайтесь, прошу вас!

— Из Сиэтла, штат Вашингтон, — говорит. Снизошла, сделала мне одолжение!

— Вы отличная собеседница, — говорю. — Вам это известно?

— Чего это?

Я не стал повторять. Все равно до нее не доходит.

— Хотите станцевать джиттербаг, если будет быстрая музыка? Настоящий честный джиттербаг, без глупостей — не скакать, а просто танцевать. Если сыграют быструю, все сядут, кроме старичков и толстячков, нам места хватит. Ладно?

— Мне безразлично, — говорит. — Слушьте, а сколько вам лет?

Мне вдруг стало досадно.

— О, черт, зачем все портить? — говорю. — Мне уже двенадцать. Я только дьявольски большого роста.

— Слушьте, я вас просила не чертыхаться. Ежели будете чертыхаться, я могу уйти к своим подругам, поняли?

Я стал извиняться как сумасшедший, оттого что оркестр заиграл быстрый танец. Она пошла со мной танцевать джиттербаг — очень пристойно, легко. Здорово она танцевала, честное слово. Слушалась — чуть дотронешься. А когда она крутилась, у нее так мило вертелся задик, просто прелесть. Здорово, ей-богу. Я чуть в нее не влюбился, пока мы танцевали. Беда мне с этими девчонками. Иногда на нее и смотреть не хочется, видишь, что она дура дурой, но стоит ей сделать что-нибудь мило, я уже влюблуюсь. Ох, эти девчонки, черт бы их подрал. С ума могут свести.

Меня не пригласили сесть к их столику — от невоспитанности, конечно, а я все-таки сел. Блондинку, с которой я танцевал, звали Бернис Крабс или Кребс. А тех, некрасивых, звали Марти и Лаверн. Я сказал, что меня зовут Джим Стил, нарочно сказал. Пробовал я завести с ними умный разговор, но это оказалось невозможным. Их и силком нельзя было заставить говорить. Одна глупее другой. И все время озираются, как будто ждут, что сейчас в зал ввалится толпа кинозвезд. Они, наверно, думали, что кинозвезды, когда приезжают в Нью-Йорк, все вечера торчат в «Сиреневом зале», а не в «Эль-Марокко» или в «Сторк-клубе». Еле-еле добился, где они работают в своем Сиэтtle. Оказывается, все три работали в одном страховом обществе. Я спросил, нравится ли им их работа, но разве от этих дур можно было чего-нибудь добиться? Я думал, что эти две уродины, Марти и Лаверн, — сестры, но они ужасно обиделись, когда я спросил: Понятно, что каждая не хотела быть похожей на другую, это законно, но все-таки меня смех разбирал.

Я со всеми тремя перетанцевал по очереди. Одна уродина, Лаверн, не так уж плохо танцевала, но вторая, Марти, — убийственно. С ней танцевать — все равно что таскать статую Свободы по залу. Надо было что-то придумать, чтоб не так скучно было таскать ее. И я ей сказал, что Гэри Купер, киноартист, идет вон там по залу.

— Где, где? — Она страшно заволновалась. — Где он?

— Эх, прозевали! Он только что вышел. Почему вы сразу не посмотрели, когда я сказал?

Она даже остановилась и стала смотреть через головы, не видно ли его.

— Где же он? — говорит. Она чуть не плакала, вот что я наделал. Мне ужасно стало жалко — зачем я ее надул. Есть люди, которых нельзя обманывать, хоть они того и стоят.

А смешнее всего было, когда мы вернулись к столику. Марти сказала, что Гэри Купер был здесь. Те две — Лаверн и Бернис — чуть не покончили с собой, когда услыхали. Расстроились, спрашивают Марти, видела ли она его. А Марти говорит — да, только мельком. Вот дурища!

Бар закрывался, и я им заказал по две порции спиртного на брата, а себе две кока-колы. Весь их стол был заставлен стаканами. Одна уродина, Лаверн, все дразнила меня, что пью только кока-колу. Блестящий юмор. Она и Марти пили прохладительное — в декабре, черт меня возьми! Ничего они не понимали. А блондинка, Бернис, дула виски с содовой. Пила как лошадь. И все три то и дело озирались — искали киноактеров. Они даже друг с другом не разговаривали. Эта Марти еще говорила больше других. И все время несла какую-то унылую пошлятину, например уборную называла «одно местечко», а старого облезлого кларнетиста из оркестра называла «душкой», особенно когда он встал и пропищал что-то невнятное. А кларнет называла «дудочкой». Ужасная пошлячка. А вторая уродина, Лаверн, воображала, что она страшно остроумная. Все просила меня позвонить моему папе и спросить, свободен ли он сегодня вечерком. Все спрашивала — не ушел ли мой папа на свидание. Четыре раза спросила — удивительно остроумно. Только Бернис, блондинка, все молчала. Спросишь ее о чем-нибудь, она только переспрашивает: «Чего это?» Просто на нервы действует.

И вдруг они все три допили и встали, говорят — пора спать. Говорят, им завтра рано вставать, они идут на первый сеанс в Радио-сити, в мюзик-холл. Я просил их посыпать немножко, но они не захотели. Пришлось попрощаться. Я им сказал, что отыщу их в Сиэттле, если туда попаду.

Но вряд ли! То есть вряд ли я их стану искать.

За все, вместе с сигаретами, подали счет почти на тридцать долларов. По-моему, они могли хотя бы сказать, что сами заплатят за все, что они выпили до того, как я к ним подсел. Я бы, разумеется, не разрешил им платить, но предложить они могли бы. Впрочем, это ерунда. Уж очень они были глупы, да еще эти жалкие накрученные шляпки. У меня настроение испортилось, когда я подумал, что они хотят рано встать, чтобы попасть на первый сеанс в Радио-сити. Только представить себе, что такая особа в ужасающей шляпке приехала в Нью-Йорк бог знает откуда — из какого-нибудь Сиэтла — только для того, чтобы встать чуть свет и пойти смотреть дурацкую программу в Радио-сити, и от этого так скверно становится на душе, просто вынести невозможно. Я бы им всем троим заказал по сто рюмок, только бы они мне этого не говорили.

После них я сразу ушел из «Сиреневого зала». Все равно он закрывался, и оркестр давно перестал играть. Во-первых, в таких местах скучно сидеть, если не с кем танцевать, а во-вторых, официант не подает ничего, кроме кока-колы. Нет такого кабака на свете, где можно долго высидеть, если нельзя заказать спиртного и напиться. Или если с тобой нет девчонки, от которой ты по-настоящему балдеешь.

11

Вдруг, выходя из холла, я опять вспомнил про Джейн Галлахер. Вспомнил — и уже не мог выкинуть ее из головы. Я уселся в какое-то поганое кресло в холле и стал думать, как она сидела со Стрэдлейтером в машине этого подлого Эда Бэнки, и, хотя я был совершенно уверен, что между ними ничего не было — я-то знал Джейн насеквось, — все-таки я никак не мог выбросить ее из головы. А я знал ее насеквось, честное слово! Понимаете, она не только умела играть в шашки, она любила всякий спорт, и, когда мы с ней познакомились, мы все лето каждое утро играли в теннис, а после обеда — в гольф. Я с ней очень близко сошелся. Не в физическом смысле, конечно, — ничего подобного, а просто мы все время были вместе. И вовсе не надо ухаживать за девчонкой, для того чтобы с ней подружиться.

А познакомился я с ней, потому что их доберман-пинчер всегда бегал в наш палисадник и там гадил, а мою мать это страшно раздражало. Она позвонила матери Джейн и

подняла страшный хай. Моя мама умеет подымать хай из-за таких вещей. А потом случилось так, что через несколько дней я увидел Джейн около бассейна нашего клуба, она лежала на животе, и я с ней поздоровался. Я знал, что она живет рядом с нами, но я никогда с ней не разговаривал. Но сначала, когда я с ней поздоровался, она меня просто обдала холодом. Я из кожи лез, доказывал ей, что мне-то в высшей степени наплевать, где ее собака гадит. Пусть хоть в гостиную бегает, мне все равно. В общем, после этого мы с Джейн очень подружились. Я в тот же день играл с ней в гольф. Как сейчас помню; она потеряла восемь мячей. Да, восемь! Я просто с ней замучился, пока научил ее хотя бы открывать глаза, когда бьешь по мячу! Но я ее здорово патренировал. Я очень хорошо играю в гольф. Если бы сказал вам, во сколько кругов я кончаю игру, вы бы не поверили. Меня раз чуть не сняли для короткометражки, только я в последнюю минуту передумал. Я подумал, что если так ненавидеть кино, как я его ненавижу, так ничего выставляться напоказ и давать себя снимать для короткометражки.

Смешная она была девчонка, эта Джейн. Я бы не сказал, что она была красавица. А мне она нравилась. Такая большеротая. Особенно когда она из-за чего-нибудь волновалась и начинала говорить, у нее рот так и ходил ходуном. Я просто балдел. И она никогда его не закрывала как следует, всегда он был у нее приоткрыт, особенно когда она играла в гольф или читала книжки. Вечно она читала, и все хорошие книжки. Особенно стихи. Кроме моих родных, я ей одной показывал рукавинцу Алли, всю исписанную стихами. Она не знала Алли, потому что только первое лето проводила в Мейне — до этого она ездила на мыс Код, но я ей много чего рассказывал про него. Ей было интересно, она любила про него слушать.

Моей маме она не очень нравилась. Дело в том, что маме казалось, будто Джейн и ее мать относятся к ней свысока, оттого что они не всегда с ней здоровались. Мама их часто встречала в поселке, потому что Джейн ездила со своей матерью на рынок в их машине. Моей маме Джейн даже не казалась хорошенькой. А мне казалась. Мне нравилось, как она выглядит, и все.

Особенно я помню один день. Это было единственный раз, когда мы с Джейн поцеловались, да и то не по-настоящему. Была суббота, и дождь лил как из ведра, а я сидел у них на веранде — у них была огромная застекленная веранда. Мы играли в шашки. Иногда я ее поддразнивал за то, что она не выводила дамки из последнего ряда. Но я ес-

не очень дразнил. Ее как-то дразнить не хотелось. Я-то ужасно люблю дразнить девчонок до слез, когда случай подвернется, но смешно вот что: когда мне девчонка всерьез нравится, совершенно не хочется ее дразнить. Иногда я думаю, что ей хочется, чтоб ее подразнили, я даже наверняка знаю, что хочется, но если ты с ней давно знаком и никогда ее не дразнил, то как-то трудно вдруг начать ее изводить. Так вот, я начал рассказывать про тот день, когда мы с Джейн поцеловались. Дождь лил как оголтелый, мы сидели у них на веранде, и вдруг этот пропойца, муж ее матери, вышел на веранду и спросил Джейн, есть ли сигареты в доме. Я его мало знал, но он был из тех, что будут с тобой разговаривать, только если им что-нибудь от тебя нужно. Отвратительный тип. А Джейн даже не ответила ему, когда он спросил, есть ли в доме сигареты. Он опять спросил, а она спать не ответила. Она даже глаз не подняла с доски. Потом он ушел в дом. А когда он ушел, я спросил Джейн, в чем дело. Она и мне не стала отвечать. Сделала вид, что обдумывает ход. И вдруг на доску капнула слеза. Прямо на красное поле, черт, я как сейчас вижу. А Джейн только размазала слезу пальцем по красному полю, и все. Не знаю почему, но я ужасно расстроился. Встал, подошел к ней и заставил ее потесниться, чтоб сесть с ней рядом, я чуть ли не на колени к ней уселся. И тут она расплакалась по-настоящему — и, прежде чем я мог сообразить, я уже целовал ее куда попало: в глаза, лоб, в нос, в брови, даже в уши. Только в губы не поцеловал, она как-то все время отводила губы. Во всяком случае, больше, чем в тот раз, мы никогда не целовались. Потом она встала, пошла в комнату и надела свой свитер, красный с белым, от которого я просто обалдел, и мы пошли в какое-то дрянное кино.

По дороге я ее спросил, не пристает ли к ней этот мистер Кюдехи — этот самый пьяница. Хотя она была еще маленькая, но фигура у нее была чудесная, и вообще я бы за эту сволочь, этого Кюдехи, не поручился. Она сказала — нет. Так я и не узнал, из-за чего она ревела.

Вы только не подумайте, что она была какая-нибудь ледышка, оттого что мы никогда не целовались и не обнимались. Вовсе нет. Например, мы с ней всегда держались за руки. Я понимаю, что это не в счет, но с ней замечательно было держаться за руки. Когда с другими девчонками держишься за руки, у них рука как мертвая или они все время вертят рукой, будто боятся, что иначе тебе надоест. А Джейн была совсем другая. Придем с ней в какое-нибудь кино и сразу возьмемся за руки и не разнимаемся

ем рук, пока картина не кончится. И даже не думаем ни о чем, не шелохнемся. С Джейн я никогда не беспокоился, потест у меня ладонь или нет. Просто с ней было хорошо. Удивительно хорошо.

И еще я вспомнил одну штуку. Один раз в кино Джейн сделала такую вещь, что я просто обалдел. Шла кинохроника или еще что-то, и вдруг я почувствовал, что меня кто-то гладит по голове, оказалось — Джейн. Удивительно странно все-таки. Ведь она была еще маленькая, а обычно женщины гладят кого-нибудь по голове, когда им уже лет тридцать, и гладят они своего мужа или ребенка. Я иногда гляжу свою сестренку по голове — редко, конечно. А тут она, сама еще маленькая, и вдруг гладит тебя по голове. И это у нее до того мило вышло, что я просто речумел.

Словом, про все про это я и думал — сидел в этом поганом кресле в холле и думал. Да, Джейн. Как вспомню, что она сидела с этим подлым Стрэдлейтером в этой чертовой машине, так схожу с ума. Знаю, она ему ничего такого не позволила, но все равно я с ума сходил. По правде говоря, мне даже вспоминать об этом не хочется.

В холле уже почти никого не было. Даже все шлюховатые блондинки куда-то исчезли. Мне страшно хотелось убраться отсюда к чертям. Тоска ужасная. И я совсем не устал. Я пошел к себе в номер, надел пальто. Выглянул в окно посмотреть, что делают все эти психи, но света нигде не было. Я опять спустился в лифте, взял такси и велел везти себя к Эрни. Это такой ночной кабак в Гринвич-вилледже. Мой брат, Д. Б., ходил туда очень часто, пока не запродался в Голливуд. Он и меня несколько раз брал с собой. Сам Эрни — громадный негр, играет на рояле. Он ужасный сноб и не станет с тобой разговаривать, если ты не знаменитость и не важная шишка, но играет он здорово. Он так здорово играет, что иногда даже противно. Я не умею как следует объяснять, но это так. Я очень люблю слушать, как он играет, но иногда мне хочется перевернуть его проклятый рояль вверх тормашками. Наверно, это оттого, что иногда по его игре слышно, что он задается и не станет с тобой разговаривать, если ты не какая-нибудь шишка.

Такси было старое и воняло так, будто кто-то стравил тут свой ужин. Вечно мне попадаются такие тошнотворные такси, когда я езжу ночью. А тут еще вокруг было так ти-

хо, так пусто, что становилось еще тоскливее. На улице ни души, хоть была суббота. Иногда пройдет какая-нибудь пара обнявшись или хулиганистая компания с девицами, гогочут, как гиены, хоть, наверно, ничего смешного нет. Нью-Йорк вообще страшный, когда ночью пусто и кто-то гогочет. На сто миль слышно. И так становится тоскливо и одиноко. Ужасно хотелось вернуться домой, потрепаться с сестренкой. Но потом я разговорился с водителем. Звали его Горвиц. Он был гораздо лучше того первого шофера, с которым я ехал. Я и подумал, может быть, хоть он знает про уток.

— Слушайте, Горвиц, — говорю, — вы когда-нибудь проезжали мимо пруда в Центральном парке? Там, у Южного выхода?

— Что, что?

— Там пруд. Маленькое такое озерцо, где утки плавают. Да вы, наверно, знаете.

— Ну знаю, и что?

— Видели, там утки плавают? Весной и летом. Вы случайно не знаете, куда они деваются зимой?

— Кто девается?

— Да утки! Может, вы случайно знаете? Может, кто-нибудь подъезжает на грузовике и увозит их или они сами улетают куда-нибудь на юг?

Тут Горвиц обернулся и посмотрел на меня. Он, как видно, был ужасно раздражительный, хотя в общем и ничего.

— Почем я знаю, черт возьми! — говорит. — За каким чертом мне знать всякие глупости?

— Да вы не обижайтесь, — говорю. Видно было, что он ужасно обиделся.

— А кто обижается? Никто не обижается.

Я решил с ним больше не заговаривать, раз его это так раздражает. Но он сам начал. Опять обернулся ко мне и говорит:

— Во всяком случае, рыбы никуда не деваются. Рыбы там и остаются. Сидят себе в пруду, и все.

— Так это большая разница, — говорю, — то рыбы, а я спрашиваю про уток.

— Где тут разница, где? Никакой разницы нет, — говорит Горвиц. И по голосу слышно, что он сердится. — Господи ты боже мой, да рыбам зимой еще хуже, чем уткам. Вы думайте головой, господи боже!

Я помолчал, помолчал, потом говорю:

— Ну ладно. А рыбы что делают, когда весь пруд промерзнет насквозь и по нему даже на коньках катаются?

Тут он как обернется да как заорет на меня:

— То есть как это — что рыбы делают? Сидят себе там, и все!

— Не могут же они не чувствовать, что кругом лед. Они же это чувствуют.

— А кто сказал, что не чувствуют? Никто не говорил, что они не чувствуют! — крикнул Горвиц. Он так нервничал, я даже боялся, как бы он не налетел на столб. — Да они живут в самом льду, понятно! Они от природы такие, черт возьми! Вмерзают в лед на всю зиму, понятно?

— Да? А что же они едят? Если они вмерзают, они же не могут плавать, искать себе еду!

— Да как же вы не понимаете, господи! Их организм сам питается, понятно? Там во льду водоросли, всякая дрянь. У них поры открыты, они через поры всасывают пищу. Их природа такая, господи боже мой! Вам понятно или нет?

— Угу. — Я с ним не стал спорить. Боялся, что он разобьет к черту машину. Раздражительный такой: с ним спорить неинтересно. — Может быть, заедем куда-нибудь, выпьем? — спрашивала.

Но он даже не ответил. Наверно, думал про рыб. Я опять спросил, не выпить ли нам. В общем, он был ничего. Забавный такой старик.

— Некогда мне пить, братец мой! — говорит. — Кстати, сколько вам лет? Чего вы до сих пор спать не ложитесь?

— Не хочется.

Когда я вышел около Эрни и расплатился, старик Горвиц опять заговорил про рыб.

— Слушайте, — говорит, — если бы вы были рыбой, неужели мать-природа о вас не позаботилась бы? Что? Уже не воображаете ли вы, что все рыбы дохнут, когда начинается зима?

— Нет, не дохнут, но...

— Ага! Значит, не дохнут! — крикнул Горвиц и умчался как сумасшедший. В жизни не видел таких раздражительных типов. Что ему ни скажешь, на все обижается.

Даже в такой поздний час у Эрни было полным-полно. Больше всего пижонов из школ и колледжей. Все школы рано кончают перед рождеством, только мне не везет. В гардеробной номерков не хватало, так было тесно. Но стояла тишина — сам Эрни играл на рояле. Как в церкви, ей-богу, стоило ему сесть за рояль — сплошное благоговение, все на него молятся. А по-моему, ни на кого молиться

не стоит. Рядом со мной какие-то пары ждали столиков, и все толкались, становились на цыпочки, лишь бы взглянуть на этого Эрни. У него над роялем висело огромное зеркало, и сам он был освещен прожектором, чтобы все видели его лицо, когда он играл. Рук видно не было — только его физиономия. Здорово заверчено. Не знаю, какую вещь он играл, когда я вошел, но он изгадил всю музыку. Пускал эти дурацкие показные трели на высоких нотах, вообще кривлялся так, что у меня живот заболел. Но вы бы слышали, что вытворяла толпа, когда он кончил. Вас бы, наверное, стошило. С ума посходили. Совершенно как те идиоты в кино, которые гогочут, как гиены, в самых несмешных местах. Клянусь богом, если б я играл на рояле или на сцене и нравился этим болванам, я бы считал это личным оскорблением. На черта мне их аплодисменты? Они всегда не тому хлопают, чему надо. Если бы я был пианистом, я бы заперся в кладовке и там играл. А когда Эрни кончил и все стали хлопать как одержимые, он повернулся на табурете и поклонился этаким деланным, смиренным поклоном. Притворился, что он, мол, не только замечательный пианист, но еще и скромный до чертиков. Все это была сплошная липа — он такой сноб, каких свет не видал. Но мне все-таки было его немножко жаль. Помоему, он сам уже не разбирается, хорошо он играет или нет. Но он тут ни при чем. Виноваты эти болваны, которые ему хлопают, — они кого угодно испортят, им только дай волю. А у меня от всего этого опять настроение стало ужасное, такое гнусное, что я чуть не взял пальто и не вернулся к себе в гостиницу, но было слишком рано, и мне очень не хотелось оставаться одному.

Наконец мне дали этот паршивый стол у самой стенки, за каким-то столбом, — ничего оттуда видно не было. Столик был крохотный, угловой, за него можно было сесть, только если за соседним столом все встанут и пропустят тебя — да разве эти гады встанут? Я заказал виски с содовой, это мой любимый напиток после дайкири со льдом. У Эрни всем подавали, хоть шестилетним, там было почти темно, а кроме того, никому дела не было, сколько тебе лет. Даже на каких-нибудь наркоманов и то внимания не обращали.

Вокруг были одни подонки. Честное слово, не вру. У другого маленького столика, слева, чуть ли не на мне, сидел ужасно некрасивый тип с ужасно некрасивой девицей. Наверно, мои ровесники, может быть, чуть постарше. Смешно было на них смотреть. Они старались пить свою порцию как можно медленнее. Я слушал, о чем они гово-

рят, — все равно делать было нечего. Он рассказывал ей о каком-то футбольном матче, который он видел в этот день. Подробно, каждую минуту игры, честное слово. Такого скучного разговора я никогда не слыхал. И видно было, что его девицу ничуть не интересовал этот матч, но она была ужасно некрасивая, даже хуже него, так что ей ничего не оставалось, как слушать. Некрасивым девушкам очень плохо приходится. Мне их иногда до того жалко, что я даже смотреть на них не могу, особенно когда они сидят с каким-нибудь дурачком, который рассказывает им про свой идиотский футбол. А справа от меня разговор был еще хуже. Справа сидел такой йейльский франт, в сером фланелевом костюме и в очень стильной жилетке. Все эти хлюпушки из аристократических землячеств похожи друг на дружку. Отец хочет отдать меня в Йель или в Принстон, но, клянусь, меня в эти аристократические колледжи никакими силами не заманишь, лучше умереть, честное слово. Так вот, с этим аристократишкой была изумительно красивая девушка. Просто красавица. Но вы бы послушали, о чем они разговаривали. Во-первых, оба слегка подвыпили. Он ее тискал под столом, а сам в это время рассказывал про какого-то типа из их общежития, который съел целую склянку аспирина и чуть не покончил с собой. Девушка все время говорила: «Ах, какой ужас... Не надо, милый... Ну прошу тебя... Только не здесь». Вы только представьте себе — тискать девушку и при этом рассказывать ей про какого-то типа, который собирался покончить с собой! Смех, да и только.

Я уже весь зад себе отсидел, скука была страшная. И делать нечего, только пить и курить. Правда, я велел официанту спросить самого Эрни, не выпьет ли он со мной. Я ему велел сказать, что я — брат Д. Б. Но тот, по-моему, даже не передал ничего. Разве эти скоты когда-нибудь передадут?

И вдруг меня окликнула одна особа:

— Холден Колфилд! — Звали ее Лилиан Симмонс. Мой брат, Д. Б., за ней когда-то ухаживал. Грудь у нее была огромная.

— Привет, — говорю. Я, конечно, пытался встать, но это было ужасно трудно в такой тесноте. С ней пришел морской офицер, он стоял, как будто ему в зад всадили кочергу.

— Как я рада тебя видеть! — говорит Лилиан Симмонс. Врет, конечно. — А как поживает твой старший брат? — Это-то ей и надо было знать.

— Хорошо. Он в Голливуде.

— В Голливуде! Какая прелесть! Что же он там делает?

— Не знаю. Пишет, — говорю. Мне не хотелось распро страняться. Видно было, что она считает огромной удачей, что он в Голливуде. Все так считают, особенно те, кто никогда не читал его рассказов. А меня это бесит.

— Как увлекательно! — говорит Лилиан и знакомит меня со своим моряком. Звали его капитан Блоп или что то в этом роде. Он из тех, кто думает, что его будут считать бабой, если он не сломает вам все сорок пальцев, когда жмет руку. Фу, до чего я это ненавижу! — Ты тут один, малыш? — спрашивает Лилиан. Она загораживала весь проход, и видно было, что ей нравится никого не пропускать. Офицант стоял и ждал, когда же она отойдет, а она и не замечала его. Удивительно глупо. Сразу было видно, что официальному она ужасно не нравилась, наверно, и моряку она не нравилась, хоть он и привел ее сюда. И мне она не нравилась. Никому она не нравилась. Даже стало немножко жаль ее.

— Разве у тебя нет девушки, малыш? — спрашивает.

Я уже встал, а она даже не потрудилась сказать, чтоб я сел. Такие могут часами продержать тебя на ногах. — Правда, он хорошенъкий? — спросила она моряка. — Холден, ты с каждым днем хорошеешь!

Тут моряк сказал ей, чтобы она проходила. Он сказал, что она загородила весь проход.

— Пойдем сядем с нами, Холден, — говорит она. — Возьми свой стакан.

— Да я уже собираюсь уходить, — говорю я. — У меня свидание.

Видно было, что она ко мне подлизывается, чтобы я потом рассказал про нее Д. Б.

— Ах ты чертёноч! Ну молодец! Когда увидишь своего старшего брата, скажи, что я его ненавижу!

И она ушла. Мы с моряком сказали, что очень рады были познакомиться. Мне всегда смешно. Вечно я говорю «очень приятно с вами познакомиться», когда мне ничуть не приятно. Но если хочешь жить с людьми, приходится говорить всяческое.

Мне ничего не оставалось делать, как только уйти — я ей сказал, что у меня свидание. Даже нельзя было остаться послушать, как Эрни играет что-то более или менее пристойное. Но не сидеть же мне с этой Лилиан Симmons и с ее моряком — скука смертная! Я и ушел. Но я ужасно злился, когда брал пальто. Вечно люди тебе все портят.

Я пошел пешком до самого отеля. Сорок один квартал — не шутка! И не потому я пошел пешком, что мне хотелось погулять, а просто потому, что ужасно не хотелось опять садиться в такси. Иногда надоедает ездить в такси, даже подыматься на лифте и то надоедает. Вдруг хочется идти пешком, хоть и далеко или высоко. Когда я был маленьким, я часто подымался пешком до самой нашей квартиры. На двенадцатый этаж.

Непохоже было, что недавно шел снег. На тротуарах его совсем не было. Но холод стоял жуткий, и я вытащил свою охотничью шапку из кармана и надел ее — мне было безразлично, какой у меня вид. Я даже наушники опустил. Эх, знал бы я, кто стащил мои перчатки в Пэнси! У меня здорово мерзли руки. Впрочем, даже если б я знал, я бы все равно ничего не сделал. Я по природе трус. Стараюсь не показывать, но я трус. Например, если бы я узнал в Пэнси, кто украл мои перчатки, я бы, наверно, пошел к этому жулику и сказал: «Ну-ка, отдай мои перчатки!» А жулик, который их стащил, наверно, сказал бы самым невинным голосом: «Какие перчатки?» Тогда я, наверно, открыл бы его шкаф и нашел там где-нибудь свои перчатки. Они, наверно, были бы спрятаны в его поганых галошах. Я бы их вынул и показал этому типу и сказал: «Может быть, это твои перчатки?» А этот жулик, наверно, притворился бы этаким невинным младенцем и сказал: «В жизни не видел этих перчаток. Если они твои, бери их, пожалуйста, на черта они мне?»

А я, наверно, стоял бы перед ним минут пять. И перчатки держал бы в руках, а сам чувствовал бы — надо ему дать по морде, разбить ему морду, и все. А храбости у меня не хватило бы. Я бы стоял и делал злое лицо. Может быть, я сказал бы ему что-нибудь ужасно обидное — это вместо того, чтобы разбить ему морду. Но возможно, что, если б я ему сказал что-нибудь обидное, он бы встал, подошел ко мне и сказал: «Слушай, Колфилд, ты, кажется, назвал меня жуликом?» И вместо того чтобы сказать: «Да, назвал, грязная ты скотина, мерзавец!» — я бы, наверно, сказал: «Я знаю только, что эти чертовы перчатки оказались в твоих галошах!» И тут он сразу понял бы, что я его бить не стану, и, наверно, сказал бы: «Слушай, давай начистоту: ты меня обзываешь вором, да?» И я ему, наверно, ответил бы: «Никто никого вором не обзывал. Знаю только, что мои перчатки оказались в твоих поганых галошах». И так до бесконечности.

В конце концов я, наверно, вышел бы из его комнаты и даже не дал бы ему по морде. А потом я, наверно, пошел бы в уборную, выкурил бы тайком сигарету и делал бы перед зеркалом свирепое лицо. В общем, я про это думал всю дорогу, пока шел в гостиницу. Неприятно быть трусом. Возможно, что я не совсем трус. Сам не знаю. Может быть, я отчасти трус, а отчасти мне наплевать, пропали мои перчатки или нет. Это мой большой недостаток — мне плевать, когда у меня что-нибудь пропадает. Мама просто из себя выходила, когда я был маленький. Другие могут целыми днями искать, если у них что-то пропало. А у меня никогда не было такой вещи, которую я бы пожалел, если бы она пропала. Может быть, я поэтому и трусоват. Впрочем, это не оправдание. Совершенно не оправдание. Вообще нельзя быть трусом. Если ты должен кому-то дать в морду и тебе этого хочется, надо бить. Но я не могу. Мне легче было бы выкинуть человека из окошка или отрубить ему голову топором, чем ударить по лицу. Ненавижу кулачную расправу. Лучше уж пусть меня бьют — хотя мне это все не по вкусу, сами понимаете, — но я ужасно боюсь бить человека по лицу, лица его боюсь. Не могу смотреть ему в лицо, вот беда. Если б хоть нам обоим завязать глаза, было бы не так противно. Странная трусость, если подумать, но все же это трусость. Я себя не обманываю.

И чем больше я думал о перчатках и о трусости, тем сильнее у меня портилось настроение, и я решил по дороге зайти куда-нибудь выпить. У Эрни я выпил всего три порции, да и то третью не допил. Одно могу сказать — пить я умею. Могу хоть всю ночь пить, и ничего не будет заметно, особенно если я в настроении. В Хуттонской школе мы с одним приятелем, с Реймондом Голдфарбом, купили пинту виски и выпили ее в капелле в субботу вечером, там никто не видел. Он был пьян как стелька, а по мне ничего не было заметно, я только держался очень независимо и беспечно. Меня стошило, когда я ложился спать, но это я нарочно — мог бы и удержаться.

Словом, по дороге в гостиницу я совсем собрался зайти в какой-то захудалый бар, но оттуда вывалились двое совершенно пьяных и стали спрашивать, где метро. Один из них, настоящий испанец с виду, все время дышал мне в лицо воюющим перегаром, пока я объяснял, как им пройти. Я даже не зашел в этот гнусный бар, а вернулся к себе.

В холле — ни души, только застояльный запах пятидесяти миллионов сигарных окурков. Вонища. Спать мне не хотелось, но чувствовал я себя прескверно. Настроение убийственное. Жить не хотелось.

И тут я влип в ужасную историю.
Не успел я войти в лифт, как лифтер сказал:
— Желаете развлечься, молодой человек? А может, вам уже поздно?
— Вы о чем? — спрашиваю. Я совершенно не понял, куда он клонит.
— Желаете девочку на ночь?
— Я? — говорю. Это было ужасно глупо, но неловко, когда тебя прямо так и спрашивают.
— Сколько вам лет, шеф? — говорит он вдруг.
— А что? — говорю. — Мне двадцать два.
— Ага. Ну так как же? Желаете? Пять долларов на время, пятнадцать за ночь. — Он взглянул на часы. — До двенадцати дня. Пять на время, пятнадцать за ночь.
— Ладно, — говорю. Принципиально я против таких вещей, но меня до того тоска заела, что я даже не подумал. В том-то и беда: когда тебе скверно, ты даже думать не можешь.
— Что ладно? На время или на всю ночь?
— На время, — говорю.
— Идет. А в каком вы номере?
Я посмотрел на красный номерок на ключе.
— Двенадцать двадцать два, — говорю. Я уже жалел, что затеял все это, но отказываться было поздно.
— Ладно, пришлю ее минут через пятнадцать. — Он открыл двери лифта, и я вышел.
— Эй, погодите, а она хорошенъкая? — спрашиваю. — Мне старухи не надо.
— Какая там старуха! Не беспокойтесь, шеф!
— А кому платить?
— Ей, — говорит. — Пустите-ка, шеф! — И он захлопнул дверь прямо перед моим носом.

Я вошел в номер, примочил волосы, но я ношу ежик, его трудно как следует пригладить. Потом я попробовал, пахнет ли у меня изо рта от всех этих сигарет и от виски с содовой, которое я выпил у Эрни. Это просто: надо приставить ладонь ко рту и дыхнуть вверх, к носу. Пахло не очень, но я все-таки почистил зубы. Потом надел чистую рубашку. Я не знал, надо ли переодеваться ради прости-тутки, но так хоть дело нашлось, а то я что-то нервничал. Правда, я уже был немного возбужден и все такое, но все же нервничал. Если уж хотите знать правду, так я девственник. Честное слово. Сколько раз представлялся случай потерять невинность, но так ничего и не вышло. Вечно что-нибудь мешает. Например, если ты у девчонки дома, так родители приходят не вовремя, вернее, боишься, что

они придут. А если сидишь с девушкой в чьей-нибудь машине на заднем сиденье, так впереди обязательно сидит другая девчонка, и ей тоже интересно, что там такое творится. Понимаете, она все время оборачивается и смотрит, что у нас делается. Словом, всегда что-нибудь мешает. Всегда раза два это чуть-чуть не случилось. Особенно один раз, это я помню. Но что-то помешало, только я уже забыл, что именно. Главное, что как только дойдет до этого — так девчонка, если она не проститутка или вроде того, обязательно скажет: «Не надо, перестань». И вся беда в том, что я ее слушаюсь. Другие не слушаются. А я не могу. Я слушаюсь. Никогда не знаешь — ей и вправду не хочется, или она просто боится, или она нарочно говорит «перестань», чтобы ты был виноват, если что случится, а не она. Словом, я сразу слушаюсь. Главное, мне их всегда жалко. Понимаете, девчонки такие дуры, просто беда. Их как начнешь целовать и все такое, они сразу теряют голову. Вы поглядите на девчонку, когда она как следует расплаксалась, — дура дурой! Я и сам не знаю, они говорят «не надо», а я их слушаюсь. Потом жалеешь, когда проводишь ее домой, но все равно я всегда слушаюсь.

А тут, пока я менял рубашку, я подумал, что наконец представился случай. Подумал, раз она проститутка, так, может быть, я у нее хоть чему-нибудь научусь — а вдруг мне когда-нибудь придется жениться? Меня это иногда беспокоит. В Хуттонской школе я как-то прочитал одну книжку про одного ужасно утонченного, изящного и распутного типа. Его звали мосье Бланшар, как сейчас помню. Книжка гадостная, но этот самый Бланшар ничего. У него был здоровенный замок на Ривьере, в Европе, и в свободное время он главным образом лупил палкой каких-то баб. Вообще он был храбрый и все такое, но женщины он избивал до потери сознания. В одном месте он говорит, что тело женщины — скрипка и что надо быть прекрасным музыкантом, чтобы заставить его звучать. В общем, дрянная книжица — это я сам знаю, — но эта скрипка никак у меня не выходила из головы. Вот почему мне хотелось немножко подучиться, на случай если я женюсь. Колфилд и его волшебная скрипка, черт возьми! В общем, пошлятина, а может быть, и не совсем. Мне бы хотелось быть опытным во всяких таких делаах. А то, по правде говоря, когда я с девчонкой, я и не знаю как следует, что с ней делать. Например, та девчонка, про которую я рассказывал, что мы с ней чуть не спутались, так я битый час возился, пока стащил с нее этот проклятый лифчик. А когда наконец стащил, она мне готова была плюнуть в глаза,

Ну так вот, я ходил по комнате и ждал, пока эта проститутка придет. Я все надеялся — хоть бы она была хорошенькая. Впрочем, мне было все равно. Лишь бы это поскорее кончилось. Наконец кто-то постучал, и я пошел открывать, но чемодан стоял на самой дороге, и я об него споткнулся и грохнулся так, что чуть не сломал ногу. Всегда я выбираю самое подходящее время, чтобы споткнуться обо что-нибудь.

Я открыл двери — и за ними стояла эта проститутка. Она была в спортивном пальто, без шляпы. Волосы у нее были светлые, но, видно, она их подкрашивала. И вовсе не старая.

— Здравствуйте! — говорю самым светским тоном, будь я неладен.

— Это про вас говорил Морис? — спрашивает. Вид у нее был не очень-то приветливый.

— Это лифтер?

— Лифтер, — говорит.

— Да, про меня. Заходите, пожалуйста! — говорю. Я разговаривал все непринужденней, ей-богу! Чем дальше, тем непринужденней.

Она вошла, сразу сняла пальто и швырнула его на кровать. На ней было зеленое платье. Потом она села как-то бочком в кресло у письменного стола и стала качать ногой вверх и вниз. Положила ногу на ногу и качает одной ногой то вверх, то вниз. Нервничает, даже не похоже на проститутку. Наверно, оттого, что она была совсем девчонка, ей-богу. Чуть ли не моложе меня. Я сел в большое кресло рядом с ней и предложил ей сигарету.

— Не курю, — говорит. Голос у нее был тонкий-претонкий. И говорит еле слышно. Даже не сказала «спасибо», когда я предложил сигарету. Видно, ее этому не учили.

— Разрешите представиться, — говорю. — Меня зовут Джим Стил.

— Часы у вас есть? — говорит. Плевать ей было, как меня зовут. — Слушайте, — говорит, — а сколько вам лет?

— Мне? Двадцать два.

— Будет врать-то!

Странно, что она так сказала. Как настоящая школьница. Можно было подумать, что проститутка скажет: «Да, как же, черта лысого!» или «Брось заливать!», а не поддетски: «Будет врать-то!»

— А вам сколько? — спрашиваю.

— Сколько надо! — говорит. Даже острит, подумай-те! — Часы у вас есть? — спрашивает, потом вдруг встает и снимает платье через голову.

Мне стало ужасно не по себе, когда она сняла платье. Так неожиданно, честное слово. Знаю, если при тебе вдруг снимают платье через голову, так ты должен что-то испытывать, какое-то возбуждение или вроде того, но я ничего не испытывал. Наоборот — я только смущился и ничего не почувствовал.

— Часы у вас есть?

— Нет, — говорю. Ох, как мне было неловко. — Как вас зовут? — спрашиваю. На ней была только розовая рубашонка. Ужасно неловко. Честное слово, неловко.

— Санни, — говорит. — Ну, давай-ка.

— А разве вам не хочется сначала поговорить? — спросил я. Ребячество, конечно, но мне было ужасно неловко. — Разве вы так спешите?

Она посмотрела на меня как на сумасшедшего.

— О чем тут разговаривать? — спрашивает.

— Не знаю. Просто так. Я думал — может быть, вам хочется поболтать.

Она опять села в кресло. Но ей это не нравилось. Опять стала качать ногой — очень нервная девчонка!

— Может быть, хотите сигарету? — спрашиваю. Забыл, что она не курит.

— Я не курю. Слушайте, если у вас есть о чем поговорить — говорите. Мне некогда.

Но я совершенно не знал, о чем с ней говорить. Хотел было спросить, как она стала проституткой, но побоялся. Все равно она бы мне не сказала.

— Вы сами не из Нью-Йорка? — говорю. Больше я ничего не мог придумать.

— Нет, из Голливуда, — говорит. Потом встала и подошла к кровати, где лежало ее платье. — Плечики у вас есть? А то как бы платье не измялось.

— Конечно, есть! — говорю.

Я ужасно обрадовался, что нашлось какое-то дело. Взял ее платье, повесил его в шкаф на плечики. Странное дело, но мне стало как-то грустно, когда я его вешал. Я себе представил, как она заходит в магазин и покупает платье и никто не подозревает, что она проститутка. Приказчик, паверно, подумал, что она просто обыкновенная девочка, и все. Ужасно мне стало грустно, сам не знаю почему.

Потом я опять сел, стараясь завести разговор. Но разве с такой собеседницей поговоришь?

— Вы каждый вечер работаете? — спрашиваю и сразу понял, что вопрос ужасный.

— Ага, — говорит. Она уже ходила по комнате. Взяла меню со стола, прочла его.

— А днем вы что делаете?

Она пожала плечами. А плечи худые-худые.

— Сплю. Хожу в кино. — Она положила меню и посмотрела на меня. — Слушай, чего ж это мы? У меня времени нет...

— Знаете что? — говорю. — Я себя неважно чувствую. День был трудный. Честное благородное слово. Я вам заплачу и все такое, но вы на меня не обидитесь, если ничего не будет? Не обидитесь?

Плохо было то, что мне ни черта не хотелось. По правде говоря, на меня тоска напала, а не какое-нибудь возбуждение. Она нагоняла на меня жуткую тоску. А тут еще ее зеленое платье висит в шкафу. Да и вообще, как можно этим заниматься с человеком, который полдня сидит в каком-нибудь идиотском кино? Не мог я, и все, честное слово.

Она подошла ко мне и так странно посмотрела, будто не верила.

— А в чем дело? — спрашивает.

— Да ни в чем, — говорю. Тут я и сам стал нервничать. — Но я совсем недавно перенес операцию.

— Ну? А что тебе резали?

— Это самое — ну, клавикорду!

— Да? А где же это такое?

— Клавикорда? — говорю. — Знаете, она фактически внутри, в спинномозговом канале. Очень, знаете, глубоко, в самом спинном мозгу.

— Да? — говорит. — Это скверно! — И вдруг плюхнулась ко мне на колени. — А ты хорошенъкий.

Я ужасно нервничал. Врал вовсю:

— Я еще не совсем поправился, — говорю.

— Ты похож на одного артиста в кино. Знаешь? Ну как его? Да ты знаешь. Как же его зовут?

— Не знаю, — говорю. А она никак не слезает с моих колен.

— Да нет, знаешь! Он был в картине с Мелвином Дугласом. Ну тот, который играл его младшего брата. Тот, что упал с лодки. Вспомнил?

— Нет, не вспомнил. Я вообще почти не хожу в кино.

Тут она вдруг стала баловаться. Грубо так, понимаете.

— Перестаньте, пожалуйста, — говорю. — Я не в настроении. Я же вам сказал — я только что перенес операцию.

Она с моих колен не встала, но вдруг покосилась на меня — а глаза злющие-презлющие.

— Слушай-ка, — говорит, — я уже спала, а этот чертов

Морис меня разбудил. Что я, по-твоему...

— Да я же сказал, что заплачу вам. Честное слово, заплачу. У меня денег уйма. Но я только что перенес серьезную операцию, я еще не поправился.

— Так какого же черта ты сказал этому дураку Морису, что тебе нужно девочку? Раз тебе оперировали эту твою, как ее там... Зачем ты сказал?

— Я думал, что буду чувствовать себя много лучше. Но я слишком преждевременно понадеялся. Серьезно говорю. Не обижайтесь. Вы на минутку встаньте, я только возьму бумажник. Встаньте на минутку!

Злая она была как черт, но все-таки встала с моих колен, так что я смог подойти к шкафу и достать бумажник. Я вынул пять долларов и подал ей.

— Большое спасибо, — говорю. — Огромное спасибо.

— Тут пять. А цена — десять.

Видно было, она что-то задумала. Недаром я боялся, я был уверен, что так и будет.

— Морис сказал: пять, — говорю. — Он сказал: до утра пятнадцать, а на время пять.

— Нет, десять.

— Он сказал — пять. Простите, честное слово, но больше я не могу.

Она покала плечами, как раньше, очень презрительно.

— Будьте так добры, дайте мое платье. Если только вам не трудно, конечно!

Жуткая девчонка. Говорит таким тонким голоском, и все равно с ней жутковато. Если бы она была толстая старая проститутка, вся намазанная, было бы не так жутко.

Достал я ее платье. Она его надела, потом взяла пальтишко с кровати.

— Ну пока, дурачок! — говорит.

— Пока! — говорю. Я не стал ее благодарить. И хорошо, что не стал.

14

Она ушла, а я сел в кресло и выкурил две сигареты подряд. За окном уже светало. Господи, до чего мне было плохо. Такая тощица, вы себе представить не можете. И я стал разговаривать вслух с Алли. Я с ним часто разговариваю, когда меня тоска берет. Я ему говорю — пускай возьмет свой велосипед и ждет меня около дома Бобби Феллона. Бобби Феллон жил рядом с нами в Мейне — тогда, давно. И случилось вот что: мы с Бобби решили ехать к озеру Седебиго на велосипедах. Собирались взять

с собой завтрак и все, что надо, и наши мелкокалиберные ружья — мы были совсем мальчишки, думали, из мелкокалиберных можно настрелять дичи. В общем, Алли услыхал, как мы договаривались, и стал проситься с нами, а я его не взял, сказал, что он еще маленький. А теперь, когда меня берет тоска, я ему говорю: «Ладно, бери велосипед и жди меня около Бобби Феллона. Только не копайся!»

И не то чтоб я его никогда не брал с собой. Нет, брал. Но в тот день не взял. А он ничуть не обиделся — он никогда не обижался, — но я всегда про это вспоминаю, особенно когда становится очень уже тоскливо.

Наконец я все-таки разделся и лег. Лег и подумал: помолиться, что ли? Но ничего не вышло. Не могу я молиться, даже когда мне хочется. Во-первых, я отчасти атеист. Христос мне в общем нравится, но вся остальная муть в Библии — не особенно. Взять, например, апостолов. Меня они, по правде говоря, раздражают до чертиков. Конечно, когда Христос умер, они вели себя ничего, но, пока он жил, ему от них было пользы как от дыры в башке. Все время они его подводили. Мне в Библии меньше всего нравятся эти апостолы. Сказать по правде, после Христа я больше всего люблю в Библии этого чудачка, который жил в пещере и все время царапал себя камнями и так далее. Я его, дурака несчастного, люблю в десять раз больше, чем всех этих апостолов. Когда я был в Хуттонской школе, я вечно спорил с одним типом на нашем этаже, с Артуром Чайлдсом. Этот Чайлдс был квакер и вечно читал Библию. Он был славный малый, я его любил, но мы с ним расходились во мнениях насчет Библии, особенно насчет апостолов. Он меня уверял, что если я не люблю апостолов, значит, я и Христа не люблю. Он говорит, раз Христос сам выбрал себе апостолов, значит, надо их любить. А я говорил — знаю, да, он их выбрал, но выбрал-то он их случайно. Я говорил, что Христу некогда было в них разбираться и я вовсе Христа не виню. Разве он виноват, что ему было некогда? Помню, я спросил Чайлдса, как он думает — Иуда, который предал Христа, попал он в ад, когда покончил с собой, или нет? Чайлдс говорит — конечно, попал. И тут я с ним никак не мог согласиться. Я говорю: готов поставить тысячу долларов, что никогда Христос, не отправил бы этого несчастного Иуду в ад! Я бы и сейчас прозакладывал тысячу долларов, если бы они у меня были. Вот апостолы, те, наверно, отправили бы Иуду в ад — и не задумались бы! — а вот Христос — нет, головой ручаюсь. Этот Чайлдс говорил, что я так думаю потому, что не хожу в церковь. Что правда, то правда. Не хожу.

Во-первых, мои родители — разной веры, и все дети у нас в семье — атеисты. Честно говоря, я священников просто терпеть не могу. В школах, где я учился, все священники как только начнут проповедовать, у них голоса становятся масленые, противные. Ох, ненавижу! Не понимаю, какого черта они не могут разговаривать нормальными голосами. До того кривляются, слушать невозможно.

Словом, когда я лег, мне никакие молитвы на ум не шли. Только начну припоминать молитву — тут же слышу голос этой Санни, как она меня обзывают дурачком. В конце концов я сел на постель и выкурил еще сигарету. Наверно, я выкурил не меньше двух пачек после отъезда из Пэнси.

И вдруг кто-то постучался. Я надеялся, что стучат не ко мне, но я отлично понимал, что это именно ко мне. Не знаю почему, но я сразу понял, кто это. Я очень чуткий.

— Кто там? — спрашиваю. Я здорово перепугался. В этих делах я трусоват.

Опять постучали. Только еще громче.

Наконец я встал, в одной пижаме, и открыл двери. Даже не пришлось включать свет — уже было утро. В дверях стояла эта Санни и Морис, прыщеватый лифтер.

— Что такое? — спрашиваю. — Что вам надо? — Голос у меня ужасно дрожал.

— Пустяк, — говорит этот Морис. — Всего пять долларов. — Он говорил за обоих, а девчонка только стояла, разинув рот, и все.

— Я ей уже заплатил, — говорю. — Я ей дал пять долларов. Спросите у нее. — Ох, как у меня дрожал голос.

— Надо десять, шеф. Я вам говорил. Десять на время, пятнадцать до утра. Я же вам говорил.

— Неправда, не говорили. Вы сказали — пять на время. Да, вы сказали, что за ночь пятнадцать...

— Выкладывайте, шеф!

— За что? — спрашиваю. Господи, у меня так колотилось сердце, что вот-вот выскочит. Хоть бы я был одет. Невыносимо стоять в одной пижаме, когда случается такое.

— Ну давайте, шеф, давайте! — говорит Морис. Да как толкнет меня своей грязной лапой — я чуть не грохнулся на пол, сильный он был, сукин сын. И не успел я оглянуться, они оба уже стояли в комнате. Вид у них был такой, будто это их комната. Санни уселась на подоконник, Морис сел в кресло и расстегнул ворот — на нем была лифтерская форма. Господи, как я нервничал! — Ладно, шеф, выкладывайте денежки! Мне еще на работу идти.

— Вам уже сказано, я больше ни цента не должен. Я же ей дал пятерку.

— Бросьте зузы заговаривать. Деньги на стол!
— За что я буду платить еще пять долларов? — говорю.
— Вы хотите меня обжулить.

Морис расстегнул свою куртку до конца. Под ней был фальшивый воротничок, без всякой рубашки. Живот у него был толстый, волосатый, здоровенный.

— Никто никого не собирается обжуливать, — говорит он.
— Деньги давайте, шеф!
— Не дам!

Только я это сказал, как он встал и пошел на меня. Вид у него был такой, будто он ужасно устал или ему все надоело. Господи, как я испугался! Помню, я скрестил руки на груди. Хуже всего то, что я был в одной пижаме.

— Давайте деньги, шеф! — Он подошел ко мне вплотную. Он все время повторял одно и то же: — Деньги давайте, шеф! — Форменный кретин.

— Не дам.

— Шеф, вы меня доведете, придется с вами грубо обойтись. Не хочу вас обижать, а придется, как видно. Вы нам должны пять монет.

— Ничего я вам не должен, — говорю. — А если вы меня только тронете, я заору на всю гостиницу. Всех перебужу. Полицию, всех! — Сам говорю, а голос у меня дрожит как студень.

— Давай ори! Ори во всю глотку! Давай! Хочешь, чтоб твои родители узнали, что ты ночь провел с девкой? А еще из хорошей семьи. — Он был хитрый, этот сукин кот. Здорово хитрый.

— Оставьте меня в покое! Если бы вы сказали «десять» — тогда другое дело. А вы определенно сказали...

— Отдадите вы нам деньги или нет? — Он прижал меня к самой двери. Прямо навалился на меня своим пакостным волосатым животом.

— Оставьте меня! Убирайтесь из моей комнаты! — сказал я. А сам скрестил руки, не двигаюсь. Господи, какое я ничтожество!

И вдруг Санни заговорила, а до того она молчала:

— Слушай, Морис, взять мне его бумажник? Он вон там, на этом самом...

— Вот-вот, бери!

— Уже взяла! — говорит Санни. И показывает мне пять долларов. — Видал? Больше не беру, только долг. Я не какая-нибудь воровка. Мы не воры!

И вдруг я заплакал. И не хочу, а плачу:

— Да, не воры! Украли пять долларов, а сами...

— Молчать! — говорит Морис и толкает меня.

— Брось его, слышишь? — говорит Санни. — Пошли, ну! Долг мы с него получили. Слышишь, пошли отсюда!

— Иду! — говорит Морис. А сам стоит.

— Слышишь, Морис, я тебе говорю. Оставь его!

— А кто его трогает? — отвечает он невинным голосом. И вдруг как щелкнет меня по пижаме. Я не скажу, куда он меня щелкнул, но больно было ужасно. Я ему крикнул, что он грязный, подлый кретин.

— Что ты сказал? — говорит. И руку приставил к уху, как глухой. — Что ты сказал? Кто я такой?

А я стою и реву. Меня зло берет, взбесил он меня.

— Да, ты подлый, грязный кретин, — говорю. — Грязный кретин и жулик, а года через два будешь нищим, милостыню будешь просить на улице. Размажешь сопли по всей рубахе, весь вонючий, грязный...

Тут он мне как даст! Я даже не успел увернуться или отскочить и вдруг почувствовал жуткий удар в живот.

Я не потерял сознания, потому что помню, как посмотрил на них с пола и увидел, как они уходят и закрывают за собой двери. Я долго не вставал с пола, как тогда, при Стрэдлейтере... Но тут мне казалось, что я сейчас умру, честное слово. Казалось, что я тону, так у меня дыхание перехватило — никак не вздохнуть. А когда я встал и пошел в ванную, я даже разогнуться не мог, обеими руками держался за живот.

Но я, наверно, ненормальный. Да, клянусь богом, я сумасшедший. По дороге в ванную я вдруг стал воображать, что у меня пуля в кишках. Я вообразил, что этот Морис всадил в меня пулю. А теперь я иду в ванную за добрым глотком старого виски, чтобы успокоить нервы и начать действовать. Я представил себе, как выхожу из ванной уже одетый, с револьвером в кармане, а сам слегка шатаюсь. И я иду по лестнице — в лифт я, конечно, не сяду. Иду, держусь за перила, а кровь капает у меня из уголка рта. Я бы спустился несколькими этажами ниже, держась за живот, а кровь так и лилась бы на пол, и потом вызвал бы лифт. И как только этот Морис открыл бы дверцы, он увидел бы меня с револьвером в руке и завизжал бы, закричал диким, перепуганным голосом, чтоб я его не трогал. Но я бы ему показал. Шесть пуль, прямо в его жирный, волосатый живот! Потом я бросил бы свой револьвер в шахту лифта — конечно, сначала стер бы отпечатки пальцев. А потом дополз бы до своего номера и позвонил Джейн, чтоб она пришла и перевязала мне рану. И я представил себе, как она держит сигарету у моих губ и я затягиваюсь, а сам истекаю кровью.

Проклятое кино! Вот что оно делает с человеком.

Я просидел в ванной чуть ли не час, принял ванну, немногого отошел. А потом лег в постель. Я долго не засыпал — я совсем не устал, но в конце концов уснул. Больше всего мне хотелось покончить с собой. Выскочить в окно. Я, наверно, и выскочил бы, если б я знал, что кто-нибудь сразу подоспеет и прикроет меня, как только я упаду. Не хотелось, чтобы какие-то любопытные идиоты смотрели, как я лежу весь в крови.

15

Спал я недолго, кажется, было часов десять, когда я проснулся. Выкурил сигарету и сразу почувствовал, как я проголодался. Последний раз я съел две котлеты, когда мы с Броссаром и Экли ездили в кино в Эгерстаун. Это было давно — казалось, что прошло лет пятьдесят. Телефон стоял рядом, и я хотел было позвонить вниз и заказать завтрак в номер, но потом побоялся, что завтрак пришлют с этим самым лифтером Морисом, а если вы думаете, что я мечтал его видеть, вы глубоко ошибаетесь. Я полежал в постели, выкурил сигарету. Хотел звякнуть Джейн — узнать, дома ли она, но настроения не было.

Тогда я позвонил Салли Хейс. Она училась в пансионе Мэри Э. Удроф, и я знал, что она уже дома: я от нее получил письмо с неделю назад. Не то чтобы я был от нее без ума, но мы были знакомы сто лет, и я по глупости думал, что она довольно умная. А думал я так потому, что она ужасно много знала про театры, про пьесы, вообще про всякую литературу. Когда человек начинен такими знаниями, так не скоро сообразишь, глуп он или нет. Я в этой Салли Хейс годами не мог разобраться. Наверно, я бы раньше сообразил, что она дура, если бы мы столько не целовались. Плохо то, что если я целуюсь с девчонкой, я всегда думаю, что она умная. Никакого отношения одно к другому не имеет, а я все равно думаю.

Словом, я ей позвонил. Сначала подошла горничная, потом ее отец. Наконец позвали ее.

— Это ты, Салли? — спрашивая.

— Да, кто со мной говорит? — спрашивает она. Ужасная притворщица. Я же сказал ее отцу, кто ее спрашивает.

— Это Холден Колфилд. Как живешь?

— Ах, Холден! Спасибо, хорошо! А ты как?

— Чудно. Слушай, как же ты поживаешь? Как школа?

— Ничего, — говорит, — ну, сам знаешь.

— Чудно. Вот что я хотел спросить — ты свободна?

Правда, сегодня воскресенье, но, наверно, есть утренние спектакли. Благотворительные, что ли. Хочешь пойти?

— Очень хочу, очень! Это будет изумительно!

«Изумительно! Ненавижу такие слова! Что за пошлятина! Я чуть было не сказал ей, что мы никуда не пойдем. Потом мы немного потрепались по телефону. Верней, она трепалась, а я молчал. Она никому не даст слова сказать. Сначала она мне рассказывала о каком-то пижоне из Гарварда — наверно, первокурсник, но этого она, конечно, не выдала, — будто он в лепешку расшибается. Звонит ей день и ночь. Да, день и ночь — я чуть не расхохотался. Потом еще про какого-то типа, кадета из Вест-Пойнта, — и этот готов из-за нее зарезаться. Страшное дело. Я ее попросил ждать меня под часами у отеля «Балтимор» ровно в два — утренние спектакли начинаются в половине третьего. А она вечно опаздывала. И попрощался. У меня от нее сквозь скулы сворачивало, но она была удивительно красивая.

Договорился с Салли, потом встал, оделся, сложил чемодан. Выйдя из номера, я заглянул в окошко, что там эти психи делают, но у них портьеры были опущены. Утром они скромнее скромного. Потом я спустился в лифте и рассчитался с портье. Мориса, к счастью, нигде не было. Да я и не старался его увидеть, подлеца.

У гостиницы взял такси, но понятия не имел, куда мне ехать. Ехать, оказывается, некуда. Было воскресенье, а домой я не мог возвратиться до среды, в крайнем случае до вторника. А идти в другую гостиницу, чтоб мне там вышибли мозги, — нет, спасибо. Я велел шоферу везти меня на Центральный вокзал. Это рядом с отелем «Балтимор», где я должен был встретиться с Салли, и я решил сделать так. Сдам вещи на хранение в такой шкафчик, от которого дают ключ, потом позавтракаю. Очень хотелось есть. В такси я вынул бумажник, пересчитал деньги. Не помню, сколько там оказалось — во всяком случае, не такое уж богатство. За какие-нибудь две недели я истратил чертову уйму. По натуре я ужасный мот. А что не проматываю, то теряю. Иногда я даже забываю взять сдачу в каком-нибудь ресторане или ночном кабаке. Мои родители просто приходят в бешенство. Я их понимаю. Хотя отец довольно богатый, не знаю, сколько он зарабатывает — он со мной об этом не говорит, — но, наверное, много. Он юристконсульт корпорации. А они загребают деньги лопатой. И еще я знаю, что он богатый, потому что он вечно вкладывает деньги в какие-то постановки на Бродвее. Впрочем, эти постановки всегда проваливаются, и мама из себя выходит. Вообще,

мама очень сдала после смерти Алли. Из-за этого я особенно боялся сказать ей, что меня опять выгнали.

Я отдал чемоданы на хранение и зашел в вокзальный буфет позавтракать. Съел я порядочно: апельсиновый сок, яичницу с ветчиной, тосты, кофе. Обычно я по утрам только выпиваю сок. Я очень мало ем, совсем мало. Оттого я такой худой. Меня прописали есть много мучного, чтобы нагнать вес, но я и не подумал. Когда я где-нибудь бываю, я обычно беру бутерброд со швейцарским сыром и стакан молочного суфле. Сущие пустяки, но зато в суфле много витаминов. Х. В. Колфилд. Холден Витамин Колфилд.

Я ел яичницу, когда вошли две монахини с чемоданами и сумками — наверно, переезжали в другой монастырь и ждали поезда. Они сели за стойку рядом со мной. Они не знали, куда девать чемоданы, и я им помог. Чемоданы у них были плохонькие, дешевые — не кожаные, а так, из чего попало. Знаю, это роли не играет, но я терпеть не могу дешевых чемоданов. Стыдно сказать, но мне бывает неприятно смотреть на человека, если у него дешевые чемоданы. Вспоминается один случай. Когда я учился в Элктон-хилле, я жил в комнате с таким Диком Слеглом, у него были дрянные чемоданы. Он их держал у себя под кроватью, а не на полке, чтобы никто не видел их рядом с моими чемоданами. Меня это расстраивало до черта, я готов был выкинуть свои чемоданы или даже обменяться с ним насовсем. Мой-то были куплены у Марка Кросса, настоящая кожа, со всеми онёрами, и стоили они черт знает сколько. Но вот что странно. Вышла такая история. Как-то я взял и засунул свои чемоданы под кровать, чтобы у старика Слегла не было этого дурацкого комплекса неполноценности. Знаете, что он сделал? Только я засунул свои чемоданы под кровать, он их вытащил и опять поставил на полку. Я только потом понял, зачем он это сделал: он хотел, чтобы все думали, что это его чемоданы! Да, да, именно так. Странный был тип. Он всегда издевался над моими чемоданами. Говорил, что они слишком новые, слишком мещанские. Это было его любимое слово. Где-то он его подхватил. Все, что у меня было, все он называл «мещанским». Даже моя самопищающая ручка была мещанская. Он ее вечно брал у меня — и все равно считал мещанской. Мы жили вместе всего месяца два. А потом мы оба стали просить, чтобы нас расселили. И самое смешное, что, когда мы разошлись, мне его ужасно не хватало, потому что у него было настоящее чувство юмора и мы иногда здорово веселились. По-моему, он тоже без меня скучал. Сначала он только поддразнивал меня — называл мон ве-

щи мещанскими, а я и внимания не обращал, даже смешно было. Но потом я видел, что он уже не шутит. Все дело в том, что трудно жить в одной комнате с человеком, если твои чемоданы настолько лучше, чем его, — если у тебя по-настоящему отличные чемоданы, а у него нет. Вы, наверно, скажете, что если человек умен и у него есть чувство юмора, так ему наплевать. Оттого я и поселился с этой тупой скотиной, со Стрэдлейтером. По крайней мере у него чемоданы были не хуже моих.

Словом, эти две монахини сели около меня, и мы как-то разговорились. У той, что сидела рядом со мной, была соломенная корзинка — вот такие мопашки и девицы из Армии Спасения обычно собирают деньги под рождество. Всегда они стоят на углах, особенно на Пятой авеню, у больших универмагов. Та, что сидела рядом, вдруг уронила свою корзинку на пол, а я нагнулся и поднял. Я спросил, собирает ли она на благотворительные цели. А она говорит — нет. Просто корзинка не поместилась в чемодан, пришлось нести в руках. Она так приветливо улыбалась, смотрит и улыбается. Нос у нее был длинный, и очки в какой-то металлической оправе, не очень-то красивые, но лицо ужасно доброе.

— Я только хотел сказать — если вы собираете деньги, я бы мог пожертвовать немножко, — говорю. — Вы возьмите, а когда будете собирать, и эти вложите.

— О, как мило с вашей стороны! — говорит она, а другая, ее спутница, тоже посмотрела на меня. Та, другая, пила кофе и читала книжку, похожую на Библию, только очень тоненькую. Но все равно книжка была вроде Библии. На завтрак они взяли только кофе с тостами. Я расстроился. Ненавижу есть яичницу с ветчиной и еще всякое, когда рядом пьют только кофе с тостами.

Они приняли у меня десять долларов. И все время спрашивали, могу ли я себе это позволить. Я им сказал, что денег у меня достаточно, но они как-то не верили. Но деньги все же взяли. И так они обе меня благодарили, что мне стало неловко. Я перевел разговор на общие темы и спросил их, куда они едут. Они сказали, что они учительницы, только что приехали из Чикаго и собираются преподавать в каком-то интернате, не то на Сто шестьдесят восемьмой, не то на Сто восемьдесят шестой улице — словом, где-то у черта на рогах. Та, что сидела рядом, в металлических очках, оказывается, преподавала английский, а ее спутница — историю и американскую конституцию. Меня так и разбирало любопытство — интересно бы узнать, как эта преподавательница английского могла быть монахиней

и все-таки читать некоторые книжки по английской литературе. Не то чтобы непристойные книжки, я не про них, но те, в которых про любовь, про влюбленных, вообще про все такое. Возьмите, например, Юстасию Вэй из «Возвращения на родину» Томаса Харди. Никаких особенных страстей в ней не было, и все-таки интересно, что думает монахиня, когда читает про эту самую Юстасию. Но я, конечно, ничего не спросил. Я только сказал, что по английской литературе учился лучше всех.

— Да что вы? Как приятно! — обрадовалась преподавательница английского, та, что в очках. — Что же вы читали в этом году? Мне очень интересно узнать!

— Да, как сказать, все больше англосаксов — знаете, про Беовульфа и Гренделя и «Рэндал, мой сын», все, что полагается. Но нам задавали и домашнее чтение, за это ставили особые отметки. Я прочел «Возвращение на родину» Томаса Харди, «Ромео и Джульетту», «Юлия Це...

— Ах, «Ромео и Джульетта»! Какая прелесть! Вам, пожалуйста, очень понравилось? — Она говорила совсем не как монахиня.

— Да, очень. Очень понравилось. Кое-что мне не совсем понравилось, но в общем очень трогательно.

— Что же вам не понравилось? Вы не припомните, что именно?

По правде говоря, мне было как-то неловко обсуждать с ней «Ромео и Джульетту». Ведь в этой пьесе есть много мест про любовь и всякое такое, а она как-никак была монахиня, но она сама спросила, и пришлось рассказать.

— Знаете, я не в восторге от самих Ромео и Джульетты, — говорю, — то есть они мне нравятся, и все же... сам не знаю! Иногда просто досада берет. Я хочу сказать, что мне было гораздо жальче, когда убили Меркуцио, чем когда умерли Ромео с Джульеттой. Понимаете, Ромео мне как-то перестал нравиться, после того как беднягу Меркуцио проткнул шпагой этот самый кузен Джульетты — забыл, как его звали...

— Тибальд.

— Правильно, Тибальд. Всегда я забываю, как его зовут. А виноват Ромео. Мне он больше всех нравился, этот Меркуцио. Сам не знаю почему. Конечно, все эти Монтекки и Капулетти тоже ничего, особенно Джульетта, но Меркуцио... нет, мне трудно объяснить. Он был такой умный, веселый. Понимаете, меня злость берет, когда таких убивают — таких веселых, умных, да еще по чужой вине. С Ромео и Джульеттой дело другое — они сами виноваты.

— В какой вы школе учитесь, дружок? — спрашивает

она. Наверно, ей надоело разговаривать про Ромео и Джульетту.

Я говорю — в Пэнси. Оказывается, она про нее слышала. Сказала, что это отличная школа. Я промолчал. Тут ее спутница, та, что преподавала историю и конституцию, говорит, что им пора идти. Я взял их чек, но они не позволили мне заплатить. Та, что в очках, отняла у меня чек.

— Вы и так были слишком щедры, — говорит. — Вы удивительно милый мальчик. — Она сама была славная. Немножко напоминала мать Эрнеста Морроу, с которой я ехал в поезде. Особенно когда улыбалась. — Так приятно было с вами поговорить, — добавила она.

Я сказал, что мне тоже было очень приятно с ними поговорить. И я не притворялся. Но мне было бы еще приятнее с ними разговаривать, если бы я не боялся, что они каждую минуту могут спросить, католик я или нет. Католики всегда стараются выяснить, католик ты или нет. Со мной это часто бывает, главным образом потому, что у меня фамилия ирландская, а ирландцы по происхождению почти все католики. Кстати, мой отец раньше тоже был католиком. А потом, когда женился на моей маме, бросил это дело. Но католики вообще всегда стараются выяснить, католик ты или нет, даже если не знают, какая у тебя фамилия. У меня был знакомый католик, Луи Горман; я с ним учился в Хуттонской школе. Я с ним там с первым и познакомился. Мы сидели рядом в очереди на прием к врачу — был первый день занятий, мы ждали медицинского осмотра и разговорились про теннис. Он очень увлекался теннисом, и я тоже. Он рассказал, что каждое лето бывает на состязаниях в Форест-хилле, а я сказал, что тоже там бываю, а потом мы стали обсуждать, кто лучший игрок. Для своих лет он здорово разбирался в теннисе. Всерьез интересовался. И потом ни с того ни с сего посреди разговора спрашивает: «Ты не знаешь, где тут католическая церковь?» Суть была в том, что по его тону я сразу понял: он хочет выяснить, католик я или нет. Узнать хочет. И дело не в том, что он предпочитал католиков, нет, ему просто хотелось узнать. Он с удовольствием разговаривал про теннис, но сразу было видно — ему этот разговор доставил бы еще больше удовольствия, если бы он узнал, что я католик. Меня такие штуки просто бесят. Я не хочу сказать, что из-за этого весь наш разговор пошел к чертям, нет, разговор продолжался, но как-то не так. Вот почему я был рад, что монахини меня не спросили, католик я или нет. Может быть, это и не помешало бы нашему разговору, но все-таки было бы иначе. Я ничуть

не обвиняю католиков. Может быть, если бы я был католик, я бы тоже стал спрашивать. В общем, это чем-то похоже на ту историю с чемоданом, про которую я рассказывал. Я только хочу сказать, что настоящему, хорошему разговору такие вещи только мешают. Вот и все.

А когда эти две монахини встали и собрались уходить, я вдруг сделал ужасно неловкую и глупую штуку. Я курил сигарету, и когда я встал, чтобы с ними проститься, я нечаянно пустил дым прямо им в глаза. Совершенно нечаянно. Я извинялся как сумасшедший, и они очень мило и вежливо приняли мои извинения, но все равно вышло страшно неловко.

Когда они ушли, я стал жалеть, что дал им только десять долларов на благотворительность. Но иначе нельзя было: я условился пойти с Салли Хейс на спектакль, и нельзя было тратить все деньги. Но все равно я огорчился. Чертовы деньги. Вечно из-за них расстраиваешься.

16

Было около двенадцати, когда я кончил завтракать, а встретиться с Салли мы должны были только в два, я и решил подольше погулять. Эти две монахини не выходили у меня из головы. Я все вспоминал эту старую соломенную корзинку, с которой они ходили собирать лепту, когда у них не было уроков. Я старался представить себе, как моя мама или еще кто-нибудь из знакомых — тетя или эта вертихвостка, мать Салли Хейс, — стоят около универмага и собирают деньги для бедных в старые, потрепанные соломенные корзинки. Даже представить себе трудно. Мою маму еще можно себе представить, но тех двоих нет. Хотя моя тетушка очень много занимается благотворительностью — тут и Красный Крест и всякое другое, — но она всегда отлично одета, и, когда занимается благотворительностью, она тоже отлично одета, губы накрашены и все такое. Я не мог себе представить, что она могла бы заниматься благотворительными делами, если б пришлось надеть монашескую рясу и не красить губы. А мамаша Салли! Господи! Да она бы согласилась ходить с кружкой, собирать деньги, только если б каждый, кто дает деньги, рассыпался бы перед ней мелким бесом. А если бы люди просто опускали деньги в кружку и уходили, ничего не говоря, не обратив на нее внимания, так она через час уже отказалась бы. Ей бы сразу надоело. Отдала бы кружку и пошла завтракать в какой-нибудь шикарный ресторан. Оттого мне и понравились те монахини. Сразу можно

было сказать, что они-то никогда не завтракают в шикарных ресторанах. И мне стало грустно, когда я подумал, что они никогда не пойдут завтракать в шикарный ресторан. Я понимал, что это не так уж важно, но все равно мне стало грустно.

Я пошел на Бродвей, просто ради удовольствия, я там сто лет не был. Кроме того, я искал магазин граммофонных пластинок, открытый в воскресенье. Мне хотелось купить одну пластинку для Фиби — «Крошка Шерли Бинз». Эту пластинку было очень трудно достать. Там было про маленькую девочку, которая не хотела выходить из дома, потому что у нее выпали зубы и она стеснялась. Я слышал эту песню в Пэнси у одного мальчишки, он жил этажом выше. Хотел купить у него эту пластинку: знал, что моя Фиби просто с ума сойдет от нее, но он не продал. Пластинка была потрясающая, хоть и старая, ее напела лет двадцать назад певица-негритянка Эстелла Флетчер. Она ее пела по-южному, даже по-уличному, оттого выходило ничуть не слезливо и не слюняво. Если бы пела обыкновенная белая певица, она, наверно, распустила бы слюни, а эта Эстелла Флетчер свое дело знала. Такой чудесной пластинки я в жизни не слышал. Я решил, что куплю пластинку в каком-нибудь магазине, где торгуют и по воскресеньям, а потом понесу в парк. В воскресенье Фиби часто ходит в парк — она там катается на коньках. Я знал, где она обычно бывает.

Стало теплее, чем вчера, но солнце не показывалось, и гулять было не очень приятно. Мне только одно понравилось. Впереди меня шло целое семейство, очевидно из церкви, — отец, мать и мальчишка лет шести. Видно было, что они довольно бедные. На отце была светло-серая шляпа, такие всегда носят бедняки, когда хотят принарядиться. Он шел с женой и разговаривал с ней, а на мальчишку они совсем не обращали внимания. А мальчишка был мирвой. Он шел не по тротуару, а вдоль него у самой обочины, по мостовой. Он старался идти точно по прямой: мальчишки любят так ходить. Идет и все время напевает себе под нос. Я нарочно подошел поближе, чтобы слышать, что он поет. Он пел такую песенку: «Если ты ловил кого-то вечером во ржи...» И голосишко у него был забавный. Пел он для собственного удовольствия, это сразу было видно. Машины летят мимо, тормозят так, что тормоза скрежещут, родители никакого внимания не обращают, а он себе идет по самому краю и распевает: «Вечером во ржи...» Мне стало веселее. Даже плохое настроение прошло.

На Бродвее все толкались, шумели. Было воскресенье,

всего двенадцать часов, но все равно стоял щум. Все шли в кино — в «Парамаунт» или в «Астор», в «Стрэнд», в «Капитолий» — в общем в какую-нибудь толкучку. Все расфуфырились — воскресенье! И это было еще противнее. А противнее всего было то, что им не терпелось попасть в кино. Тошно было на них смотреть. Я еще понимаю, если ходят в кино, когда делать нечего, но мне просто противно думать, что люди бегут, торопятся пойти в кино, что им действительно хочется туда попасть. Особенно когда миллион народу стоит в длиннейшей очереди на целый квартал, за билетами — какое нужно терпение! Я дождаться не мог, так хотелось поскорее уйти с этого проклятого Бродвея.

Но мне повезло: в первом же магазине грампластинок я нашел «Крошку Шерли Бинз». Содрали с меня пять monet, пластинка была редкая, но я не жалел. Я так вдруг обрадовался, что не мог дождаться: поскорее бы дойти до парка и отдать сестре эту пластинку.

Я вышел из магазина — а тут подвернулось кафе, и я зашел. Подумал — не звякнуть ли Джейн, может, она уже вернулась домой на каннкулы. Я зашел в автомат и позвонил. К несчастью, подошла ее мать, пришлось повесить трубку. Не хотелось пускаться в длинные разговоры. Вообще не люблю разговаривать с матерями девчонок. Всетаки надо было спросить, дома ли Джейн. Я бы от этого не умер. Но что-то не хотелось. Для таких разговоров требуется настроение.

Однако надо было доставать эти проклятые билеты в театр, пришлось купить газету и посмотреть, где что идет. По случаю воскресенья шли только три пьесы. Я пошел и купил два билета в партер на «Я знаю любовь». Спектакль был благотворительный, в пользу чего-то. Мне не особенно хотелось смотреть эту пьесу, но я знал, что Салли жить не может без кривляния — обязательно распустит слюни, когда я ей скажу, что в пьесе участвуют Ланты¹. Салли обожает пьесы, которые считаются изысканными и серьезными, с участием Лантов и все такое. А я не люблю. Вообще, по правде сказать, я не особенно люблю ходить в театр. Конечно, кино еще хуже, но и в театре ничего хорошего нет. Во-первых, я ненавижу актеров. Они ведут себя на сцене совершенно непохоже на людей. Только воображают, что похоже. Хорошие актеры иногда довольно похожи, но не настолько, чтобы было интересно смотреть.

¹ Альфред Лант и его жена Линн Фонтани — известные драматические актеры США.

А кроме того, если актер хороший, сразу видно, что он сам это сознает, а это сразу все портит. Возьмите, например, сэра Лоуренса Оливье¹. Я видел его в «Гамлете». Д. Б. водил меня и Фиби в прошлом году. Сначала он нас повел завтракать, а потом — в кино. Он уже видел «Гамлета» и так про это рассказывал за завтраком, что мне ужасно захотелось посмотреть. Но мне в общем не очень понравилось. Не понимаю, что особенного в этом Лоуренсе Оливье. Голос у него потрясающий, и красив он до чертей, и на него приятно смотреть, когда он ходит или дерется на дуэли, но он был совсем не такой, каким, по словам Д. Б., должен быть Гамлет. Он был больше похож на какого-нибудь генерала, чем на такого чудака, немножко чокнутого. Больше всего мне в этом фильме понравилось то место, когда брат Офелии — тот, что под конец дерется с Гамлете на дуэли, — уезжает, а отец ему дает всякие советы. Пока отец ему дает эти советы, Офелия все время балуется, то вытащит у него книжал из ножен, то его подразнит, а он все старается делать вид, что слушает дурацкие советы. Это было здорово. Мне очень понравилось. Но таких мест было мало. А моей сестренке Фиби понравилось только, когда Гамлет гладит собаку по голове. Она сказала — как смешно, какая хорошая собака, и собака вправду была хорошая. Все-таки придется мне прочитать «Гамлета». Плохо то, что я обязательно должен прочесть пьесу сам, про себя. Когда играет актер, я почти не могу слушать. Все боюсь, что сейчас он начнет кривляться и вообще делать все напоказ.

Билеты на спектакль с Лантами я купил, потом сел в такси и поехал в парк. Надо было бы сесть в метро, денег осталось мало, но очень хотелось поскорее убраться с этого треклятого Бродвея.

В парке было гнусно. Не очень холодно, но солнце так и не показалось, и никого вокруг не было — одна собачьи следы, и плевки, и окурки сигар у скамеек, где сидели старики. Казалось, все скамейки совершенно сырьи — промокнешь насквозь, если сядешь. Мне стало очень тоскливо, иногда, неизвестно почему, даже дрожь пробирала. Непонятно было, что скоро будет рождество, вообще казалось, что больше ничего никогда не будет. Но я все-таки дошел до беговой дорожки — Фиби всегда туда ходит, она любит кататься поближе к оркестру. Смешно, что я тоже любил там кататься, когда был маленький.

¹ Знаменитый английский актер, снимавшийся во многих фильмах.

Но когда я подошел к дорожке, ее там не было. Катались какие-то ребятишки, мальчики играли в мяч, но Фиби нигде не было. Тут я увидел девчушку ее лет, она сидела на скамейке одна и закрепляла конек. Я подумал: может быть, она знает Фиби и скажет мне, где ее искать, и я подошел, сел рядом и спросил:

— Ты случайно не знаешь Фиби Колфилд?

— Кого? — спрашивает. На ней были брючки и штук двадцать свитеров. Видно было, что свитеры ей вяжут дома: такие неуклюжие, большие.

— Фиби Колфилд. Живет на Семьдесят первой улице. Она в четвертом классе.

— А вы знаете Фиби?

— Ну да. Я ее брат. Ты не знаешь, где она?

— Она в классе мисс Қэллон? — спрашивает девочка.

— Не знаю. Кажется, да.

— Значит, они сейчас в музее. Наш класс ходил в прошлую субботу.

— В каком музее? — спрашиваю.

Она пожала плечами.

— Не знаю, — говорит. — Просто в музее.

— Я понимаю, но это музей, где картины, или музей, где индейцы?

— Где индейцы.

— Спасибо большое.

Я встал, хотел было идти, но вдруг вспомнил, что сегодня воскресенье.

— Да сегодня же воскресенье! — говорю я этой девушки.

Она посмотрела на меня.

— Ага. Значит, их там нет.

Ей никак не удавалось закрепить конек. Перчаток у нее не было, лапы красные, замерзшие. Я ей помог привернуть конек. Черт, сто лет не держал ключа в руках. Но это ничего не значит. Можно и через пятьдесят лет дать мне в руки ключ от коньков, хоть ночью, в темноте, и я сразу узнаю, что это такое. Вежливая такая девчушка, приветливая. Ужасно приятно, когда поможешь такой малышке закрепить конек, а она говорит тебе «спасибо» так вежливо, мило. Малыши в общем славные. Я ее спросил, не хочет ли она выпить горячего шоколада, но она ответила: спасибо, не хочется. Сказала, что ее ждет подруга. Этих маленьких вечно кто-нибудь дожидается. Забывшие они.

Хоть было воскресенье и Фиби со своим классом не пошла в музей и хоть погода была мерзкая, сырья, я все

равно пошел через весь парк в Музей этнографии. Эта про него говорила девчушка с ключом. Я знал эти музейные экскурсии наизусть. Фиби училась в той же начальной школе, куда я бегал маленьким, и мы вечно ходили в этот музей. Наша учительница мисс Эглетингер водила нас туда чуть ли не каждую субботу. Иногда мы смотрели животных, иногда всякие древние индейские изделия: посуду, соломенные корзинки, много чего. С удовольствием вспоминаю музей, даже теперь. Помню, как после осмотра этих индейских изделий нам показывали какой-нибудь фильм в большой аудитории. Про Колумба. Всегда почти нам показывали, как Колумб открыл Америку и как он мучился, пока не выцыганил у Фердинанда с Изабеллой деньги на корабли, а потом матросы ему устроили бунт. Никого особенно этот Колумб не интересовал, но ребята всегда приносили с собой леденцы и резинку, и в этой аудитории так хорошо пахло. Так пахло, как будто на улице дождь (хотя дождя, может, и не было), а ты сидишь тут, и это — единственное сухое и уютное место на свете. Любил я этот дурацкий музей, честное слово. Помню, сначала мы проходили через индейский зал, а оттуда уже в аудиторию. Зал был длинный-предленин, а разговаривать там надо было шепотом. Впереди шла учительница, а за ней весь класс. Шли парами, у меня тоже была пара. Обычно со мной ставили одну девочку. Звали ее Гертруда Левина. Она всегда держалась за руку, а рука у нее была липкая или потная. Пол в зале был каменный, и если у тебя в руке были камушки и ты ихронял, грохот подымался несусветный, и учительница останавливалась весь класс и подходила посмотреть, в чем дело. Но она никогда не сердилась, наша мисс Эглетингер. Потом мы проходили мимо длинной-предленинной индейской лодки — длинней, чем три «кадиллака», если их поставить один за другим. А в лодке сидело штук двадцать индейцев, одни на велслах, другие просто стояли, вид у них был свирепый, и лица у всех раскрашенные. А на корме этой лодки сидел очень страшный человек в маске. Это был их колдун. У меня от него мурашки бегали по спине, но все-таки он мне нравился. А еще, когда проходишь по этому залу и тронешь что-нибудь, весло там или еще что, сразу хранитель говорит: «Дети, не надо ничего трогать!» — но голос у него добрый, не то что у какого-нибудь полисмена. Дальше мы проходили мимо огромной стеклянной витрины, а в ней сидели индейцы, терли палочки, чтобы добить огонь, а одна женщина ткала ковер. Эта самая женщина, которая ткала ковер, нагнулась, и видна была ее грудь. Мы все

заглядывались на нее, даже девочки — они еще были маленькие, и у них самих еще никакой груди не было, как у мальчишек. А перед самой дверью в аудиторию мы проходили мимо эскимоса. Он сидел над озером, над прорубью, и ловил рыбу. У самой проруби лежали две рыбы, которых он поймал. Сколько в этом музее было таких витрин! А на верхнем этаже их было еще больше, там олени пили воду из ручьев и птицы летели зимовать на юг. Те птицы, что поближе, были чучела и висели на проволочках, и те, что позади, были просто нарисованы на стене, ноказалось, что все они по-настоящему летят на юг, а если наклонить голову и посмотреть на них снизу вверх, так кажется, что они просто мчатся на юг. Но самое лучшее в музее было то, что там все оставалось на местах. Ничто не двигалось. Можно было сто тысяч раз проходить, и всегда эскимос ловил рыбу и двух уже поймал, птицы всегда летели на юг, олени пили воду из ручья, и рога у них были все такие же красивые, а ноги такие же тоненькие, и эта индианка с голой грудью всегда ткала тот же самый ковер. Ничто не менялось. Менялся только ты сам. И не то что ты сразу становился много старше. Дело не в этом. Но ты менялся, и все. То на тебе было новое пальто. То ты шел в паре с кем-нибудь другим, потому что прежний твой товарищ был болен скарлатиной. А то другая учительница вместо мисс Эглетингер приводила класс в музей. Или ты утром слыхал, как отец с матерью ссорились в ванной. А может быть, ты увидел на улице лужу, и по ней растеклись радужные пятна от бензина. Словом, ты уже чем-то стал не тот — я не умею как следует объяснить, чем именно. А может быть, я умею, но что-то не хочется.

На ходу я вытащил из кармана охотничью шапку и надел ее. Я знал, что не встречу никого из знакомых, а было очень сырь. Я шел и шел и все думал, как моя сестренка ходит по субботам в тот же музей, что и я. Я подумал — вот она смотрит на то же, на что я смотрел, а сама каждый раз становится другой. От этих мыслей у меня не то чтобы окончательно испортилось настроение, но веселого в них было маловато. Лучше бы некоторые вещи не менялись. Хорошо, если б их можно было поставить в витрину и не трогать. Знаю, что так нельзя, но это-то и плохо. Я все время об этом думал, пока шел по парку.

Проходя мимо площадки для игр, я остановился и посмотрел, как двое малышей качаются на доске. Один был толстяк, и я взял рукой за тот конец, где сидел худенький, чтобы их уравновесить, но сразу понял, что я им мешаю, и отошел.

А потом случилась глупейшая штука. Я подошел к музею и сразу почувствовал, что ни за какие деньги туда не пойду. Не тянуло туда — и все, а ведь я весь парк прошел и так ждал этого! Конечно, будь Фиби там, я, наверно, зашел бы, но ее там не было. И я взял такси у входа в музей и поехал в отель «Балтимор». Ехать не хотелось, но я уже назначил там встречу с Салли.

ИМ

17

Я приехал в отель слишком рано, сел на кожаный диван, под часами, и стал разглядывать девчонок. Во многих пансионах и колледжах уже начались каникулы, и в холле толпились тысячи девчонок, ждали, пока за ними зайдут их кавалеры. Одни девчонки сидели скрестив ноги, другие держались прямо, у одних девчонок ноги были минровые, а у других — безобразные, одни девчонки с виду были хорошие, а по другим сразу было видно, что они дрянь, стоит их только поближе узнать. Вообще смотреть на них было приятно, вы меня понимаете. Приятно и вместе с тем как-то грустно, потому что все время думалось: а что с ними со всеми будет? Ну, окончат они свои колледжи, пансионы. Я подумал, что большинство, наверно, выйдет замуж за каких-нибудь гнусных типов. За таких типов, которые только и знают, что хвастать, сколько миль они могут сделать на своей дурацкой машине, истратив всего галлон горючего. За таких типов, которые обзываются, как маленькие, когда их обыгрываешь не только в гольф, но и в какую-нибудь дурацкую игру вроде пинг-понга. За очень подлых типов. За типов, которые никогда ни одной книжки не читают. За ужасно нудных типов. Впрочем, это понятие относительное, кого можно считать занудой, а кого — нет. Когда я учился в Элктон-хилле, я месяца два жил в комнате с одним мальчишкой, его звали Гаррис Маклин. Он был очень умный и все такое, но большего зануды свет не видал. Голос у него был ужасно скрипучий, и он все время говорил, не переставая. Все время говорил, и самое ужасное то, что он никогда не говорил о чем-нибудь интересном. Но одно он здорово умел. Этот черт умел свистеть, как никто. Оправляет свою постель или вешает вещи в шкаф — он всегда развешивал свои вещи в шкафу, доводил меня до бешенства, — словом, что-нибудь делает, а сам свистит, если только не долбит тебя своим скрипучим голосом. Он даже умел на свистывать классическую музыку, но лучше всего на свистывал джаз. Насвистывает какую-нибудь ужасно лихую джазовую песню, вроде «Блюз на крыше», пока развешивает свои манатки, и так легко, так славно свистит, что просто ра-

дуешься. Конечно, я ему никогда не говорил, что он замечательно свистит. Не станешь же человеку говорить прямо в глаза: «Ты замечательно свистишь!» Но хотя я от него чуть не выл — до того он был нудный, — я прожил с ним в одной комнате целых два месяца, и все из-за того, что я такого замечательного свистуна никогда в жизни не слыхал. Так что еще вопрос, кто зануда, кто — нет. Может быть, нечего слишком жалеть, если какая-нибудь хорошая девчонка выйдет замуж за нудного типа: в общем они довольно безобидные, а может быть, они втайне здорово умеют свистеть, или еще что-нибудь. Кто ж его знает, не мне судить.

Наконец моя Салли появилась на лестнице, и я спустился ей навстречу. До чего же она была красивая! Честное слово! В черном пальто и в каком-то черненьком беретике. Обычно она ходит без шляпы, но берет ей шел удивительно. Смешно, что, как только я ее увидел, мне захотелось на ней жениться. Нет, я все-таки ненормальный. Она мне даже не очень нравилась, а тут я вдруг почувствовал, что я влюблён и готов на ней жениться. Клянусь богом, я ненормальный, сам сознаю!

— Холден! — говорит она. — Как я рада! Сто лет не виделись! — Голос у нее ужасно громкий, даже неловко, когда где-нибудь с ней встречаешься. Ей-то все сходило с рук, потому что она была такая красивая, но у меня от смущения все кишкы переворачивало.

— Рад тебя видеть, — сказал я, и не врал, ей-богу. — Ну, как живешь?

— Изумительно, чудно! Я не опоздала?

Нет, говорю, но на самом деле она опоздала минут на десять. Но мне было наплевать. Вся эта чепуха, всякие там карикатуры в «Сатердей инвинг пост», где изображают, как парень стоит на углу с несчастной физономией, оттого что его девушка опоздала, — все это выдумки. Если девушка приходит на свидание красивая — кто будет расстраиваться, что она опоздала? Никто!

— Надо ехать, — говорю, — спектакль начнется в два сорока.

Мы спустились по лестнице к стоянке такси.

— Что мы будем смотреть? — спросила она.

— Не знаю. Лантов. Больше я никуда не мог добраться билеты.

— Ах, Ланты! Какая прелесть!

Я же вам говорил — она с ума сойдет, когда услышит про Лантов.

Мы немножко целовались по дороге в театр, в такси.

Сначала она не хотела, потому что боялась размазать губную помаду, но я вел себя как настоящий соблазнитель, и ей ничего другого не оставалось. Два раза, когда машина тормозила перед светофорами, я чуть не падал. Проклятые шоферы, никогда не смотрят, что делают. Клянусь, они ездить не умеют. Но хотите знать, до чего я сумасшедший? Только мы обнялись покрепче, я ей вдруг говорю, что я ее люблю и все такое. Конечно, это было вранье, но соль в том, что я сам в ту минуту был уверен в этом. Нет, я не-нормальный! Клянусь богом, я сумасшедший!

— Ах, милый, я тебя тоже люблю! — говорит она и тут же одним духом добавляет: — Только обещай, что ты отпустишь волосы. Теперь ежики выходят из моды, а у тебя такие чудные волосики!

«Волосики» — лопнуть можно!

Спектакль был не такой дрянной, как те, что я раньше видел. Но в общем дрянь. Про каких-то старых супружов, которые прожили пятьсот тысяч лет вместе. Начинается, когда они еще молодые и родители девушки не позволяют ей выйти за этого типа, но она все равно выходит. А потом они стареют и стареют. Муж уходит на войну, а у жены — брат пьяница. В общем, неинтересно. Я хочу сказать, что мне было все равно — помирал там у них кто-нибудь в семье или не помирал. Ничего там не было — одно актерство. Правда, муж и жена были славные старики — острумные и все такое — но они меня тоже не трогали. Во-первых, все время, на протяжении всей пьесы, люди пили чай или еще что-то. Только откроется занавес, лакей уже подает кому-нибудь чай или жена кому-нибудь наливает. И все время кто-нибудь входит и выходит — голова кружила оттого, что какие-то люди непрестанно вставали и садились. Альфред Лант и Линн Фонтанн играли старых супружов, они очень хорошо играли, но мне не понравилось. Я понимал, что они не похожи на остальных актеров. Они вели себя и не как обычновенные люди, и не как актеры, мне трудно это объяснить. Они так играли, как будто все время понимали, что они — знаменитые. Понимаете, они хорошо играли, только слишком хорошо. Понимаете — один еще не успеет договорить, а другой уже быстро подхватывает. Как будто настоящие люди разговаривают, перебивают друг друга и так далее. Все портило то, что все это слишком было похоже, как люди разговаривают и перебивают друг друга в жизни. Они играли свои роли почти так же, как тот Эрни в Гринвич-вилледже играл на рояле. Когда что-нибудь делаешь слишком хорошо, то, если не следить за собой, начинаешь вы-

ставляться напоказ. А тогда уже не может быть хорошо. Но, во всяком случае, в этом спектакле они одни — я говорю про Лантов — еще были похожи на людей, у которых башка варит, это надо признать.

После первого акта мы со всеми другими пижонами пошли курить. Ну и картина! Никогда в жизни не видел столько показного ломанья. Курят вовсю, а сами нарочно громко говорят про пьесы, чтобы все слыхали, какие они умные. Какой-то липовый киноактер стоял рядом с нами и тоже курил. Не знаю его фамилии, но в военных фильмах он всегда играет того типа, который трусит перед самым боем. С ним стояла сногшибательная блондинка, и оба они делали безразличные лица, притворялись, что не замечали, как на них смотрят. Скромные, черти! Мне смешно стало. А моя Салли почти не разговаривала, только восторгалась Лантами, ей было некогда: она всем строила глазки, ломалась. Вдруг она увидела в другом конце курилки какого-то знакомого пижона в темно-сером костюме, в клетчатом жилете. Светский лев. Аристократ. Стоит, накурился до одури, а у самого вид такой скучающий, презрительный. Салли все повторяет:

— Где-то я с ним познакомилась, я его знаю!

Всегда она всех знала. До того мне надоело, что она все время говорит одно и то же, что я ей сказал:

— Знаешь что, ну и ступай целуйся с ним, он, наверно, обрадуется.

Она страшно обиделась на меня. Наконец этот пижон ее узнал, подошел к нам и поздоровался. Вы бы видели, как они здоровались! Как будто двадцать лет не виделись. Можно было подумать, что их детьми купали в одной ванночке. Такие друзья, что тошно смотреть. Самое смешное, что они, наверное, только один раз и встретились, на какой-нибудь идиотской вечеринке. Наконец, когда они перестали пускать пузыри от радости, Салли нас познакомила. Звали его Джордж, не помню, как дальше, он учился в Эндовере. Да, да, аристократ! Вы бы на него посмотрели, когда Салли спросила его, нравится ли ему пьеса. Такие, как он, все делают напоказ, они даже место себе расчищают, прежде чем ответить на вопрос. Он сделал шаг назад — и наступил прямо на ногу dame, стоявшей сзади. Наверно, отдавил ей всю ногу! Он изрек, что пьеса сама по себе не шедевр, но, конечно, Ланты — «сущие ангелы». Ангелы, черт его дер! Ангелы! Подохнуть можно.

Потом он и Салли стали вспоминать всяких знакомых. Такого ломанья я еще в жизни не видел. Наперебой называли какой-нибудь город и тут же вспоминали, кто там

живет из общих знакомых. Меня уже тошило от них, когда кончился антракт. А в следующем антракте они опять завели эту волынку. Опять вспомнили какие-то места и каких-то людей. Хуже всего, что у этого пижона был такой приторный, аристократический голос, такой, знаете, утомленный, снобистский голосишко. Как у девчонки. И не постеснялся, мерзавец, отбивать у меня девушку. Я даже думал, что он сядет с нами в такси: он после спектакля квартала два шел с нами вместе, но он должен был встретиться с другими пижонами в коктейльной. Я себе представил, как они сидят в каком-нибудь баре в своих пижонских клетчатых жилетках и критикуют спектакли, и книги, и женщин, а голоса у них такие усталые, снобистские. Сдохнуть можно от этих типов.

Мне и на Салли тошно было смотреть, когда мы сели в такси; зачем она десять часов слушала этого подонка из Эндовера? Я решил было отвезти ее домой — честное слово! — но она вдруг сказала:

— У меня гениальная мысль! — Вечно у нее гениальные мысли. — Знаешь что, — говорит, — когда тебе надо домой, обедать? Ты очень спешишь или нет? Тебя дома ждут к определенному часу?

— Меня? Нет, нет, никто меня не ждет! — говорю. И это была истинная правда. — А что?

— Давай поедем кататься на коньках в Радио-сити.

Вот какие у нее гениальные мысли!

— Кататься в Радио-сити? Как, прямо сейчас?

— Хоть на часок, не больше. Тебе не хочется? Конечно, если тебе неохота...

— Разве я сказал, что не хочу? — говорю. — Пожалуйста. Если тебе так хочется.

— Ты правда хочешь? Если не хочешь — не надо. Мне решительно все равно.

Оно и видно!

— Там дают напрокат такие чудные короткие юбочки, — говорит Салли. — Дженнет Кальц на прошлой неделе брала.

Вот почему ей не терпелось туда пойти. Хотела покрасоваться в этой юбочонке, которая еле-еле прикрывает зад.

Словом, мы туда пошли, и нам сначала выдали коньки, а потом Салли надела такую синенькую юбочку, в которой только задом и вертеть. Но это ей дьявольски шло, надо сознаться. И не думайте, что она этого не понимала. Нарочно шла впереди меня, чтоб я видел, какой у нее красивый круглый задик. Надо сознаться, он и вправду ничего.

Но самое смешное, что на всем этом проклятом катке

мы катались хуже всех. Да, да, хуже всех! Ужас, что творилось! У Салли лодыжки так подворачивались, что терлись прямо об лед. И не только вид был дурацкий, наверно, ей и больно было до черта. По крайней мере у меня все болело. Я чуть не умер. Вы бы нас видели! И противнее всего, что сотни две зевак стояли и смотрели — делать им больше было нечего, только смотреть, как люди падают.

— Может, хочешь пойти в бар, возьмем столик, выпьем чего-нибудь? — сказал я ей наконец.

— Вот это ты гениально придумал! — говорит. Она просто замучилась. Бесчеловечно так себя мучить, мне ее даже стало жалко.

Мы сняли эти подлые коньки и пошли в бар, где можно выпить, посидеть в одних чулках и посмотреть издали на конькобежцев. У столика Салли сняла перчатки, и я дал ей сигаретку. Вид у нее был довольно несчастный. Подошел официант, я заказал для нее кока-колу, а для себя — виски с содовой, только этот подлец отказался подать мне виски, пришлось тоже пить кока-колу. Потом я стал зажигать спички. Я часто это делаю, когда находит настроение. Даю спичке сгореть до конца, так что держать нельзя, и бросаю в пепельницу. Нервная привычка.

Вдруг ни с того ни с сего Салли спрашивает:

— Слушай, мне надо точно знать, придешь ты к нам в сочельник убирать елку или нет? Мне надо знать заранее.

Видно, она злилась, оттого что ноги болели после этих коньков.

— Я же тебе писал, что приду. Ты меня раз двадцать спрашивала. Конечно, приду.

— Понимаешь, мне надо знать наверняка, — говорит. А сама озирается, смотрит, нет ли тут знакомых.

Вдруг я перестал жечь спички, наклонился к ней через весь стол. Мне надо было о многом с ней поговорить.

— Слушай, Салли! — говорю.

— Что? — спрашивает. А сама смотрит на какую-то девчонку в другом конце зала.

— С тобой случается, что вдруг все осточертело? — спрашиваю. — Понимаешь, бывает с тобой так, что тебе кажется — все провалится к чертям, если ты чего-нибудь не сделаешь, бывает тебе страшно? Скажи, ты любишь школу, вообще все?

— Нет, конечно, там скука смертная.

— Но ты ее ненавидишь или нет? Я знаю, что это скука смертная, но ты ненавидишь все это или нет?

— Как тебе сказать? Не то что ненавижу. Всегда как-то приходится...

— А я ненавижу. Господи, до чего я все это ненавижу. И не только школу. Все ненавижу. Ненавижу жить в Нью-Йорке. Такси ненавижу, автобусы, где кондуктор орет на тебя, чтобы выходил через заднюю площадку, ненавижу знакомиться с ломаками, которые называют Лантов «ангелами», ненавижу ездить в лифтах, когда просто хочется выйти на улицу, ненавижу мерить без конца костюмы у Брукса, когда тебе...

— Не кричи, пожалуйста! — перебила Салли.

Глупо, я и не думал кричать.

— Например, машины, — сказал я ужасно тихим голосом. — Смотри, как люди сходят с ума по машинам. Для них трагедия, если на их машине хоть малейшая царапина, и они вечно рассказывают, на сколько миль хватает галлона бензина, а как только купят новую машину, сейчас же начинают ломать голову, как бы им обменять ее на самую новейшую марку. А я даже старые машины не люблю. Понимаешь, мне не интересно. Лучше бы я себе завел лошадь, черт побери. В лошадях хоть есть что-то человеческое. С лошадью хоть поговорить можно...

— Не понимаю, о чем ты... Ты так перескакиваешь...

— Знаешь, что я тебе скажу? — сказал я. — Если бы не ты, я бы сейчас не сидел в Нью-Йорке. Если бы не ты, я бы, наверно, сейчас удрал к черту на рога. Куда-нибудь в леса или еще подальше. Ты — единственное, из-за чего я торчу здесь.

— Какой ты милый! — говорит. Но сразу было видно, что ей хочется переменить разговор.

— Ты бы поучилась в мужской школе. Попробовала бы! — говорю. — Сплошная липа. И учатся только для того, чтобы стать какими-нибудь пронырами, заработать на какой-нибудь треклятый «кадилац», да еще вечно притворяются, что им очень важно, проиграет их футбольная команда или нет. А целые дни только и разговору, что про выпивку, девочек и что такое секс, и у всякого своя компания, какая-нибудь гнусная мелкая шайка. У баскетбольных игроков — своя шайка, у католиков — своя, у этих треклятых интеллектуалов — своя, у игроков в бридж — своя компания. Даже у абонентов этого дурацкого Книжного клуба — своя шайка. Попробуй с кем-нибудь поговорить по-настоящему.

— Нет, это неверно! — сказала Салли. — Многим мальчикам школа куда больше дает.

— Согласен! Согласен, что многим школа дает больше.

А мне — ничего! Понятно? Я про это и говорю. Именно про это, черт побери! Мне вообще ничто ничего не дает. Я в плохом состоянии. Я в ужасающем состоянии.

— Да, ты в ужасном состоянии.

И вдруг мне пришла в голову мысль.

— Слушай! — говорю. — Вот какая у меня мысль. Хочешь удрать отсюда ко всем чертям? Вот что я придумал. У меня есть один знакомый в Гринвич-вилледже, я у него могу взять машину недельки на две. Он учился в нашей школе и до сих пор должен мне десять долларов. Мы можем сделать вот что. Завтра утром мы можем поехать в Массачусетс, в Вермонт, объездить там всякие места. Красиво там до черта, понимаешь? Удивительно красиво! — Чем больше я говорил, тем больше я волновался. Я даже наклонился и схватил Салли за руку, идиот проклятый! — Нет, кроме шуток! — говорю. — У меня есть около ста восемьдесят долларов на книжке. Завтра утром, как только откроют банк, я их возьму, а потом можно поехать и взять машину у этого парня. Кроме шуток. Будем жить в туристских лагерях и во всяких таких местах, пока деньги не кончатся. А когда кончатся, я могу достать работу, будем жить где-нибудь у ручья, а потом когда-нибудь мы с тобой поженимся, все как надо. Я сам буду рубить для нас дрова зимой. Честное слово, нам так будет хорошо, так весело! Ну как? Поедешь? Ты поедешь со мной? Поедешь, да?

— Да как же можно? — говорит Салли. Голос у нее был злой.

— А почему нельзя? Почему, черт подери?

— Не ори на меня, пожалуйста! — говорит. И главное, врет, ничуть я на нее не орал.

— Почему нельзя? Ну почему?

— Потому что нельзя — и все! Во-первых, мы с тобой, в сущности, еще дети. Ты подумал, что мы будем делать, когда деньги кончатся, а работы ты не достанешь? Мы с голода умрем. И вообще все это такие фантазии, что и говорить не...

— Неправда. Это не фантазия! Я найду работу! Не беспокойся! Тебе об этом нечего беспокоиться! В чем же дело? Не хочешь со мной ехать? Так и скажи!

— Не в том дело. Вовсе не в том, — говорит Салли. Я чувствовал, что начинаю ее ненавидеть. — У нас уйма времени впереди, тогда все будет можно. Понимаешь, после того как ты окончишь университет и мы с тобой поженимся. Мы сможем поехать в тысячу чудных мест. А теперь ты...

— Нет, не сможем. Никуда мы не сможем поехать, ни в какую тысячу мест. Все будет по-другому, — говорю. У меня совсем испортилось настроение.

— Что? Я не слышу. То ты на меня орешь, то бормочешь под нос...

— Я говорю — нет, никуда мы не поедем, ни в какие «чудные места», когда я кончу университет и все такое. Ты слушай ушами! Все будет по-другому. Нам придется спускаться в лифте с чемоданами и кучей вещей. Нам придется звонить всем родственникам по телефону, прощаться, а потом посыпать им открытки из всяких гостиниц. Я буду работать в какой-нибудь конторе, зарабатывать уйму денег, и ездить на работу в машине или в автобусах по Мэдисон-авеню, и читать газеты, и играть в бридж все вечера, и ходить в кино, смотреть дурацкие короткометражки и рекламу боевиков и кинохронику. Кинохронику. О господи боже! Сначала — какие-то скачки, потом дама разбивает бутылку над кораблем, потом шимпанзе едет на велосипеде в брюках. Нет, это все не то! Да ты все равно ни черта не понимаешь!

— Может быть, не понимаю! А может быть, ты сам ничего не понимаешь! — говорит Салли. Мы уже ненавидели друг друга до визгу. Видно было, что с ней бессмысленно разговаривать по-человечески. Я был ужасно зол на себя, что затеял этот разговор.

— Ладно, давай сматываться отсюда! — говорю. — И вообще катись-ка ты, знаешь, куда!..

Ох, и взвилась же она, когда я это сказал! Знаю, не надо было так говорить, и я никогда бы не выругался, если бы она меня не довела. Обычно я при девочках никогда в жизни не ругаюсь. Ух, и взвилась она! Я извинялся как ошалелый, но она и слушать не хотела. Даже расплакалась. По правде говоря, я немножко испугался, я испугался, что она пойдет домой и пожалуется своему отцу, что я ее обругал. Отец у нее был такой длинный, молчаливый, он вообще меня недолюбливал, подлец. Он сказал Салли, что я очень шумный.

— Нет, серьезно, прости меня! — Я очень ее уговаривал.

— Простить! Тебя простить! Странно! — говорит. Она все еще плакала, и вдруг мне стало как-то жалко, что я ее обидел.

— Пойдем, я тебя провожу домой. Серьезно.

— Я и сама доберусь, спасибо! Если ты думаешь, что я тебе позволю провожать меня, значит, ты дурак. Ни один мальчик за всю мою жизнь при мне так не ругался.

Что-то в этом было смешное, если подумать, и я вдруг сделал то, чего никак не следовало делать. Я захотел. А смех у меня ужасно громкий и глупый. Понимаете, если бы я сидел сам позади себя в кино или еще где-нибудь, я бы, наверно, наклонился и сказал самому себе, чтобы так не гоготал. И тут Салли совсем взбесилась.

Я шел за ней, извинялся, просил у нее прощения, но она никак не хотела меня простить. Все твердила — уходи, оставь меня в покое. В конце концов я и ушел. Забрал свои башмаки и одежду и ушел без нее. Не надо было ее бросать, но мне уже все осточертело.

А по правде говоря, я и сам не понимал, зачем ей все это наговорил. Насчет поездки в Массачусетс, в Вермонт, вообще все. Наверно, я не взял бы ее с собой, даже если бы она сама напросилась. Разве с такими, как она, можно путешествовать! Но самое страшное, что я искренне предлагал ей ехать со мной. Это самое страшное. Нет, я все-таки ненормальный, честное слово!

18

Мне захотелось есть, когда я вышел с катка, и я забежал в буфет, съел бутерброд с сыром и суфле, а потом зашел в телефонную будку. Я подумал — может быть, все-таки звякнуть Джейн еще раз, узнать, приехала она домой или нет. Ведь у меня весь вечер был свободен, и я подумал — звякну ей, и, если она уже дома, я ее приглашу куда-нибудь потанцевать. Я ни разу с ней не танцевал за все наше знакомство. Но один раз я видел, как она танцует. Она здорово танцевала. Это было четвертого июля в клубе. Тогда мы еще были мало знакомы, и я не решился отбить ее у кавалера. Она была с отвратительным типом, с Элом Пайком, который учился в Чоуте. Я его тоже мало знал, только он вечно вертелся около бассейна. Он носил такие белые нейлоновые плавки и вечно прыгал с вышки. Целыми днями прыгал каким-то дурацким стилем. Больше он ничего не умел, но, видно, считал себя классным спортсменом. Сплошные мускулы и никаких мозгов. Словом, Джейн в тот вечер танцевала с ним. Мне это было непонятно. Честное слово, совершенно непонятно. Когда мы с ней подружились, я ее спросил, как она могла встречаться с таким заносчивым типом, как этот Эл Пайк. Но Джейн сказала, что он вовсе не задается. Она сказала, что у него, наоборот, этот самый комплекс неполноценности. Вообще видно было, что ей его жаль, да она и не притворялась. Она всерьез его жалела. Странные

люди — эти девчонки. Каждый раз, когда упоминаешь какого-нибудь чистокровного гада — очень подлого или очень самовлюбленного, — каждый раз, как про него заговоришь с девчонкой, она непременно скажет, что у него «комплекс неполноценности». Может быть, это и верно, но это не мешает ему быть гадом. Да, девчонки. Никогда не поймешь, что им взбредет в голову. Один раз я познакомил подругу Роберты Уолш с одним моим приятелем. Его звали Боб Робинсон, вот у него по-настоящему был комплекс неполноценности. Сразу было видно, что он стесняется своих родителей, потому что они говорили «хочут» и «хотите», и все в таком роде, а кроме того, они были довольно бедные. Но сам он был вовсе не из худших. Очень славный малый, но подруге Роберты Уолш он совершенно не понравился. Она сказала Роберте, что он задается, а решила она, что он задается, потому что он случайно назвал себя капитаном команды дискуссионного клуба. Такая мелочь — и она уже решила, что он задается! Вся беда с девчонками в том, что, если им мальчик нравится, будь он хоть сто раз гадом, они непременно скажут, что у него комплекс неполноценности, а если им мальчик не нравится, будь он хоть самый славный малый на свете, с самым настоящим комплексом, они все равно скажут, что он задается. Даже с умными девчонками так бывает.

В общем, я опять позвонил старушке Джейн, но никто не подошел, и пришлось повесить трубку. Я стал просматривать свою запинскую книжку, искать, с кем бы мне провести вечер. К несчастью, у меня в книжке были записаны только три телефона: Джейн, мистера Антолини — он был моим учителем в Элктон-хилле — и потом служебный телефон отца. Вечно я забываю записывать телефоны. В конце концов пришлось позвонить одному мальчику, Карлу Льюсу. Он окончил Хуттонскую школу, когда я уже оттуда ушел. Он был старше меня года на три, и я его не особенно любил, но он был ужасно умный — у него был самый высокий показатель умственного развития во всей школе, — и я подумал, может быть, он победает со мной и мы поговорим о чем-нибудь умном. Иногда он интересно рассказывал. Я решил ему звякнуть. Он уже учился в Колумбийском университете, но жил на Шестьдесят пятой улице, и я знал, что он дома. Когда я до него дозвонился, он сказал, что в обед занят, но может встретиться со мной в десять вечера в Викер-баре, на Пятьдесят четвертой. По-моему, он очень удивился, когда услышал мой голос. Один раз я его обозвал толстозадым ломакой.

До десяти часов надо было как-то убить время, и я по-

шел в кино в Радио-сити. Хуже нельзя было ничего придумать, но я был рядом и совершенно не знал, куда деваться.

Я вошел, когда начался дивертишмент. Труппа Рокетт выделяла бог знает что — знаете, как они танцуют: все в ряд, обхватив друг другу за талию. Публика хлопала как бешеная, и какой-то тип за мной все время повторял: «Знаете, как это называется? Математическая точность!» Убил! А после труппы Рокетт выкатился на роликах человек во фраке и стал нырять под маленькие столики и при этом острить. Катался он здорово, но мне было скучновато, потому что я все время представлял себе, как он целыми днями тренируется, чтобы потом кататься по сцене на роликах. Глупое занятие. А после него началась рождественская пантомима, ее каждый год ставят в Радио-сити на рождество. Вылезли всякие ангелы из ящиков, потом какие-то типы таскали на себе распятия по всей сцене, а потом они хором во все горло пели «Приди те, верующие!». Здорово запущено! Знаю, считается, что все это ужасно религиозно и красиво, но где же тут религия и красота, черт меня дери, когда кучка актеров таскает распятия по сцене? А когда они кончили петь и стали расходиться по своим местам, видно было, что им не терпится уйти к чертям, покурить, передохнуть. В прошлом году я видел это представление с Салли Хейс, и она все восторгалась — ах, какая красота, ах, какие костюмы! А я сказал, что бедного Христа, наверно, стошило бы, если б он посмотрел на эти маскарадные тряпки. Салли сказала, что я богохульник и атеист. Наверно, так оно и есть. А вот одна штука Христу, наверно, понравилась бы — это ударник из оркестра. Я его помню с тех пор, как мне было лет восемь. Когда родители водили сюда меня с братом, с Алли, мы всегда пересаживались к самому оркестру, чтобы смотреть на этого ударника. Лучше его я еще никого не видал. Правда, за весь номер ему всего раза два удавалось стукнуть по этой штуке, и все-таки у него никогда не было скуки на лице, пока он ждал. Но уж когда он наконец ударит, у него это выходит так хорошо, так чисто, даже по лицу видно, как он старается. Когда мы с отцом ездили в Вашингтон, Алли послал этому ударнику открытку, но, наверно, тот ее не получил. Мы толком не знали, как написать адрес.

Наконец рождественская пантомима окончилась и запустили этот треклятый фильм. Он был до того гнусный, что я глаз не мог отвести. Про одного англичанина, Алека, не помню, как дальше. Он был на войне и в госпитале

потерял память. Выходит из госпиталя с наложкой, хромает по всему городу, по Лондону, и не знает, где он. На самом деле он герцог, но этого не помнит. Потом встречается с такой некрасивой, простой, честной девушкой, когда она лезет в автобус. У нее слетает шляпка, он ее подхватывает, а потом они вдвоем забираются на верхнюю турбу и начинают разговор про Чарльза Диккенса. Оказывается, это их любимый писатель. Он даже носит с собой «Оливера Твиста», и она тоже. Меня чуть не стошнило. В общем, они тут же влюбляются друг в друга, потому что оба помешаны на Чарльзе Диккенсе, и он ей помогает наладить работу в издательстве. Забыл сказать, эта девушка — издатель. Но у нее работа идет неважно, потому что брат у нее пьяница и все деньги пропивает. Он очень ожесточился, этот самый брат, потому что на войне он был хирургом, а теперь уже не может делать операции: нервы у него ни к черту, вот он и пьет как лошадь день и ночь, хотя в общем он довольно умный. Словом, Алек пишет книжку, а девушка ее издает, и они загребают кучу денег. Они совсем было собирались пожениться, но тут появляется другая девушка, некая Марсия. Эта Марсия была невестой Алека до того, как он потерял память, и она его узнает, когда он надписывает в магазине свою книжку любителям автографов. Марсия говорит бедняге Алеку, что он на самом деле герцог, но он ей не верит и не желает идти с ней в гости к своей матери. А мать у него слепая как кот. Но та, другая девушка, некрасивая, заставляет его пойти. Она ужасно благородная и все такое. Он идет, но все равно память к нему не возвращается, даже когда его огромный датский док прыгает на него как сумасшедший, а мать хватает его руками за лицо и приносит ему плюшевого мишку, которого он обцеповывал в раннем детстве. Но в один прекрасный день ребята играли на лужайке в крикет и согрели этого Алека мячом по башке. Тут к нему сразу возвращается память, он бежит домой и целует свою мать в лоб. Он опять становится настоящим герцогом и совершенно забывает ту простую девушку, у которой свое издательство. Я бы рассказал вам, как было дальше, но боюсь, что меня стошнит. Дело не в том, что я боюсь испортить вам впечатление, там и портить нечего. Словом, все кончается тем, что Алек женится на этой простой девушке, а ее брат, хирург, который пьет, приводит свои нервы в порядок и делает операцию мамаше Алека, чтобы она прозрела, и тут этот бывший пьяница и Марсия влюбляются друг в друга. А в последних кадрах показано, как все сидят за длиннющим столом и хохочут до колик, по-

тому что датский дог вдруг притаскивает кучу щенков. Все думали, что он кобель, а, оказывается, он сука. В общем, могу одно посоветовать: если не хотите, чтоб вас стошило прямо на соседей, не ходите на этот фильм.

Но кого я никак не мог понять, так это даму, которая сидела рядом со мной и всю картину проплакала. И чем больше там было липы, тем она горше плакала. Можно было бы подумать, что она такая жалостливая, добрая, но я сидел с ней рядом и видел, какая она добрая. С ней был маленький сынишка, ему было скучно до одури, и он все скулил, что хочет в уборную, а она его не вела. Все время говорила — сиди смирно, веди себя прилично. Волчица и та, наверно, добрее. Вообще, если взять десяток человек из тех, кто смотрит липовую картину и ревет в три ручья, так поручиться можно, что из них девять окажутся в душе самыми прожженными сволочами. Я вам серьезно говорю.

Когда картина кончилась, я пошел к Викер-бару, где должен был встретиться с Карлом Льюсом, и, пока шел, все думал про войну. Военные фильмы всегда наводят на такие мысли. Наверно, я не выдержал бы, если бы пришлось идти на войну. Вообще не страшно, если бы тебя просто отправили куда-нибудь и там убили, но ведь надо торчать в армии бог знает сколько времени. В этом все несчастье. Мой брат, Д. Б., четыре года как проклятый торчал в армии. Он и на войне был, участвовал во втором фронте, и все такое, но, по-моему, он ненавидел армейскую службу больше, чем войну. Я был еще совсем маленький, но помню, когда он приезжал домой в отпуск, он все время лежал у себя на кровати. Он даже в гостиную выходил редко. Потом он попал в Европу, на войну, но не был ранен, и ему даже не пришлось ни в кого стрелять. Целыми днями он только и делал, что возил какого-то ковбойского генерала в штабной машине. Он как-то сказал нам с Алли, что, если б ему пришлось стрелять, он не знал бы, в кого пустить пулю. Он сказал, что в армии полно сволочей, не хуже, чем у фашистов. Помню, как Алли его спросил — может быть, ему полезно было побывать на войне, потому что он писатель и теперь ему есть о чём писать. А он заставил Алли принести эту бейсбольную рукавицу со стихами и потом спросил: кто лучше писал про войну — Руперт Брук или Эмили Дикinson? Алли говорит — Эмили Дикinson. Я про это ничего сказать не могу — стихов я почти не читаю, но я твердо знаю одно: я бы наверняка спятил, если б мне пришлось служить в армии с типами вроде Экли, Стрэдлейтера и того лифтера, Мориса, маршировать с ними, жить вместе. Как-

то я целую неделю был бойскаутом, и меня уже мучило, когда я смотрел в затылок переднему мальчишке. А нас все время заставляли смотреть в затылок переднему. Честное слово, если будет война, пусть меня лучше сразу выведут и расстреляют. Я и сопротивляться бы не стал. Но одно меня возмущает в моем старшем брате: ненавидит войну, а сам прошлым летом дал мне прочесть эту книжку «Прощай, оружие!». Сказал, что книжка потрясающая. Вот чего я никак не понимаю. Там этот герой, этот лейтенант Генри. Считается, что он славный малый. Не понимаю, как это Д. Б. ненавидит войну, ненавидит армию и все-таки восхищается этим ломакой. Не могу я понять, почему ему нравится такая липа и в то же время нравится и Ринг Ларднер и «Великий Гэтсби». Он на меня обиделся, Д. Б., когда я ему это сказал, заявил, что я еще слишком мал, чтобы оценить «Прощай, оружие!», но, по-моему, это неверно. Я ему говорю — нравится же мне Ринг Ларднер и «Великий Гэтсби». Особенно «Великий Гэтсби». Да, Гэтсби. Вот это человек. Сила!

В общем, я рад, что изобрели атомную бомбу. Если когда-нибудь начнется война, я сяду прямо на эту бомбу. Добровольно сяду, честное благородное слово!

19

Может быть, вы не жили в Нью-Йорке и не знаете, что «Викер-бар» находится в очень шикарной гостинице — «Сетон-отель». Раньше я там бывал довольно часто, но потом перестал. Совсем туда не хожу. Считается, что это ужасно изысканный бар, и все пижоны туда так и лезут. А три раза за вечер там выступали эти француженки, Тина и Жанин, играли на рояле и пели. Одна играла на рояле — совершенно мерзко, а другая пела песни — либо непристойные, либо французские. Та, которая пела, Жанин, сначала выйдет к микрофону и прошепелявит, прежде чем запоет. Скажет: «А теперь мы вам споймь маленки песенка «Вуле Ву франсэ». Этот песенка про ма-ааленки франсуски дэвюшкя, котори приехаль в ошэн большой город, как Нуу-Йорк, и влюбляя в маа-ленки малшику из Бруклин. Ми увереи, что вам ошэн понравиль!» Посюсюкает, пошепелявит, а потом споет дурацкую песню, наполовину по-английски, наполовину по-французски, а все пижоны начинают с ума сходить от восторга. Посидели бы вы там подольше, послушали бы, как эти подонки аплодируют, вы бы весь свет вознавидели, клянусь честью. А сам хозяин бара тоже скотина. Ужасающий сноб. Ой

С вами ни слова не скажет, если вы не какая-нибудь важная шишка или знаменитость. А уж если ты знаменитость, тут он в лепешку расшибется, смотреть тошно. Пойдет, улыбнется этак широко, простодушно — смотрите, какой я чудный малый! — спросит: «Ну, как там у вас, в Коннектикуте?» или «Ну, как там у вас, во Флориде?» Гнусный бар, кроме шуток. Я туда почти что совсем перестал ходить.

Было еще довольно рано, когда я туда добрался. Я сел у стойки — народу было много — и выпил виски с содовой, не дождавшись Льюса. Я вставал с табуретки, когда заказывал: пусть видят, какой я высокий, и не принимают меня за несовершеннолетнего. Потом я стал рассматривать всех пижонов. Тот, что сидел рядом со мной, по-всякому обхаживал свою девицу. Все уверял, что у нее аристократические руки. Меня смех разбирал. А в другом конце бара собирались психи. Вид у них, правда, был не слишком психоватый — ни длинных волос, ничего такого, но сразу можно было сказать, кто они такие. И наконец явился сам Льюс.

Льюс — это тип. Таких поискать. Когда мы учились в Хуттонской школе, он считался моим репетитором-старшеклассником. Но он только и делал, что вел всякие разговоры про секс поздно ночью, когда у него в комнате собирались ребята. Он здорово знал про всякое такое, особенно про всяких психов. Вечно он нам рассказывал про каких-то извращенцев, которые гоняются за овцами или зашивают в подкладку шляп женские трусики. Этот Льюс наизусть знал, кто педераст, а кто лесбиянка, чуть ли не по всей Америке. Назовешь какую-нибудь фамилию, чью угодно, а Льюс тут же тебе скажет, педераст он или нет. Просто иногда трудно было поверить, что все эти люди — киноактеры и прочие — либо педерасты, либо лесбиянки. А ведь многие из них были женаты. Черт его знает, откуда он это выдумал. Сто раз его переспросишь: «Да неужели Джо Блоу тоже из этих? Джо Блоу, такая громадина, такой силач, тот, который всегда играет гангстеров и ковбоев, неужели и он?» И Льюс отвечал: «Безусловно!» Он всегда говорил: «Безусловно!» Он говорил, что никакого значения не имеет, женат человек или нет. Говорил, что половина женатых людей — извращенцы и сами этого не подозревают. Говорил — каждый может вдруг стать таким, если есть задатки. Пугал он нас до полусмерти. Я иногда ночь не спал, все боялся — вдруг я тоже стану психом? Но самое смешное, что, по-моему, сам Льюс был не совсем нормальный. Вечно он трепался бог знает

— О чём, а в коридоре жал из тебя масло, пока ты не задохнешься. И всегда оставлял двери из уборной в умывалку открытыми: ты чистишь зубы или умываешься, а он с тобой оттуда разговаривает. По-моему, это тоже какое-то извращение, ей-богу. В школах я часто встречал настоящих психов, и вечно они выкидывали такие фокусы. Поэтому я и подозревал, что Льюс сам такой. Но он ужасно умный, кроме шуток.

Он никогда не здоровается, не говорит «привет». И сейчас он сразу заявил, что пришел на одну минутку. Сказал, что у него свидание. Потом велел подать себе сухой мартини. Сказал, чтобы бармен поменьше разбавлял и не клал маслину.

— Слушай, я для тебя присмотрел хорошего психа, — говорю. — Вон, в конце стойки. Ты пока не смотри. Я его приметил для тебя.

— Как остроумно! — говорит. — Все тот же прежний Колфилд. Когда же ты вырастешь?

Видно было, что я его раздражал. А мне стало смешно. Такие типы всегда меня смешат.

— Ну, как твоя личная жизнь? — спрашиваю. Он не навидел, когда его об этом спрашивали.

— Перестань, — говорит он, — ради бога, сядь спокойно и перестань трепаться.

— А я сижу спокойно, — говорю. — Как Колумбия? Нравится тебе там?

— Безусловно. Очень нравится. Если бы не нравилось, я бы туда не пошел, — говорит. Он тоже иногда раздражал меня.

— А какую специальность ты выбрал? — спрашиваю. — Изучашь всякие извращения? — Мне хотелось подшутить над ним.

— Ты, кажется, пытаешься острить? — говорит он.

— Да нет, я просто так, — говорю. — Слушай, Льюс, ты очень умный малый, образованный. Мне нужен твой совет. Я попал в ужасное...

Он громко застонал:

— Ох, Колфилд, перестань! Неужто ты не можешь посидеть спокойно, поговорить...

— Ладно, ладно, — говорю. — Не волнуйся!

Видно было, что ему не хочется вести со мной серьезный разговор. Беда с этими умниками. Никогда не могут серьезно поговорить с человеком, если у них нет настроения. Пришлось завести с ним разговор на общие темы.

— Нет, я серьезно спрашиваю, как твоя личная жизнь? По-прежнему водишься с той же куклой, помнишь, ты с

ней водился в Хуттоне? У нее еще такой огромный...

— О господи, разумеется, нет!

— Как же так? Где она теперь?

— Ни малейшего представления. Если хочешь знать, она, по-моему, стала чем-то вроде нью-гемпширской блудницы.

— Это свинство! Если она тебе столько позволяла, так ты по крайней мере не должен говорить про нее гадости!

— О, черт! — сказал Льюс. — Неужели начнется типичный кой филдовский разговор? Ты бы хоть предупредил меня.

— Ничего не начнется, — сказал я, — и все-таки это свинство. Если она так хорошо относилась к тебе, что позволяла..

— Неужто надо продолжать эти невыносимые тирады?

Я ничего не сказал. Испугался, что, если я не замолчу, он встанет и уйдет. Пришлось заказать еще одну порцию виски. Мне вдруг до чертиков захотелось напиться.

— С кем же ты сейчас водишься? — спрашиваю. — Можешь мне рассказать? Если хочешь, конечно!

— Ты ее не знаешь.

— А вдруг знаю? Кто она?

— Одна особа из Гринвич-вилледжа. Скульпторша, если уж непременно хочешь знать.

— Ну? Серьезно? А сколько ей лет?

— Бог мой, да разве я ее спрашивал?

— Ну приблизительно, сколько?

— Да, наверно, лет за тридцать, — говорит Льюс.

— За тридцать? Да? И тебе это нравится? — спрашиваю. — Тебе нравятся такие старые? — Я его расспрашивал главным образом потому, что он действительно разбирался в этих делах. Немногие так разбирались, как он. Он потерял невинность четырнадцати лет, в Нантакете, честное слово!

— Ты хочешь знать, нравятся ли мне зрелые женщины? Безусловно!

— Вот как? Почему? Нет, правда, разве с ними лучше?

— Слушай, я тебе еще раз повторяю: прекрати эти колфилдовские расспросы хотя бы на сегодняшний вечер. Я отказываюсь отвечать. Когда же ты наконец станешь взрослым, черт побери?

Я ничего не ответил. Решил помолчать минутку. Потом Льюс заказал еще мартини и велел совсем не разбавлять.

— Слушай, все-таки скажи, ты с ней давно живешь, с этой скульпторшей? — Мне и на самом деле было интересно. — Ты был с ней знаком в Хуттонской школе?

- Нет. Она недавно приехала в Штаты, несколько месяцев назад.
- Да? Откуда же она?
- Представь себе — из Шанхая.
- Не ври! Китаянка, что ли?
- Безусловно!
- Врешь! И тебе это нравится? То, что она китаянка?
- Безусловно, нравится.
- Но почему? Честное слово мне интересно знать — почему?
- Просто меня восточная философия больше удовлетворяет, чем западная, если тебе непременно надо знать.
- Какая философия? Сексуальная? Что, разве у них, в Китае, это лучше? Ты про это?
- Да я не про Китай. Я вообще про Восток. Бог мой! Неужели надо продолжать этот бессмысленный разговор?
- Слушай, я тебя серьезно спрашиваю, — говорю я. — Я не шучу. Почему на Востоке все это лучше?
- Слишком сложно объяснять, понимаешь? — говорит Льюс. — Просто они считают, что любовь — это общение не только физическое, но и духовное. Да зачем я тебе стану...
- Но я тоже так считаю! Я тоже считаю, что это — как ты сказал? — и духовное и физическое. Честное слово, я тоже так считаю. Но все зависит от того, с кем у тебя любовь. Если с кем-нибудь, кого ты вовсе...
- Да не ори ты так, ради бога! Если не можешь говорить тихо, давай прекратим этот...
- Хорошо, хорошо, только ты выслушай! — говорю. Я немножко волновался и действительно говорил слишком громко. Бывает, что я очень громко говорю, когда волнуюсь. — Понимаешь, что я хочу сказать: я знаю, что общение должно быть и физическое, и духовное, и красивое — словом, всякое такое. Но ты пойми, не может так быть с каждой — со всеми девчонками, с которыми целуешься, — не может! А у тебя может?
- Давай прекратим этот разговор, — говорит Льюс. — Не возражаешь?
- Ладно, но ты все-таки выслушай! Возьмем тебя и эту китаянку. Что у вас с ней особенно хорошего?
- Я сказал — прекрати!
- Конечно, не надо было так вмешиваться в его личную жизнь. Я это понимаю. Но у Льюса была одна ужасно приятная черта. Когда мы учились в Хуттоне, он заставил меня описывать самые тайные мои переживания, а

как только спросишь его самого, он злится. Не любят эти умники вести умный разговор, они только сами любят разглагольствовать. Считают, что если он замолчал, так ты тоже молчи, если он ушел в свою комнату, так и ты уходи. Когда я учился в Хуттоне, Льюс просто ненавидел, если мы начинали сами разговаривать после того, как он нам рассказывал всякие вещи. Даже если мы собирались в другой комнате, я и мои товарищи, Льюс просто не выносил этого. Он всегда требовал, чтобы все разошлись по своим комнатам и сидели там, раз он перестал разглагольствовать. Все дело было в том, что он боялся — вдруг кто-нибудь скажет что-либо умнее, чем он. Все-таки он уморительный тип.

— Наверно, придется ехать в Китай, — говорю. — Моя личная жизнь ни к черту не годится.

— Это естественно. У тебя незрелый ум.

— Верно. Это очень верно, сам знаю, — говорю. — Но понимаешь, в чем беда? Не могу я испытать настоящего возбуждение — понимаешь, настоящее, — если девушка мне не нравится. Понимаешь, она должна мне нравиться. А если не нравится, так я ее и не хочу, понимаешь? Господи, вся моя личная жизнь из-за этого идет псу под хвост. Дерьмо, а не жизнь!

— Ну конечно, черт возьми! Я тебе уже в прошлый раз говорил, что тебе надо сделать.

— Пойти к психоаналитику, да? — сказал я. В прошлый раз он мне это советовал. Отец у него психоаналитик.

— Да это твое дело, бог мой! Мне-то какая забота, что ты с собой сделаешь?

Я ничего не сказал. Я думал.

— Хорошо, предположим, я пойду к твоему отцу и попрошу его пропсилоанализировать меня, — сказал я. — А что он со мной будет делать? Скажи, что он со мной сделает?

— Да ни черта он с тобой не сделает. Просто поговорит, и ты с ним поговоришь. Что ты, не понимаешь, что ли? Главное, он тебе поможет разобраться в строе твоих мыслей.

— В чем, в чем?

— В строе твоих мыслей. Ты запутался в сложностях... О, черт! Что я, курс психоанализа должен тебе читать, что ли? Если угодно, запишишь к отцу на прием, не угодно — не записывайся! Откровенно говоря, мне это глубоко безразлично.

Я положил руку ему на плечо. Мне стало очень смешно.

— А ты настоящий друг, сукин сын! — говорю. — Ты это знаешь?

Он посмотрел на часы.

— Надо бежать! — говорит он и встает. — Рад был по-видать тебя. — Он позвал бармена и велел подать счет.

— Слушай-ка! — говорю. — А твой отец тебя психоанализировал?

— Меня? А почему ты спрашиваешь?

— Просто так. Психоанализировал или нет?

— Как сказать. Не совсем. Просто он помог мне приспособиться к жизни, но глубокий анализ не понадобился. А почему ты спрашиваешь?

— Просто так. Интересно.

— Ну прощай. Счастливо! — сказал он. Он положил часевые и собрался уходить.

— Выпей со мной еще! — говорю. — Прошу тебя. Меня тоска заела. Серьезно, останься!

Он сказал, что не может. Сказал, что и так опаздывает, и ушел.

Да, Льюс — это тип. Конечно, он зануда, но запас слов у него гигантский. Из всех учеников нашей школы у него оказался самый большой запас слов. Нам устраивали специальные тесты.

20

Я сидел и пил без конца, а сам ждал, когда же наконец выйдут Тина и Жанин со своими штучками, но их, оказывается, уже не было. Вышел какой-то женоподобный тип с завитыми волосами и стал играть на рояле, а потом новая красотка, Валенсия, вышла и запела. Ничего хорошего в ней не было, но, во всяком случае, она была лучше, чем Тина с Жанин, — по крайней мере она хоть песни пела хорошие. Рояль был у самой стойки, где я сидел, и эта самая Валенсия стояла почти что около меня. Я ей немножко подмигнул, но она сделала вид, что даже не замечает меня. Наверно, я не стал бы ей подмигивать, но я уже был пьян как сапожник. Она допела и так быстро смылась, что я не успел пригласить ее выпить со мной. Я позвал метрдотеля и велел ему спросить старушку Валенсию, не хочет ли она выпить со мной. Он сказал, что спросит непременно, но, наверно, даже не передал мою просьбу. Никто никогда не передает, если просишь.

Просидел я в этом проклятом баре чуть ли не до часу ночи, напился там как сукин сын. Совершенно окосел. Но одно я твердо помнил — нельзя шуметь, нельзя сканда-

лить. Не хотелось, чтобы на меня обратили внимание, да еще спросили бы, чего доброго, сколько мне лет. Но до чего я окосел — ужас! А когда я окончательно напился, я опять стал выдумывать эту дурацкую историю, будто у меня в кишках сидит пулья. Я сидел один в баре, с пулей в животе. Все время я держал руку под курткой, чтобы кровь не капала на пол. Я не хотел подавать виду, что ранен. Скрывал, что меня, дурака, ранили. И тут опять ужасно захотелось звякнуть Джейн по телефону, узнать, вернулась она наконец домой или нет. Я расплатился и пошел к автоматам. Иду, а сам прижимаю руку к ране, чтобы кровь не капала. Вот до чего я напился!

Но когда я очутился в телефонной будке, у меня прошло настроение звонить Джейн. Наверно, я был слишком пьян. Вместо этого я позвонил Салли.

Я накрутил, наверно, номеров двадцать, пока не набрал правильно. Фу, до чего я был пьян!

— Алло! — крикнул я, когда кто-то подошел к этому треклятому телефону. Даже не крикнул, а заорал, до того я был пьян.

— Кто говорит? — спрашивает ледяной женский голос.

— Это я. Холден Колфилд. Пжалста, пзвоните Салли...

— Салли уже спит. Говорит ее бабушка. Почему вы звоните так поздно, Холден? Вы знаете, который час?

— Знаю! Мне надо поговорить с Салли. Очень важно. Дайте ее сюда!

— Салли спит, молодой человек. Пзвоните завтра. Спокойной ночи!

— Разбудите ее! Эй, разбудите ее! Слышите?

И вдруг заговорил другой голос:

— Холден, это я.

Оказывается, Салли.

— Это еще что за выдумки?

— Салли? Это ты?

— Да, да! Не ори, пожалуйста! Ты пьян?

— Ага! Слушай! Слушай, эй! Я приду в сочельник, ладно? Уберу с тобой эту чертову елку. Идет? Эй, Салли, идет?

— Да. Ты ужасно пьян. Иди спать. Где ты? С кем ты?

— Салли? Я приду убирать елку, ладно? Слышишь? Ладно? А?

— Да, да. А теперь иди спать. Где ты? Кто с тобой?

— Никого. Я, моя персона и я сам. — Ох, до чего я был пьян! Стою и держусь за живот. — Меня подстрелили! Банда Рокки меня прикончила. Слышишь, Салли? Салли, ты меня слышишь?

— Я ничего не понимаю. Иди спать. Мне тоже надо спать. Позвони завтра.

— Слушай, Салли! Хочешь, я приду убирать елку? Хочешь? А?

— Да, да! Спокойной ночи!
И повесила трубку.

— Спокойной ночи. Спокойной ночи, Салли, миленькая! Солнышко мое, девочка моя милая! — говорю. Представляете себе, до чего я был пьян?

Потом я повесил трубку. И подумал, что она, наверно, только что вернулась из гостей. Вдруг вообразил, что она где-то веселится с этими Лантами и с этим шлютом из Эндовера. Будто все они плавают в огромном чайнике и разговаривают такими нарочными изысканными голосами, кокетничают напоказ, выламываются. Я уже проклинал себя, что звонил ей. Но когда я напьюсь, я как ненормальный.

Простоял я в этой треклятой будке довольно долго. Вцепился в телефон, чтобы не потерять сознание. Чувствовал я себя, по правде сказать, довольно мерзко. Наконец я все-таки выбрался из будки, пошел в мужскую уборную, шатаясь как идиот, там налил в умывальник холодной воды и опустил голову до самых ушей. А потом и вытирать не стал. Пускай, думаю, с нее каплет к чертям собачьим. Потом подошел к радиатору у окна и сел на него. Он был такой теплый, уютный. Приятно было сидеть, потому что я дрожал, как щенок. Смешная штука, но стоит мне напиться, как меня трясет лихорадка.

Делать было нечего, я сидел на радиаторе и считал белые плитки на полу. Я страшно промок. Вода с головы лилась за шиворот, весь галстук промок, весь воротник, но мне было наплевать. Тут вошел этот малый, который аккомпанировал Валенсии, этот женоподобный фертик с завитыми волосами, и стал приглаживать свои золотые кудри. Мы с ним разговорились, пока он причесывался, хотя он был со мной не особенно приветлив.

— Слушайте, вы увидите эту самую Валенсию, когда вернетесь в зал? — спрашиваю.

— Это не лишено вероятности! — отвечает. Острит, болван. Везет мне на остроумных болванов.

— Слушайте, передайте ей от меня привет. Спросите, передал ей этот подлый метрдотель привет от меня, ладно?

— Почему ты не идешь домой, Мак? Сколько тебе, в сущности, лет?

— Восемьдесят шесть. Слушьте, передайте ей от меня привет! Передадите?

— Почему не идешь домой, Мак?

— Не пойду! Ох, и здорово вы играете на рояле, черт возьми!

Я ему нарочно льстил. По правде говоря, играл он на рояле мерзко.

— Вам бы выступать на радио, — говорю. — Вы же красавец. Златые кудри и все такое. Вам нужен импресарио, а?

— Иди домой, Мак. Будь умницей, иди домой и ложись спать.

— Нет у меня никакого дома. Кроме шуток — нужен вам импресарио?

Он даже не ответил. Вышел, и все. Расчесал свои кудри, прилизал их и ушел. Вылитый Стрэдлейтер. Все эти смазливые ублюдки одинаковы. Причешутся, прилижутся — и бросают тебя одного.

Когда я наконец встал с радиатора и пошел в гардеробную, я разревелся. Без всякой причины — шел и ревел. Наверно, оттого, что мне было очень уж одиноко и грустно. А когда я подошел к гардеробу, я не мог найти свой номер. Но гардеробщица оказалась очень славной. Отдала пальто без номерка. И пластинку «Крошка Шерли Бинз»: я ее так и носил с собой. Хотел дать гардеробщице доллар за то, что она такая славная, но она не взяла. Все уговаривала, чтоб я шел домой и лег спать. Я попытался было назначить ей свидание, но она не захотела. Сказала, что годится мне в матери. А я показываю свои седые волосы и говорю, что мне уже сорок четыре года — в шутку, конечно. Она была очень хорошая. Ей даже понравилась моя дурацкая охотничья шапка. Велела мне надеть ее, потому что у меня волосы были совсем мокрые. Славная женщина.

На воздухе с меня слетел весь хмель. Стоял жуткий холод, и у меня зуб на зуб не попадал. Весь дрожу, никак не могу удержаться. Я пошел к Мэдисон-авеню и стал ждать автобуса; денег у меня почти что совсем не осталось, и нельзя было тратить на такси. Но ужасно не хотелось лезть в автобус. А кроме того, я и сам не знал, куда мне ехать. Я взял и пошел в парк. Подумал, не пройти ли мне мимо того прудика, посмотреть, где эти чертовы утки, там они или нет. Я так и не знал — там они или их нет. Парк был недалеко, а идти мне все равно было некуда — я даже не знал, где я буду ночевать, — я и пошел туда. Усталости я не чувствовал, вообще ничего не чувствовал, кроме жуткой тоски.

И вдруг, только я зашел в парк, случилась страшная

вещь. Я уронил сестренкину пластинку. Разбилась на тысячу кусков. Как была в большом конверте, так и разбилась. Я чуть не разревелся, до того мне стало жалко, но я только вынул осколки из конверта и сунул в карман. Толку от них никакого не было, но выбрасывать не хотелось. Я пошел по парку. Темень там стояла жуткая.

Всю жизнь я прожил в Нью-Йорке и знаю Центральный парк как свои пять пальцев — с самого детства я там и на роликах катался, и на велосипеде, — и все-таки я никак не мог найти этот самый прудик. Я отлично знал, что он у Южного выхода, а найти не мог. Наверно, я был пьянее, чем казалось. Я шел и шел, становилось все темнее и темнее, все страшней и страшней. Ни одного человека не встретил — и слава богу, наверно, я бы подскочил от страха, если б кто-нибудь попался навстречу. Наконец пруд отыскался. Он наполовину замерз, а наполовину нет. Но никаких уток там не было. Я обошел весь пруд, раз я даже чуть в него не упал, но ни одной-единственной утки не видел. Я подумал было, что они, может быть, спят на берегу, в кустах, если они вообще тут есть. Вот тут я чуть и не свалился в воду, но никаких уток не нашел.

Наконец я сел на скамейку, где было не так темно. Трясло меня как проклятого, а волосы на затылке превратились в мелкие сосульки, хотя на мне была охотничья шапка. Я испугался. А вдруг у меня начнется воспаление легких и я умру? Я представил себе, как миллион притворщиков явится на мои похороны. И дед приедет из Детройта — он всегда выкрикивает названия улиц, когда с ним едешь на автобусе, — и тетки сбегутся — у меня один теток штук пятьдесят, — и все эти мои двоюродные подонки. Толпища, ничего не скажешь. Они все прискавали, когда Алли умер, вся их свора. Мне Д. Б. рассказывал, что одна дура тетка — у нее вечно изо рта пахнет — все умилялась, какой он лежит безмятежный. Меня там не было, я лежал в больнице. Пришлось лечиться — я очень порезал руку.

А теперь я вдруг стал думать, как я заболею воспалением легких — волосы у меня совершенно обледенели — и как я умру. Мне было жалко родителей. Особенно маму, она все еще не пришла в себя после смерти Алли. Я себе представил, как она стоит и не знает, куда девать мои костюмы и мой спортивный инвентарь. Одно меня утешало — сестренку на мои дурацкие похороны не пустят, потому что она еще маленькая. Единственное утешение. Но тут я представил себе, как вся эта гоп-компания зарывает меня на кладбище, кладет на меня камень с моей

фамилией и все такое. А кругом — одни мертвецы. Да, стоит только умереть, они тебя сразу же засунут! Одна надежда, что, когда я умру, найдется умный человек и вышвырнет мое тело в реку, что ли. Куда угодно — только не на это треклятое кладбище. Еще будут приходить по воскресеньям, класть тебе цветы на живот. Вот тоже чушь собачья! На кой черт мертвецу цветы? Кому они нужны?

В хорошую погоду мои родители часто ходят на кладбище, кладут нашему Алли цветы на могилу. Я с ними раза два ходил, а потом перестал. Во-первых, не очень-то весело видеть его на этом гнусном кладбище. Лежит, а вокруг одни мертвецы и памятники. Когда солнце светит, это еще ничего, но два раза — да, два раза подряд! — когда мы там были, вдруг начинался дождь. Это было нестерпимо. Дождь шел прямо на чертovo надгробье, прямо на траву, которая растет у него на животе. Лило как из ведра. И все посетители кладбища вдруг помчались как сумасшедшие к своим машинам. Вот что меня взорвало. Они-то могут сесть в машины, включить радио и поехать в какой-нибудь хороший ресторан обедать — все могут, кроме Алли. Невыносимое свинство. Знаю, там, на кладбище, только его тело, а его душа на небе и всякая такая чушь, но все равно мне было невыносимо. Так хотелось, чтобы его там не было. Вот вы его не знали, а если бы знали, вы бы меня поняли. Когда солнце светит, еще не так плохо, но солнце-то светит когда ему вздумается, тут ничего не попишешь.

И вдруг, чтобы не думать про воспаление легких, я вытащил свои деньги и стал их пересчитывать, хотя от уличного фонаря света почти не было. У меня осталось всего три доллара: пять монет по двадцать центов и две — по десять, я целое состояние промотал с отъезда из Пэнси. Тогда я подошел к пруду и стал пускать монетки по воде, там, где не замерзло. Не знаю, зачем я это делал, наверно, чтобы отвлечься от всяких мыслей про воспаление легких и смерть. Но не отвлекся.

Опять я стал думать, что будет с Фиби, когда я заболею воспалением легких и умру. Конечно, ребячество об этом думать, но я уже не мог остановиться. Наверно, она очень расстроится, если я умру. Она ко мне хорошо относится. По правде говоря, она меня любит по-настоящему. Я никак не мог выбросить из головы эти дурацкие мысли и наконец решил сделать вот что: пойти домой и повидать ее — на случай, если я и вправду заболею и умру. Ключ от квартиры у меня был с собой, и я решил сделать

так; преберусь потихоньку в нашу квартиру и перекинусь с Фиби хоть словечком. Одно меня беспокоило — наша парадная дверь скрипит как оголтелая. Дом у нас довольно старый, хозяинский управляющий ленив как дьявол: во всех квартирах двери скрипят и пищат. Я боялся — вдруг мои родители услышат, что я пришел. Но все-таки решил попробовать.

Я тут же выскочил из парка и пошел домой. Всю дорогу шел пешком. Жили мы не очень далеко, и я совсем не устал, и хмель прошел. Только холод стоял ужасный, и кругом — ни души.

21

Мне давно так не везло: когда я пришел домой, наш постоянный ночной лифтер, Пит, не дежурил. У лифта стоял какой-то новый, совсем незнакомый, и я сообразил, что, если сразу не напорюсь на кого-нибудь из родителей, я смогу повидаться с сестренкой, а потом удрачить, и никто не узнает, что я приходил. Повезло, ничего не скажешь. А к тому же этот новый был какой-то приурковатый. Я ему небрежно бросил, что мне надо к Дикстайнам. А Дикстайны жили на нашем этаже. Охотничью шапку я уже снял, чтобы вид был не слишком подозрительный, и вскочил в лифт, как будто мне очень к спеху.

Он уже закрыл дверцы и хотел было нажать кнопку, но вдруг обернулся и говорит:

— А их дома нет. Они в гостях на четырнадцатом этаже.

— Ничего, — говорю, — мне велено подождать. Я их племянник.

Он посмотрел на меня тупо и подозрительно.

— Так подождите лучше внизу, в холле, молодой человек!

— Я бы с удовольствием! Конечно, это было бы лучше, — говорю, — но у меня нога больная, ее надо держать в определенном положении. Лучше я посижу в кресле у их дверей.

Он даже не понял, о чём я, только сказал: «Ну-ну!» — и поднял меня наверх. Неплохо вышло. Забавная штука: достаточно наплести человеку что-нибудь непонятное, и он сделает так, как ты хочешь.

Я вышел на нашем этаже — хромал я как собака — и пошел к дверям Дикстайнов. А когда хлопнула дверца лифта, я повернул к нашим дверям. Все шло отлично. Хмель как рукой сняло. Я достал ключ от двери и отпер

парадное, тихо, как мышь. Потом очень-очень осторожно прикрыл двери и вошел в прихожую. Вот какой гангстер во мне пропадает!

В прихожей было темно, как в аду, а свет, сами понимаете, я включить не мог. Нужно было двигаться очень осторожно, не натыкаться на вещи, чтобы не поднять шум. Но я чувствовал, что я дома. В нашей передней свой, особенный запах, нигде так не пахнет. Сам не знаю чем — не то едой, не то духами — не разобрать, но сразу чувствуешь, что ты дома. Сначала я хотел снять пальто и повесить в шкаф, но там полно вешалок, они гремят как сумасшедшие, когда открываешь дверцы, я и остался в пальто. Потом тихо-тихо, на цыпочках, пошел к Фибиной комнате. Я знал, что наша горничная меня не услышит, потому что у нее была только одна барабанная перепонка: ее брат проткнул ей соломинкой ухо еще в детстве, она мне сама рассказывала. Она совсем ничего не слышала. Но зато у моих родителей, вернее, у мамы, слух как у хорошей ищейки. Я пробирался мимо их спальни как можно осторожнее. Я даже старался не дышать. Отец еще ничего — его хоть креслом стукнешь по голове, он все равно не проснется, а вот мама — тут только кашляни где-нибудь в Сибири, она все равно услышит. Нервная она как не знаю кто. Вечно по ночам не спит, курит без конца.

Я чуть ли не целый час пробирался к Фибиной комнате. Но ее там не оказалось. Совершенно забыл, из памяти вылетело, что она спит в кабинете Д. Б., когда он уезжает в Голливуд или еще куда-нибудь. Она любит спать в его комнате, потому что это самая большая комната в нашей квартире. И еще потому, что там стоит этот огромный старый стол сумасшедшей величины, Д. Б. купил его у какой-то алкоголички в Филадельфии. И кровать там тоже гигантская — миль десять в ширину, десять — в длину. Не знаю, где он откопал такую кровать. Словом, Фиби любит спать в комнате Д. Б., когда его нет, а он не возражает. Вы бы посмотрели, как она делает уроки за этим дурацким столом — он тоже величиной с кровать. Фиби почти не видно, когда она за ним делает уроки. А ей это нравится. Она говорит, что свою комнатку не любит за то, что там тесно. Говорит, что любит рас пространяться. Просто смех — куда ей там распространяться, дурочке?

Я потихоньку пробрался в комнату Д. Б. и зажег лампу на письменном столе. Моя Фиби даже не проснулась. Я долго смотрел на нее при свете. Она крепко спа

ла,' подвернув уголок подушки. И рот приоткрыла. Странная штука: если взрослые спят, открыв рот, у них вид противный, а у ребятишек — никакого. С ребятишками все по-другому. Даже если у них слюнки текут во сне — и то на них смотреть не противно.

Я походил по комнате очень тихо, посмотрел, что и как. Настроение у меня вдруг стало совсем хорошее. Я даже не думал, что заболею воспалением легких. Просто мне стало совсем весело. На стуле около кровати лежало платье Фиби. Она очень аккуратная для своих лет. Понимаете, она никогда не разбрасывает вещи куда попало, как другие ребята. Никакого неряшства. На спинке стула висела светло-коричневая жакетка от костюма, который мама ей купила в Канаде. Блузка и все прочее лежало на сиденье, а туфли, со свернутыми носками внутри, стояли рядышком под столом. Я эти туфли еще не видел, они были новые. Темно-коричневые, мягкие, у меня тоже есть такие. Они очень шли к костюму, который мама купила ей в Канаде! Приятно смотреть, ей-богу, очень хорошо. Вкус у моей мамы потрясающий — не во всем, конечно. Коньки, например, она покупать не умеет, но зато в остальном у нее вкус безукоризненный. На Фиби всегда такие платьица — умереть можно! А возьмите других малышей, на них всегда какая-то жуткая одежда, даже если их родители вполне состоятельные. Вы бы посмотрели на нашу Фиби в костюме, который мама купила ей в Канаде! Приятно смотреть, ей-богу.

Я сел за письменный стол брата и посмотрел, что на нем лежит. Фиби разложила там свои тетрадки и учебники. Много учебников. Наверху лежала книжка под названием «Занимательная арифметика». Я ее открыл и увидел на первой странице надпись:

Фиби Уэзерфилд Колфилд
4Б-1

Я чуть не расхохотался. Ее второе имя Джозефина, а вовсе не Уэзерфилд! Но ей это имя не нравится. И она каждый раз придумывает себе новое второе имя.

Под арифметикой лежала география, а под географией — учебник правописания. Она отлично пишет. Вообще она очень хорошо учится, но пишет она лучше всего. Под правописанием лежала целая куча блокнотов — у нее их тысяч пять, если не больше. Никогда я не видел, чтоб у такой малышки было столько блокнотов. Я раскрыл верхний блокнот и прочел запись на первой странице:

«Бернис жди меня в переменку надо сказать ужасно важную вещь».

На этой странице больше ничего не было. Я перевернул страничку, и на ней было вот что:

Почему в юговосточной аляске столько консервенных заводов?

Потому что там много семги.

Почему там ценная дривисина?

Потому что там подходящий климат.

Что сделало наше правительство, чтобы облегчить жизнь аляскинским эскимосам?

Выучить на завтра.

Фиби Уэзерфилд Колфилд.

Фиби У. Колфилд

г-жа Фиби Уэзерфилд Колфилд

Передай Шерли!!!

Шерли ты говоришь твоя планета сатурн, но это все-таки марс принеси коньки когда зайдешь за мной.

Я сидел за письменным столом Д. Б. и читал всю записную книжку подряд. Прочел я быстро, но вообще я могу читать эти ребячью каракули с утра до вечера, все равно чьи. Умора, что они пишут, эти ребята. Потом я закурил сигарету — последнюю из пачки. Я, наверно, выкурил сто пачек за этот день. Наконец я решил разбудить Фиби. Не мог же я всю жизнь сидеть у письменного стола, а кроме того, я боялся, что вдруг явятся родители, а мне хотелось повидаться с ней наедине. Я и разбудил ее.

Она очень легко просыпается. Не надо ни кричать над ней, ни трясти ее. Просто сесть на кровать и сказать: «Фиб, проснись!» — она — гоп! — и проснется.

— Холден! — Она сразу меня узнала. И обхватила меня руками за шею. Она очень ласковая. Такая малышка и такая ласковая. Иногда даже слишком. Я ее чмокнул, а она говорит: — Когда ты приехал? — Обрадовалась она мне до чертиков. Сразу было видно.

— Тише! Сейчас приехал. Ну как ты?

— Чудно! Получил мое письмо? Я тебе написала целых пять страниц.

— Да, да. Не шуми. Получил, спасибо.

Письмо я получил, но ответить не успел. Там все было про школьный спектакль, в котором она участвовала. Она писала, чтобы я освободил себе вечер в пятницу и непременно пришел на спектакль.

— А как ваша пьеса?.. Забыл название.

— «Рождественская пантомима для американцев», — говорит. — Пьеса дрянь, но я играю Бенедикта Арнольда. У меня самая большая роль! — И куда только сон девался! Она так и горела, видно, ей было очень интересно рассказывать. — Понимаешь, начинается, когда я при смерти. Сочельник, приходит дух и спрашивает, не стыдно ли мне и так далее. Ну, ты знаешь, не стыдно ли, что предал родину и все такое. Ты придешь? — Она даже подпрыгнула на кровати. — Я тебе про все писала. Придешь?

— Конечно, приду! А то как же!

— Папа не может прийти. Ему надо лететь в Калифорнию. — Минуты не прошло, а сна ни в одном глазу! Привстала на коленки, держит меня за руку. — Послушай, — говорит, — мама сказала, что ты приедешь только в среду. Да, да, в среду!

— Раньше отпустили. Не шуми. Ты всех перебудишь.

— А который час? Мама сказала, что они вернутся очень поздно. Они поехали в гости в Норфолк, в Коннектикут. Угадай, что я делала сегодня днем? Знаешь, какой фильм видела? Угадай!

— Не знаю, слушай-ка, а они не сказали, в котором часу...

— «Доктор» — вот! Это особенный фильм, его показывали в Листеровском обществе. Один только день — только один день, понимаешь? Там про одного доктора из Кентукки, он кладет одеяло девочке на лицо, она калека, не может ходить. Его сажают в тюрьму и все такое. Чудная картина!

— Да погоди ты! Они не сказали, в котором часу...

— А доктору ее ужасно жалко. Вот он и кладет ей одеяло на голову, чтоб она задохнулась. Его на всю жизнь посадили в тюрьму, но эта девочка, которую он придушил одеялом, все время является ему во сне и говорит «спасибо» за то, что он ее придушил. Оказывается, это милосердие, а не убийство. Но все равно он знает, что заслужил тюрьму, потому что человек не должен брать на себя то, что полагается делать богу. Нас повела мать одной девочки из моего класса, Алисы Голмборг. Она моя самая большая подруга. Она одна из всего класса умеет...

— Да погоди же ты, слышишь? Я тебя спрашиваю: они не сказали, в котором часу вернутся домой?

— Нет, не сказали, мама говорила — очень поздно. Папа взял машину, чтобы не спешить на поезд. А у нас в машине радио! Только мама говорит, что нельзя включать, когда большое движение.

Я как-то успокоился. Перестал волноваться, что меня

накроют дома. И вообще подумал — накроют, ну ^{и чёрт} с ним!

Вы бы посмотрели на нашу Фиби. На ней была синяя пижама, а по воротнику — красные слоники. Она обожает слонов.

— Значит, картина хорошая, да? — спрашиваю.

— Чудесная, но только у Алисы был насморк, и ее мама все время приставала к ней, не знобит ли ее. Тут картина идет — а она спрашивает. Как начнется самое интересное, так она перегибается через меня и спрашивает: «Тебя не знобит?» Она мне действовала на нервы.

Тут я вспомнил про пластинку.

— Знаешь, я купил тебе пластинку, но по дороге разбил. — Я достал осколки из кармана и показал ей. — Пьян был.

— Отдай мне эти кусочки, — говорит. — Я их собираю. — Взяла обломки и тут же спрятала их в ночной столик. Умора!

— Д. Б. приедет домой на рождество? — спрашиваю.

— Мама сказала, может, приедет, а может, нет. Зависит от работы. Может быть, ему придется остаться в Голливуде и написать сценарий про Аннаполис.

— Господи, почему про Аннаполис?

— Там и про любовь, и про все. Угадай, кто в ней будет сниматься? Какая кинозвезда? Вот и не угадаешь!

— Мне не интересно. Подумать только — про Аннаполис! Да что он знает про Аннаполис, господи боже! Какое отношение это имеет к его рассказам? — Фу, просто обалдеть можно от этой чуши! Проклятый Голливуд! — А что у тебя с рукой? — спрашиваю. Увидел, что у нее на локте наклеен липкий пластырь. Пижама у нее без рукавов, потому я и увидел.

— Один мальчишка из нашего класса, Кэртис Вайнтрауб, он меня толкнул, когда я спускалась по лестнице в парке. Хочешь покажу? — и начала сдирать пластырь с руки.

— Не трогай! А почему он тебя столкнул с лестницы?

— Не знаю. Кажется, он меня ненавидит, — говорит Фиби. — Мы с одной девочкой, с Сельмой Эттербери, измазали ему весь свитер чернилами.

— Это нехорошо. Что ты — маленькая, что ли?

— Нет, но он всегда за мной ходит. Как пойдем в парк, он — за мной. Он мне действует на нервы.

— А может быть, ты ему нравишься. Нельзя человеку за это мазать свитер чернилами.

— Не хочу я ему нравиться, — говорит она. И вдруг

смотрит на меня очень подозрительно: — Холден, послушай! Почему ты приехал до среды?

— Что?

Да, с ней держи ухо востро. Если вы думаете, что она дурочка, вы сошли с ума.

— Как это ты приехал до среды? — повторяет она. — Может быть, тебя опять выгнали?

— Я же тебе объяснил. Нас отпустили раньше. Весь класс...

— Нет, тебя выгнали! Выгнали! — повторила она. И как ударит меня кулаком по коленке. Она здорово дерется, если на нее найдет. — Выгнали! Ой, Холден! — Она зажала себе рот руками. Честное слово, она ужасно расстроилась.

— Кто тебе сказал, что меня выгнали? Никто тебе не...

— Нет, выгнали! Выгнали! — И опять как даст мне кулаком по коленке. Если вы думаете, что было не больно, вы ошибаетесь. — Папа тебя убьет, — говорит. И вдруг шлепнулась на кровать животом вниз и навалила себе подушку на голову. Она часто так делает. Просто с ума сходит, честное слово.

— Да брось! — говорю. — Никто меня не убьет. Никто меня пальцем не... ну, перестань, Фиб, сними эту дурацкую подушку. Никто меня и не подумает убивать.

Но она подушку не сняла. Ее не переупрямишь никакими силами. Лежит и твердит:

— Папа тебя убьет, убьет. — Сквозь подушку еле было слышно.

— Никто меня не убьет. Не выдумывай. Во-первых, я уеду. Знаешь, что я сделаю? Достану себе работу на каком-нибудь ранчо, хоть на время. Я знаю одного парня, у его дедушки есть ранчо в Колорадо. Может, мне там дадут работу. Я тебе буду писать оттуда, если только я уеду. Ну перестань! Сними эту чертову подушку. Слышишь, Фиб, брось! Ну прошу тебя! Брось, слышишь!

Но она держит подушку — и все. Я хотел было стянуть с нее подушку, но эта девчонка сильная как черт. С ней драться устанешь. Уж если она себе навалит подушку на голову, она ее не отдаст.

— Ну, Фиби, пожалуйста. Вылезай, слышишь? — прошу я ее. — Ну брось... Эй, Уэзерфилд, вылезай, ну!

Нет, не хочет. С ней иногда и договориться невозможно. Наконец я встал, пошел в гостиную, взял сигареты из ящика на столе и сунул в карман. Устал я ужасно.

Когда я вернулся, она уже сняла подушку с головы — я знал, что так и будет, — и легла на спину, но на меня не смотреть не хотела. Я подошел к кровати, сел, а она сразу отвернулась и не смотрит. Бойкотирует меня к черту, не хуже этих ребят из фехтовальной команды Пэнси, когда я забыл все их идиотское снаряжение в метро.

— А как поживает твоя Кисела Уэзерфилд? — спрашиваю. — Написала про нее еще рассказ? Тот, что ты мне прислала, лежит в чемодане. Хороший рассказ, честное слово!

— Папа тебя убьет.

Вдолбит себе что-нибудь в голову, так уж вдолбит!

— Нет, не убьет. В крайнем случае накричит опять, а потом отдаст в военную школу. Больше он мне ничего не сделает. А во-вторых, меня тут не будет. Я буду далеко. Я уже буду где-нибудь далеко — наверно, в Колорадо, на этом самом ранчо.

— Не болтай глупостей. Ты даже верхом ездить не умеешь.

— Как это не умею? Умею! Чего тут уметь? Там тебя за две минуты научат, — говорю. — Не смей трогать пластырь! — Она все время дергала пластырь на руке. — А кто тебя так остриг? — спрашиваю. Я только сейчас заметил, как ее по-дураски остригли. Просто обкорнали.

— Не твое дело! — говорит. Она иногда так обрежет. Свысока, понимаете. — Наверно, ты опять провалился по всем предметам, — говорит она, тоже свысока. Мне стало смешно. Разговаривает, как какая-нибудь учительница, а сама еще только вчера из пеленок.

— Нет, не по всем, — говорю. — По-английскому выдержал. — И тут я взял и ущипнул ее за попку. Лежит на боку калачиком, а зад у нее торчит из-под одеяла. Впрочем, у нее сзади почти что ничего нет. Я ее не сильно ущипнул, но она захотела ударить меня по руке и промахнулась.

И вдруг она говорит:

— Ах, зачем, зачем ты опять? — Она хотела сказать — зачем я опять вылетел из школы. Но она так это сказала, что мне стало ужасно тоскливо.

— О господи, Фиби, хоть ты меня не спрашивай! — говорю. — Все спрашивают, выдержать невозможно. Зачем, зачем... По тысяче причин! В такой гнусной школе я еще никогда не учился. Все напоказ. Все притворство. Или подлость. Такого скопления подлецов я в жизни не

встречал. Например, если сидишь треплешься в компании с ребятами и вдруг кто-то стучит, хочет войти, его ни за что не впустят, если он какой-нибудь прикурковатый, прыщавый. Перед носом у него захлопнут двери. Там еще было это треклятое тайное общество — я тоже из трусости в него вступил. И был там один такой зануда, с прыщами, Роберт Экли, ему тоже хотелось в это общество. А его не приняли. Только из-за того, что он зануда и прыщавый. Даже вспоминать противно. Поверь моему слову, такой вонючей школы я еще не встречал.

Моя Фиби молчит и слушает. Я по затылку видел, что она слушает. Она здорово умеет слушать, когда с ней разговариваешь. И самое смешное, что она все понимает, что ей говорят. По-настоящему понимает. Я опять стал рассказывать про Пэнси, хотелось все выложить.

— Было там несколько хороших учителей, и все равно они тоже притворщики, — говорю. — Взять этого старика, мистера Спенсера. Жена его всегда угождала нас горячим шоколадом, вообще они оба милые. Но ты бы посмотрела, что с ним делалось, когда старый Термер, наш директор, приходил на урок истории и садился за заднюю скамью. Вечно он приходил и сидел сзади примерно с полчаса. Вроде как бы инкогнито, что ли. Посидит, посидит, а потом начинает перебивать старика Спенсера своими кретинскими шуточками. А старик Спенсер из кожи лезет вон — подхихикивает ему, весь расплывается, будто этот Термер какой-нибудь гений, черт бы его удавил!

— Не ругайся, пожалуйста!

— Тебя бы там стошило, ей-богу! — говорю. — А возьми День выпускников. У них установлен такой день, называется День выпускников, когда все подонки, окончившие Пэнси чуть ли не с 1776 года, собираются в школе и шляются по всей территории со своими женами и детскими. Ты бы посмотрела на одного старикашку лет пятидесяти. Зашел прямо к нам в комнату — постучал, конечно, — и спрашивает, нельзя ли ему пройти в уборную. А уборная в конце коридора, мы так и не поняли, почему он именно у нас спросил. И знаешь, что он нам сказал? Говорит — хочу посмотреть, сохранились ли мои инициалы на дверях уборной. Понимаешь, он лет сто назад вырезал свои унылые, дурацкие, бездарные инициалы на дверях уборной и хотел проверить, целы ли они или нет. И нам с товарищем пришлось проводить его до уборной и стоять там, пока он искал свои кретинские инициалы на всех дверях. Ищет, а сам все время распространяется, что годы, которые он провел в Пэнси, — лучшие годы его

жизни, и дает нам какие-то идиотские советы на будущее. Господи, меня от него такая взяла тоска! И не то чтобы он был особенно противным — ничего подобного. Но все и не нужно быть особенно противным, чтоб нагнать на человека тоску, — хороший человек тоже может вконец испортить настроение. Достаточно надавать кучу бездарных советов, пока ищешь свои инициалы на дверях уборной, — и все! Не знаю, может быть, у меня не так испортилось бы настроение, если б этот тип еще не задыхался. Он никак не мог отышаться после лестницы. Ищет эти свои инициалы, а сам все время отдувается, сопит носом. И жалко, и смешно, да к тому же еще долбит нам со Стрэдлейтером, чтобы мы извлекли из Пэнси все, что можно. Господи, Фиби! Не могу тебе объяснить. Мне все не нравилось в Пэнси. Не могу объяснить!

Тут Фиби что-то сказала, но я не расслышал. Она так уткнулась лицом в подушку, что ничего нельзя было расслышать.

— Что? — говорю. — Повернись сюда. Не слышу я ничего, когда ты говоришь в подушку.

— Тебе вообще ничего не нравится!

Я еще больше расстроился, когда она так сказала.

— Нет, нравится. Многое нравится. Не говори так. Зачем ты так говоришь?

— Потому что это правда. Ничего тебе не нравится. Все школы не нравятся, все на свете тебе не нравится. Не нравится — и все!

— Неправда! Тут ты ошибаешься — вот именно, ошибаешься! Какого черта ты про меня выдумываешь? — Я ужасно расстроился от ее слов.

— Нет, не выдумываю! Назови хоть что-нибудь одно, что ты любишь!

— Что назвать? То, что люблю? Пожалуйста!

К несчастью, я никак не мог сообразить. Иногда ужасно трудно сосредоточиться.

— Ты хочешь сказать — что я очень люблю? — переспросил я.

Она не сразу ответила. Отодвинулась от меня бог знает куда, на другой конец кровати, чуть ли не на сто миль.

— Ну отвечай же! Что назвать-то, что я люблю или что мне вообще нравится?

— Что ты любишь.

— Хорошо, — говорю. Но я никак не мог сообразить. Вспомнил только двух монахинь, которые собирают деньги в потрепанные соломенные корзинки. Особенно вспоминалась та, в стальных очках. Вспомнил я еще мальчика,

с которым учился в Элктон-хилле. Там со мной в школе был один такой, Джеймс Касл, он ни за что не хотел взять обратно свои слова — он сказал одну вещь про ужасного воображалу, про Фила Стейбла. Джеймс Касл назвал его самовлюбленным малым, и один из этих мерзавцев, друзков Стейбла, пошел и донес ему. Тогда Стейбл с шестью другими гадами пришел в комнату к Джеймсу Каслу, запер двери и пытался заставить его взять свои слова обратно, но Джеймс отказался. Тогда они за него принялись. Я не могу сказать, что они с ним сделали — ужасную гадость! — но он все-таки не соглашался взять свои слова обратно, вот он был какой, этот Джеймс Касл. Вы бы на него посмотрели: худой, маленький, руки как карандаши. И в конце концов, знаете, что он сделал, вместо того чтобы отказаться от своих слов? Он выскочил из окна. Я был в душевой и даже оттуда услыхал, как он грохнулся. Я подумал, что из окна что-то упало — радиоприемник или тумбочка, но никак не думал, что это мальчик. Тут я услыхал, что все бегут по коридору и вниз по лестнице. Я накинул халат и тоже помчался по лестнице, а там на ступеньках лежит наш Джеймс Касл. Он уже был мертвый, кругом кровь, зубы у него вылетели, все боялись к нему подойти. А на нем был свитер, который я ему дал поносить. Тем гадам, которые заперлись с ним в комнате, ничего не сделали, их только исключили из школы. Даже в тюрьму не посадили.

Больше я ничего вспомнить не мог. Двух монахинь, с которыми я завтракал, и этого Джеймса Касла, с которым я учился в Элктон-хилле. Самое смешное, говоря по правде, — это то, что я почти не знал этого Джеймса Касла. Он был очень тихий парнишка. Мы учились в одном классе, но он сидел в другом конце и даже редко выходил к доске отвечать. В школе всегда есть ребята, которые редко выходят отвечать к доске. Да и разговаривали мы с ним, по-моему, всего один раз, когда он попросил у меня этот свитер. Я чуть не умер от удивления, когда он меня попросил, до того это было неожиданно. Помню, я чистил зубы в умывалке, а он подошел, сказал, что его кузен повезет его кататься. Я даже не думал, что он знает, что у меня есть теплый свитер. Я про него вообще знал только одно — что в классном журнале он стоял как раз передо мной: Кайл Р., Кайл В., Касл, Колфид — до сих пор помню. А если уж говорить правду, так я чуть не отказался дать ему свитер. Просто потому, что почти не знал его.

— Что? — спросила Фиби, и до этого она что-то го-

ворила, но я не расслышал. — Не можешь ничего на-
звать — ничего!

— Нет, могу. Могу.

— Ну назови!

— Я люблю Алли, — говорю. — И мне нравится сидеть тут, с тобой разговаривать и вспоминать всякие штуки.

— Алли умер — ты всегда повторяешь одно и то же! Раз человек уже умер и попал на небо, значит, нельзя его любить по-настоящему.

— Знаю, что он умер! Что ж, по-твоему, я не знаю, что ли? И все равно я могу его любить! Оттого что человек умер, его нельзя перестать любить, черт побери, особенно если он был лучше всех живых, понимаешь?

Тут Фиби ничего не сказала. Когда ей сказать нечего, она всегда молчит.

— Да и сейчас мне нравится тут, — сказал я. — Понимаешь, сейчас тут. Сидеть с тобой, болтать про всякое...

— Ну нет, это совсем не то!

— Как не то? Конечно, то! Почему не то, черт побери? Вечно люди про все думают, что это не то. Надоели мне это до черта!

— Перестань чертыхаться! Ладно, назови еще что-нибудь. Назови, кем бы тебе хотелось стать. Ну, ученым, или адвокатом, или еще кем-нибудь.

— Какой из меня учений? Я к наукам не способен.

— Ну адвокатом — как папа.

— Адвокатом, наверно, неплохо, но мне все равно не нравится, — говорю. — Понимаешь, неплохо, если они спасают жизнь невинным людям и вообще занимаются такими делами, но в том-то и штука, что адвокаты ничем таким не занимаются. Если стать адвокатом, так будешь просто гнать деньги, играть в гольф, в бридж, покупать машины, пить сухие коктейли и ходить этаким франтом. И вообще, даже если ты все время спасал бы людям жизнь, откуда бы ты знал, ради чего ты это делаешь — ради того, чтобы на самом деле спасти жизнь человеку, или ради того, что тебе хочется стать знаменитым адвокатом, чтобы тебя все хлопали по плечу и поздравляли, когда ты выигрываешь этот треклятый процесс, — словом, как в кино, в дрянных фильмах. Как узнать, делаешь ты все это напоказ или по-настоящему, липа все это или не липа? Нипочем не узнать!

Я не очень был уверен, понимает ли моя Фиби, что я плету. Все-таки она еще совсем маленькая. Но она хоть слушала меня внимательно. А когда тебя слушают, это уже хорошо.

— Папа тебя убьет, он тебя просто убьет, — говорит она опять.

Но я ее не слушал. Мне пришла в голову одна мысль — совершенно дикая мысль.

— Знаешь, кем бы я хотел быть? — говорю. — Знаешь, кем? Если б я мог выбрать то, что хочу, черт подери!

— Перестань чертыхаться! Ну кем?

— Знаешь такую песенку — «Если ты ловил кого-то вечером во ржи...»?

— Не так! Надо «Если кто-то звал кого-то вечером во ржи». Это стихи Роберта Бернса!

— Знаю, что это стихи Бернса.

Она была права. Там действительно «Если кто-то звал кого-то вечером во ржи». По правде говоря, я забыл.

— Мне казалось, что там «ловил кого-то вечером во ржи», — говорю. — Понимаешь, я себе представил, как маленькие ребятишки играют вечером в огромном поле, во ржи. Тысячи малышей, и кругом — ни души, ни одного взрослого, кроме меня. А я стою на самом краю обрыва, над пропастью, понимаешь? И мое дело — ловить ребятишек, чтобы они не сорвались в пропасть. Понимаешь, они играют и не видят, куда бегут, а тут я подбегаю и ловлю их, чтобы они не сорвались. Вот и вся моя работа. Стеречь ребят над пропастью во ржи. Знаю, это глупости, но это единственное, чего мне хочется по-настоящему.

Фиби долго молчала. А потом только повторила:

— Папа тебя убьет.

— Ну и пускай, плевать мне на все! — Я встал с постели, потому что решил позвонить одному человеку, моему учителю английского языка из Элктон-хилла. Его звали мистер Антолини, теперь он жил в Нью-Йорке. Он ушел из Элктон-хилла и получил место преподавателя английского в нью-йоркском университете. — Мне надо позвонить по телефону, — говорю я. — Сейчас вернусь. Ты не спи, слышишь? — Мне очень не хотелось, чтобы она заснула, пока я буду звонить по телефону. Я знал, что она не уснет, но все-таки попросил ее не спать.

Я пошел к двери, но тут она меня окликнула:

— Холден! — и я обернулся.

Она сидела на кровати, хорошенькая, просто прелесть.

— Одна девочка, Филлис Маргулис, научила меня икать! — говорит она. — Вот, послушай!

Я послушал, но ничего особенного не услыхал.

— Неплохо! — говорю.

И пошел в гостиную звонить по телефону своему бывшему учителю мистеру Антолини.

Позвонил я очень быстро, потому что боялся — вдруг родители явятся, пока я звоню. Но они не пришли. Мистер Антолини был очень приветлив. Сказал, что я могу прийти хоть сейчас. Наверно, я разбудил их обоих, потому что никто долго не подходил к телефону. Первым делом он меня спросил, что случилось, а я ответил — ничего особенного. Но все-таки я ему рассказал, что меня выставили из Пэнси. Все равно кому-нибудь надо было рассказать. Он сказал:

— Господи, помилуй нас, грешных! — Все-таки у него было настоящее чувство юмора. Велел хоть сейчас приходить, если надо.

Он был самым лучшим из всех моих учителей, этот мистер Антолини. Довольно молодой, немножко старше моего брата, Д. Б., с ним можно было шутить, хотя все его уважали. Он первый поднял с земли того парнишку, который выбросился из окна. Джеймса Касла, я вам про него рассказывал. Мистер Антолини пощупал у него пульс, потом снял с себя куртку, накрыл Джеймса Касла и понес его на руках в лазарет. И ему было наплевать, что вся куртка пропиталась кровью.

Я вернулся в комнату Д. Б., а моя Фиби там уже включила радио. Играли танцевальную музыку. Радио было приглушено, чтобы не разбудить нашу горничную. Вы бы посмотрели на Фиби. Сидит посреди кровати на одеяле, поджав ноги, словно какой-нибудь йог, и слушает музыку. Умора!

— Вставай! — говорю. — Хочешь, потанцуем?

Я сам научил ее танцевать, когда она еще была совсем крошкой. Она здорово танцует. Вообще я ей только показал немножко, а выучилась она сама. Нельзя выучить человека танцевать по-настоящему, это он только сам может.

— На тебе башмаки, — говорит.

— Ничего, я сниму. Вставай!

Она как спрыгнет с кровати. Подождала, пока я сниму башмаки, а потом мы с ней стали танцевать. Очень уж здорово она танцует. Вообще я не терплю, когда взрослые танцуют с малышами, вид ужасный. Например, какой-нибудь папаша в ресторане вдруг начинает танцевать со своей маленькой дочкой. Он так неловко ее ведет, что у нее вечно платье сзади подымается, да и танцевать она совсем не умеет — словом, вид жалкий. Но я никогда не стал бы танцевать с Фиби в ресторане. Мы только дома танцуем, и то не всерьез. Хотя она — дело другое, она

здорово танцует. Она слушается, когда ее ведешь. Только надо ее держать покрепче, тогда не мешает, что у тебя ноги во сто раз длиннее. Она ничуть не отстает. С ней и переходы можно делать и всякие повороты, даже джитербаг — она никогда не отстанет. С ней даже танго можно танцевать, вот как!

Мы протанцевали четыре танца. А в перерывах она до того забавно держится, просто смех берет. Стоит и ждет. Не разговаривает, ничего. Заставляет стоять и ждать, пока оркестр опять не вступит. А мне смешно. Но она сердится, даже смеяться не позволяет.

Словом, протанцевали мы четыре танца, и я выключил радио. Моя Фиби нырнула под одеяло и спросила

— Хорошо я стала танцевать?

— Еще как! — говорю. Я сел к ней на кровать. Я здорово задыхался. Наверно, курил слишком много. А она хоть бы чуть запыхалась!

— Пощупай мой лоб! — говорит она вдруг.

— Зачем?

— Ну пощупай! Приложи руку! — Я приложил ладонь, но ничего не почувствовал. — Сильный у меня жар? — говорит.

— Нет. А разве у тебя жар?

— Да, я его сейчас нагоняю. Потрогай еще раз!

Я опять приложил руку и опять ничего не почувствовал, но все-таки сказал:

— Как будто начинается. — Не хотелось, чтоб у нее развилось что-то вроде этого самого комплекса неполноценности.

Она кивнула.

— Я могу нагнать даже на термонетре!

— На тер-мо-мет-ре. Кто тебе показал?

— Алиса Голмборг меня научила. Надо скрестить ноги и думать про что-нибудь очень-очень жаркое. Например, про радиатор. И весь лоб начинает так гореть, что кому-нибудь можно обжечь руку.

Я чуть не расхохотался. Нарочно отдернул от нее руку, как будто боялся обжечься.

— Спасибо, что предупредила! — говорю.

— Нет, я бы тебя не обожгла! Я бы остановилась заранее — тсс! — И она вдруг привскочила на кровати. Я страшно испугался.

— Что такое?

— Дверь входная! — говорит она громким шепотом. —

Они!

Я вскочил, подбежал к столу, выключил лампу. Потом

потушил сигарету, сунул окурок в карман. Помахал рукой, чтоб развеять дым, — и зачем я только курил тут, черт бы меня драл! Потом схватил башмаки, забрался в стенной шкаф и закрыл двери. Сердце у меня колотилось как проклятое. Я услышал, как мама вошла в комнату.

— Фиби! — говорит. — Перестань притворяться! Я видела у тебя свет, моя милая!

— Здравствуй! — говорит Фиби. — Да, я не могла заснуть. Весело вам было?

— Очень, — сказала мама, но слышно было, что это неправда. Она совершенно не любит ездить в гости. — Почему ты не спишь, разреши узнать? Тебе не холодно?

— Нет, мне тепло. Просто не спится.

— Фиби, ты, по-моему, курила? Говори правду, милая моя!

— Что? — спрашивает Фиби.

— Ты слышишь, что я спросила?

— Да, я на минутку закурила. Один-единственный разок пустила дым. А потом выбросила в окошко.

— Зачем же ты это сделала?

— Не могла уснуть.

— Ты меня огорчаешь, Фиби, очень огорчаешь! — сказала мама. — Дать тебе второе одеяло?

— Нет, спасибо! Спокойной ночи! — сказала Фиби. Видно было, что она старается поскорей от нее избавиться.

— А как было в кино? — спрашивает мама.

— Чудесно. Только Алисина мать мешала. Все время перегибалась через меня и спрашивала, знобит Алису или нет. А домой ехали в такси.

— Дай-ка я пощупаю твой лоб.

— Нет, я не заразилась. Она совсем здорова. Это ее мама выдумала.

— Ну, спи с богом. Какой был обед?

— Гадость! — сказала Фиби.

— Ты помнишь, что папа тебе говорил: нельзя называть еду «гадостью». И почему — «гадость»? Тебе дали чудную баранью котлетку. Я специально ходила на Лексингтон-авеню.

— Котлета была вкусная, но Чарлина всегда дышит на меня, когда подает еду. И на еду дышит, и на все.

— Ну ладно, спи! Поцелуй маму. Ты прочла молитвы?

— Да, я в ванной помолилась. Спокойной ночи!

— Спокойной ночи! Засыпай скорее! У меня дико болит голова! — говорит мама. У нее очень часто болит голова. Здоровово болит.

— А ты прими аспирин, — говорит Фиби. — Холден приедет в среду?

— Насколько мне известно, да. Ну, укройся получше. Вот так.

Я услыхал, как мама вышла из комнаты и закрыла двери. Подождал минутку, потом вышел из шкафа. И тут же стукнулся об сестренку — она вскочила с постели и шла меня вызволять, а было темно, как в аду.

— Я тебя ушиб? — спрашиваю. Приходилось говорить шепотом, раз все были дома. — Надо бежать! — говорю. Нашупал в темноте кровать, сел и стал надевать ботинки. Нервничал я здорово, не скрываю.

— Не уходи! — зашептала Фиби. — Подожди, пока они уснут.

— Нет. Надо идти. Сейчас самое время. Она пошла в ванную, а папа сейчас включит радио, будет слушать последние известия. Самое время.

Я не мог даже шнурки завязать как следует, до того я нервничал. Конечно, они бы не убили меня, если б застали дома, но было бы страшно неприятно.

— Да где же ты? — спрашиваю Фиби. Я ее в темноте не мог видеть.

— Вот я. — Она стояла совсем рядом. А я ее не видал.

— Мои чемоданы на вокзале, — говорю. — Скажи, Фиб, есть у тебя какие-нибудь деньги? У меня ни черта не осталось.

— Есть, на рождественские подарки. Я еще ничего не покупала.

— Ах, только! — Я не хотел брать ее подарочные деньги.

— Я тебе немножко одолжу! — говорит. И я услышал, как она роется в столе у Д. Б. — открывает ящик за ящиком и шарит там. Темнота стояла в комнате, ни зги не видно. — Если ты уедешь, ты меня не увидишь на сцене, — говорит, а у самой голос дрожит.

— Как не увижу? Я не уеду, пока не увижу Думашью, я пропущу такой спектакль? — спрашиваю. — Знаешь, что я сделаю? Я побуду у мистера Антолини, скажем, до вторника, до вечера. А потом вернусь домой. Если удастся, я тебе позвоню.

— Возьми! — говорит. Она мне протягивала какие-то деньги, но не могла найти мою руку. — Где ты? — Нашла мою руку, сунула деньги.

— Эй, да мне столько не нужно! — говорю. — Дай два доллара — и все. Честное слово, забирай обратно!

Я ей совал деньги в руку, а она не брала.

— Возьми, возьми все! Потом отдашь! Принесешь на спектакль.

— Да сколько у тебя тут, господи?

— Восемь долларов и восемьдесят пять центов. Нет, шестьдесят пять. Я уже многое истратила.

И тут я вдруг заплакал. Никак не мог удержаться. Стараюсь, чтоб никто не услышал, а сам плачу и плачу. Фиби перепугалась до смерти, когда я расплакался, подошла ко мне, успокаивает, но разве сразу остановишься? Я сидел на краю постели и ревел, а она обхватила мою шею лапами, я ее тоже обнял и реву, никак не могу остановиться. Казалось, сейчас задохнусь от слез. Фиби, бедняга, испугалась ужасно. Окно было открыто, и я чувствовал, как она дрожит в одной пижаме. Хотел ее уложить в постель, укрыть, но она не ложилась. Наконец я перестал плакать. Но я долго, очень долго не мог успокоиться. Потом застегнул доверху пальто, сказал, что непременно дам ей знать. Она сказала, что лучше бы я лег спать тут, у нее в комнате, но я сказал — нет, меня уже ждет мистер Антолинни. Потом я вынул из кармана охотничью шапку и подарил ей. Она ужасно любит всякие дурацкие шапки. Сначала она не хотела брать, но я ее уговорил. Даю слово, она, наверно, так и уснула в этой шапке. Она любит такие штуки. Я ей еще раз обещал связнуть, если удастся, и ушел.

Уйти из дома было почему-то гораздо легче, чем войти. Во-первых, мне было плевать, поймают меня или нет. Честное слово. Я подумал: поймают так поймают. Откровенно говоря, мне даже хотелось, чтоб поймали.

Вниз я спускался пешком, а не в лифте. Я шел по черной лестнице. Чуть не расшиб голову о мусорные ведра, но наконец выбрался. Лифтер меня даже не видел. Наверно, до сих пор думает, что я сижу у этих Дикстайнов.

24

Мистер и миссис Антолинни жили в очень шикарной квартире на Саттон-плейс, там у них в гостиной был даже собственный бар — надо было только спуститься вниз на две ступеньки. Я был у них несколько раз, потому что, когда я ушел из Элктон-хилла, мистер Антолинни приезжал к нам домой узнать, как я живу, и часто у нас обедал. Тогда он не был женат. А когда он женился, я часто играл в теннис с ним и с миссис Антолинни на Лонг-Айленде, в форест-хиллском теннисном клубе. Миссис Антолинни — член этого клуба, денег у нее до черта. Она

старше мистера Антолини лет на сто, но они, кажется, очень любят друг друга. Во-первых, они оба очень образованные, особенно мистер Антолини, хотя, когда он о кем-нибудь разговаривает, он больше шутит, чем говорит про умное, вроде нашего Д. Б. Миссис Антолини — та была серьезнее. У нее бывали припадки астмы. Они оба читали все рассказы Д. Б. — она тоже, — и, когда Д. Б. собрался ехать в Голливуд, мистер Антолини позвонил ему и уговаривал не ехать. Но Д. Б. все равно уехал. Мистер Антолини говорил, что если человек умеет писать, как Д. Б., то ему в Голливуде делать нечего. И я говорил то же самое в точности!

Я дошел бы до их дома пешком, потому что не хотелось зря тратить Фибины подарочные деньги, но, когда я вышел из дома, мне стало не по себе. Головокружение какое-то. Пришлось взять такси. Не хотел, но пришлось. Еле-еле нашел машину.

Мистер Антолини сам открыл двери, когда я позвонил: лифтер, мерзавец, никак меня не впускал. На нем были халат и туфли, а в руках — бокал. Человек он был утонченный, но пил как лошадь.

— Холден, мой мальчик! — говорит. — Господи, да он вырос чуть ли не на полметра. Рад тебя видеть!

— А как вы, мистер Антолини? Как миссис Антолини?

— О, у нас все чудесно! Давай-ка свою куртку. — Он взял мою куртку, повесил ее. — А я думал, что ты явишься с новорожденным младенцем на руках. Деваться некуда. На ресницах снежинки тают.

Он вообще любит острить. Потом повернулся и заорал в кухню:

— Лилиан! Как там кофе? — Его жену зовут Лилиан.

— Готов! — кричит. — Это Холден? Здравствуй, Холден!

— Здравствуйте, миссис Антолини!

У них дома всегда приходится орать, потому что они постоянно находились в разных комнатах. Странно, конечно.

— Садись, Холден, — сказал мистер Антолини. Видно было, что он немножко на взводе. Комната выглядела так, будто только что ушли гости. Везде стаканы, блюда с орехами. — Прости за беспорядок, — говорит мистер Антолини. — Мы принимали друзей миссис Антолини из Барбизона... Бизоны из Барбизона!

Я рассмеялся, а миссис Антолини прокричала мне что-то из кухни, но я не рассышал.

- Что она сказала? — спрашиваю.
— Говорит — не смотри на нее, когда она войдет. Она встала с постели. Хочешь сигарету? Ты куришь?
— Спасибо. — Я взял сигарету из ящичка, — Иногда курю, но очень умеренно.
— Верю, верю. — Он дал мне прикурить от огромной зажигалки. — Так, значит, ты и Пэнси разошлись как в море корабли.

Он любит так высокопарно выражаться. Иногда мне смешно, а иногда ничуть. Перехватывает он часто. Я не могу сказать, что он неостроумный, нет, он очень остроумный, но иногда мне действует на нервы, когда непрерывно говорят фразы, вроде «Разошлись как в море корабли!». Д. Б. тоже иногда перехватывает.

— В чем же дело? — спрашивает мистер Антолини. — Как у тебя с английским? Если бы ты провалился по английскому, я тебя тут же выставил бы за дверь. Ты же у нас по сочинениям был первым из первых.

— Нет, английский я сдал хорошо. Правда, мы больше занимались литературой. За всю четверть я написал всего два сочинения. Но я провалился по устной речи. У нас был такой курс — устная речь. Я по ней провалился.

— Почему?

— Сам не знаю, — говорю. Мне не хотелось рассказывать. Чувствовал я себя плохо, а тут еще страшно разболелась голова. Ужасно разболелась. Но ему, как видно, очень хотелось все узнать, и я стал рассказывать. — Понимаете, на этих уроках каждый должен был встать и произнести речь. Ну, вы знаете, вроде импровизации на тему и все такое. А если кто отклонялся от темы, все сразу кричали: «Отклоняешься!» Меня это просто бесило. Я и получил кол.

— Но почему же?

— Да сам не знаю. Действовало на нервы, когда все орут: «Отклоняешься!» А вот я почему-то люблю, когда отклоняются от темы. Гораздо интереснее.

— Разве ты не хочешь, чтобы человек придерживался того, о чем он тебе рассказывает?

— Нет, хочу, конечно. Конечно, я хочу, чтобы мне рассказывали по порядку. Но я не люблю, когда рассказывают все время только про одно. Сам не знаю. Наверно, мне скучно, когда все время говорят про одно и то же. Конечно, ребята, которые все время придерживались одной темы, получали самые высокие оценки — это справедливо. Но у нас был один мальчик — Ричард Кинселла.

Он никак не мог говорить на тему, и вечно ему кричали: «Отклоняешься от темы!» Это было ужасно — прежде всего потому, что он был страшно нервный, понимаете, страшно нервный малый, и у него даже губы тряслись, когда его вызывали, и говорил он так, что ничего не было слышно, особенно если сидишь сзади. Но когда у него губы немножко переставали дрожать, он рассказывал интереснее всех. Но он тоже фактически провалился. А все потому, что ребята все время орали: «Отклоняешься от темы!» Например, он рассказывал про ферму, которую его отец купил в Вермонте. Он говорит, а ему все время кричат: «Отклоняешься!», а наш учитель, мистер Винсон, влепил ему кол за то, что он не рассказал, какой там животный и растительный мир, у них на ферме. А он, этот самый Ричард Кинселла, он так рассказывал: начнет про эту ферму, что там было, а потом вдруг расскажет про письмо, которое мать получила от его дяди, и как этот дядя в сорок четыре года перенес полномиелит и никого не пускал к себе в госпиталь, потому что не хотел, чтобы его видели калекой. Конечно, к ферме это не имело никакого отношения — согласен! — но зато интересно. Интересно, когда человек рассказывает про своего дядю. Особенно когда он начнет что-то плести про отцовскую ферму и вдруг ему захочется рассказать про своего дядю. И свинство орать: «Отклоняешься от темы!» — когда он только-только разговорится, оживет... Не знаю... Трудно мне это объяснить.

Мне и не хотелось объяснять. Уж очень у меня болела голова. Я только мечтал, чтобы миссис Антолини скорее принесла кофе. Меня до смерти раздражает, когда кричат, что кофе готов, а его все нет.

— Слушай, Холден... Могу я задать тебе короткий, несколько старомодный педагогический вопрос: не думаешь ли ты, что всему свое время и свое место? Не считаешь ли ты, что, если человек начал рассказывать про отцовскую ферму, он должен придерживаться своей темы, а в другой раз уже рассказать про болезнь дяди? А если болезнь дяди столь увлекательный предмет, то почему бы оратору не выбрать именно эту тему, а не ферму?

Неохота было думать, неохота отвечать. Ужасно болела голова, и чувствовал я себя гнусно. По правде говоря, у меня и живот болел.

— Да, наверно. Наверно, это так. Наверно, надо было взять темой дядю, а не ферму, раз ему про дядю интереснее. Но понимаете, чаще всего ты сам не знаешь, что тебе интереснее, пока не начнешь рассказывать про нее инте-

р е с н о е. Бывает, что это от тебя не зависит. Но, по-моему, надо дать человеку выговориться, раз он начал интересно рассказывать и увлекся. Очень люблю, когда человек с увлечением рассказывает. Это хорошо. Вы не знали этого учителя, этого Винсона. Он вас тоже довел бы до бешенства, он и эти ребята в классе. Понимаете, он все долбил — надо обобщать, надо упрощать. А разве можно все упростить, все обобщить? И вообще, разве по чужому желанию можно обобщать и упрощать? Нет, вы этого мистера Винсона не знаете. Конечно, сразу было видно, что он образованный и все такое, но мозгов у него определенно не хватало.

— Вот вам наконец и кофе, джентльмены! — сказала миссис Антолини. Она внесла поднос с кофе, печеньем и всякой едой. — Холден, не надо на меня смотреть! Я в ужасном виде!

— Здравствуйте, миссис Антолини! — говорю. Я хотел встать, но мистер Антолини схватил меня за куртку и потянул вниз. У миссис Антолини вся голова была в этих железных штучках для завивки, и губы не намазаны, вообще вид неважный. Старая какая-то.

— Я вам все тут поставлю. Сами угощайтесь, — сказала она. Потом поставила поднос на курительный столик, отодвинула стаканы. — Как твоя мама, Холден?

— Ничего, спасибо. Я ее уже давно не видел, но в последний раз...

— Милый, все, что Холдену может понадобиться, лежит в бельевом шкафу. На верхней полке. Я ложусь спать. Устала предельно, — сказала миссис Антолини. По ней это было видно. — Мальчики, вы сумеете сами постлать постель?

— Все сделаем. Ложись-ка скорее! — сказал мистер Антолини. Он поцеловал жену, она попрощалась со мной и ушла в спальню. Они всегда целовались при других.

Я выпил полчашки кофе и съел печенье, твердое как камень. А мистер Антолини опять выпил виски. Видно было, что он почти не разбавляет. Он может стать настоящим алкоголиком, если не удержится.

— Я завтракал с твоим отцом недели две назад, — говорит он вдруг. — Ты об этом знал?

— Нет, не знал.

— Но тебе, разумеется, известно, что он чрезвычайно озабочен твоей судьбой?

— Да, конечно. Конечно, известно.

— Очевидно, перед тем как позвонить мне, он получил весьма тревожное письмо от твоего бывшего дирек-

тора о том, что ты не прилагаешь никаких стараний к занятиям. Пропускаешь лекции, совершенно не готовишь уроки, вообще абсолютно ни в чем...

— Нет, я ничего не пропускал. Нам запрещалось пропускать занятия. Иногда я не ходил, например на эту устную речь, но вообще я ничего не пропускал.

Очень не хотелось разговаривать о моих делах. От кофе немного перестал болеть живот, но голова просто раскалывалась.

Мистер Антолини закурил вторую сигарету. Курил он как паровоз. Потом сказал:

— Откровенно говоря, я не знаю, что тебе сказать, Холден.

— Понимаю. Со мной трудно разговаривать. Я знаю.

— Мне кажется, что ты несешься к какой-то страшной пропасти. Но честно говоря, я и сам не знаю... да ты меня слушаешь?

— Да.

Видно было, что он очень серьезно настроен.

— Может быть, ты дойдешь до того, что в тридцать лет станешь завсегдатаем какого-нибудь бара и будешь ненавидеть каждого, кто с виду похож на чемпиона университетской футбольной команды. А может быть, ты станешь со временем достаточно образованным и будешь ненавидеть людей, которые неправильно говорят. А может быть, ты будешь служить в какой-нибудь конторе и швырять скрепками в не угодившую тебе стенографистку. Ты понимаешь, о чем я говорю?

— Да, конечно, — сказал я. И я его отлично понимал. — Но вы не правы насчет того, что я всех буду ненавидеть. Всяких футбольных чемпионов и так далее. Тут вы не правы. Я очень мало кого ненавижу. Бывает, что я вдруг кого-нибудь возненавижу, как, скажем, этого Стрэдлейтера, с которым я был в Пэнси, или того, другого парня, Роберта Экли. Бывало, конечно, что я их страшно ненавидел, сознаюсь, но всегда ненадолго, понимаете? Иногда не видишь его долго, он не заходит в комнату или в столовой его не встречаешь, и без него становится скучно. Понимаете, даже скучаю без него.

Мистер Антолини долго молчал, потом встал, положил кусок льда в виски и опять сел. Видно было, что он задумался. Лучше бы он продолжал разговор утром, а не сейчас, но его уже разобрало. Людей всегда разбирает желание спорить, когда у тебя нет никакого настроения.

— Хорошо... Теперь выслушай меня внимательно. Может быть, я сейчас не смогу достаточно четко сформулиро-

вать свою мысль, но я через день-два напишу тебе письмо. Тогда ты все уяснишь себе до конца. Но пока что выслушай меня.

Видно было, как он старается сосредоточиться. Потом сказал:

— Пропасть, в которую ты летишь, — ужасная пропасть, опасная. Тот, кто в нее падает, никогда не почувствует дна. Он падает, падает без конца. Это бывает с людьми, которые в какой-то момент своей жизни стали искать то, чего им не может дать их привычное окружение. Вернее, они думали, что в привычном окружении они ничего для себя найти не могут. И они перестали искать. Перестали искать, даже не делая попытки что-нибудь найти. Ты следишь за моей мыслью?

— Да, сэр.

— Правда?

— Да.

Он встал, налил себе еще виски. Потом опять сел. И долго молчал.

— Не хочу тебя пугать, — сказал он наконец, — но я очень ясно вижу, как ты благородно жертвуешь жизнью за какое-нибудь пустое, нестоящее дело. — Он посмотрел на меня странными глазами. — Скажи, если я тебе напишу одну вещь, обещаешь прочесть внимательно? И сберечь?

— Да, конечно, — сказал я. Я и на самом деле сберег листок, который он мне тогда дал. Этот листок и сейчас у меня.

Он подошел к своему письменному столу и, не присаживаясь, что-то написал. Потом повернулся и сел, держа листок в руке.

— Как ни странно, написал это не поэт. Это сказал психоаналитик по имени Вильгельм Штекель. Вот что он... да ты меня слушаешь?

— Ну конечно.

— Вот что он говорит: «Признак незрелости человека — то, что он хочет благородно умереть за правое дело, а признак зрелости — то, что он хочет смиренно жить ради правого дела».

Он наклонился и подал мне бумажку. Я прочел еще раз, а потом поблагодарил его и сунул листок в карман. Все-таки с его стороны было очень мило, что он так ради меня старался. Жалко, что я никак не мог сосредоточиться. Здорово я устал, по правде говоря.

А он ничуть не устал. Главное, он порядочно выпил.

— Настанет день, — говорит он вдруг, — и тебе при-

дется решать, куда идти. И сразу надо идти туда, куда ты решил. Немедленно. Ты не имеешь права терять ни минуты. Тебе это нельзя.

Я кивнул головой, потому что он смотрел прямо мне в глаза, но я не совсем понимал, о чем он говорит. Немножко я соображал, но все-таки не был уверен, что я правиль-но понимаю. Уж очень я устал, честное слово.

— Не хочется повторять одно и то же, — говорит он, — но я думаю, что, как только ты для себя определишь свой дальнейший путь, тебе придется первым делом серьезно отнести к школьным занятиям. Да, придется. Ты мыслящий человек, нравится тебе это название или нет. Ты тянешься к науке. И мне кажется, что, когда ты преодолеешь всех этих мистеров Виндси и их «устную композицию», ты...

— Винсонов, — сказал я. Он, наверно, думал про мистеров Винсонов, а не Виндси. Но все-таки зря я его перебил.

— Хорошо, всех этих мистеров Винсонов. Когда ты преодолеешь всех мистеров Винсонов, ты начнешь все ближе и ближе подходить — разумеется, если захочешь, если будешь к этому стремиться, ждать этого, — подойдешь все ближе к тем знаниям, которые станут дороги твоему сердцу. И тогда ты обнаружишь, что ты не первый, в ком люди и их поведение вызывали растерянность, страх и даже отвращение. Ты поймешь, что не один ты так чувствуешь, и это тебя обрадует, поддержит. Многие, очень многие люди пережили ту же растерянность в вопросах нравственных, душевных, какую ты переживаешь сейчас. К счастью, некоторые из них записали свои переживания. От них ты многому научишься — если, конечно, захочешь. Так же, как другие когда-нибудь научатся от тебя, если у тебя будет что им сказать. Взаимная помощь — это прекрасно. И она не только в знаниях. Она в поэзии. Она в истории.

Он остановился, отпил глоток из бокала и опять заговорил. Видно, он здорово увлекся. Хорошо, что я его не прерывал, не останавливал.

— Не хочу внушать тебе, что только люди ученые, образованные могут внести ценный вклад в жизнь, — продолжал он. — Это не так. Но я утверждаю, что образованные и ученые люди, при условии что они вместе с тем люди талантливые, творческие — что, к сожалению, встречается редко, — эти люди оставляют после себя гораздо более ценное наследие, чем люди просто талантливые и творческие. Они стремятся выразить свою мысль как

можно яснее, они упорно и настойчиво доволят свой эз-
мысел до конца. И что самое важное, в деньги случаях
из десяти люди науки гораздо скромнее, чем люди неуче-
ные, хотя и мыслящие. Ты понимаешь, о чём я говорю?

— Да, сэр.

Он молчал довольно долго. Не знаю, бывало с вами так
или нет, но ужасно трудно сидеть и ждать, пока человек,
который о чём-то задумался, опять заговорит. Я изо всех
сил старался не зевнуть. И не то чтобы мне было скучно
слушать, вовсе нет, но на меня вдруг напала ужасная
сонливость.

— Есть еще одно преимущество, которое тебе даст ака-
демический курс. Если ты достаточно углубишься в заня-
тия, ты получишь представление о направлении и возмож-
ностях твоего разума. Что ему показано, а что — нет. И
через какое-то время ты поймешь, какой образ мыслей
тебе подходит, а какой — нет. И это поможет тебе не за-
трачивать много лишнего времени на то, чтобы прилажи-
вать к себе какой-нибудь образ мышления, который тебе
совершенно не годится, не идет тебе. Ты узнаешь свою
истинную меру и по ней будешь подбирать одежду своему
уму.

И тут вдруг я зевнул во весь рот. Грубая скотина,
знаю, но что я мог сделать? Но мистер Антолини только
рассмеялся.

— Ладно! — сказал он. — Давай делать тебе постель!

Я пошел за ним к шкафу, он попробовал было достать
меня простыни и одеяло с верхней полки, но ему мешал
бокал в руке. Тогда он его допил, поставил на пол, а уж
потом достал все, что надо. Я ему помог дотащить все это
до дивана. Мы вместе стали делать постель. Нельзя ска-
зать, что он проявил особую ловкость. Ничего не умел как
следует заправить. Но мне было все равно. Я готов был
спать хоть стоя, до того я устал.

— А как твои увлечения?

— Ничего. — Собеседник я был никудышний, но уж
очень не хотелось разговаривать.

— Как поживает Салли? — Он знал Салли Хейс. Я их
как-то познакомил.

— Хорошо. Мы с ней виделись сегодня днем. — Черт,
мне показалось, что с тех пор прошло лет двадцать! — Но
у нас теперь с ней мало общего.

— Удивительно красивая девочка. А как та, другая?
Помнишь, ты с ней познакомился в Мейне...

— А-а, Джейн Галлахер. Она ничего. Я ей, наверно,
завтра звякну по телефону.

Наконец мы постлали постель.

— Располагайся! — говорит мистер Антолини. — Не зпаю, куда ты денешь свои длинные ноги!

— Ничего, я привык к коротким кроватям. Большое вам спасибо, сэр. Вы с миссис Антолини действительно спасли мне сегодня жизни!

— Где ванная, ты знаешь. Если что понадобится — кликни меня. Я еще посижу в кухне. Тебе свет не помешает?

— Нет, что вы! Огромное спасибо!

— Брось! Ну, спокойной ночи, дружище!

— Спокойной ночи, сэр! Огромное спасибо!

Он вышел в кухню, а я пошел в ванную, разделся, умылся. Зубы я не чистил, потому что не взял с собой зубную щетку. И пижамы у меня не было, а мистер Антолини забыл мне дать. Я вернулся в гостиную, потушил лампочку над диваном и забрался под одеяло в одних трусах. Диван был слишком короток, но я мог бы спать хоть стоя и глазом бы не моргнул. Секунды две я лежал, думал о том, что говорил мистер Антолини. Насчет образа мышления и все такое. Он очень умный, честное слово. Но глаза у меня сами закрывались, и я уснул.

Потом случилась одна вещь. По правде говоря, и рассказывать неохота.

Я вдруг проснулся. Не знаю, который был час, но я проснулся. Я почувствовал что-то у себя на лбу, чью-то руку. Господи, как я испугался! Оказывается, это была рука мистера Антолини. Он сидел на полу рядом с диваном и не то пощупал мне лоб, не то погладил по голове. Честное слово, я подскочил на тысячу метров!

— Что вы делаете?

— Ничего! Просто гляжу на тебя... любуюсь...

— Нет, что это вы тут делаете? — говорю я опять.

Я совершенно не знал, что сказать, растерялся как болван.

— Тише, что ты! Я просто подошел взглянуть...

— Мне все равно пора идти, — говорю. Господи, как я испугался! Я стал натягивать в темноте брюки, никак не мог попасть, до того я нервничал. Насмотрелся я в школах всякого, столько мне пришлось видеть этих проклятых психов, как никому.

— Куда тебе пора идти? — спросил мистер Антолини. Он старался говорить очень спокойно и холодно, но видно было, что он растерялся. Можете мне поверить.

— Я оставил чемоданы на вокзале. Пожалуй, надо съездить забрать их. Там все мои вещи.

— Вещи никуда до утра не убегут. Ложись, пожалуй-

ста, спи. Я тоже ухожу спать. Не понимаю, что с тобой творится?

— Ничего не творится, просто у меня в чемоданах все вещи и все деньги. Я сейчас вернусь. Возьму такси и вернусь. — Черт, я чуть себе башку не свернул в темноте. — Дело в том, что деньги не мои. Они мамины, и мне надо...

— Не глупи, Холден. Ложись спать. Я тоже ухожу спать. Никуда твои деньги до утра не денутся...

— Нет, нет, мне надо идти, честное слово.

Я уже почти оделся, только галстука не нашел. Никак не мог вспомнить, куда я девал этот проклятый галстук. Я надел куртку — уйду без галстука. А мистер Антолини сел в кресло поодаль и смотрел на меня. Было темно, я его плохо видел, но чувствовал, как он наблюдает за мной. А сам пьет. Так и не выпустил свой верный бокал из рук.

— Ты удивительно странный мальчик, очень, очень странный!

— Знаю, — сказал я. Я даже не стал искать галстук. Так и пошел без него. — До свидания, сэр! — говорю. — И большое спасибо, честное слово!

Он шел за мной до самых дверей, а когда я стал вызывать лифт, он остановился на пороге. И опять повторил, что я очень, очень странный мальчик. Да, странный, как бы не так! Он дождался, пока не пришел этот трехъярусный лифт. Никогда в жизни я столько не ждал лифта, черт бы его побрал. Целую вечность, клянусь богом!

Я даже не знал, о чем говорить, пока я ждал лифт, а он стоял в дверях, и я сказал:

— Начну читать хорошие книжки, правда начну! — Надо же было что-то сказать. Вообще неловко вышло.

— А ты забирай свои чемоданы и лети обратно сюда! Я оставлю дверь открытой.

— Большое спасибо! — говорю. — До свидания! — Лифт наконец пришел. Я закрыл двери, стал спускаться. Господи, как меня трясло! И пот прошиб. Когда со мной случаются всякие неожиданные штуки, меня пот прошибает. А в школе я сталкивался со всякими гадостями раз двадцать. С самого детства. Ненавижу!

Куда идти, я совершенно не знал. Брать номер в гостинице на сестренкины деньги я не хотел. В конце концов я пошел пешком к Лексингтону и сел в метро до Центрального вокзала. Чемоданы были на вокзале, и я решил выпасть в зале ожидания, там, где натыканы эти дурацкие скамейки. Так я и сделал. Сначала было ничего, народу немного, можно было прилечь, положить ноги на скамью. Но я не хочу об этом рассказывать. Довольно противное ощущение. Лучше не ходите туда. Я серьезно говорю. Тоска берет!

Спал я часов до девяти, а там хлынул миллион народу, пришлось убрать ноги. А я не могу спать, когда ноги висят. Я сел. Голова болела по-прежнему. Даже сильнее. А настроение было до того скверное, никогда в жизни у меня не было такого скверного настроения.

Не хотелось думать про мистера Антолини, но я не мог не думать, что же он скажет своей жене, когда она увидит, что я у них не ночевал. Но меня не это беспокоило, я отлично знал, что мистер Антолини достаточно умен и найдет, что ей сказать. Скажет, что я уехал домой, и все. Это меня не очень беспокоило. А мучило меня другое — то, как я проснулся оттого, что он погладил меня по голове. Понимаете, я вдруг подумал — должно быть, я напрасно вообразил, что он хотел ко мне пристать. Должно быть, он просто хотел меня погладить по голове, может, он любит гладить ребят по голове, когда они спят. Разве можно сказать наверняка? Никак нельзя! Я даже подумал — надо было мне взять чемоданы и вернуться к ним в дом, как я обещал! Понимаете, я стал думать, что даже если бы он был со странностями, так ко мне-то он отнесся замечательно. Не рассердился, когда я его разбудил среди ночи, сказал — приезжай, хоть сейчас, если надо. И как он старался, давал мне всякие советы насчет образа мыслей и прочее, и как он один из всех не побоялся подойти к этому мальчику, к Джеймсу Каслу, когда тот лежал мертвый, помните, я вам рассказывал. Я сидел и думал про все про это. И чем больше думал, тем настроение становилось хуже. Мучила меня мысль, что надо было вернуться к ним домой. Наверно, он действительно погладил меня по голове просто так. И чем больше я об этом думал, тем больше мучился и расстраивался. А тут еще у меня вдруг разболелись глаза. Болят, горят как проклятые, оттого что я не выспался. И потом начался насморк, а носового платка не было. В чемодане лежали платки, но не хотелось доставать чемодан из хранения да еще открывать его у всех на виду

Рядом со мной на скамейке кто-то забыл журнал, и я начал читать. Может быть, перестану думать о мистере Антолини и о всякой чепухе, хоть на время забуду. Но от этой проклятой статьи мне стало во сто раз хуже. Там было про всякие гормоны. Описывалось, какой у вас должен быть вид, какие глаза, лицо, если у вас все гормоны в порядке, а у меня вид был как раз наоборот: у меня был точно такой вид, как у того типа, которого описывали в статье, у него все гормоны были нарушены. Я стал ужасно беспокоиться — что с моими гормонами. А потом я стал читать вторую статью — как заранее обнаружить, есть у тебя рак или нет. Там говорилось, что если во рту есть ранки, которые долго не заживают, значит, ты, по всей вероятности, болен раком. А у меня на губе внутри была ранка уже недели две!!! Да, веселенький журнальчик, ничего не скажешь! Я его бросил и пошел прогуляться. Я высчитал, что раз у меня рак, я через два-три месяца умру. Серьезно, я так думал. Я был твердо уверен, что умру. И настроение от этого не улучшилось, сами понимаете.

Как будто начинался дождь, но я все равно пошел гулять. Во-первых, надо было позавтракать. Есть мне не хотелось, но я подумал, что все-таки надо подкрепиться. Съесть по крайней мере что-нибудь витаминозное. Я пошел к восточным кварталам, где дешевые рестораны: не хотелось тратить много денег.

По дороге я увидел, как двое сгружали с машины огромную елку. И один все время кричал другому: — Держи ее, чертову куклу, крепче держи, так ее и так! — Очень красиво говорить так про рождественскую елку! Но мне почему-то стало смешно, и я расхохотался. Хуже ничего быть не могло, меня сразу начало мутить. Я чуть не свалил, но потом прошло, сам не знаю как. И ведь я ничего несвежего не ел, да и вообще желудок у меня выносливый.

Словом, пока что все прошло, и я решил — надо поесть. Я зашел в очень дешевый ресторанчик и заказал пышки и кофе. Только пышек я есть не стал, не мог проглотить ни куска. Когда ты чем-нибудь очень расстроен, глотать очень трудно. Но официант был славный. Он унес пышки и ничего с меня не взял. Я только выпил кофе. И пошел по направлению к Пятой авеню.

Был понедельник, подходило рождество, и магазины торговали вовсю. На Пятой авеню было совсем неплохо. Чувствовалось рождественское настроение. На всех углах стояли бородатые Санта-Клаусы, звонили в колокольчики, и женщины из Армии Спасения, те, что никогда не кра-

сят губы, тоже звонили в колокольчики Я все искал этих двух монахинь, с которыми я накануне завтракал, но их нигде не было. Впрочем, я так и знал, потому что они мне сами сказали, что приехали в Нью-Йорк учительствовать, но все-таки я их искал. Во всяком случае, настроение вдруг стало совсем рождественское. Миллионы ребятишек с матерями выходили из автобусов, входили и выходили из магазинов. Как было бы хорошо, если бы Фиби была со мной. Не такая она маленькая, чтобы глязеть на игрушки до обалдения, но любит смотреть на толпу и вытворять всякие глупости. Прошлым рождеством я ее взял с собой в город за покупками. Чего мы только не выделявали! По-моему, это было у Блумингдейла. Мы зашли в обувной отдел и сделали вид, что ей, сестренке, нужна пара этих высоченных горных ботинок, знаете, которые зашнуровываются на миллион дырочек. Мы чуть с ума не свели этого несчастного продавца. Моя Фиби перемерила пару двадцать и каждый раз этому бедняге приходилось зашнуровывать ей один башмак до самого колена. Свинство, конечно, но Фиби просто умирала. В конце концов мы купили пару домашних туфель и попросили прислать на дом. Продавец оказался очень славный. По-моему, он понимал, что мы балуемся, потому что Фиби все время покатывалась со смеху.

Я шел по Пятой авеню без галстука, шел и шел все дальше. И вдруг со мной приключилась жуткая штука. Каждый раз, когда я доходил до конца квартала и переходил с тротуара на мостовую, мне вдруг начинало казаться, что я никак не могу перейти на ту сторону. Мне казалось, что я вдруг провалюсь вниз, вниз, вниз и больше меня так и не увидят. Ох, до чего я перепугался, вы даже вообразить не можете. Я весь вспотел, вся рубаха и белье — все промокло насеквоздь. И тут я стал проделывать одну штуку. Только дойду до угла, сразу начинаю разговаривать с моим братом, с Алли. Я ему говорю: «Алли, не дай мне пропасть! Алли, не дай мне пропасть! Алли, прошу тебя!» А как только благополучно перейду на другую сторону, я ему говорю «спасибо». И так на каждом углу — все сначала. Но я не останавливался. Кажется, я боялся остановиться — по правде сказать, я плохо помню. Знаю только, что я дошел до самой Шестидесятой улицы, мимо зоопарка, бог знает куда. Тут я сел на скамью. Пот с меня лил градом. Просидел я на этой скамейке, на верно, около часа. Наконец я решил, что мне надо делать. Я решил уехать. Решил, что не вернусь больше домой и ни в какие школы не поступлю. Решил, что повидаюсь

с сестренкой, отдам ей деньги, а потом выйду на шоссе и буду голосовать, пока не уеду далеко на Запад. Я решил — сначала доеду до Холленд-Таннел, оттуда проголосую и проеду дальше, потом опять проголосую и сяду, так чтобы через несколько дней оказаться далеко на Западе, где тепло и красиво и где меня никто не знает. И там я найду себе работу. Я подумал, что легко найду работу на какой-нибудь заправочной станции у бензоколонки, буду обслуживать проезжих. В общем, мне было все равно, какую работу делать, лишь бы меня никто не знал и я никого не знал. Я решил сделать вот что: притвориться глухонемым. Тогда не надо будет ни с кем заводить всякие ненужные глупые разговоры. Если кто-нибудь захочет со мной поговорить, ему придется писать на бумажке и показывать мне. Им это так в конце концов остоцертеет, что я на всю жизнь избавлюсь от разговоров. Все будут считать, что я несчастный глухонемой дурачок, и оставят меня в покое. Я буду заправлять их дурацкие машины, получать за это жалованье и потом построю себе на скопленные деньги хижину и буду там жить до конца жизни. Хижина будет стоять на опушке леса — только не в самой чаще, я люблю, чтобы солнце светило на меня во все лопатки. Готовить еду я буду сам, а позже, когда мне захочется жениться, я, может быть, встречу какую-нибудь красивую глухонемую девушку, и мы поженимся. Она будет жить со мной в хижине, а если захочет мне что-нибудь сказать — пусть тоже пишет на бумажке. Если пойдут дети, мы их от всех спрячем. Купим им много книжек и сами выучим их читать и писать.

Я просто загорелся, честное слово. Конечно, глупо было выдумывать, что я притворюсь глухонемым, но мне все равно нравилось представлять себе, как это будет. И я твердо решил уехать на Запад. Надо было только попрощаться с Фиби. Я вскочил и понесся как сумасшедший через улицу — чуть не попал под машину, если говорить правду, — и прямо в писчебумажный магазин, где купил блокнот и карандаш. Я решил, что напишу ей записку, где нам с ней встретиться, чтобы я мог с ней проститься и отдать ей подарочные деньги, отнесу эту записку в школу, а там попрошу кого-нибудь из канцелярии передать Фиби. Но пока что я сунул блокнот и карандаш в карман и почти бегом побежал к ее школе — слишком я волновался, чтобы писать записку в магазине. Шел я ужасно быстро: надо было успеть передать ей записку, пока она не ушла домой на завтрак, а времени оставалось совсем мало.

Школу я знал хорошо, потому что сам туда бегал, когда был маленьkim. Когда я вошел во двор, мне стало как-то странно. Я не думал, что помню, как все было, но, оказывается, я все помнил. Все осталось совершенно таким, как при мне. Тот же огромный гимнастический зал внизу, где всегда было темновато, те же проволочные сетки на фонарях, чтобы не разбить лампу мячом. На полу — те же белые круги для всяких игр. И те же баскетбольные кольца без сеток — только доска сзади и кольцо.

Нигде никого не было — наверно, потому, что шли занятия и большая перемена еще не начиналась. Я только увидел одного малыша, цветного мальчугана, — он бежал в уборную. У него из кармана торчал деревянный номерок, нам тоже выдавали такие в доказательство, что нам разрешили выйти из класса.

Я все еще потел, но уже не так сильно. Вышел на лестницу, сел на нижнюю ступеньку и достал блокнот и карандаш. Лестница пахла совершенно так же, как при мне. Как будто кто-то там намочил. В начальных школах лестницы всегда так пахнут. Словом, я сел и написал записку:

Милая Фиби!

Не могу ждать до среды, поэтому сегодня же вечером начну пробираться на Запад. Жди меня в музее, у входа, в четверть первого, если сможешь, и я отдам тебе твои подарочные деньги. Истратил совсем мало.

Целую,

Холден.

Музей был совсем рядом со школой, ей все равно надо было идти мимо после завтрака, и я знал, что она меня встретит.

Я поднялся по лестнице в канцелярию директора, чтобы попросить отнести мою записку сестренке в класс. Я сложил листок в десять раз, чтобы никто не прочитал. В этих чертовых школах никому доверять нельзя. Но я знал, что записку от брата ей передадут непременно.

Когда я подымался по лестнице, меня опять начало мутить, но потом обошлось. Я только присел на минутку и почувствовал себя лучше. Но тут я увидел одну штуку, которая меня забесила. Кто-то написал на стене похабщину. Я просто взбесился от злости. Только представить себе, как Фиби и другие малыши увидят и начнут спрашивать, что это такое, а какой-нибудь грязный мальчишка им начнет объяснять — да еще по-дурацки, — что это зна-

чит, и они начнут думать о таких вещах и расстраиваться. Я готов был убить того, кто это написал. Я представил себе, что какой-нибудь мерзавец, развратник залез в школу поздно ночью за нуждой, а потом написал на стени эти слова. И вообразил, как я его ловлю на месте преступления и бью головой о каменную лестницу, пока он не издохнет, обливаясь кровью. Но я подумал, что не хватит у меня на это смелости. Я себя знаю. И от этого мне стало еще хуже на душе. По правде говоря, у меня даже не хватало смелости стереть эту гадость. Я испугался — а вдруг кто-нибудь из учителей увидит, как я стираю надпись, и подумает, что это я написал. Но потом я все-таки стер. Стер и пошел в канцелярию директора.

Директора нигде не было, но за машинкой сидела старушка лет под сто. Я сказал, что я брат Фиби Колфилд из четвертого «Б» и очень прошу передать ей эту записку. Я сказал, что это очень важно, потому что мама нездорова и не приготовила завтрак для Фиби и что я должен встретить Фиби и накормить ее завтраком в закусочной. Старушка оказалась очень милая. Она взяла у меня записку, позвала какую-то женщину из соседней комнаты, и та пошла отдавать записку Фиби. Потом мы с этой столетней старушкой немножко поговорили. Она была очень приветливая, и я ей рассказал, что в эту школу ходили мы все — и я, и мои братья. Она спросила, где я теперь учусь, и я сказал — в Пэнси, и она сказала, что Пэнси — очень хорошая школа. Если б я даже хотел вправить ей мозги, у меня духу не хватило бы. Хочет думать, что Пэнси хорошая школа, пусть думает. Глупо внушать новые мысли человеку, когда ему скоро стукнет сто лет. Да они этого и не любят. Потом я попрощался и ушел. Она завопила мне вдогонку «Счастливого пути!» — совершенно как старик Спенсер, когда я уезжал из Пэнси. Господи, до чего я ненавижу эту привычку — вопить вдогонку «счастливого пути!». У меня от этого настроение портится.

Спустился я по другой лестнице и опять увидел на стенке похабщину. Попробовал было стереть, но на этот раз слова были выцарапаны ножом или чем-то острым. Никак не стереть. Да и бесполезно. Будь у человека хоть миллион лет в распоряжении, все равно ему не стереть всю похабщину со всех стен на свете. Невозможное дело.

Я посмотрел на часы в гимнастическом зале: было всего без двадцати двенадцать, ждать до перемены оставалось долго. Но я все-таки пошел прямо в музей. Все равно больше идти было некуда. Я подумал, не звякнуть ли Джейн Галлахер из автомата перед тем, как податься

на Запад, но настроения не было. Да я и не был уверен, что она уже приехала домой на каникулы. Я зашел в музей и стал там ждать.

Пока я ждал Фиби у самого входа в музей, подошли двое ребятишек и спросили меня, не знаю ли я, где мумии. У того мальчишки, который спрашивал, штаны были расстегнуты. Я ему велел застегнуться. И он стал застегиваться прямо передо мной, не стесняясь, даже не зашел за колонну или за угол. Умора. Я, наверно, расхохотался бы, но побоялся, что меня начнет мутить, и сдержался.

— Где эти мумии, а? — повторил мальчишка. — Вы знаете, где они?

Я решил их поддразнить.

— Мумии? — спрашиваю. — А что это такое?

— Ну, сами знаете. Мумии, мертвяки. Их еще хоронят в пирамидах.

В «пирамидах»! Вот умора. Это он про пирамиды.

— А почему вы не в школе, ребята? — спрашиваю.

— Нет занятий, — говорит тот, что все время разговаривал. Я видел, что он врет, подлец. Но мне все равно нечего было делать до прихода Фиби, и я повел их туда, где лежали мумии. Раньше я точно знал, где они лежат, только я тут лет сто не был.

— А вам интересно посмотреть мумии? — спрашиваю.

— Ага.

— А твой приятель немой, что ли?

— Он мне не приятель, он мой братишко.

— Разве он не умеет говорить? — спрашиваю я. — Ты что, говорить не умеешь?

— Умею, — отвечает. — Только не хочу.

Наконец мы нашли вход в галерею, где лежали мумии.

— А вы знаете, как египтяне хоронили своих мертвцов? — спрашиваю я разговорчивого мальчишку.

— Не-ее...

— А надо бы знать. Это очень интересно. Они закутывали им головы в такие ткани, которые пропитывались особым секретным составом. И тогда можно было их хоронить хоть на тысячу лет, и все равно головы у них не сгнивали. Никто не умел это делать, кроме египтян. Современная наука и то не знает, как это делается.

Чтобы увидеть мумии, надо было пройти по очень узкому переходу, выложеному плитами, взятыми прямо с могилы фараона. Довольно жуткое место, и я видел, что эти два молодца, которых я вел, здорово трусили. Они прижались ко мне, как котята, а неразговорчивый даже вцепился в мой рукав.

— Пойдем домой, — сказал он вдруг. — Я уже все видел. Пойдем скорее! — Он повернулся и побежал.

— Он трусишка, всего бонтся! — сказал другой. — Покай! — и тоже побежал за первым.

Я остался один среди могильных плит. Мне тут нравилось — тихо, спокойно. И вдруг я увидел на стене — догадайтесь что? Опять похабщина! Красным карандашом, прямо под стеклянной витриной, на камне.

В этом-то и все несчастье. Нельзя найти спокойное, тихое место — нет его на свете. Иногда подумаешь — а может, есть, но, пока ты туда доберешься, кто-нибудь прокрадется перед тобой и напишет похабщину прямо перед твоим носом. Проверьте сами. Мне иногда кажется — вот я умру, попаду на кладбище, поставят надо мной памятник, напишут «Холден Колфилд», и год рождения, и год смерти, а под всем этим кто-нибудь нацарапает похабщину. Уверен, что так оно и будет.

Я вышел из зала, где лежали мумии, и пошел в уборную. У меня началось расстройство, если уж говорить всю правду. Но этого я не испугался, а испугался другого. Когда я выходил из уборной, у самой двери я вдруг потерял сознание. Счастье еще, что я удачно упал. Мог разбить себе голову об пол, но просто грохнулся набок. Странное это ощущение. Но после обморока я как-то почувствовал себя лучше. Рука, правда, болела, но не так кружилась голова.

Было уже десять минут первого, и я пошел к выходу и стал ждать мою Фиби. Я подумал, может, я вижусь с ней в последний раз. И вообще никого из родных больше не увижу. То есть, конечно, когда-нибудь я с ними, наверно, увижу, но только не скоро. Может быть, я приеду домой, когда мне будет лет тридцать пять, если кто-нибудь из них вдруг заболеет и захочет меня повидать перед смертью — это единственное, из-за чего я еще смогу бросить свою хижину и вернуться домой. Я даже представил себе, как я вернусь. Знаю, мама начнет волноваться, и плакать, и просить меня остаться дома и не возвращаться к себе в хижину, но я все-таки уеду. Я буду держаться неприступно, как дьявол. Успокою мать, отйду в другой конец комнаты, выну портсигар и закурю с ледяным спокойствием. Я их приглашу навещать меня, если им захочется, но настаивать не буду. Но я обязательно устрою, чтобы Фиби приезжала ко мне гостить на лето, и на рождество, и на пасхальные каникулы. Д. Б. тоже пускай приезжает, пусть живет у меня, когда ему понадобится тихий, спокойный угол для работы. Но никаких

сценариев в моей хижине я писать не позволю, только рассказы и книги. У меня будет такое правило — никакой липы в моем доме не допускать. А чуть кто попробует разводить липу, пусть лучше сразу уезжает.

Вдруг я посмотрел на часы в гардеробной и увидел, что уже без двадцати пяти час. Я перепугался — вдруг старушка из канцелярии велела той, другой женщине не передавать Фиби записку. Я испугался, что вдруг она велела сжечь мою записку или выкинуть. Здорово перепугался. Мне очень хотелось повидать сестренку перед тем, как уехать бог знает куда. А тут еще у меня были ее деньги.

И вдруг я ее увидел. Увидел через стеклянную дверь. А заметил я ее потому, что на ней была моя дикая охотничья шапка — ее за десять миль видно, эту шапку.

Я вышел на улицу и стал спускаться по каменной лестнице навстречу Фиби. Одного я не понимал — зачем она тащит огромный чемодан. Она как раз переходила Пятую авеню и тащила за собой громадный нелепый чемодан. Еле-еле тащила. Когда я подошел ближе, я понял, что это мой старый чемодан, он у меня был еще в Хуттонской школе. Я никак не мог понять, на кой черт он ей понадобился.

— Ау! — сказала она, подойдя поближе. Она совсем запыхалась от этого дурацкого чемодана.

— Я думал, ты уже не придешь, — говорю я. — А на кой черт ты притащила чемодан? Мне ничего не надо. Я еду налегке. Даже с хранения чемоданы не возьму. Чего ты туда напихала?

Она поставила чемодан.

— Мои вещи, — говорит. — Я еду с тобой. Можно, да? Возьмешь меня?

— Что? — Я чуть не упал, когда она это сказала. Честное слово, у меня голова пошла кругом, вот-вот упаду в обморок.

— Я все стащила по черной лестнице, чтобы Чарлиша не увидела. Он не тяжелый. В нем только два платья, туфли, белье, носки и всякие мелочи. Ты попробуй подыши. Он совсем легкий, ну подыши... Можно мне с тобой, Холден? Можно, да? Пожалуйста, можно мне с тобой?

— Нет, нельзя. Замолчи!

Я чувствовал, что сейчас упаду замертво. Я вовсе не хотел кричать «Замолчи!», но мне казалось, что я сейчас потеряю сознание.

— Почему нельзя? Пожалуйста, возьми меня с собой... Ну, Холден, пожалуйста! Я не буду мешать — я только

поеду с тобой, и все! Если хочешь, я и платьев не возьму, только захвачу...

— Ничего ты не захватишь. И не поедешь. Я еду один. Замолчи!

— Ну, Холден, пожалуйста! Я буду очень, очень, очень — ты даже не заметишь...

— Никуда ты не поедешь. Замолчи, слышишь! Отдай чемодан.

Я взял у нее чемодан. Ужасно хотелось ее отшлепать. Еще минута — и я бы ее шлепнул. Серьезно говорю.

Но тут она расплакалась.

— А я-то думал, что ты собираешься играть в спектакле. Я думал, что ты собираешься играть Бенедикта Арнольда в этой пьесе, — говорю я. Голос у меня стал злой, противный. — Что же ты затеяла, а? Не хочешь играть в спектакле, что ли?

Тут она еще сильнее заплакала, и я даже обрадовался. Вдруг мне захотелось, чтобы она все глаза себе выплакала. Я был ужасно зол на нее. По-моему, я был на нее так зол за то, что она готова была отказаться от роли в спектакле и уехать со мной.

— Идем, — говорю. Я опять стал подниматься по лестнице в музей. Я решил, что сдам в гардероб этот дурацкий чемодан, который она притащила, а в три часа, на обратном пути из школы, она его заберет. Я знал, что в школу его взять нельзя. — Ну идем, — говорю.

Но она не пошла в музей. Не захотела идти со мной. Я пошел один, сдал чемодан в гардероб и опять спустился на улицу. Она все еще стояла на тротуаре, но, когда я подошел, она повернулась ко мне спиной. Это она умеет. Повернется к тебе спиной, и все.

— Никуда я не поеду. Я передумал. Перестань реветь, слышишь?! — Глупо было так говорить, потому что она уже не ревела. Но все-таки я сказал «Перестань реветь!» на всякий случай. — Ну пойдем. Я тебя отведу в школу. Пойдем скорее. Ты опоздаешь.

Она мне даже не ответила. Я попытался было взять ее за руку, но она ее выдернула. И все время отворачивалась от меня.

— Ты позавтракала? — спрашиваю. — Ты уже завтракала?

Не желает отвечать. И вдруг сняла мою охотничью шапку и швырнула ее мне чуть ли не в лицо. А сама опять отвернулась. Мне стало смешно, я промолчал. Только поднял шапку и сунул в карман.

— Ладно, пойдем. Я тебя провожу до школы.

— Я в школу больше не пойду.

Что я ей мог сказать на это? Постоял, помолчал, потом говорю:

— Нет, в школу ты обязательно должна пойти. Ты же хочешь играть в этом спектакле, правда? Хочешь быть Бенедиктом Арнольдом?

— Нет.

— Неправда, хочешь. Еще как хочешь! Ну перестань, пойдем! Во-первых, я никуда не уезжаю. Я тебе правду говорю. Я вернусь домой. Только провожу тебя в школу — и сразу пойду домой. Сначала пойду на вокзал, заберу чемоданы, а потом поеду прямо...

— А я тебе говорю — в школу я больше не пойду. Можешь делать все, что тебе угодно, а я в школу ходить не буду. И вообще, заткнись!

Первый раз в жизни она мне сказала «заткнись». Грубо, просто страшно. Страшно было слушать. Хуже, чем услышать площадную брань. И не смотрит в мою сторону, а как только я попытался тронуть ее за плечо, взять за руку, она вырвалась.

— Послушай, хочешь погулять? — спрашиваю. — Хочешь пройтись со мной в зоопарк? Если я тебе позволю сегодня больше не ходить в школу и возьму тебя в зоопарк, перестанешь дурить? — Не отвечает, а я повторяю свое: — Если я позволю тебе пропустить вечерние занятия и возьму погулять, ты перестанешь выкомаривать? Будешь умницей, пойдешь завтра в школу?

— Захочу — пойду, не захочу — не пойду! — говорит и вдруг бросилась на ту сторону, даже не посмотрела, идут машины или нет. Иногда она просто с ума сходит.

Однако я за ней не пошел. Я знал, что она-то за мной пойдет как миленькая, и потихоньку направился к зоопарку по одной стороне улицы, а она пошла туда же, только по другой стороне. Делает вид, что не глядит в мою сторону, а сама косится сердитым глазом, смотрит, куда я иду. Так мы и шли всю дорогу до зоосада. Я только беспокоился, когда проезжал двухэтажный автобус, потому что он заслонял ту сторону и я не видел, куда ее понесло.

Но когда мы подошли к зоопарку, я ей крикнул:

— Эй, Фиби! Я иду в зоосад! Иди сюда!

Она и не взглянула на меня, но я догадался, что она услышала: когда я стал спускаться по ступенькам в зоопарк, я повернулся и увидел, как она переходит улицу и тоже идет за мной.

Народу в зоопарке было мало, погода скверная, но вокруг бассейна, где плавали моржи, собралась кучка

зрителей. Я прошел было мимо, но моя Фиби остановилась и стала смотреть, как моржей кормят — им туда швыряли рыбу, — и я тоже вернулся. Я подумал, сейчас я к ней подойду и все такое. Подошел, стал у нее за спиной и положил ей руки на плечи, но она присела и выскоцила из-под моих рук — она тебя так оборвет, если захочет! Смотрит, как кормят моржей, а я стою сзади. Но руки ей на плечи класть не стал, вообще не трогал ее, боялся — вдруг она от меня удерет. Странные они, эти ребята. С ними надо быть начеку.

Рядом со мной она идти не захотела — мы уже отошли от бассейна, — но все-таки шла неподалеку. Держится одной стороны дорожки, а я — другой. Тоже не особенно приятно, но уж лучше, чем идти за милю друг от друга, как раньше. Пошли посмотреть медведей на маленькой горке, но там смотреть было нечего. Только один медведь вылез — белый, полярный. А другой, бурый, забрался в свою дурацкую берлогу и не выходил. Рядом со мной стоял мальчишка в ковбойской шляпе по самые уши и все время повторял:

— Пап, заставь его выйти! Пап, заставь его!

Я посмотрел на Фиби, но она даже не засмеялась. Знаете, как ребята обзываются. Они даже смеяться не станут, ни в какую.

От медведей мы пошли к выходу, перешли через уличку в зоопарке, потом вышли через маленький тоннель, где всегда воняет. Через него проходят к каруселям. Моя Фиби все еще не разговаривала, но уже шла совсем рядом со мной. Я взялся было за хлястик у нее на пальто, но она не позволила.

— Убери, пожалуйста, руки! — говорит. Все еще дулась на меня. Но мы все ближе и ближе подходили к каруселям, и уже было слышно, как играет эта музыка — там всегда играли «О Мэри!». Они эту песню играли уже лет пятьдесят назад, когда я был маленький. Это самое лучшее в каруселях — музыка всегда одна и та же.

— А я думала, карусель зимой закрыта! — говорит вдруг Фиби. В первый раз со мной заговорила. Наверно, забыла, что обиделась.

— Должно быть, потому, что скоро рождество...

Она ничего не ответила. Вспомнила, наверно, что обиделась на меня.

— Хочешь прокатиться? — спрашиваю. Я знаю, что ей очень хочется. Когда она была совсем кроха и мы с Алли и с Д. Б. водили ее в парк, она с ума сходила по каруселям. Бывало, никак ее не сташишь.

— Я уже взрослая, — говорит. Я думал, она не отвѣтит, но она ответила.

— Глупости! Садись! Я тебя подожду. Ступай! — сказал я. Мы уже подошли к самым каруселям. На них каталось несколько ребят, совсем маленьких, а родители сидели на скамейке и ждали. Я подошел к окошечку, где продавались билеты, и купил своей Фиби билетик. Купил и отдал ей. Она уже стояла совсем рядом со мной. — Вот, — говорю, — нет, погоди минутку, забери-ка свои подарочные деньги, все забирай! — Хотел отдать ей все деньги.

— Нет, ты их держи. Ты их держи у себя, — говорит и вдруг добавляет: — Пожалуйста! Прошу тебя!

Как-то неловко, когда тебя так просят, особенно когда это твоя собственная сестренка. Я даже расстроился. Но деньги пришлось сунуть в карман.

— А ты будешь кататься? — спросила она и посмотрела на меня как-то чудно. Видно было, что она уже совсем не сердится.

— Может быть, в следующий раз. Сначала на тебя посмотрю. Билет у тебя?

— Да.

— Ну ступай, а я посижу тут, на скамейке, посмотрю на тебя.

Я сел на скамейку, а она подошла к карусели. Обошла все кругом. То есть она сначала обошла всю карусель кругом. Потом выбрала самую большую лошадь — потрепанную такую, старую, в гнедых подпалинах. Тут карусель закружилась, и я увидел, как она поехала. С ней ехало еще несколько ребятишек — штук пять-шесть, а музыка играла «Дым застилает глаза». Весело так играла, забавно. И все ребята старались поймать золотое кольцо, и моя Фиби тоже, я даже испугался — вдруг упадет с этой дурацкой лошади, но нельзя было ничего ни сказать, ни сдѣлать. С ребятами всегда так: если уж они решили поймать золотое кольцо, не надо им мешать. Упадут так упадут, но говорить им под руку никогда не надо.

Когда круг кончился, она слезла с лошади и подошла ко мне.

— Теперь ты прокатись! — говорит.

— Нет, я лучше посмотрю на тебя, — говорю. Я ей дал еще немножко из ее денег. — Пойди возьми еще билет.

Она взяла деньги.

— Я на тебя больше не сержусь, — говорит.

— Вижу. Беги — сейчас завертится!

И вдруг она меня поцеловала. Потом вытянула ладонь.

— Дождь! Сейчас пойдет дождь!

— Вижу.

Знаете, что она тут сделала — я чуть не сдох! Залезла ко мне в карман, вытащила красную охотничью шапку и нахлобучила мне на голову.

— А ты разве не наденешь? — спрашиваю.

— Сначала ты ее поноси! — говорит.

— Ладно. Ну беги, а то пропустишь круг. И лошадь твою зайдут.

Но она не отходила от меня.

— Ты мне правду говорил? Ты на самом деле никуда не уедешь? Ты на самом деле вернешься домой?

— Да, — сказал я. И не соврал: на самом деле вернулся домой. — Ну скорее же! — говорю. — Сейчас начнется!

Она побежала, купила билет и в последнюю секунду вернулась к карусели. И опять обежала все кругом, пока не нашла свою прежнюю лошадь. Села на нее, помахала мне, и я ей тоже помахал.

И тут начало лить как сто чертей. Форменный ливень, клянусь богом. Все матери и бабушки, словом, все, кто там был, встали под самую крышу карусели, чтобы не промокнуть насеквось, а я так и остался сидеть на скамейке. Ужасно промок, особенно воротник и брюки. Охотничья шапка еще как-то меня защищала, но все-таки я промок до нитки. А мне было все равно. Я вдруг стал такой счастливый, оттого что Фиби кружилась на карусели. Чуть не ревел от счастья, если уж говорить всю правду. Сам не понимаю почему. До того она была милая, до того весело кружилась в своем синем пальтишке. Жалко, что вы ее не видели, ей-богу!

26

Вот и все, больше я ничего рассказывать не стану. Конечно, я бы мог рассказать, что было дома, и как я заболел, и в какую школу меня собираются отдать с осени, когда выпишут отсюда, но не стоит об этом говорить. Неохота, честное слово. Неинтересно.

Многие люди, особенно этот психоаналитик, который бывает тут в санатории, меня спрашивают, буду ли я статься, когда поступлю осенью в школу. По-моему, это удивительно глупый вопрос. Откуда человеку заранее знать, что он будет делать? Ничего нельзя знать заранее! Мне кажется, что буду, но почем я знаю? И спрашивать глупо, честное слово!

Д. Б. не такой, как все, но он тоже задает разные воп-

росы. В субботу он приезжал ко мне с этой англичаночкой, которая будет сниматься в его картине. Ломается она здорово, но зато красивая. И вот когда она ушла в дамскую комнату, в другом конце коридора, Д. Б. меня спросил, что же я думаю про то, что случилось, про то, о чем я вам рассказывал. Я совершенно не знал, как ему ответить. По правде говоря, я и сам не знаю, что думать. Жаль, что я многим про это разболтал. Знаю только, что мне как-то не хватает тех, о ком я рассказывал. Например, Стрэдлайтера или даже этого Экли. Иногда кажется, что этого подлеца Мориса и то не хватает. Странная штука. И вы лучше тоже никому ничего не рассказывайте. А то расскажете про всех — и вам без них станет скучно.

Выше стропила, плотники

Повесть

Лет двадцать тому назад, когда в громадной нашей семье вспыхнула эпидемия свинки, мою младшую сестренку Франни вместе с коляской перенесли однажды вечером в комнату, где я жил со старшим братом Симором и где предположительно микробы не водились. Мне было пятнадцать, Симору — семнадцать.

Часа в два ночи я проснулся от плача нашей новой жилицы. Минуту я лежал, прислушиваясь к крику, но соблюдая полный нейтралитет, а потом услыхал, вернее, почувствовал, что рядом на кровати зашевелился Симор. В то время на ночном столике между нашими кроватями лежал электрический фонарик — на всякий пожарный случай, хотя, насколько мне помнится, никаких таких случаев не бывало. Симор щелкнул фонариком и встал.

— Мама сказала — бутылочка на плите, — объяснил я ему.

— А я только недавно ее кормил, — сказал Симор, — она сыта.

В темноте он подошел к стеллажу с книгами и медленно стал шарить лучом фонарика по полкам.

Я сел.

— Что ты там делаешь? — спросил я.

— Подумал, может, почитать ей что-нибудь, — сказал Симор и снял с полки книгу.

— Слушай, балда, ей же всего десять месяцев! — сказал я.

— Знаю, — сказал Симор, — но уши-то у них есть. Они все слышат.

В ту ночь при свете фонарика Симор прочел Франни

свой любимый рассказ — то была даосская легенда. И до сих пор Франни клянется, будто помнит, как Симор ей читал:

«Князь Му, повелитель Чина, сказал По Ло: «Ты обречен годами. Может ли кто-нибудь из твоей семьи служить мне и выбирать лошадей вместо тебя?» По Ло отвечал: «Хорошую лошадь можно узнать по ее виду и ходу. Но несравненный скакун тот, что не касается праха и не оставляет следа, — это нечто таинственное и неуловимое, неосязаемое, как утренний туман. Таланты моих сыновей не достигают высшей ступени: они могут отличить хорошую лошадь, посмотрев на нее, но узнать несравненного скакуна они не могут. Однако есть у меня друг по имени Чу Фанкао, торговец хворостом и овощами, — он не хуже меня знает толк в лошадях. Призови его к себе».

Князь так и сделал. Вскоре он послал Чу Фанкао на поиски коня. Спустя три месяца тот вернулся и доложил, что лошадь найдена. «Она теперь в Шахью», — добавил он. «А какая это лошадь?» — спросил князь. «Гнедая кобыла», — был ответ. Но когда послали за лошадью, оказалось, что это черный как ворон жеребец.

Князь в неудовольствии вызвал к себе По Ло.

— Друг твой, которому я поручил найти коня, совсем осрамился. Он не в силах отличить жеребца от кобылы! Что он понимает в лошадях, если даже масть назвать не сумел?

По Ло вздохнул с глубоким облегчением.

— Неужели он и вправду достиг этого? — воскликнул он. — Тогда он стоит десяти тысяч таких, как я. Я не осмелись сравнить себя с ним. Ибо Као проникает в строение духа. Постигая сущность, он забывает несущественные черты; прозревая внутренние достоинства, он теряет представление о внешнем. Он умеет видеть то, что нужно видеть, и не замечать ненужного. Он смотрит туда, куда следует смотреть, и пренебрегает тем, на что смотреть не стоит. Мудрость Као столь велика, что он мог бы судить и о более важных вещах, чем достоинства лошадей.

И когда привели коня, оказалось, что он поистине не имеет себе равных».

Я привел этот отрывок не только потому, что я всегда неизменно и настойчиво рекомендую родителям и старшим братьям десятимесячных младенцев чтение хорошей прозы как успокаивающее средство, но и по совершенно другой причине. Сейчас вы прочтете рассказ об одной свадьбе, которая состоялась в 1942 году. По моему мнению, это вполне законченный рассказ — в нем есть свое начало,

свой конец и даже предчувствие смерти. Так как мне известны дальнейшие факты, считаю себя обязанным сообщить, что сейчас, в 1955 году, жениха уже нет в живых. Он покончил с собой в 1948 году, когда отдыхал с женой во Флориде... Но главным образом мне хочется сказать вот что: с тех пор как жених навсегда сошел со сцены, я не нахожу ни одного человека, которому я мог бы вместо него доверить поиски скакуна.

В мае 1942 года мы все семеро — потомство Леса и Бесси (урожденной Галлахер) Гласс, бывших комических актеров странствующей труппы, — были, говоря пышным слогом, разбросаны во все концы Соединенных Штатов. Например, я, второй по старшинству, лежал в военном госпитале в Форт-Беннинге, штат Джорджия, с плевритом — памяткой трехмесячного обучения пехотной премудрости. Близнецы Уолт и Уэйкер разлучились еще год назад: Уэйкера посадили в лагерь отказчиков в Мэриленде, а Уолт воевал на Тихом океане или направлялся туда с частями полевой артиллерии. (Мы никогда точно не знали, где находится Уолт. Писать письма он не любил, а после его смерти мы очень мало, почти что ничего о нем не узнали. Он погиб по нелепейшей случайности в Японии в 1945 году.)

Моя старшая сестра Бу-Бу (хронологически она приходится между мной и близнецами) служила мичманом в женских морских вспомогательных частях на военно-морской базе в Бруклине. Всю весну и лето того года сестра прожила в маленькой нью-йоркской квартирке, которая все еще числилась за мной и Симором после призыва в армию. Двое младших ребят, Зуи (мальчик) и Франни (девочка), жили с нашими родителями в Лос-Анджелесе, где отец выискивал талантливых актеров для киностудии. Зуи было тринадцать, а Франни — восемь. Каждую неделю они оба выступали по радио в детской передаче вопросов и ответов под типичным для американского радио ироническим названием «Умные ребята». Пожалуй, здесь надо сказать, что почти все время — вернее, из года в год — все дети нашей семьи выступали в качестве платных «гостей» в программе «Умные ребята». Мы с Симором выступали первыми — в 1927 году, когда ему было деять, а мне — восемь, «вещали» мы из гостиной старого отеля «Марри-хилл». Мы все семеро, начиная с Симора и кончая Франни, выступали под псевдонимами. Может быть, это покажется в высшей степени противоречивым: ведь мы как-никак дети эстрадных актеров — людей, ни в коей

мере не пренебрегающих рекламой. Но моя мать однажды прочла в журнале статью о том, какой крест вынуждены нести маленькие профессионалы, как они изолированы от обычновенных детей, чье общество, очевидно, весьма для них полезно, и она с железной непоколебимостью поставила на своем и ни разу, ни одного-единственного разу, не отступила. (Здесь совсем не место разбираться, нужно ли объявить вне закона всех или большинство детей-«профессионалов», окружить их жалостью или без всяких санкций просто изничтожить как нарушителей общественного спокойствия. Замечу только, что наш общий заработок в программе «Умные ребята» дал шестерым из нас возможность окончить колледж, да и седьмой учится на те же средства.)

Наш старший брат Симор — а о нем главным образом здесь и пойдет речь — служил капралом в войсках, которые тогда, в 1942 году, еще назывались военно-воздушными силами. Жил он на базе бомбардировщиков Б-17 в Калифорнии; насколько мне известно, он исполнял обязанности ротного писаря. Добавлю мимоходом, хотя это и важно, что из всех нас он меньше всего любил писать письма. Кажется, за всю жизнь он мне не написал и пяти писем.

В то утро, двадцать второго, а может быть, двадцать третьего мая (наша семья никогда не ставила число на письмах), мне положили в ноги, на койку военного госпиталя в Форт-Беннинге, письмо от моей сестры Бу-Бу — в это время мне стягивали диафрагму липким пластырем (эту операцию медики обычно проделывают над больными плевритом — по-видимому, для того, чтобы они не рассыпались на кусочки от кашля). Когда прекратили это мучение, я прочел письмо Бу-Бу. Оно сохранилось, и я привожу его дословно:

«Милый Бадди!

Собираюсь в дорогу и страшно тороплюсь, поэтому пишу тебе кратко, но вищительно. Адмирал Шипозад решил, что ему для победы над врагом необходимо уехать к черту на рога в неизвестном направлении и взять с собой свою секретаршу (если я буду вести себя хорошо). Я страшно расстроена. Не говоря уже о Симоре, придется мерзнуть в палатах, выносить глупые приставания наших доблестных бойцов и травить на самолете в эти гнусные бумажные мешки. Но главное вот что: Симор женится — понимаешь, женился! — так что прошу тебя отнестись к этому внимательно. Я приехать не могу Уезжаю неизвестно на сколько: от полутора до двух месяцев. Не-

весту я видела. По-моему, она пустое место, но хороша собой необычайно. Конечно, я не знаю, такое ли она ни-что жество, как мне показалось. Она и двух слов не сказала в тот вечер. Сидит улыбается, курит, так что, может быть, я к ней несправедлива. Об их романе ничего не знаю — кажется, они познакомились прошлой зимой, когда часть Симора была расквартирована в Монмауте. Но мамаша у нее — дальше ехать некуда: ковыряется во всех искусствах и дважды в неделю ходит к известному психоаналитику, ученому Юнга; в тот вечер, когда мы познакомились, она дважды спросила меня, подвергалась ли я психоанализу. Сказала, что ей хотелось бы, чтобы Симор был больше похож на других людей. Но тут же заявила, что он все-таки ей ужасно нравится и так далее и тому подобное и что она благоговейно слушала его все годы, когда он выступал по радио. Вот все, что я о них знаю, но самое главное — тебе непременно надо быть на свадьбе. Я тебе никогда не прошу, если не поедешь, честное слово! Маме и папе приехать с побережья никак нельзя. Кроме всего, у Франни корь. Кстати, слыхал ли ты ее по радио на прошлой неделе? Она долго и красиво рассказывала, как она в четыре с половиной года летала по всей квартире, когда никого не было дома. Новый комментатор куда хуже Гранта, пожалуй, он даже хуже тогдашнего, Салливена, если только можно быть хуже. Он сказал, что ей, наверное, приснилось, как она летала. Но наша кроха с ангельским терпением стояла на своем. Она сказала: нет, она знает точно, что умеет летать, потому что, когда она спускалась, пальцы у нее всегда были в пыли от электрических лампочек. Ужасно хочу ее видеть. И тебя тоже. Во всяком случае, на свадьбу ты должен попасть непременно. Дезертируй, если надо, только поезжай, очень тебя прошу. Свадьба в три часа, четвертого июня. Очень светская и современная, на квартире у ее бабушки, на 63-й улице. Венчает их какой-то судья. Но мера дома не помню, но это через два дома от той квартиры, где Карл и Эми утопали в роскоши и богатстве. Уолту дам телеграмму, но, кажется, его транспорт уже ушел. Пожалуйста, поезжай туда, Бадди! Симор похож на заморенного котенка, лицо восторженное, говорить с ним немыслимо. Может быть, все обойдется, но я ненавижу сорок второй год и, должно быть, буду из принципа ненавидеть до самой смерти. Целую тебя крепко, увилимся, когда вернусь.

Бу-Бу».

Дня через три после получения письма меня выписали из госпиталя, выдав, так сказать, на поруки трем метрам липкого пластыря, обхватившего мои ребра. Потом началась напряженейшая недельная кампания — надо было получить отпуск на свадьбу. Наконец я добился своего путем настойчивого заискнования перед командиром роты, человеком, по его собственному определению, книжным, чей любимый писатель, к счастью, оказался и моим любимцем: это был некий Л. Меннинг Вайнс. Нет, кажется, Хайндс. Но, несмотря на столь прочные духовные узы, связывавшие нас, я добился всего лишь трехдневного отпуска, то есть в лучшем случае времени хватало только на то, чтобы доехать поездом до Нью-Йорка, побывать на свадьбе, наспех где-то пообедать и вернуться в Джорджию — в поту и в мыле.

В «сидячих» вагонах поездов сорок второго года вентиляция, насколько помнится, была чисто условная, все было битком набито военной охраной, пахло апельсиновым соком, молоком и скверным виски. Всю ночь я прокашлял, сидя над комиксом, который кто-то дал мне почитать из жалости. Когда поезд подошел к Нью-Йорку, в десять минут третьего, в день свадьбы, я был весь искашлявшийся, измученный, потный и мятый, кожа под липким пластырем зверски зудела. Жара в Нью-Йорке стояла неописуемая. Зайти на квартиру было некогда, и свой багаж, состоявший из весьма неприглядного парусинового саквояжика на «молнии», я оставил в стальном шкафчике на Пенсильванском вокзале. И как нарочно, в ту минуту, как я брел мимо магазинов готового платья, ища такси, младший лейтенант службы связи, которому я, очевидно, забыл отдать честь, переходя Седьмую авеню, вдруг вынул самописку и под любопытными взглядами кучки прохожих записал мою фамилию, номер части и адрес.

В такси я совсем размяк. Водителю я дал указание доставить меня хотя бы до дома, где когда-то «утопали в роскоши» Карл и Эми. Но когда мы доехали до этого квартала, все оказалось очень просто. Надо было только идти вслед за толпой. Там был даже полотняный балдахин. Через несколько минут я вошел в огромнейший старый каменный дом, где меня встретила очень красивая дама с бледно-лиловыми волосами, которая спросила, чей я знакомый — жениха или невесты. Я сказал — жениха! О-о, сказала она, знаете, тут у нас все перемешалось. Она засмеялась слишком громко и указала на складной стул — последний свободный стул в огромной, переполненной до отказа гостиной. В моей памяти за тринацать лет про-

изошло полное затмение — подробностей, касающихся этой комнаты, я не помню. Кроме того, что она была битком набита и что было невыносимо жарко, — я припоминаю только две детали: орган играл прямо за моей спиной, а женщина, сидевшая справа, обернулась ко мне и восторженным театральным шепотом сказала: «Я Элен Силсберн!» По расположению наших мест я понял, что это не мать невесты, но на всякий случай я заулыбался, и закивал изо всех сил, и уже собирался было представиться ей, но она церемонно приложила палец к губам, и мы оба посмотрели вперед. Было приблизительно три часа. Я закрыл глаза и стал несколько настороженно ждать, пока органист не перестанет играть разные разности и не загремит свадебным маршем из «Лоэнгрина».

Я не очень ясно представляю себе, как прошел следующий час с четвертью, кроме того важного факта, что марш из «Лоэнгрина» так и не загремел. Помню, что какие-то незнакомые люди то и дело оборачивались отовсюду, чтобы взглянуть исподтишка, кто это так кашляет. И помню, что женщина справа еще раз заговорила со мной тем же, несколько приподнятым, шепотом.

— Очевидно, какая-то задержка, — сказала она. — Вы когда-нибудь видели судью Ренкера? У него лицо святого!

Помню, как органная музыка неожиданно и даже в каком-то отчаянии вдруг перешла с Баха на раннего Роджерса и Харта. Но главным образом я как бы сочувственно стоял над собственной больничной койкой, жалея себя за то, что приходилось подавлять припадки кашля. Все время, пока я сидел в этой гостиной, изредка мелькала трусливая мысль, что, несмотря на корсет из липкого пластира, у меня хлынет горлом кровь или вот-вот лопнет ребро.

В двадцать минут пятого, или, грубо говоря, через двадцать минут после того, как последняя надежда исчезла, невенчанная невеста, опустив голову, неверным шагом под двусторонним конвоем родителей проследовала вниз по длинной каменной лестнице на улицу. Там, словно передавая с рук на руки, ее наконец поместили в первую из дакированных черных машин, ожидавших двойными рядами у тротуара. Момент был чрезвычайно живописный — настоящая иллюстрация из журнала. И, как полагается на таких иллюстрациях, в нее попало положенное число свидетелей. Свадебные гости (в том числе и я), хотя и пытались соблюдать приличия, уже стали толпами высыпать из дома и жадно, чтобы не сказать выпучив глаза, уставились

на невесту. И если что-то хоть немного смягчило картину, то благодарить за это надо было погоду. Июньское солнце палило и жгло с беспощадностью тысячи фотовспышек, так что лицо невесты, в полуобмороке спускавшейся с каменной лестницы, плыло в каком-то мареве, а это было весьма кстати.

Когда свадебный экипаж, так сказать, физически исчез со сцены, выжидательное напряжение на тротуаре — особенно под полотняным балдахином, где околачивался и я, — превратилось в обычную толчею, и, если бы этот дом был церковью, а день — воскресеньем, можно было подумать, что просто прихожане, толпясь, расходятся после службы. Внезапно, с подчеркнутой настойчивостью стали передавать якобы от имени невестиного дяди Эла, что машины поступают в распоряжение гостей, даже если прием не состоится и планы изменятся. Судя по реакции окружающих меня людей, это было принято как «*beau geste*¹». Но при этом было сказано, что машины поступят «в распоряжение» только после того, как внушительный отряд весьма почтенных людей, называемых «ближайшие родственники невесты», будет вполне обеспечен всем транспортом, который окажется необходимым, чтобы и они могли сойти со сцены. И после несколько непонятной, как мне показалось, толкотни (во время которой меня зажали как в тиски и приковали к месту) вдруг действительно начался исход «ближайших родственников»: они размещались по шесть-семь человек в машине, хотя иногда садились и по трое, и по четверо. Зависело это, как я понял, от возраста, поведения и ширины бедер первого, кто садился в машину.

Вдруг по чьему-то указанию, брошенному вскользь, но весьма четко, я очутился у обочины, около самого балдахина, и стал подсаживать гостей в машины.

Не мешало бы поразмыслить, почему на эту ответственную должность выбрали именно меня. Насколько я понял, неизвестный пожилой деятель, распорядившийся мною таким образом, не имел ни малейшего понятия о том, что я брат жениха. Поэтому логика подсказывает, что выбрали меня по другим, гораздо менее лирическим причинам. Шел сорок второй год. Мне было двадцать три года, я только что попал в армию. Убежден, что лишь мой возраст, военная форма и тускло-защитная аура несомненной услужливости, исходившая от меня, рассеяли все сомнения в моей полной пригодности для роли швейцара.

¹ Широкий жест (франц.).

Но я был не только двадцати четырехлетним юнцом, но и сильно отстал для своих лет. Помню, что, подсаживая людей в машины, я не проявлял даже самой элементарной ловкости. Напротив, я проделывал это с какой-то притворной школьнической старательностью, создавая видимость выполнения важного долга. Честно говоря, я уже через несколько минут отлично понял, что приходится иметь дело с поколением гораздо более старшим, хорошо упитанным и низкорослым, и моя роль поддерживателя под локоток и закрывателя дверей свелась к чисто показным проявлениям дутой мощи. Я вел себя как исключительно светский, полный обаяния юный великан, одержимый кашлем.

Но страшная духота, мягко говоря, угнетала меня, и никакая награда за мои старания не маячила впереди. И хотя толпа «ближайших родственников» едва только начинала редеть, я вдруг втиснулся в одну из свежезагруженных машин, уже трогавшуюся со стоянки. При этом я с громким стуком (как видно, в наказание) ударился головой о крышу. Среди пассажиров машины оказалась та самая шептунья, Элен Силсберн, которая тут же стала выражать мне свое неограниченное сочувствие. Грохот удара, очевидно, разнесся по всей машине. Но в двадцать три года я принадлежал к тому сорту молодых людей, которые, перетерпев на людях любоеувечье, кроме разбитого черепа, издают лишь глухой, нечеловеческий смешок.

Машина пошла на запад и словно въехала прямо в раскаленную печь предзакатного неба. Так она проехала два квартала, до Мэдисон-авеню, и резко повернула на север. Мне казалось, что только необычайная ловкость какого-то безвестного, но опытного водителя спасла нас от гибели в раскаленном солнечном горне.

Первые четыре или пять кварталов по Мэдисон-авеню, на север, мы проехали под обычный обмен фразами вроде: «Я вас не очень стесняю?» или: «Никогда в жизни не видела такой жары!» Дама, никогда в жизни не видавшая такой жары, оказалась, как я подслушал, еще стоя у обочины, невестиной подружкой. Это была мощная особа, лет двадцати четырех или пяти, в розовом шелковом платье, с венком искусственных незабудок на голове. В ней явно чувствовалось нечто атлетическое, словно год или два назад она сдала экзамен в колледже на инструктора по физическому воспитанию. Даже букет гардений, лежавший у нее на коленях, походил на опавший волейбольный мяч. Она сидела сзади, зажатая между своим мужем и крошечным старичком во фраке и цилиндре, с незажженной гаванской сигарой светлого табака в руке. Миссис Силсберн

и я, непорочно касаясь друг друга коленями, занимали откидные места. Дважды без всякого предлога, просто из чистого восхищения, я косился на крошечного старичка. В ту первую минуту, когда я только начал загружать машину и открыл перед ним дверцу, у меня мелькнуло желание подхватить его на руки и осторожно всадить через открытые окошки. Он был такой малюсенький, ростом никак не больше полутора метров, и, однако, не казался ни карликом, ни лилипутом. Просто удивительно. В машине он сидел прямо и весьма сурово глядел вперед. Обернувшись во второй раз, я заметил, что у него на лацкане фрака было пятно, очень похожее на застарелые следы жирного соуса. Заметил я также, что его цилиндр не доходил до крыши машины дюйма на четыре, а то и на все пять... Однако в первые минуты нашей поездки меня больше всего интересовало состояние собственного моего здоровья. Кроме плеврита и шишк на голове, меня донимало пессимистическое предчувствие начинающейся ангины. Тайком я пытался завести язык как можно дальше и обследовать подозрительные места в глотке. Помню, что я сидел, уставившись прямо в затылок водителя, который представлял собой рельефную карту шрамов от залеченных фурункулов, как вдруг моя соседка по откидной скамеечке спросила меня:

— А как поживает ваша милая мамочка? Ведь вы Дикки Бриганза, да?

Язык у меня в эту минуту был занят обследованием мягкого нёба и завернут далеко назад. Я его развернул, проглотил слону и посмотрел на соседку. Ей было лет под пятьдесят, одета она была модно и элегантно. На лице толстым блином лежал густой грим.

Я ответил, что — нет, я не он.

Она, слегка прищурившись, посмотрела на меня и сказала, что я как две капли воды похож на сына Селли Бриганза. Особенно рот. Я попытался выражением лица показать, что людям, мол, свойственно ошибаться. И снова уставился в затылок водителю. В машине наступило молчание. Для разнообразия я посмотрел в окно.

— Вам нравится служить в армии? — спросила миссис Силсберн мимоходом, лишь бы что-то сказать.

Но именно в эту минуту на меня напал кашель. Когда приступ прошел, я обернулся к ней и со всей доступной мне бодростью сказал, что у меня в армии много товарищ. Ужасно трудно было поворачиваться к ней — очень давил на диафрагму липкий пластырь.

Она закивала.

— Я считаю, что вы все просто чудо! — сказала она несколько двусмысленно. — Скажите, а вы друг невесты или жениха? — вдруг в упор спросила она.

— Видите ли, я не то чтобы друг.

— Лучше молчите, если вы друг жениха! — прервал меня голос невестиной подружки за спиной. — Ох, попадись он мне в руки хоть на две минуты. Всего на две минутки — больше мне не потребуется!

Миссис Силсберн обернулась круто, в полный оборот, чтобы улыбнуться говорившей. И снова — полный поворот на месте. Мы с ней крутнулись почти одновременно. Поворот был мгновенный. И улыбка, которой она одарила невестину подружку, была чудом эквилибристики. В живости этой улыбки выражалась симпатия ко всему молодому поколению во всем мире, и особенно к данной представительнице этой молодежи, такой смелой, такой откровенной, — впрочем, она еще мало с ней знакома.

— Кровожадное существо! — сказал со смешком мужской голос.

Миссис Силсберн и я опять обернулись. Заговорил муж невестиной подружки. Он сидел прямо за моей спиной, слева от жены. Мы с ним обменялись беглым недружелюбным взглядом, каким в тот недоброй памяти 1942 год могли обменяться только офицер с простым солдатом. На нем, старшем лейтенанте службы связи, была очень забавная фуражка летчика военно-воздушных сил — с огромным козырьком и тулей, из которой была вынута проволока, что обычно придавало владельцу фуражки какой-то, очевидно заранее задуманный, беззаботно-храбрый вид. Но в данном случае фуражка своей роли никак не выполняла. Она главным образом работала на то, чтобы мой собственный, положенный по форме и несколько великоватый для меня, головной убор выглядел как шутовской колпак, в попыхах вытащенный кем-то из мусоропровода.

Вид у лейтенанта был болезненный и загнанный. Он ужасно потел — откуда только бралось столько влаги на лбу, на верхней губе, даже на кончике носа! — говорят, в таких случаях надо принимать солевые таблетки.

— Женат на самом кровожадном существе во всем штате! — сказал он миссис Силсберн с мягким смешком, явно рассчитанным на публику. Из автоматического почтения к его чину я тоже чуть было не издал что-то вроде смешка, и этот коротенький, бессмысленный смешок чужака и младшего чина ясно показал бы, что и я на стороне лейтенанта и всех пассажиров такси и вообще я — не против, а — за!

— Нет, я не шучу! — сказала невестина подружка. — На две минутки, братцы, мне бы на две минутки! Ох, я бы собственными своими ручками...

— Ладно, ладно, не шуми, не волнуйся! — сказал ее муж, обладавший, очевидно, неиссякаемым запасом семейного долготерпения. — Не волнуйся — дольше проживешь.

Миссис Силсберн снова обернулась назад и одарила невестину подружку почти ангельской улыбкой.

— А кто-нибудь видел его родных на свадьбе? — спросила она мягко и вполне воспитанно, подчеркивая личное местоимение.

В ответе невестиной подружки была взрывчатая сила.

— Нет! Они все не то на западном побережье, не то еще где-то. Да, хотела бы я на них посмотреть!

Ее муж опять засмеялся.

— А что бы ты сделала, милуша? — спросил он и беззастенчиво подмигнул мне.

— Не знаю, но что-нибудь я бы обязательно сделала, — сказала она. Лейтенант засмеялся громче. — Обязательно! — настойчиво повторила она. — Я бы им все сказала! И вообще, боже мой! — Она говорила со всем возрастающим апломбом, словно решив, что не только ее муж, но и все остальные слушатели восхищаются ее прямотой, ее несколько вызывающим чувством справедливости, пусть даже в нем есть что-то детское, наивное. — Не знаю, что я им сказала бы. Наверно, несла бы всякую чепуху. Но господи ты боже! Честное слово, не могу видеть, как людям спускают форменные преступления! У меня кровь кипит!

Она подавила благородное волнение ровно настолько, чтобы миссис Силсберн успела поддержать ее взглядом, выражавшим нарочито подчеркнутое сочувствие. Мы с миссис Силсберн уже окончательно и сверхобщительно обернулись назад.

— Да, вот именно, преступление! — продолжала невестина подружка. — Нельзя с ходу врезаться в жизнь, ранить людей, так, походя, оскорблять их лучшие чувства.

— К сожалению, я мало что знаю про этого молодого человека, — мягко сказала миссис Силсберн. — Я и не видела его никогда. Только услышала, что Мюриель обручена...

— Никто его не видел, — резко бросила невестина подружка. — Даже я и то с ним незнакома. Два раза мы репетировали свадебную церемонию, и каждый раз бедному папе Мюриель приходилось заменять его только из-за того, что его идиотский самолет не мог вылететь. А во

вторник он должен был вечером прилететь сюда на каком-то идиотском военном самолете, но в каком-то идиотском месте, не то в Аризоне, не то в Колорадо, случилось какое-то идиотство — снег пошел, что ли, — и он прилетел только вчера в час ночи! И в такой час он как сумасшедший вызывает Мюриель по телефону откуда-то с Лонг-Айленда и просит встретиться с ним в холле какой-то жуткой гостиницы — ему, видите ли, надо с ней поговорить. — Невестина подружка красноречиво передернула плечами. — Но вы же знаете Мюриель, с таким ангелом каждый встречный-поперечный может выкомаривать, что ему вздумается. Меня это просто бесит. Таких, как она, всегда обижают... И представьте, она одевается, мчится в такси и сидит в каком-то жутком холле, разговаривает до половины пятого утра! — Невестина подружка выпустила из рук букет и сжала оба кулака на коленях — Ох, я просто взбесилась!

— А в какой гостинице? — спросил я ее. — Вы не знаете в какой?

Я старался говорить небрежно, как будто трест гостиниц принадлежит, скажем, моему отцу и я с понятным сыновним интересом хочу узнать, где же останавливаются в Нью-Йорке приезжие. Но, в сущности, мой вопрос ничего не значил. Я просто думал вслух. Мне показался любопытным сам факт, что брат просил свою невесту приехать к нему в какую-то гостиницу, а не в свою пустую квартиру. Правда, с моральной стороны такое приглашение было вполне в его характере, но все-таки мне было любопытно.

— Не знаю, в какой гостинице, — раздраженно сказала невестина подружка. — В какой-то гостинице — и все. — Она вдруг пристально посмотрела на меня: — А вам-то зачем? Вы его приятель, что ли?

В ее взгляде была явная угроза. Казалось, в ней одной воплотилась целая толпа женщин, и в другое время, при случае, она сидела бы с вязаньем у самой гильотины. А я всю жизнь больше всего боялся толпы.

— Мы с ним выросли вместе, — сказал я еле внятно,

— Смотри, какой счастливчик!

— Ну, ну, не надо! — сказал ее муж.

— Ах, виновата! — сказала невестина подружка, обращаясь к нему, хотя относилось это ко всем нам. — Но вы не видели, как эта бедная девочка битых два часа плакала, не осушая глаз. Ничего смешного тут нет — не думайте, пожалуйста! Слыхали мы про струсивших женихов. Но не в последнюю же минуту! Понимаете, так не поступают,

не ставят в неловкое положение целое общество, нельзя порядочных людей доводить чуть ли не до припадка и сводить девочку с ума. Если он передумал, почему он ей не написал, почему не порвал с ней, как джентльмен, скажите ради бога? Заранее, пока не заварил всю эту кашу!

— Ну ладно, успокойся, успокойся! — сказал ее муж. Он все еще посмеивался, но смех звучал довольно натянуто.

— Нет, я серьезно! Почему он не мог ей написать и все объяснить как мужчина, предупредить эту трагедию и все такое? — Она метнула в меня взглядом. — Кстати, вы случайно не знаете, где он? — спросила она с металлом в голосе. — Если вы друзья детства, вы бы должны...

— Да я всего два часа как приехал в Нью-Йорк, — сказал я робко. Теперь не только невестина подружка, но и ее муж и миссис Силлсбери уставились на меня. — Я даже до телефона не успел добраться.

Помню, что именно в эту минуту на меня напал приступ кашля. Кашель был вполне непривычный, но должен сознаться, что я не приложил никаких усилий, чтобы его унять или ослабить.

— Вы лечились от кашля, солдат? — спросил лейтенант, когда я перестал кашлять.

Но тут у меня снова начался кашель, и, как ни странно, опять без всякого притворства. Я все еще сидел в пол или в четверть оборота к задней скамье, но старался отвернуться так, чтобы кашлять по всем правилам приличия и гигиены.

Может быть, я нарушу порядок повествования, но мне кажется, что тут надо сделать небольшое отступление, чтобы ответить на некоторые заковыристые вопросы. И первый из них — почему я не вышел из машины? Кроме всяких побочных соображений, я точно знал, что машина везет компанию на квартиру к родителям невесты. И если бы я даже мог получить какие-то ценные сведения через убитую горем невенчанную невесту или через ее обеспокоенных (и наверняка разгневанных) родителей, ничто не могло бы загладить неловкость моего появления в их квартире. Почему же я сиднем сидел в машине? Почему не выскоцил, скажем, тогда, когда машина останавливалась перед светофором? И наконец, самое непонятное: почему я вообще сел в эту машину?..

Возможно, что найдется с десяток ответов на все эти вопросы, и все они, хотя бы в общих чертах, будут вполне удовлетворительны. Но мне кажется, что можно ответить

на все сразу, напомнив, что шел 1942 год, что мне было двадцать три года и я только что был призван в армию, только что обучен стадному чувству необходимости держаться скопом и, что важнее всего, мне было очень одиноко. А в таких случаях, как я понимаю, человек просто прыгает в машину к другим людям и уже оттуда не вылезает.

Но, возвращаясь к изложению событий, я вспоминаю, что в то время, как все трое — невестина подружка, ее супруг и миссис Силсберн, — не отрываясь, смотрели, как я кашляю, я сам поглядывал назад, на маленького старишку. Он по-прежнему сидел, уставившись вперед. С чувством какой-то благодарности я заметил, что его ножки не доходят до полу. Мне они показались старыми добрыми друзьями.

— А чем этот человек вообще занимается? — спросила меня невестина подружка, когда окончился приступ кашля.

— Вы про Симора? — сказал я. Сначала по ее тону мне показалось, что она подозревает его в чем-то особенно подлом. Но вдруг — чисто интуитивно — я сообразил, что, может быть, она втайне собрала самые разнообразные биографические данные о Симоре, то есть все те мелкие, к сожалению весьма драматические, факты, дающие, по моему мнению, в самой своей основе ложное представление о нем. Например, что он лет шесть, еще мальчишкой, был знаменитым по всей стране радиогероем. Или, с другой стороны, что он поступил в Колумбийский университет, едва только ему исполнилось пятнадцать лет.

— Вот именно, про Симора, — сказала невестина подружка. — Чем он занимался до военной службы?

И снова во мне искоркой вспыхнуло интуитивное ощущение, что она знала про него куда больше, чем по каким-то причинам считала нужным открыть. По всей вероятности, ей, например, отлично было известно, что до призыва Симор преподавал английский язык, что он был преподавателем — да, преподавателем — колледжа. И в какой-то момент, взглянув на нее, я испытал неприятное ощущение: а может быть, ей даже известно, что я брат Симора. Но думать об этом не стоило. И я только взглянул на нее исподлобья и сказал, что он был мозольным оператором. И тут же, резко отвернувшись, стал смотреть в окошко. Машина стояла уже несколько минут, но я только сейчас услышал воинственный грохот барабанов, который доносился издали, со стороны Лексингтонской или Третьей авеню.

— Парад! — сказала миссис Силсберн. Она тоже обернулась.

Мы оказались в районе восьмидесятых улиц. Посреди Мэдисон-авеню стоял полицейский и задерживал все движение и на север, и на юг. Насколько я мог понять, он его просто останавливал, не направляя ни на восток, ни на запад. Три или четыре машины и один автобус ждали, пока их пропустят на юг, но наша машина была единственной направлявшейся в северную часть города. На ближнем углу и на видимой мне из машины боковой улице, ведущей к Пятой авеню, люди столпились на тротуаре и у обочины — очевидно, выжидая, пока отряд солдат, или сестер милосердия, или бойскаутов, или еще кого двинется до сборного пункта на Лексингтон-авеню и промарширует мимо них.

— О боже! Этого еще не хватало! — сказала невестина подружка.

Я обернулся, и мы чуть не стукнулись лбами. Она наклонилась вперед, почти что втиснувшись между мной и миссис Силсберн. Та с выражением сочувственного огорчения тоже повернулась к ней.

— Мы тут можем проторчать целый месяц! — сказала невестина подружка, вытягивая шею, чтобы поглядеть в ветровое стекло. — А мне надо быть там сейчас. Я сказала Мюриель и ее маме, что я приеду в одной из первых машин, буду у них через пять минут. О боже! Неужели ничего нельзя сделать?

— И мне надо быть там поскорее! — торопливо сказала миссис Силсберн.

— Да, но я ей обещала. В квартиру набываются всякие сумасшедшие дяди и тетки, всякий посторонний народ, и я ей обещала, что стану на страже, выставлю десять штыков, чтобы дать ей хоть немножко побить одной, немного... — Она перебила себя: — О боже! Какой ужас!

Миссис Силсберн натянуто засмеялась.

— Боюсь, что я одна из этих сумасшедших теток, — сказала она. Она явно обиделась.

Невестина подружка покосилась на нее.

— Ах, простите! Я не про вас, — сказала она. Потом откинулась на спинку заднего сиденья. — Я только хотела сказать, что у них квартирка такая тесная, и если туда начнут переть все кому не лень — сами понимаете!

Миссис Силсберн промолчала, а я не смотрел на нее и не мог судить, насколько серьезно ее обидело замечание невестиной подружки. Помню только, что на меня произвел какое-то особое впечатление тон, с каким невестина

подружка извинилась за свою неловкую фразу про «сумасшедших дядей и теток». Извинилась она искренне, но без всякого смущения, больше того, без всякой униженности, и у меня внезапно мелькнуло чувство, что, несмотря на показную строптивость и наигранный задор, в ней действительно было что-то прямое, как штык, что-то почти вызывавшее восхищение. (Скажу сразу и с полной откровенностью, что мое мнение в данном случае малого стонит. Слишком часто меня неумеренно влечет к людям, которые не рассыпаются в извинениях.) Но вся суть в том, что в эту минуту во мне впервые зашевелилось некоторое предубеждение против жениха — правда, самое чуточное, едва заметный зародыш порицания за его необъяснимое злонамеренное отсутствие.

— Ну-ка попробуем что-нибудь сделать, — сказал муж невестиной подружки. Это был голос человека, сохраняющего спокойствие и под огнем неприятеля. Я почувствовал, как он собирается с силами у меня за спиной, и вдруг его голова просунулась в довольно ограниченное пространство между мной и миссис Силсберн. — Водитель! — сказал он властным голосом и умолк в ожидании ответа. Водитель не замедлил откликнуться, после чего голос лейтенанта стал куда покладистей и демократичнее: — Как по вашему, долго нас тут будут задерживать?

Водитель обернулся.

— А кто его знает, Мак, — сказал он и снова стал смотреть вперед. Он был весь поглощен тем, что происходило на перекрестке. За минуту до того какой-то мальчишка с наполовину опавшим красным воздушным шариком выскочил в запретную зону, очищенную от прохожих. Его только что поймал отец и потащил по тротуару, ткнув его раза два в спину кулаком. Толпа в справедливом негодовании встретила этот поступок криками.

— Вы видели, как этот человек обращается с ребенком? — спросила миссис Силсбери. Никто ей не ответил.

— Может быть, спросить полицейского, сколько нас тут продержат? — сказал водителю лейтенант. Он все еще сидел, наклонясь вперед. Очевидно, его не удовлетворил лаконичный ответ водителя на его первый вопрос: — Выдите ли, мы все несколько торопимся. Не могли бы вы спросить у него, надолго ли нас тут задержат!

Не оборачиваясь, водитель дерзко передернул плечами. Но все же он выключил зажигание и вышел из машины, грохнув тяжелой дверцей лимузина. Он был неряшлив, хамоват с виду, в неполной шоферской форме: в черном костюме, но без фуражки.

Медленно и весьма независимо, чтобы не сказать — нахально, он прошел несколько шагов до перекрестка, где дежурный полицейский управлял движением. Они переговаривались бесконечно долго. Я услыхал, как невестина подружка застонала позади меня. И вдруг оба, полицейский и шофер, разразились громовым хохотом. Можно было подумать, что они ни о чем не беседовали, а просто накоротке обменивались непристойными шутками. Потом наш водитель, все еще посмеиваясь про себя, дружески помахал полицейскому рукой и очень медленно пошел к машине. Он сел, грохнув дверцей, вытащил сигарету из пачки, лежавшей на полочке над распределительным щитком, засунул сигарету за ухо и потом, только потом, обернулся к нам и доложил:

— Он сам не знает, — сказал он. — Надо ждать, пока пройдет парад. — Он мельком оглядел всех нас: — Тогда можно и ехать. — Он отвернулся, вытащил сигарету из-за уха и закурил.

С заднего сиденья послышался горестный вздох — невестина подружка таким образом выразила обиду и разочарование. Наступила полная тишина. Впервые за последние несколько минут я взглянул на маленького старичка с незажженной сигарой. Задержка в пути явно не трогала его. Очевидно, он установил для себя твердые нормы поведения на заднем сиденье машины: все равно какой — стоящей, движущейся, а может быть, даже — кто его знает? — летящей с моста в реку. Все было чрезвычайно просто. Надо только сесть очень прямо, сохраняя расстояние от верхушки цилиндра до потолка примерно в четырепять дюймов, и сурово смотреть вперед, на ветровое стекло. И если Смерть — а она, по всей вероятности, все время сидела впереди, на капоте, — так вот, если Смерть каким-то чудом проникнет сквозь стекло и придет за тобой, то ты встанешь и пойдешь за ней сурово, но спокойно. Не исключалось, что можно будет взять с собой сигару, если это светлая гавана.

— Что же мы будем делать? Просто сидеть тут, и все? — спросила невестина подружка. — Я умираю от жары.

Миссис Спльберн и я обернулись как раз вовремя, чтобы поймать ее взгляд, брошенный мужу впервые за все время, что они сидели в машине.

— Неужели ты не можешь хоть чуть-чуть подвинуться? — сказала она ему. — Я просто задыхаюсь, так меня сдавили.

Лейтенант засмеялся и выразительно развел руками.

— Да я уже сижу чуть ли не на крыльце, Заинька!

Она перевела взгляд, полный негодования и любопытства, на другого своего соседа: тот, словно ему хотелось, хотя бы немного, поднять мое настроение, занимал гораздо больше места, чем ему требовалось. Между его правым бедром и низом подлокотника было добрых два дюйма. Невестина подружка, несомненно, видела это, но, несмотря на весь металл в голосе, она все же никак не могла решиться попрекнуть этого устрашающего своим видом маленького человечка. Она опять повернулась к мужу.

— Ты можешь достать сигареты? — раздраженно спросила она. — Мне до моих никак не добраться, до того меня сдавили.

При слове «сдавили» она повернула голову и метнула беглый, но чрезвычайно красноречивый взгляд на маленького виновника преступления, захватившего пространство, которое по праву должно было принадлежать ей. Но тот остался в высшей степени неуязвимым. Подружка невесты посмотрела на миссис Силсберн и выразительно подняла брови. Миссис Силсберн в свою очередь выразила на лице полное понимание и сочувствие. Тем временем лейтенант перенес всю тяжесть тела на левую, ближайшую к окну ягодицу и вытащил из правого кармана парадных форменных брюк пачку сигарет и карточку спичек. Его жена взяла сигарету, и он тут же дай ей прикурить. Миссис Силсберн и я смотрели, как зажглась спичка, словно зарованные каким-то необычным явлением.

— О, простите! — сказал лейтенант и протянул пачку миссис Силсберн.

— Очень вам благодарна, но я не курю! — торопливо проговорила миссис Силсберн почти с сожалением.

— А вы, солдат? — И лейтенант после сдва заметного колебания протянул пачку и мне. Скажу откровенно, что хотя мне и понравилось, как он заставил себя предложить сигарету и как в нем простая вежливость победила кастовые предрассудки, но все-таки сигарету я не взял.

— Можно взглянуть на ваши спички? — спросила миссис Силсберн необыкновенно нежным, почти как у маленькой девочки, голоском.

— Эти? — сказал лейтенант. Он с готовностью передал картонку со спичками миссис Силсберн.

Миссис Силсберн стала рассматривать спички, и я тоже посмотрел на них с выражением интереса. На откинутой крышечке золотыми буквами по красному фону были напечатаны слова: «Эти спички украдены из дома Боба и Эди Бервик».

— Преле-е-стно! — протянула миссис Силсберн, качая головой. — Нет, правда прелестно!

Я попытался выражением лица показать, будто не могу прочесть надпись без очков, и бесстрастно прищурился. Миссис Силсберн явно не хотелось возвращать спички их хозяину. Когда она их отдала и лейтенант спрятал их в нагрудный карман, она сказала:

— По-моему, я такого никогда не видела. — И, сделав почти полный оборот на своем откидном сиденье, она с нежностью стала разглядывать нагрудный карман лейтенанта.

— В прошлом году мы заказали их целую кучу, — сказал лейтенант. — Вы не поверите, как это экономит спички!

Но тут жена посмотрела, вернее, надвинулась на него.

— Мы не для того их заказывали! — сказала она и бросив на миссис Силсберн взгляд, говорящий «Ох, уж эти мне мужчины!», добавила: — Не знаю, мне просто показалось, что это занятие. Пóшло, но все-таки занято. Сама не знаю...

— Нет, это прелестно. По-моему, я нигде...

— В сущности, это и не оригинально. Теперь все так делают. Кстати, эту мысль мне подали родители Мюриель, ее мама с папой. У них в доме всегда такие спички. — Она глубоко затянулась сигаретой и, продолжая говорить, выпускала маленькие, как будто односложные клубочки дыма: — Слушайте, они потрясающие люди! Оттого меня просто убивает вся эта история. Почему такие вещи не случаются со всякой швалью, нет, непременно попадаются порядочные люди! Вот чего я не могу понять. — И она посмотрела на миссис Силсберн, словно ожидая разъяснения.

Улыбка миссис Силсберн была одновременно загадочной, светской и печальной; насколько я помню, это была улыбка как бы некой Джоконды Откидного Сиденья.

— Да, я и сама часто думала... — вполголоса произнесла она. И потом несколько двусмысленно добавила: — Ведь мать Мюриель — младшая сестрица моего покойного мужа.

— А-а! — с интересом сказала невестина подружка. — Значит, вы все сами знаете. — И, протянув неестественно длинную левую руку через своего мужа, она стряхнула пепел сигареты в пепельницу у дверцы. — Честное слово, таких по-настоящему блестящих людей я за всю свою жизнь не встречала. Понимаете, она читала все на свете! Бог мой, да если бы я могла прочесть хоть десятую часть того, что эта женщина прочла и не забыла, это было бы

для меня счастье. Понимаете, она и преподавала, она и в газете работала, она сама шьет себе платья, она все хозяйство ведет сама. Готовит она как бог! Нет, честно скажу, по-моему, она просто чудо, черт возьми!

— А она одобряла этот брак? — перебила миссис Силсберн. — Понимаете, я спрашиваю только потому, что я не сколько месяцев пробыла в Детройте. Моя золовка внезапно скончалась, и я...

— Она слишком хорошо воспитана, чтобы вмешиваться, — сухо объяснила невестина подружка. — Поймите меня, она слишком — ну, как бы это сказать? — деликатна, что ли. — Она немного помолчала. — В сущности, только сегодня утром я впервые услышала, как она возмутилась по этому поводу. Да и то лишь потому, что очень расстроилась из-за бедняжки Мюриель.

Она снова протянула руку и стряхнула пепел с сигареты.

— А что она говорила сегодня утром? — с жадностью спросила миссис Силсберн.

Невестина подружка, казалось, что-то припоминала.

— Да в общем ничего особенного, — сказала она. Я хочу сказать, ничего злого или по-настоящему обидного, словом, ничего такого! Она только сказала, что, по ее мнению, этот Симор — потенциальный гомосексуалист и что он, в сущности, испытывает страх перед браком. Понимаете, в ее словах не было никакой злобы или еще чего-нибудь. Она просто высказалась, вы понимаете, мурло. Понимаете, она сама проходит курс психоанализа вот уже много-много лет подряд. — Невестина подружка взглянула на миссис Силсберн: — Никакого секрета тут нет. Я знаю, что миссис Феддер сама рассказала бы вам, что яничых секретов не выдаю!

— Знаю, знаю, — торопливо сказала миссис Силсберн. — Она ни за что на свете...

— Понимаете, — продолжала невестина подружка, — не тот она человек, чтобы говорить такие вещи наобум, она знает, что говорит. И никогда, никогда она не сказала бы ничего подобного, если бы бедняжка Мюриель не была в таком состоянии: просто как убитая, понимаете. — Она мрачно тряхнула головой. — Бог мой, вы бы видели эту несчастную крошку!

Несомненно, надо бы мне тут прервать рассказ и описать, как я мысленно отреагировал на основные высказывания невестиной подружки. Но пожалуй, лучше пока что об этом промолчать, и, надеюсь, читатель на меня не обидится.

— А что она еще говорила? — спросила миссис Силсберн. — Что говорила Рэа? Она еще что-нибудь сказала?

Я не смотрел на нее — я не сводил глаз с невестиной подружки, но мне вдруг на миг показалось, что миссис Силсберн готова всей тяжестью навалиться на нее.

— Да нет. Пожалуй, нет. Почти ничего. — Невестина подружка раздумчиво покачала головой. — Понимаете, как я уже говорила, она вообще ничего бы не сказала, особенно при таком количестве людей, если бы бедняжка Мюриель не была бы так безумно расстроена... — Она снова стряхнула пепел с сигаретки. — Она только добавила, что этот Симор, безусловно, шизоидный тип и что если правильно воспринимать события, то для Мюриель даже лучше, что все так обернулось. Конечно, мне это вполне понятно, но я не уверена, что Мюриель тоже так понимает. Он до такой степени ее охмурил, что она не понимает, на каком она свете. Вот почему это меня так...

Но тут ее прервали. Прервал я. Насколько помню, голос у меня дрожал — так со мной бывает всегда, когда я серьезно расстроен.

— Что же привело миссис Феддер к выводу, что Симор — потенциальный гомосексуалист и шизоидный тип?

Все взгляды, нет, все прожекторы — взгляд невестиной подружки, взгляд миссис Силсберн, даже взгляд лейтенанта, — сразу скрестились на мне.

— Что? — спросила невестина подружка резко, пожалуй даже враждебно. И снова у меня мелькнуло неопределенное, смутное чувство: она знает, что я брат Симора. — Почему миссис Феддер думает, что Симор — потенциальный гомосексуалист и шизоидный тип?

Невестина подружка уставилась на меня, потом выразительно фыркнула. Она обернулась и возвзвала к миссис Силсберн с подчеркнутой иронией:

— Как по-вашему, может нормальный человек выкинуть такую штуку, как он сегодня? — Она подняла брови и подождала ответа. — Как по-вашему? — переспросила она тихо-тихо. — Только честно. Я вас спрашиваю. Пусть этот джентльмен слышит.

Ответ миссис Силсберн был сама деликатность, сама честность.

— По-моему, нет, конечно! — сказала она.

Меня охватило внезапное безудержное желание высокочить из машины и броситься бегом, со всех ног, куда попало. Но, насколько я помню, я все еще не двинулся с места, когда невестина подружка снова обратилась ко мне.

— Послушайте, — сказала она тем деланно терпели-

вым тоном, каким учительница говорила бы с ребенком не только умственно отсталым, но и вечно сопливым. — Не знаю, насколько вы разбираетесь в людях. Но какой человек в здравом уме накануне того дня, когда он собирается жениться, всю ночь не дает покоя своей невесте и без конца плетет какую-то чушь, что он, мол, слишком счастлив и потому венчаться не может и что ей придется отложить свадьбу, пока он не успокоится, не то он никак не сможет явиться. А когда невеста ему объясняет, как ребенку, что все уже договорено и устроено давным-давно, что ее отец пошел на невероятные расходы и хлопоты, чтобы устроить прием и все что полагается, что ее родственники и друзья съедутся со всех концов страны, он после этих объяснений заявляет ей, что страшно огорчен, но, пока он так безумно счастлив, свадьба состояться не может, ему надо успокоиться — словом, какой-то идиотизм! Вы сами подумайте, если только у вас голова работает. Похоже это на нормального человека? Похоже это на человека в своем уме? — В ее голосе уже появились визгливые нотки. — Или так поступает человек, которого надо бы засадить за решетку?

Она строго уставилась на меня, а когда я промолчал и не стал ни защищаться, ни сдаваться, она тяжело откинулась на спинку сиденья и сказала мужу:

— Дай-ка мне еще сигаретку, пожалуйста. А то я сейчас обожгусь. — Она передала ему обгоревший окурок, и он потушил его. Потом вынул пачку.

— Нет, ты сам раскури, — сказала она, — у меня сил не хватает.

Миссис Силсберн откашлялась.

— По-моему, это просто счастье, что все вышло так...

— Нет, я вас спрашиваю, — со свежими силами обратилась к ней невестина подружка, беря из рук мужа загоревшую сигарету. — Разве так, по-вашему, поступает нормальный человек, нормальный мужчина? Или это поступки человека совершенно невзрослого, а может быть, и буйно помешанного, форменного психопата?

— Господи, я даже не знаю, что сказать. По-моему, им просто повезло, что все вышло...

Вдруг невестина подружка резко выпрямилась и выпустила дым из ноздрей.

— Ну ладно, не в этом дело, замолчите на минуту, мне не до того, — сказала она. Обращалась она к миссис Силсберн, но на самом деле ее слова относились ко мне, так сказать, через посредника: — Вы когда-нибудь видели ... в кино? — спросила она.

— Она назвала театральный псевдоним уже и тогда известной, а теперь, в 1955 году, очень знаменитой киноактрисы.

— Да, — быстро и оживленно сказала миссис Силсберн и выжидательно замолчала.

Невестина подружка кивнула.

— Хорошо, — сказала она, — а вы когда-нибудь случайно не замечали, что улыбается она чуть-чуть криво? Вроде как бы только одним углом рта? Это очень заметно, если внимательно...

— Да, да, замечала, — сказала миссис Силсберн.

Невестина подружка затянулась сигаретой и взглянула — совсем мельком — в мою сторону. — Так вот, оказывается, это у нее что-то вроде частичного паралича, — сказала она, выпуская клубочки дыма при каждом слове. — А знаете отчего? Это ваш нормальный Симор, говорят, ударил ее, и ей наложили девять швов на лицо. — Она опять протянула руку (возможно, ввиду отсутствия более удачных режиссерских указаний) и стряхнула пепел с сигареты.

— Разрешите спросить, где вы это слыхали? — сказал я. Губы у меня тряслись как два дурака.

— Разрешаю, — сказала она, глядя не на меня, а на миссис Силсберн. — Мать Мюриель случайно упомянула об этом часа два назад, когда Мюриель чуть глаза не выплакала. — Она взглянула на меня. — Вас это удовлетворяет? — И она вдруг переложила букет гардений из правой руки в левую. Это было единственное проявление нервозности, какое я за ней заметил.

— Кстати, для вашего сведения, — сказала она, глядя на меня, — знаете, кто вы, по-моему, такой? По-моему, вы брат этого самого Симора. — Она сделала коротенькую паузу, а когда я промолчал, добавила: — Вы даже похожи на него, если судить по его дурацкой фотографии, и я знаю, что его брат должен был приехать на свадьбу. Кто-то, кажется его сестра, сказал об этом Мюриель. — Она не спускала с меня глаз. — Вы брат? — резко спросила она.

Голос у меня, наверно, сорвался, когда я отвечал.

— Да, — сказал я. Лицо у меня горело. Но в каком-то смысле я чувствовал себя куда больше самим собой, чем днем, в том состоянии обалдения, в каком я сошел с поезда.

— Так я и знала, — сказала невестина подружка. — Не такая уж я луна, уверяю вас. Как только вы сели в машину, я сразу поняла, кто вы. — Она обернулась к мужу. —

Разве я не сказала, что он его брат, в ту самую минуту, как он сел в машину? Не сказала: «Он его брат» — в ту самую минуту, как он сел в машину? Не сказала?

Лейтенант усился поудобнее.

— Да, ты сказала, что он, должно быть... да, да, сказала, — проговорил он. — Да, ты сказала.

Даже не глядя на миссис Силсберн, можно было понять, как внимательно она следит за ходом событий. Я мельком взглянул мимо нее, назад, на пятого пассажира, маленького старичка, проверяя, остается ли он все таким же безучастным. Нет, ничего не изменилось. Редко безучастность человека доставляла мне такое удовольствие.

Но тут невестина подружка снова взялась за меня.

— Кстати, для вашего сведения, я знаю также, что ваш братец вовсе не мозольный оператор. И нечего острить. Я прекрасно знаю, что он лет сто подряд играл роль Билли Блэка в программе «Умные ребята».

Тут миссис Силсберн внезапно вмешалась в разговор.

— Это ведь на радио? — спросила она, и я почувствовал, что она смотрит на меня с новым, более глубоким интересом.

Невестина подружка ей не ответила.

— А вы кем были? — спросила она меня. — Наверно, вы — Джорджи Блэк? — Смесь любопытства и грубой прямоты в ее голосе показалась мне не только забавной — меня она совсем обезоруживала.

— Нет, Джорджи Блэком был мой брат Уолт, — сказал я, отвечая только на второй ее вопрос.

Она обратилась к миссис Силсберн:

— Кажется, это секрет, что ли, но этот человек и его братец Симор выступали по радио под вымышленными именами. Семейство Блэк!

— Успокойся, детка, успокойся, — сказал лейтенант с некоторой тревогой.

Его жена обернулась к нему.

— Нет, не успокоюсь! — сказала она, и опять вопреки рассудку где-то во мне зашевелилось нечто похожее на восхищение — такой у нее был металл в голосе, неважно, какой он пробы. — Братец у него, говорят, умен как дьявол, — сказала она, — поступил в университет чуть ли не в четырнадцать лет. Но если считать его умным после всего, что он сделал сегодня с этой девочкой, так я — Махатма Ганди! Тут меня не сбьешь! Это возмутительно — и все!

Мне стало еще больше не по себе. Кто-то пристально

изучал левую, наименее защищенную сторону моей физиономии. Это была миссис Силсберн. Она подалась назад, когда я сердито взглянул на нее.

— Скажите, пожалуйста, это вы были Бадди Блэк? — спросила она, и по уважительной нотке в ее голосе мне показалось, что сейчас она протянет мне авторучку и маленький альбом в сафьяновом переплете для автографа. От этой мысли мне стало неловко, особенно потому, что был сорок второй год и прошло добрых десять лет после расцвета моей весьма прибыльной карьеры.

— Я спрашиваю только потому, что мой муж ни одногодо-единственного разу не пропускал вашу передачу...

— А если хотите знать, — перебила ее невестина подружка, — для меня это была самая ненавистная радиопрограмма. Я таких вундеркиндлов просто ненавижу. Если бы мой ребенок хоть раз...

Но конца этой фразы мы так и не услышали. Внезапно и решительно ее прервал самый пронзительный, самый оглушающий, самый фальшивый трубный вой в до мажоре, какой можно себе представить. Ручаюсь, что мы все разом подскочили в самом буквальном смысле слова. И тут показался духовой оркестр с барабанами, состоящий из сотни, а то и больше морских разведчиков, начисто лишенных слуха. С почти преступной развязностью они терзали национальный гимн «Звездное знамя». Миссис Силсберн сразу нашлась — она заткнула уши.

Казалось, уже целую вечность длится этот невыразимый грохот. Только голос невестиной подружки смог бы его перекрыть, да никто другой, пожалуй, и не осмелился бы. А она осмелилась, и всем показалось, что она кричит нам что-то во весь голос бог знает откуда, из-под трибуны стадиона «Янки».

— Я больше не могу! — крикнула она. — Уйдем отсюда, поищем телефон. Я должна позвонить Мюриель, сказать, что мы задержались, не то она там с ума сойдет!

Миссис Силсберн и я в это время смотрели, как наступает местный Армагеддон, но тут мы снова повернулись на наших откидных сиденьях лицом к нашему вождю, а может быть, и спасителю.

— На Семьдесят девятой есть кафе Шрафта, — заорала она в лицо миссис Силсберн. — Пойдем выпьем содовой, я оттуда позвоню, там хоть вентиляция есть.

Миссис Силсберн восторженно закивала и губами изобразила слово «да».

— И вы тоже! — крикнула мне невестина подружка. Помнится, я с необъяснимой, неожиданной для себя

готовностью крикнул ей в ответ непривычное для меня слово: — Чудесно!

(Мне до сих пор не ясно, почему она включила меня в список покидающих корабль. Может быть, ею руководила естественная любовь прирожденного вождя к порядку. Может, она чувствовала смутную, но настойчивую необходимость высадить на берег всех без исключения. Мое непонятно быстрое согласие на это приглашение можно объяснить куда проще. Хочется думать, что это был обыкновенный религиозный порыв. В некоторых буддийских монастырях секты Дзен есть нерушимое и, пожалуй, единственное непреложное правило поведения: если один монах крикнет другому: «Эй!», тот должен без размышления отвечать: «Эй!»)

Тут невестина подружка обернулась и впервые за все время заговорила с маленьким старичком. Я буду век ему благодарен за то, что он по-прежнему смотрел вперед, словно для него вокруг ничего ни на йоту не изменилось. И по-прежнему он двумя пальцами держал незажженную гаванскую сигару. Оттого ли, что он явно не замечал, какой страшный грохот издает проходящий оркестр, оттого ли, что нам заведомо была известна непреложная истина: всякий старик после восьмидесяти либо глух как пень, либо слышит совсем плохо, — словом, невестина подружка, почти касаясь губами его уха, прокричала ему, вернее в него: — Мы сейчас выходим из машины! Понищем телефон, может быть, выпьем чего-нибудь. Хотите с нами?

Старичок откликнулся мгновенно и просто исподражаемо: он взглянул на невестину подружку, потом на всех нас и расплылся в улыбке. Улыбка ничуть не стала менее ослепительной оттого, что в ней не было ни малейшего смысла, да и оттого, что зубы у старишки были явно и откровенно вставные. Он снова вопросительно взглянул на невестину подружку, чудом сохранив все ту же неугасимую улыбку. Вернее, он посмотрел на нее, как мне показалось, с надеждой, словно ожидая, что она или кто-то из нас тут же мило передаст ему корзину со всякими яствами.

— По-моему, душенька, он тебя не слышит! — крикнул лейтенант.

Его жена кивнула и снова поднесла губы, как мегафон, к самому уху старишки. Громовым голосом, достойным всяких похвал, она повторила приглашение — вместе с нами выйти из машины. И снова, во всей видимости, старичок выразил полнейшую готовность на что угодно — хоти пробуждаться к реке и немножко поплавать. Но все же

создавалось впечатление, что он ни единого слова не слышал. И вдруг он подтвердил это. Озарив нас всех широчайшей улыбкой, он поднял руку с сигарой и одним пальцем многозначительно похлопал себя сначала по губам, потом по уху. Жест был такой, будто дело шло о первоклассной шутке, которой он решил с нами поделиться.

В эту минуту миссис Силсберн чуть не подпрыгнула рядом со мной, показывая, что она все поняла. Она схватила невестину подружку за розовыйшелковый рукав и крикнула:

— Я знаю, кто он такой! Он глух и нем! Это глухонемой дядя отца Мюриель.

Губы невестиной подружки сложились буквой «о». Она резко повернулась к мужу и заорала:

— Есть у тебя карандаш с бумагой?

Я тронул ее рукав и крикнул, что у меня есть. Торопясь, как будто по неизвестной причине нам была дорога каждая секунда, я достал из внутреннего кармана куртки маленький блокнот и огрызок чернильного карандаша, недавно реквизированный из ящика стола в ротной канцелярии Форт-Беннинга.

Преувеличенно четким почерком я написал на листке: «Парад задерживает нас на неопределенное время. Мы хотим поискать телефон и выпить чего-нибудь холодного. Не угодно ли с нами?» И, сложив листок, передал его невестиной подружке. Она развернула его, прочла и передала маленькому старику. Он тоже прочел, заулыбался, посмотрел на меня и усиленно закивал головой. На миг я решил, что это вполне красноречивый и полный ответ, но он вдруг помахал мне рукой, и я понял, что он просит дать ему блокнот и карандаш. Я подал блокнот, не глядя на невестину подружку, от которой волнами шло нетерпение. Старичок очень аккуратно пристроил блокнот и карандаш на коленях, на минуту застыл все с той же неослабевающей улыбкой, подняв карандаш и явно собираясь с мыслями. Карандаш стал очень неуверенно двигаться. В конце концов появилась аккуратная точка. Затем блокнот и карандаш были возвращены мне лично, в собственные руки, сопровождаемые исключительно сердечным и теплым кивком. Еще не совсем просохшие буквы изображали два слова: «Буду счастлив». Невестина подружка, прочтя это через мое плечо, издала звук, похожий на фырканье, но я сразу посмотрел в глаза великому писателю, пытаясь изобразить на своем лице, насколько все мы, его спутники, понимаем, что такое истинная поэма, и как мы бесконечно ему благодарны.

Поодиночке, друг за другом, мы высадились из машины — с покинутого корабля, посреди Мэдисон-авеню, в море раскаленного, размякшего асфальта. Лейтенант на минуту задержался, чтобы сообщить водителю о бунте команды. Отлично помню, что оркестр все еще продолжал маршировать и грохот не стихал ни на миг.

Невестина подружка и миссис Силсберн возглавляли шествие к кафе Шрафта. Они маршировали рядом, почти как головные разведчики по восточной стороне Мэдисон-авеню, в южном направлении. Окончив свой доклад водителю, лейтенант догнал их. Вернее, почти догнал. Он немножко отстал, чтобы незаметно вынуть бумажник и проверить, сколько у него с собой денег.

Мы с дядюшкой невестиного отца замыкали шествие. То ли он интуитивно чувствовал, что я ему друг, то ли просто потому, что я был владельцем блокнота и карандаша, но он как-то подтянулся, вернее, прошаркал ко мне, и мы зашагали вместе. Донашко его превосходного шелкового цилиндра едва достигало мне до плеча. Я пошел сравнительно медленно, принаршиваясь к его коротким шажкам. Через квартал-другой мы значительно отстали от всех. Но, кажется, нас это не особенно беспокоило. Помню, как мы иногда смотрели друг на друга с дурацким выражением радости и благодарности за компанию.

Когда мы с моим спутником дошли наконец до вращающейся двери кафе Шрафта на Семьдесят девятой улице, лейтенант, его жена и миссис Силсберн уже стояли там. Они ждали нас, как мне показалось, тесно сплоченным и довольно воинственно настроенным отрядом. Когда наша не по росту подобранный пара подошла, они оборвали разговор. Не так давно, в машине, когда гремел военный оркестр, какое-то общее неудобство — я бы сказал, общая беда — создало в нашей небольшой компании видимость дружеской связи, как бывает в группе туристов Кука, попавших под страшный ливень на развалинах Помпеи. Но когда мы с маленьkim старичком подошли к двум кафешкам, мы с беспощадной ясностью поняли, что ливень кончился.

Мы обменялись взглядами, словно узнав друг друга, но никак не обрадовавшись.

— Закрыто на ремонт, — сухо объявила невестина подружка, глядя на меня. Неофициально, но вполне отчетливо она снова дала мне понять, что я тут чужой, лишний, и в эту минуту без всякой особой причины я вдруг испытал такое одиночество, такую оторванность от всех, какой еще не чувствовал за весь день. И тут же — об этом стоит ска-

зать — на меня с новой силой напал кашель. Я вынул носовой платок из кармана. Невестина подружка повернулась к своему мужу и миссис Силсберн.

— Где-то тут кафе «Лонгшан», — сказала она, — но где, не знаю.

— Я тоже не знаю, — сказала миссис Силсберн. Казалось, она сейчас заплачет. Пот просочился даже сквозь толстый блин грима на лбу и на верхней губе. Левой рукой она прижимала к себе черную лакированную сумку. Она держала ее как любимую куклу и сама походила на очень несчастную, неумело накрашенную, напудренную бездомную девочку.

— Сейчас ни за какие деньги не достать такси, — уныло сказал лейтенант. Он тоже здорово полинял. Его заливчатская фуражка героя-летчика казалась жестокой насмешкой над бледной, потной, отнюдь не лихой физиономией, и я припоминаю, что у меня возникло побуждение сдернуть эту фуражку у него с головы или хотя бы поправить ее, придать ей не такой нахальный излом — побуждение, вполне родственное тому, какое испытываешь на детском празднике, где обязательно попадается ужасно некрасивый малыш в бумажном колпаке, из-под которого вылезает то одно, а то и оба уха.

— О боже, что за день! — во всеуслышание объявила невестина подружка. Веночек из искусственных незабудок уже совсем сбился набок, и она вся взмокла, но мне показалось, что по-настоящему пострадала только самая, так сказать, незначительная принадлежность ее особы — букет из гардений. Она все еще рассеянно держала его в руке. Но он явно не выдержал испытания.

— Что же нам делать? — спросила она с не свойственным ей отчаянием. — Не идти же туда пешком. Они живут чуть ли не около Ривердейла. Может, кто-нибудь посоветует?

Она посмотрела сперва на миссис Силсберн, потом на мужа и, наконец, как видно с отчаяния, на меня.

— У меня тут неподалеку квартира, — сказал я вдруг, очень волнуясь. — Всего в каком-нибудь квартале отсюда, не больше.

Помнится, что я сообщил эти сведения чересчур громким голосом. Может быть, я даже кричал, кто его знает.

— Это квартира моя и брата. Пока мы в армии, там живет наша сестра, но сейчас ее нет дома. Она служит в женском морском отряде и куда-то уехала. — Я посмотрел на невестину подружку, вернее, мимо нее. — Можете оттуда позвонить, если хотите, — сказал я, — и там хорошая си-

стема вентиляции. Можно остыть, передохнуть.

Несколько оправившись от потрясения, все трое, лейтенант, его жена и миссис Силсберн, устроили что-то вроде переговоров — правда, только глазами, но никаких видимых результатов не последовало.

Первой решила действовать невестина подружка. Напрасно она пыталась узнать по глазам мнение остальных. Пришлось обратиться прямо ко мне.

— Вы сказали, там есть телефон? — спросила она.

— Да. Если сестра не велела его выключить, только вряд ли она это сделала.

— А почем мы знаем, что там нет вашего братца? — сказала невестина подружка.

В моем воспаленном мозгу такая мысль и возникнуть не могла.

— Нет, не думаю, — сказал я. — Конечно, всякое бывает, ведь квартира и его тоже, только не думаю, что он там, не может этого быть.

Невестина подружка уставилась на меня: она глядела очень пристально, но, как ни странно, довольно вежливо — если ребенок не спускает с тебя глаз, это нельзя считать невежливостью. Потом, обернувшись к мужу и миссис Силсберн, она сказала:

— Пожалуй, пойдем. Оттуда хоть позвонить можно.

Они кивнули в знак согласия. Миссис Силсберн — даже припомнила правила из учебника хорошего тона — как отвечать на приглашения у дверей кафе. Сквозь расплывающийся под солнцем грим мне навстречу пробилась слабенькая улыбочка вполне хорошего тона. Помнится, что я ей очень обрадовался.

— Ну пошли, уйдем от этого солнца! — сказала наша руководительница. — А что делать с этим? — И, не дождаясь ответа, она подошла к обочине и без всяких сантиментов вышвырнула увядший букет гардений в канавку.

— Ладно, веди нас, Макдуф, — сказала она мне. — Пойдем за вами. Одно только скажу: лучше бы его там не было. Не то я убью этого ублюдка. — Она поглядела на миссис Силсберн. — Простите, что я так выразилась, но я не шучу.

Повинуясь приказу, я почти весело пошел вперед. Через минуту в воздухе, слева около меня, и довольно низко, материализовался шелковый цилиндр, и мой личный, неофициальный, но постоянный спутник заулыбался мне снизу — в первый миг мне даже показалось, что сейчас он сунет мне в руку свою ручонку.

Троє моих гостей і мій єдинственный друг ждали на площадке, пока я бегло осматривал квартиру.

Все окна были закрыты. Оба вентилятора были включены, и, когда я вдохнул воздух, показалось, что я глубоко дышу, сидя в кармане старой меховой шубы. Тишину нарушало только прерывистое мурлыканье престарелого холодильника, купленного нами по слухаю. Моя сестрица Бу-Бу по своей девичьей, военно-морской рассеянности забыла его выключить. По беспорядку в квартире сразу было видно, что ее занимала молодая морячка. Нарядный синий кителек мичмана вспомогательной женской службы валялся подкладкой вниз на кушетке. На низком столике перед кушеткой стояла полупустая коробка шоколада — из всех оставшихся конфет, очевидно ради эксперимента, начинка была понемножку выдавлена. На письменном столе, в рамке, красовалась фотография весьма решительного юноши, которого я никогда раньше не видел. И все пепельницы в доме расцвели пышным цветом, до отказа забитые окурками в губной помаде и мятными бумажными салфетками. Я не стал заходить на кухню, в спальню и в ванную, а только быстро открывал двери, проверяя, не спрятался ли где-нибудь Симор. Во-первых, я разомлел и ослаб. Во-вторых, мне было некогда — пришлось поднять шторы, включить вентиляционную систему, опорожнить переполненные пепельницы. А кроме того, вся остальная компания тут же ввалилась за мной следом.

— Да тут жарче, чем на улице! — сказала вместо приветствия невестина подружка, заходя в комнату.

— Сейчас, одну минутку, — сказал я. — Ниак не включу этот вентилятор.

Кнопку включения засел, и я не мог с ней справиться.

Пока я, даже не сняв, как помнится, фуражки, возился с вентилятором, остальные подозрительно осматривали комнату. Я искоса поглядывал на них. Лейтенант подошел к письменному столу и уставился на три с лишним фута стены над столом, где мы с братом из сентиментальных побуждений с вызовом прикопили множество блестящих фотографий восемь на десять. Миссис Силсбери села, как и следовало ожидать, подумал я, в то единственное кресло, которое облюбовал для спанья мой покойный бульдожка; подлокотники, обитые грязным вельветом, были насквозь прослюнены и прожеваны во время егоочных кошмаров. Дядюшка невестиного папы, мой верный друг, куда-то скрылся без следа. И невестина подружка тоже исчезла.

— Сейчас я приготовлю что-нибудь выпить, — сказал я

растерянно, все еще возясь с кнопкой вентилятора.

— Я бы выпила чего-нибудь холодного, — произнес знакомый голос. Я повернулся и увидел, что она растянулась на кушетке, а потому и пропала из моего поля зрения. — Сейчас я буду звонить по вашему телефону, — предупредила она меня, — но в таком состоянии я и рта раскрыть не могу. Все пересохло. Даже язык высох.

С жужжанием заработал вентилятор, и я прошел на середину комнаты между кушеткой и креслом, в котором сидела миссис Силсбери.

— Не знаю, что тут есть выпить, — сказал я, — я еще не смотрел в холодильнике, но я думаю, что...

— Несите чай угодно, — прервала меня с кушетки наша неутомимая ораторша, — лишь бы мокрое. И ходиное.

Каблуки ее туфель лежали на рукаве сестриного кителья. Руки она скрестила на груди, под голову примостила диванную подушку.

— Не забудьте лед, если есть, — сказала она и прикрыла глаза. Я бросил на нее короткий, но убийственный взгляд, потом нагнулся и как можно тактичнее вытащил китель Бу-Бу у нее из-под ног. Я уже хотел выйти по своим хозяйственным обязанностям, но, только я шагнул к дверям, заговорил лейтенант, стоявший у письменного стола.

— Где достали картинки? — спросил он.

Я подошел к нему. На голове у меня все еще сидела огромная армейская фуражка с нелепым козырьком. Я как-то не догадался ее снять. Я встал рядом с лейтенантом, хотя и чуть позади него, и посмотрел на фотографии. Я объяснил, что по большей части это фотографии детей, выступавших в программе «Умные ребята» в те дни, когда мы с Симором участвовали в этой передаче.

Лейтенант взглянул на меня.

— А что это за передача? Никогда не слыхал. Детская передача, что ли? Ответы на вопросы?

Я не ошибся: в его тон незаметно и настойчиво вкрадся легкий оттенок армейского превосходства. И он слегка покосился на мою фуражку.

Я снял фуражку и сказал:

— Да нет, не совсем. — Во мне вдруг заговорила семейная гордость: — Так было, пока мой брат Симор не принимал в ней участия. И все стало примерно по-старому, когда он ушел с радио. Но при нем все было иначе, вся программа. Он вел ее как беседу ребят за круглым столом.

Лейтенант поглядел на меня с несколько повышенным интересом.

— А вы тоже участвовали? — спросил он.

— Да.

С другого конца комнаты из невидимого пыльного убежища на кушетке раздался голос его жены:

— Посмотрела бы я, как моего ребенка заставили бы участвовать в этом идиотизме, — сказала она, — или играть на сцене. Вообще выступать. Я бы скорее умерла, чем допустила, чтобы мой ребенок выставлялся перед публикой. У таких вся жизнь бывает исковеркана. Уж одно то, что они вечно на виду, вечно их рекламируют, — да вы спросите любого психиатра. Разве тут может быть нормальное детство, я вас спрашиваю?

Ее голова, с веночком набекрень, вдруг вынырнула на свет божий. Словно отрубленная, она выскочила из-за спинки кушетки и уставилась на нас с лейтенантом.

— Вот и ваш братец такой, — сказала голова. — Если у человека детство начисто изуродовано, он никогда не становится по-настоящему взрослым. Он никогда не научится приспосабливаться к нормальным людям, к нормальной жизни. Миссис Феддер именно так и говорила там, в какой-то дурацкой спальне. Именно так. Ваш братец никогда не мог научиться приспосабливаться к другим людям. Очевидно, он только и умеет доводить людей до того, что им приходится накладывать швы на физиономии. Он абсолютно не приспособлен ни к браку, ни вообще к сколько-нибудь нормальной жизни. Миссис Феддер именно так и говорила. — Голова сверкнула глазами на лейтенанта: — Права я, Боб? Говорила она или нет? Скажи правду!

Но тут подал голос не лейтенант, а я. У меня пересохло во рту, в паузе прошиб пот. Я сказал, что мне в высокой степени наплевать, что миссис Феддер натрепала про Симора. И вообще, что про него треплют всякие профессиональные дилетантки или любительницы, вообще всякие сукины дочки. Я сказал, что с десяти лет Симора обсуждали все — от дипломированных «мыслителей» до «интеллектуальных» служителей мужских уборных по всем штатам. Я сказал, что все это было бы законно, если бы Симор задирал нос оттого, что у него способности выше среднего. Но он ненавидел выставляться. Он и на эти выступления по средам ходил как на собственные похороны. Едет с тобой в автобусе или в метро и молчит как проклятый, клянусь богом. Я сказал, что вся эта дешевка — разные критики и фельетонисты — только и знали, что похлопывать его по плечу, но ни один черт так и не понял, какой он на самом деле. А он поэт, черт их дери. Понимаешь?

те, настоящий поэт. Да если бы он ни строчки не написал, так и то он бы всех вас одной левой перекрыл, если бы захотел.

Тут я, слава богу, остановился. Сердце у меня колотилось как не знаю что, и, будучи неврастеником, я со страхом подумал, что именно «из таких речей рождаются инфаркты»¹. До сих пор я понятия не имею, как мои гости реагировали на эту вспышку, на поток жестоких обвинений, которые я на них вылил. Первым звуком извне, заставившим меня очнуться, был общепонятный шум спускаемой воды. Он шел с другого конца квартиры. Я внезапно осмотрел комнату, взглянул на моих гостей, мимо них, даже сквозь них.

— А где старик? — спросил я. — Где старичок? — Голос у меня стал ангельски кротким.

Как ни странно, ответил мне лейтенант, а не его жена.

— По-моему, он в уборной, — сказал он. Он заявил это с особой прямотой, как бы подчеркивая, что принадлежит к тем людям, которые без всякого стеснения говорят о гигиенических функциях организма.

— А-а, — сказал я. В некоторой растерянности я обвел глазами комнату. Не помню, да и не хочу вспоминать, стоялся ли я нарочно не замечать грозных взглядов невестиной подружки или нет. На одном из стульев я обнаружил шелковый цилиндр дяди невестиного отца. Я чуть было не сказал ему вслух: «Привет!»

— Сейчас принесу выпить чего-нибудь холодного, — сказал я. — Одну минуту.

— Можно позвонить от вас по телефону? — вдруг спросила невестина подружка, когда я проходил мимо кухни. И она спустила ноги на пол.

— Да, да, конечно, — сказал я. И тут же перевел взгляд на миссис Силсберн и лейтенанта. — Пожалуй, сделай всем по «Тому Коллинзу», конечно, если найду лимоны или апельсины. Подходит?

Ответ лейтенанта удивил меня неожиданно компанейским тоном.

— Давай! Давай! — сказал он, потирая руки, как православный пьяничуга.

Миссис Силсберн перестала рассматривать фотографии над столом, чтобы дать мне последние указания:

— Для меня, пожалуйста, подбавьте джина, только самую чуточку, самую чуточную чуточку, пожалуйста. Одну капельку, если вам не трудно.

¹ Перефразированная цитата из «Гамлета».

Как видно, за то короткое время, что мы провели в квартире, она уже немного отошла. По-видимому, тут помогло и то, что она стояла почти под самым вентилятором, который я включил, и на нее шел прохладный воздух. Я пообещал сделать питье, как она просила, и оставил ее у фотографий мелких «знатностей», выступавших по радио в тридцатых, даже в конце двадцатых годов, — ушедших теней нашего с Симором отрочества. Лейтенант тоже не нуждался в моем обществе: заложив руки за спину, он с видом одинокого знатока-любителя уже направлялся к книжным полкам. Невестина подружка пошла за мной, громко зевнув во весь рот, и даже не сочла нужным ни подавить, ни прикрыть свой зевок.

А когда мы с ней подходили к спальне — телефон стоял там, — навстречу нам из дальнего конца коридора показался дядюшка невестиного отца. На лице его было тоже суровое спокойствие, которое так обмануло меня в машине, но, приблизившись к нам, он сразу переменил маску: теперь его мимика выражала наивысшую приветливость и радость. Я почувствовал, что сам расплываюсь до ушей и киваю ему в ответ, как болванчик. Видно было, что он только что расчесал свои жиенъкие седины, казалось, что он даже вымыл голову, найдя где-то в глубине квартиры карликовую парикмахерскую. Мы разминулись, но что-то заставило меня оглянуться, и я увидел, как он мне машет ручкой, таким широким жестом: мол, доброго пути, возвращайся поскорее! Мне стало весело до чертиков.

— Что это он? Спятил? — сказала невестина подружка. Я выразил надежду, что она права, и открыл перед ней двери спальни.

Она тяжело плюхнулась на одну из кроватей — кстати, это была кровать Симора. Телефон стоял на ночном столике посередине. Я сказал, что сейчас принесу ей выпить.

— Не беспокойтесь, я сама приду, — сказала она. — И закройте, пожалуйста, двери, если не возражаете... Я не потому, а просто не могу говорить по телефону при открытых дверях.

Я сказал, что этого я тоже не люблю, и собрался уйти. Но, проходя мимо кровати, я увидел на диванчике у окна парусиновый саквояжик. В первую минуту я подумал, что это мой собственный багаж, неизвестно как добравшийся своим ходом на квартиру с Пенсильванского вокзала. Потом я подумал, что его оставила Бу-Бу. Я подошел к саквояжику. «Молния» была расстегнута, и с одного взгляда на то, что лежало сверху, я понял, кто его законный вла-

делец. Вглядевшись пристальней, я увидел поверх двух гляженых форменных рубашек то, что ни в коем случае нельзя было оставить в одной комнате с невестиной подружкой. Я вынул эту вещь, сунул ее под мышку, по-братьски помахал рукой невестиной подружке, уже вложившей палец в первую цифру на диске в ожидании, когда я на конец уберусь, и закрыл за собой дверь.

Я немного постоял за дверью в благословенном одиночестве, обдумывая, что же мне делать с дневником Симора, который, спешу сказать, и был предметом, обнаруженным в саквояжике. Первая конструктивная мысль была: надо его спрятать, пока не уйдут гости. Потом мне подумалось, что правильнее отнести дневник в ванную и спрятать в корзину с грязным бельем. Однако, серьезно обмозговав эту мысль, я решил отнести дневник в ванную, там почтить его, а уж потом спрятать в корзину с бельем.

Весь этот день, видит бог, был не только днем каких-то внезапных предзнаменований и символических явлений, но он был весь построен на широчайшем использовании письменности как средства общения. Ты прыгал в переполненную машину, а судьба уже окольными путями позаботилась о том, чтобы у тебя нашелся блокнот и карандаш на тот случай, если один из спутников окажется глухонемым. Ты прокрадывался в ванную комнату и сразу смотрел, не появились ли высоко над раковиной какие-нибудь слегка загадочные или же ясные письмена.

Много лет подряд все наше многочисленное семейство — семь человек детей при одной ванной комнате — пользовались немного липким, но очень удобным способом общения: писать друг другу на зеркале аптечки мокрым обмылком. Обычно в нашей переписке содержались весьма выразительные поучения, а иногда и неприкрытые угрозы: «Бу-Бу, после ванны не смей швырять мочалку на пол. Целую. Симор». «Уолт, твоя очередь гулять с З. и Фр. Я гулял вчера. Угадай — кто». «В среду — годовщина их свадьбы. Не ходи в кино, не торчи в студии после передачи, не нарвись на штраф. Бадди, это относится и к тебе». «Мама жаловалась, что Зуи чуть не съел все слабительное. Не оставляйте всякие вредности на раковине, он может дотянуться и все съесть».

Это примеры из нашего детства; но и много позже, когда мы с Симором — во имя независимости, что ли, — отпочковались и наняли отдельную квартиру, мы с ним только名义上 отрешились от старых семейных обычаяев. Я хочу сказать, что обмылки мы не выбрасывали.

Когда я забрался в ванную с дневником Симора под

мышкой и тщательно запер за собой двери, я тут же увидел послание на зеркале. Но почерк был не Симора, это иницио писала моя сестрица Бу-Бу. А почерк у нее был странный мелкий, едва разборчивый, все равно — писала она обмылком или чем-нибудь еще. И тут она ухитрилась уместить на зеркале целое послание: «Выше стропила, плотники! Входит жених, подобный Арею, выше самых высоких мужей¹!. Привет. Некто Сафо, бывший сценарист киностудии «Элизиум». Будь счастлив, счастлив, счастлив со своей красавицей Мюриель. Это приказ. По рангу я всех вас выше».

Надо заметить, что киносценарист, упомянутый в тексте, был любимым автором — в разное время и в разной очередности — всех юных членов нашего семейства главным образом из-за неограниченного влияния Симора в вопросах поэзии на всех нас. Я читал и перечитывал цитату, потом сел на край ванны и открыл дневник Симора.

Дальше идет точная копия тех страниц из дневника Симора, которые я прочел, сидя на краю ванны. Мне кажется, что можно опустить день и число. Достаточно сказать, что все записи, по-моему, сделаны в Форт-Монмауте в конце 1941 года и в начале 1942 года, за несколько месяцев до того, как был назначен день свадьбы.

«Во время вечерней проверки было очень холодно, и все-таки в одном только нашем взводе шестерым стало дурно, пока оркестр без конца играл «Звездное знамя». Должно быть, человеку с нормальным крово обращением непереносимо стоять в неестественной позе по команде «Смирно!», особенно если держишь винтовку на караул. У меня, наверно, нет ни крово обращения, ни пульса. В неподвижности я как дома. Темп «Звездного знамени» созвучен мне в высшей степени. Для меня это ритм романтического всплеска.

После проверки получили увольнительные до полуночи. В семь часов встретился с Мюриель в отеле «Балтимор». Для стакана, два буфетных бутерброда с рыбой. Потом ей захотелось посмотреть какой-то фильм с участием Грир Гарсон. Смотрел на нее в темноте, когда самолет сына Грир Гарсон не вернулся на базу. Рот полуоткрыт. Поглощена, встревожена. Полное отождествление себя с этой метро-голливудской трагедией. Мне было и радостно и жутко. Как я люблю ее, как мне нужно ее бес-

¹ Стихи Сафо: Эпигалама (фрагмент 100).

хитростное сердце. Она взглянула на меня, когда дети в фильме принесли матери котенка. М. восхищалась котенком, хотела, чтобы я тоже восхищался им. Даже в темноте я чувствовал ее обычную отчужденность — это всегда так, когда я не могу беспрекословно восхищаться тем же, чем она. Потом, когда мы что-то пили в буфете на вокзале, она спросила меня: «Правда, котенок — прелесть?» Она уже больше не говорит «чудненький». И когда это я успел так напугать ее, что она изменила своей обычной лексике? А я, педант несчастный, стал объяснять, как Р. Г. Блайс определяет, что такое сентиментальность: мы сентиментальны, когда уделяем какому-то существу больше нежности, чем ему уделил господь бог. И я добавил (поучительно?), что бог, несомненно, любит котят, но, по всей вероятности, без калошек на лапках, как в цветных фильмах. Эту художественную деталь он предоставляет сценаристам. М. подумала, как будто согласилась со мной, но ей эта «мудрость» была не очень-то по душе. Она сидела, помешивая ложечкой питье, и чувствовала себя отчужденной. Она тревожится, когда ее любовь ко мне то приходит, то уходит, то появляется, то исчезает. Она сомневается в ее реальности просто потому, что эта любовь не всегда весела и приятна, как котенок. Один бог знает, как мне это грустно. Как человек ухитряется словами обесценить все на свете!»

«Обедал сегодня у Феддеров. Очень вкусно. Телятина, пюре, фасоль, отличный свежий салат с уксусом и оливковым маслом. Сладкое Мириель приготовила сама: что-то вроде пломбира со сливками и сверху малина. У меня слезы выступили на глазах. (Сайгэ¹ пишет: «Не знаю почему, /Но благодарность/ всегда слезами светлыми течет.») Около меня на стол поставили бутылку кетчупа. Видно, Мириель рассказала миссис Феддер, что я все поливлю кетчупом. Я готов отдать многое, лишь бы подслушать, как Мириель воинственно заявляет своей маме, что да, он даже зеленый горошек поливает кетчупом. Девочка моя дорогая...»

«После обеда миссис Феддер заставила нас слушать ту самую радиопередачу. Ее энтузиазм, ее увлечение этими передачами, особенно тоска по тем дням, когда выступали мы с Бадди, вызывают во мне чувство неловкости. Сегодня вечером программу передавали с какой-то морской базы, чуть ли не из Сан-Диего. Слишком много педантичных вопросов и ответов. У Франни голос насморочный.

¹ Японский поэт.

Зуи слегка рассеян, но блестячен. Конферансье заставил их говорить про жилищное строительство, и маленькая дочка Берков сказала, что она ненавидит одинаковые дома: она говорила про те длинные ряды стандартных домиков, какие стоят по плану. Зуи сказал, что они «очень милые». Он сказал, что было бы очень мило прийти домой и оказаться не в том домике. И по ошибке пообедать не с теми людьми, и спать не в той кроватке, и утром со всеми попрощаться, думая, что это твое семейство. Он сказал, что ему даже хотелось бы, чтобы все люди на свете выглядели совершенно одинаково. Тогда каждый думал бы, что вон идет его жена, или его мама, или папа, и люди все время обнимались бы и целовались без конца, и это было бы очень мило».

«Весь вечер я был невыносимо счастлив. Когда мы сидели в гостиной, я восхищался простотой отношений Мюриель с матерью. Это так прекрасно. Они знают слабости друг друга, в особенности слабости в светской беседе, и глазами подают друг другу знаки. Миссис Феддер предстераивает Мюриель взглядом, если она в разговоре проявляет не тот «литературный» вкус, а Мюриель следит, чтобы мать не слишком ударялась в многословие и пышный слог. Споры не грозят перейти в постоянный разлад, потому что они — Мать и Дочь. Это такое потрясающее, такое прекрасное явление. Но бывают минуты, когда я сижу словно околованный и вдруг начинаю мечтать, чтобы мистер Феддер тоже принял участие в разговоре. Подчас мне это просто необходимо. А то, когда я вхожу в их дом, мне, по правде сказать, иногда кажется, что я попал в какой-то светский женский монастырь на две персоны, где царит вечный беспорядок. Иногда перед уходом у меня появляется такое чувство, будто М. и ее мама напихали мне полные карманы всяких флакончиков, тюбиков с губной помадой, румян, всяких сеточек для волос, кремов от пота и так далее. Я чувствую себя бесконечно им обязанным, но не знаю, что делать с этими воображаемыми дарами».

«Сегодня нам не сразу выдали увольнительные после вечерней поверки, потому что кто-то выронил винтовку, когда нас инспектировал приезжий британский генерал. Я пропустил поезд 5.52 и на час опоздал на свидание с Мюриель. Обед в китайском ресторане на 58-й улице. Мюриель раздражена, весь обед чуть не плачет — видно, по настояющему напугана и расстроена. Ее мать считает, что я шизоидный тип. Очевидно, она говорила обо мне со своим психоаналитиком, и он с ней полностью согласен. Мис-

сис Феддер просила Мюриель деликатно осведомиться, нет ли в нашей семье психически больных. Думаю, что Мюриель была настолько наивна, что рассказала ей, откуда у меня шрамы на руках. Бедная моя, славная крошка. Однако из слов Мюриель я понял, что не это беспокоит ее мать, а совсем другое. Особенно три вещи. Одну я упомянуть не стану — это даже рассказать невозможно. Другая — это то, что во мне, безусловно, есть какая-то «ненормальность», раз я еще не соблазнил Мюриель. И наконец, третья: уже несколько дней миссис Феддер преследуют мои слова, что я хотел бы быть дохлой кошкой. На прошлой неделе она спросила меня за обедом, что я собираюсь делать после военной службы. Собираюсь ли я преподавать в том же колледже? Вернусь ли я к преподавательской работе вообще? Не думаю ли я вернуться на радио хотя бы в роли комментатора? Я ответил, что сейчас мне кажется, будто войне никогда не будет конца и что я знаю только одно: если наступит мир, я хочу быть дохлой кошкой. Миссис Феддер решила, что это я сострил. Тонко сострил. По словам Мюриель, она меня считает тонкой штучкой. Она приняла мои серьезнейшие слова за одну из тех шуток, на которые надо ответить легким музыкальным смехом. А меня этот смех немного сбил с толку, и я забыл ей объяснить, что я хотел сказать. Только сегодня вечером я объяснил Мюриель, что в буддийской легенде sectы Зен рассказывается, как одного учителя спросили, что самое ценное на свете, и он ответил — дохлая кошка, потому что ей цены нет. М. успокоилась, но я видел, что ей не терпится побежать домой и уверить мать в полной безопасности моих слов. Она подвезла меня на такси к вокзалу. Она была такая милая, настроение у нее стало много лучше. Она пыталась научить меня улыбаться и растягивала мне губы пальцами. Какой у нее чудесный смех! О господи, до чего я счастлив с ней! Только бы она была так же счастлива со мной. Я все время стараюсь ее позабавить, кажется, ей нравится мое лицо, и руки, и затылок, и она с гордостью рассказывает подружкам, что обручена с Билли Блэком, с тем самым, который столько лет выступал в программе «Умные ребята». По-моему, ее ко мне влечет и материнское, и чисто женское чувство. Но в общем дать ей счастье я, наверно, не смогу. Господи, господи, помоги мне! Единственное, довольно грустное утешение для меня в том, что моя любимая безоговорочно и навеки влюблена в самый институт брака. В ней живет примитивный инстинкт вечной игры в свое гнездышко. То, чего она ждет от брака, и нелепо и трогательно. Она

хотела бы подойти к клерку в каком-нибудь роскошном отеле, вся загорелая, красивая, и спросить, взял ли ее Супруг почту. Ей хочется покупать занавески. Ей хочется покупать себе платья «для мамы в интересном положении». Ей хочется, сознает она это или нет, уйти из родительского дома, несмотря на привязанность к матери. Ей хочется иметь много детей — красивых детей, похожих на нее, а не на меня. И еще я чувствую, что ей хочется каждый год открывать свою коробку с елочными украшениями, а не материнскую».

«Сегодня получил удивительно смешное письмо от Бадди, он только что отбыл наряд по камбузу. Пишу о Мюриель и всегда думаю о нем. Он презирал бы ее за то, из-за чего ей хочется выйти замуж, я про это уже писал. Но разве за это можно презирать? В каком-то отношении, вероятно, да, но мне все это кажется таким человечным, таким прекрасным, что даже сейчас я не могу писать без глубокого, глубокого волнения. Бадди отнесся бы с недобрением и к матери Мюриель. Она ужасно раздражает своей беспаппкционностью, а Бадди таких женщин не выносит. Не знаю, понял ли бы он, какая она на самом деле. Она человек, навеки лишенный всякого понимания, всякого вкуса к главному потоку поэзии, который пронизывает все в мире. Неизвестно, зачем такие живут на свете. А она живет, забегает в гастрономический магазин, ходит к своему психоаналитику, каждый вечер проглатывает роман, затягивается в корсет, заботится о здоровье Мюриель, о ее благополучии. Я люблю Мюриель. Я считаю ее бесконечно мужественной».

«Вся рота сегодня без отпуска. Целый час стоял в очереди к телефону, в канцелярии, чтобы позвонить Мюриель. Она как будто обрадовалась, что я не приеду сегодня вечером. Меня это забавляет и восхищает. Всякая другая девушка, если бы даже она на самом деле хотела провести вечер без своего жениха, непременно выразила бы по телефону хотя бы сожаление. А когда я сказал Мюриель, что не могу приехать, она только протянула: «А-а!» Как я боготворю эту ее простоту, ее невероятную честность. Как я надеюсь на нее».

«3.30 утра. Сижу в дежурке. Не мог заснуть. Накинул шинель на пижаму и прошел сюда. Дежурит Эл Аспези. Он спит на полу. Могу сидеть тут, если буду вместо него подходить к телефону. Ну и вечерок! К обеду явился психоаналитик миссис Феддер, допрашивал меня с перерывами до половины двенадцатого. Иногда очень хитро, очень

неглупо. Разва два я ему даже поддался. По-видимому, он старый поклонник — мой и Бадди. Кажется, он лично и профессионально заинтересовался, почему меня в шестнадцать лет сняли с программы. Он сам слышал передачу о Линкольне, но у него создалось впечатление, будто я сказал в эфир, что геттисбергская речь Линкольна «вредна для детей». Это неправда. Я ему объяснил, что я сказал, что детям вредно заучивать эту речь наизусть в школе. У него создалось впечатление, будто я сказал, что это нечестная речь. Я ему объяснил, что под Геттисбергом было убито и ранено 51 112 человек и что если уж кому-то пришлось выступать в годовщину этого события так он должен был выйти, погрозить кулаком всем собравшимся и уйти — конечно, если оратор до конца честный человек. Он не возражал мне, но как будто решил, что у меня какой-то комплекс стремления к совершенству. Он много и вполне умно говорил о ценности простой, непрятательной жизни, о том, как надо принимать и свои и чужие слабости. Я с ним согласен, но только теоретически. Я сам буду защищать всяческую терпимость до конца дней на том основании, что она — залог здоровья, залог какого-то очень реального, завидного счастья. В чистом виде это и есть путь Дао — несомненно, самый высокий путь. Но человеку взыскательному для достижения таких высот надо было бы отречься от поэзии, уйти за поэзию. Потому что он никак не мог бы научиться или заставить себя отвлеченно любить плохую поэзию, уж не говорю — равнять ее с хорошей. Ему пришлось бы совсем отказаться от поэзии. И я сказал, что сделать это очень нелегко. Доктор Симс сказал, что я слишком резко ставлю вопрос — так, по его словам, может говорить только человек, ищущий совершенства во всем. А разве я это отрицаю?»

«Должно быть, миссис Феддер с тревогой рассказала ему, откуда у Шарлотты девять швов. Наверно, я необдуманно говорил с Мюриель про эти давно минувшие дела. Она тут же, по горячему следу, все выкладывает матери. Без сомнения, я должен был протестовать, но не могу. М., бедняжка, и меня слышит только тогда, когда все слышит и ее мама. Но я не собирался пережевывать историю про Шарлоттины швы с мистером Симсом. Во всяком случае, не за стаканом виски».

«Сегодня на вокзале я более или менее твердо обещал Мюриель, что обращусь на днях к психоаналитику. Симс говорил, что у нас на базе есть отличный врач. Очевидно,

они с миссис Феддер не раз устраивали конференцию на эту тему. И почему это меня не злит? А вот не злит, и все. Очень странно. Наоборот, это меня как-то греет, неизвестно почему. Даже к традиционным тещам из юмористических журналов я чувствую смутную симпатию. Во всяком случае, меня не убудет, если я пойду к психоаналитику. К тому же тут, в армии, это бесплатно. М. любит меня, но никогда она не почувствует ко мне настоящую близость, никогда не будет со мной своей, домашей, легкомысленной, пока меня слегка не прочистят».

«Но если я когда-нибудь и обращусь к психоаналитику, так дай бог, чтобы он заранее пригласил на консультацию дерматолога: специалиста по болезням рук. У меня на руках остаются следы от прикосновения к некоторым людям. Однажды в парке, когда мы еще возили Франни в колясочке, я положил руку на ее пушистое темечко и, видно, продержал слишком долго. И еще раз, когда я сидел с Зуи в кино на Семидесят второй улице и там шел страшный фильм. Зуи было лет семь, и он спрятался под стул, чтобы не видеть какую-то жуткую сцену. Я положил руку ему на голову. От некоторых голов, от волос определенного цвета, определенной фактуры у меня навсегда остаются следы. И не только от волос. Однажды Шарлотта убежала от меня — это было около студии, — и я схватил ее за платьице, чтобы она не убегала, не уходила от меня. Платьице было светло-желтое, ситцевое, мне оно понравилось, потому что было ей сшито на вырост. И до сих пор у меня на правой ладони осталось светло-желтое пятно. Господи, если я и вправду какой-то клинический случай, то, наверно, я параноик наоборот. Я подозреваю, что люди вступают вговор, чтобы сделать меня счастливым».

Помню, что я закрыл дневник, даже захлопнул его на слове «счастливым». Некоторое время я сидел, сунув дневник под мышку, пока не ощутил неудобство от долгого сидения на краю ванны. Я встал такой разгоряченный, словно вылез из ванны, а не просто посидел на ней. Я подошел к корзине с грязным бельем, поднял крышку и почти со злой буквально швырнул дневник Симора в простыни и наволочки, лежавшие на самом дне. Потом, за отсутствием более конструктивных мыслей, я снова сел на край ванны. Минуту-другую я смотрел на зеркало аптечки, перечитывал послание Бу-Бу, потом встал и, выходя из ванной, так хлопнул дверью, будто можно было силой закрыть это помещение на веки веков.

Следующим этапом была кухня. К счастью, двери оттуда выходили в коридор, так что можно было попасть на кухню, не проходя мимо гостей. Пробравшись туда и закрыв двери, я снял куртку, то есть гимнастерку, и бросил ее на полированный столик. Казалось, вся моя энергия ушла на снятие куртки, и я постоял в одной рубашке, отдыхая перед геркулесовым подвигом приготовления коктейлей. Потом резким движением, словно за мной кто-то следил сквозь невидимый глазок в стене, я открыл шкаф и холодильник в поисках ингредиентов для коктейля «Том Коллинз». Все оказалось под рукой, вместо лимонов нашлись апельсины, и вскоре у меня был готов целый кувшин довольно приторного питья. Я взял из шкафа пять стаканов и стал искать поднос. А искать поднос — дело сложное, и я так завозился, что под конец уже с еле слышными тихими стонами открывал и закрывал всякие шкафы и шкафчики.

Но в тот момент, как я, уже в куртке, неся поднос с кувшином и стаканами, выходил из кухни, над моей головой вдруг словно вспыхнула воображаемая электрическая лампочка — так на карикатурах изображают, что персонажу пришла в голову блестящая мысль. Я поставил поднос на пол. Я вернулся к шкафчику с напитками и взял початую бутылку виски. Я взял стакан и налил себе, пожалуй нечаянно, чуть ли не пальца на четыре этого виски. Бросив на стакан молниеносный, хотя и укоризненный, взгляд, я, как истый прожженный герой ковбойского фильма, одним махом опрокинул стакан. Скажу прямо, что об этом деле я до сих пор без содрогания вспомнить не могу. Конечно, мне было всего двадцать три года, и я поступил так, как в данных условиях поступил бы любой другой здоровый балбес двадцати трех лет. Да суть вовсе не в этом. Суть в том, что я, как говорится, не пьющий. От одной унции виски меня либо начинает выворачивать наизнанку, либо я начинаю искать еретиков среди присутствующих. Бывало, что после двух унций я сваливался замертво.

Но этот день был, выражаясь крайне мягко, не совсем обычный, и я помню, что, когда я взял поднос и стал выходить из кухни, я никакой внезапной метаморфозы в себе не заметил. Казалось только, что в желудке данного субъекта начинается сверхъестественная генерация тепла, и все.

Когда я внес поднос в комнату, я не заметил никаких особых изменений и в поведении гостей, кроме ободряющего факта, что дядюшка невестиного отца присоединился к ним. Он утопал в глубоком кресле, когда-то облюбован-

ном моим покойным бульдогом. Его маленькие ножки были скрещены, волосы прилизаны, жирное пятно на лацкане все так же заметно, и — чудо из чудес! — его сигара дымилась. Мы приветствовали друг друга еще более пылко, чем всегда, словно наши периодические расставания были слишком долгими, и терпеть их никакого смысла нет.

Лейтенант все еще стоял у книжной полки. Он перелистывал какую-то книжку и, по-видимому, был совершенно поглощен ею. (Я так и не узнал, что это была за книга.) Миссис Силсберн уже явно пришла в себя, вид у нее был свежий, а толстый слой грима нанесен заново. Она сидела на кушетке, отодвинувшись в самый угол от дядюшки невестиного отца. Она перелистывала журнал.

— О, какая прелесть! — сказала она «гостевым» голосом, увидев поднос, который я только что поставил на столик. Она улыбнулась мне со светской любезностью.

— Я налил только чуточку джина, — соврал я, размешивая питье в кувшине.

— Тут стало так прохладно, так чудесно, — сказала миссис Силсберн. — Кстати, можно вам задать один вопрос?

И она отложила журнал, встала и, обойдя кушетку, подошла к письменному столу. Подняв руку, она коснулась кончиком пальца одной из фотографий.

— Кто этот очаровательный ребенок? — спросила она.

Под мерным непрерывным воздействием кондиционированного воздуха, в свеженаложенном гриме она уже больше не походила на измученного заблудившегося ребенка, каким она казалась под жарким солнцем, у дверей кафе на Семьдесят девятой улице. Теперь она разговаривала со мной с тем сдержанным изяществом, которое было ей свойственно, когда мы сели в машину около дома невестиной бабушки, тогда она еще спросила, не я ли Дикки Бриганза.

Я перестал мешать коктейль и подошел к ней. Она уперлась лакированным ноготком в фотографию, вернее, в девочку из группы ребят, выступавших по радио в 1929 году. Мы, всемером, сидели у круглого стола, перед каждым стоял микрофон.

— В жизни не видела такого очаровательного ребенка, — сказала миссис Силсберн, — знаете, на кого она немножко похожа? Особенно глаза и ротик.

Именно в эту минуту виски — не все, а примерно с один палец — уже начало на меня действовать, и я чуть не ответил: «На Дикки Бриганзу», — но инстинктивная

осторожность взяла верх. Я кивнул головой и назвал имя той самой - киноактрисы, о которой невестина подружка уже упоминала в связи с девятью хирургическими швами.

Миссис Силсберн удивленно посмотрела на меня.

— Разве она тоже участвовала в программе «Умные ребята»?

— Ну как же. Два года подряд. Господи боже, конечно, участвовала. Только под настоящей своей фамилией: Шарлотта Мэйхью.

Теперь и лейтенант стоял позади меня, справа, и тоже смотрел на фотографию. Услыхав театральный псевдоним Шарлотты, он отошел от книжной полки — взглянуть на фотографию.

— Но я не знала, что она в детстве выступала по радио! — сказала миссис Силсберн. — Совершенно не знала! Неужели она и в детстве была так талантлива?

— Нет, она больше шалила. Но пела не хуже, чем сейчас. И потом, она удивительно умела подбадривать остальных. Обычно она сидела рядом с моим братом, с Симором, у стола с микрофонами, и, как только ей нравилась какая-нибудь его реплика, она наступала ему на ногу. Вроде как пожимают руку, только она пожимала ногу.

Во время этого краткого доклада я опирался на спинку стула, стоявшего у письменного стола. И вдруг мои руки соскользнули — так иногда соскальзывает локоть, опирающийся на стол или на стойку в баре. Я потерял было равновесие, но сразу выпрямился, и ни миссис Силсберн, ни лейтенант ничего не заметили. Я сложил руки на груди.

— Случалось, что в те вечера, когда Симор был особенно в форме, он даже шел домой прихрамывая. Честное слово! Ведь Шарлотта не просто пожимала его ногу, она наступала ему на пальцы изо всей силы. А ему хоть бы что. Он любил, когда ему наступали на ноги. Он любил шаловливых девчонок.

— Ах, как интересно! — сказала миссис Силсберн. — Но я понятия не имела, что она тоже участвовала в радиопередачах.

— Это Симор ее втянул, — сказал я. — Она дочка остеопата, жили они в нашем доме, на Риверсайд-драйв. — Я снова оперся на спинку стула и всей тяжестью навалился на нее: отчасти для сохранения равновесия, отчасти чтобы принять позу старого мечтателя у садовой ограды. Звук моего голоса был удивительно приятен мне самому.

— Мы как-то играли в мячик... Вам интересно послушать?

— Да, — сказала миссис Силсберн.

— Как-то после школы мы с Симором бросали мяч об стенку дома, и вдруг кто-то — потом оказалось, что это была Шарлотта, — стал кидать в нас с двенадцатого этажа мраморными шариками. Так мы и познакомились. На той же неделе мы привели ее на радио. Мы даже не знали, что она умеет петь. Нам просто понравился ее прекрасный нью-йоркский выговор. У нее было произношение обитателей Дикман-стрит.

Миссис Силсберн засмеялась тем музыкальным смехом, который наповал убивает любого чуткого рассказчика — и трезвого как стеклышко, и не совсем трезвого. Очевидно, она только и ждала, чтобы я кончил, — ей не терпелось задать лейтенанту мучивший ее вопрос.

— Скажите, на кого она похожа? — спросила она настойчиво. — Особенно рот и глаза? Кого она вам напоминает?

Лейтенант посмотрел на нее, потом на фотографию.

— Вы хотите сказать — на этой фотографии? В детстве? Или теперь, в кино? О чем вы говорите?

— Да, пожалуй, и тогда и теперь. Но особенно на этой фотографии.

Лейтенант рассматривал фотографию довольно сурово, как мне показалось, словно он никоим образом не одобрял, что миссис Силсберн — женщина, и притом невоеннообязанная, — заставила его изучать какую-то фотографию.

— На Мюриель, — сказал он отрывисто. — Похожа тут на Мюриель. И волосы, и все.

— Вот именно! — сказала миссис Силсберн. Она обернулась ко мне: — Да, именно на нее! — повторила она. — Вы знакомы с Мюриель? Я хочу сказать — вы не видели ее с такой прической, знаете, волосы заколоты таким пышным...

— Я только сегодня впервые увидел Мюриель, — сказал я.

— Тогда просто поверьте мне на слово. — И миссис Силсберн выразительно постучала по фотографии указательным пальцем. — Эта девочка могла бы быть двойником Мюриель в те годы. Как две капли воды.

Виски упорно одолевало меня, и я никак не мог воспринять эту информацию полностью и, уж конечно, не мог предугадать все возможные выводы из нее. Я вернулся к столику — чересчур, должно быть, стараясь идти по прямой — и снова стал перемешивать коктейль. Когда я очутился по соседству с дядей невестиного отца, он, стак

раясь привлечь мое внимание, приветствовал мой приход, но я был настолько поглощен высказанным предположением о сходстве Мириель с Шарлоттой, что не ответил ему. Кроме того, у меня немного кружилась голова. Появилось неудержимое желание смешивать коктейль, сидя на полу, но я удержался.

Минуты две спустя, когда я начал разливать напиток, миссис Силсберн снова обратилась ко мне с вопросом. Она почти что пропела его, так мелодично прозвучал ее голос:

— Скажите, а это будет очень-очень нехорошо с моей стороны, если я спрошу про тот случай, о котором упоминала миссис Бервик? Я про те девять швов, помните, она рассказывала? Ваш брат, наверно, нечаянно толкнул ее или как?

Я поставил кувшин — он мне показался необычайно тяжелым и неудобным — и посмотрел на нее. Как ни странно, несмотря на легкое головокружение, я чувствовал, что даже дальние предметы ничуть не туманятся в глазах. Наоборот, миссис Силсберн, стоявшая в центре комнаты, назойливо, словно в фокусе, выделялась из всего окружающего.

— Кто такая миссис Бервик? — спросил я.

— Моя жена, — ответил лейтенант несколько отрывисто. Он смотрел на меня, словно комиссия из одного человека, призванная проверить, почему я так медленно наливаю коктейль.

— Да, да, конечно, — сказал я.

— Что это было — несчастный случай? — настаивала миссис Силсберн. — Он ведь не нарочно? Или нарочно?

— Что за чушь, миссис Силсберн!

— Как вы сказали? — холодно бросила она.

— Простите. Не обращайте внимания. Я немного опьянился. Выпил на кухне лишнее, минут пять назад.

Я вдруг оборвал себя и резко повернулся. В коридоре под знакомыми решительными шагами загудел не покрытый ковром пол. Шаги стремительно двигались, надвигались на нас, и через миг невестина подружка влетела в комнату.

Она ни на кого не взглянула.

— Дозвонилась наконец, — сказала она удивительно ровным голосом, без малейшего нажима, — чуть ли не час дозванивалась. — Лицо у нее напряглось, покраснело — вот-вот лопнет. — Холодный? — спросила она и, не останавливаясь, не ожидая ответа, подошла к столику. Она схватила тот единственный стакан, который я успел на-

лить, и жадно, ~~заплом~~, выпила его. — В жизни не бывала в такой жаркой комнате, — сказала она, ни к кому не обращаясь и ставя пустой стакан. Она тут же схватила кувшин и снова налила стакан до половины, громко звякая кубиками льда.

Миссис Силсберн сразу оказалась у столика.

— Что они сказали? — нетерпеливо спросила она. — Вы говорили с Рэй?

Невестина подружка сначала выпила, поставила стакан и потом сказала:

— Я со всеми говорила. — И слова «со всеми» она подчеркнула сердито, хотя и без обычной для нее театральности. Взглянув сначала на миссис Силсберн, потом на меня, а потом на лейтенанта, она добавила: — Можете успокоиться — все хорошо и благополучно.

— Что это значит? Что случилось? — строго спросила миссис Силсберн.

— А то и значит. Жених уже не страдает от счастья.

В голосе невестиной подружки снова появились привычные ударения.

— Как это? С кем ты говорила? — спросил лейтенант. — Ты говорила с миссис Феддер?

— Я же сказала: я разговаривала со всеми. Со всеми, кроме этой прелестной невесты. Она сбежала с женихом.

Невестина подружка посмотрела на меня.

— Сколько сахара вы плюхнули в это питье? — раздраженно спросила она. — Вкус такой, будто...

— Сбежала? — ахнула миссис Силсберн, прижимая руки к груди.

Невестина подружка только взглянула на нее.

— А вам-то что? Не волнуйтесь, дольше проживете!

Миссис Силсберн безвольно опустилась на кушетку. И я, кстати сказать, тоже. Я не спускал глаз с невестиной подружки, и миссис Силсберн тоже неотрывно глядела на нее.

— Видно, он сидел у них на квартире, когда они туда приехали. Мириель вдруг схватила чемоданчик, и они тут же уехали, вот и все. — Невестина подружка выразительно пожала плечами. Взяв стакан, она допила его до дна. — Во всяком случае, всех нас приглашают на свадьбу. Или как это там называется, когда жених с невестой уже скрылись. Насколько я поняла, там уже целая куча народа. И у всех по телефону голоса такие веселые.

— Ты сказала, что говорила с миссис Феддер. Она-то что тебе сказала? — спросил лейтенант.

Невестина подружка довольно загадочно покачала головой.

— Она изумительна! Боже, какая женщина! Говорила совершенно спокойным голосом. Насколько я поняла по ее словам, этот самый Симор обещал посоветоваться с психоаналитиком, чтобы как-то выправиться. — Она снова покала плечами: — Кто его знает? Может, все и утрясется. Я слишком обалдела, не могу думать. — Она посмотрела на мужа: — Пойдем отсюда. Где твоя шапочонка?

Не успел я опомниться, как невестина подружка, лейтенант и миссис Силсберн гуськом пошли к выходу, а я, хозяин дома, замыкал шествие. Я уже сильно пошатывался, но никто не обернулся, а потому они и не заметили, в каком я состоянии.

Я услыхал, как миссис Силсберн спросила невестину подружку:

— Вы заедете туда?

— Право, не знаю, — услышал я ответ, — если и заедем, так только на минуту.

Лейтенант вызвал лифт, и все трое как каменные устались на шкалу указателя. Казалось, слова стали лишними. Я стоял в дверях квартиры, в нескольких шагах от лифта, бессмысленно глядя вперед. Дверцы лифта открылись, я громко сказал «до свидания!», и все трое разом повернули головы. «До свидания! До свидания!» — проговорили они, а невестина подружка крикнула: «Спасибо за угощенье!» — и дверца захлопнулись.

Неверными шагами я возвратился в свою квартиру, пытаясь на ходу расстегнуть куртку или как-нибудь стянуть ее.

Мое возвращение в комнату восторженно приветствовал единственный оставшийся гость — я совсем забыл про него. Когда я вошел, он поднял мне навстречу до краев напитый стакан. Более того, он буквально помахивал стаканом, кивая при этом головой в мою сторону и ухмыляясь, словно наконец наступил тот долгожданный счастливейший миг, по которому мы с ним так стосковались. Я никак не мог ответствовать ему такой же улыбкой. Однако помню, что я его похлопал по плечу. Потом я тяжело опустился на кушетку прямо против него, и мне наконец удалось расстегнуть куртку.

— А у вас есть дом? — спросил я его. — Кто за вами ухаживает? Голуби в парке, что ли?

В ответ на столь провокационные вопросы мой гость снова с необыкновенным пылом поднял в мою честь ста-

кан, держа его так, словно в нем был не коктейль, а пиво. Я закрыл глаза и лег на кушетку, задрав ноги и вытянувшись. Но от этого комната закружилась каруселью. Я снова сел, рывком опустив ноги на пол, и от резкого движения чуть не потерял равновесия — пришлось схватиться за столик, чтобы не упасть. Минуту-другую я сидел согнувшись, закрыв глаза. Потом, не вставая, потянулся к кувшину и налил стакан, расплескивая питье с кубиками льда по столу и по полу. Я посидел немного с полным стаканом в руке и, не сделав ни глотка, поставил его прямо в лужицу посреди столика.

— Рассказать вам, откуда у Шарлотты те девять швов? — спросил я внезапно. Мне казалось, что голос у меня звучит совершенно нормально. — Мы жили на озере. Симор написал Шарлотте, пригласил ее приехать к нам в гости, и наконец мать ее отпустила. И вот как-то она села посреди дорожки — погладить котенка нашей Бу-Бу, а Симор бросил в нее камнем. Ему было двенадцать лет. Вот и все. А бросил он в нее потому, что она с этим котенком на дорожке была чересчур хорошенская. И все это поняли, черт меня дери: и я, и сама Шарлотта, и Бу-Бу, и Уэйкер, и Уолт — вся семья.

Я уставился на оловянную пепельницу, стоявшую на столике.

— Шарлотта ни разу в жизни не напомнила ему об этом. Ни одного разу.

Я посмотрел на своего гостя, словно ожидая, что он начнет возражать, назовет меня лгуном. Конечно, я лгал. Шарлотта так и не поняла, почему Симор бросил в нее камень. Но мой гость ничего не оспаривал. Напротив. Он ободряюще улыбался мне, словно любое слово, которое я сейчас скажу, для него будет непреложной истиной. Но я все же встал и вышел из комнаты. Помню, что, уходя, я чуть было не вернулся и не поднял с пола два кубика льда, но это предприятиеказалось настолько сложным, что я проследовал дальше и вышел в коридор. Проходя мимо кухни, я снял, вернее, стащил куртку и бросил ее на пол. В ту минуту мне казалось, что именно в этом месте я всю жизнь оставлял свою одежду.

В ванной я немного постоял над корзиной с бельем, обдумывая, взять или не взять дневник Симора, читать его дальше или нет. Не помню, какие аргументы я выдвигал «за» и «против», но в конце концов я открыл корзину и вытащил дневник. Я снова сел с ним на край ванны и перелистывал страницы, пока не дошел до последней записи Симора:

«Один из солдат только что опять звонил в справочную аэропорта. Если и дальше будет проясняться, мы к утру сможем вылететь. Оппенгейм сказал: нечего сидеть как на иголках. Звонил Мюриель, все объяснил. Было очень странно. Она подошла к телефону и все говорила: «Алло! Алло!» А я потерял голос. Она чуть не повесила трубку. Хоть бы успокоиться немного. Оппенгейм решил поспать, пока не вызовут наш рейс. Надо бы и мне выспаться, но я слишком взвинчен. Я ей звонил главным образом, чтобы упросить, умолить ее просто уехать со мной вдвоем и где-нибудь обвенчаться. Слишком я взвинчен, чтобы быть на людях. Мне кажется, что сейчас — мое второе рождение. Святой, священный день. Слышимость была такая ужасная, да и я еле-еле мог говорить, когда нас соединили. Как страшно, когда говоришь: я тебя люблю, а на другом конце тебе в ответ кричат: «Что? Что?» Весь день читал отрывки из Веданты. «Брачующиеся должны служить друг другу. Поднимать, поддерживать, учить, укреплять друг друга, но более всего служить друг другу. Воспитывать детей честно, любовно и бережно. Дитя — гость в доме, его надо любить и уважать, но не властвовать над ним, ибо оно принадлежит богу». Как это изумительно, как разумно, как трудно и прекрасно и поэтому правдиво. Впервые в жизни испытываю радость ответственности. Оппенгейм уже дрыхнет. Надо бы и мне заснуть. Не могу — кто-нибудь должен бодрствовать вместе со счастливым человеком».

Я только раз прочел эту запись, закрыл дневник, отнес его в спальню и бросил в саквояж Симора, лежавший на диванчике у окна. И потом я упал, вернее, сам повалился на ближайшую кровать. Мне показалось, что я уснул или потерял сознание еще раньше, чем коснулся постели.

Когда я часа через полтора проснулся, у меня раскальвалась голова и во рту все пересохло. В спальне было почти темно. Помню, что я довольно долго сидел на краю кровати. Потом, мучимый жаждой, я встал и медленно побрел в другую комнату, надеясь, что там, в кувшине на столике, еще осталось что-нибудь мокрое и холодное.

Мой последний гость, очевидно, сам выбрался из квартиры. Только пустой стакан и сигара в оловянной пепельнице напоминали, что он и вправду существовал. Я до сих пор думаю, что окурок этой сигары надо было тогда же послать Симору — все свадебные подарки обычно бессмысленны. Просто окурок сигары в небольшой красивой коробочке. Можно бы еще приложить чистый листок бумаги вместо объяснения.

Несмотря на ослепительное солнце, в субботу утром снова пришлось, по погоде, надевать теплое пальто, а не просто куртку, как все предыдущие дни, когда можно было надеяться, что эта хорошая погода продержится до конца недели и до решающего матча в Йельском университете.

Из двадцати с лишком студентов, ждавших на вокзале своих девушек с поездом 10.52, только человек шесть-семь остались на холодном открытом перроне. Остальные стояли по двое, по трое, без шапок, в прокуренном, жарко натопленном залыце для пассажиров и разговаривали таким беззаплакционно-догматическим тоном, словно каждый из них сейчас раз и навсегда разрешал один из тех проклятых вопросов, в которые до сих пор весь внешний, внеакадемический мир веками, нарочно или нечаянно, вносил невероятную путаницу.

Лейн Кутель в непромокаемом плаще, под который он, конечно, подстегнул теплую подкладку, стоял на перроне вместе с другими мальчиками, вернее, и с ними и не с ними. Уже минут десять, как он нарочно отошел от них и остановился у киоска с бесплатными брошюрами «христианской науки», глубоко засунув в карманы пальто руки без перчаток. Коричневое шерстяное кашне выбилось из под воротника, почти не защищая его от ветра. Лейн рассеянно вынул руку из кармана, хотел было поправить кашне, но передумал и вместо этого сунул руку во внутренний карман и вытащил письмо. Он тут же стал его перечитывать, слегка приоткрыв рот.

Письмо было написано, вернее, напечатано на бледно-

голубой бумаге. Вид у этого листка был такой измятый, не новый, как будто его уже вынимали из конверта и перечитывали много раз.

«Кажется, четверг.

Милый-милый Лейн!

Не знаю, разберешь ли ты все, потому что шум в общежитии неописуемый, даже собственных мыслей не слышу. И если будут ошибки, будь добр, пожалуйста, не замечай их. Кстати, по твоему совету, стала часто заглядывать в словарь, так что, если пишу дубовым стилем, ты сам виноват. Вообще же я только что получила твое чудесное письмо, и я тебя люблю безумно, страстно и так далее и жду не дождусь субботы. Жаль, конечно, что ты меня не смог устроить в Крофт-Хауз, но в общем мне все равно, где жить, лишь бы тепло, чтобы не было психов и чтобы я могла тебя видеть время от времени, вернее — все время. Я совсем того, то есть просто схожу по тебе с ума. Влюбилась в твое письмо. Ты чудно пишешь про Элиота. А мне сейчас что-то все поэты, кроме Сафо, ни к чему. Читаю ее как сумасшедшая — и пожалуйста, без глупых намеков. Может быть, я даже буду делать по ней курсовую, если решу добиваться диплома с отличием и если разрешит кретин, которого мне назначили руководителем. «Хрупкий Адонис гибнет, Китерия, что нам делать? Бейте в грудь себя, девы, рвите одежды с горя!» Правда, изумительно? Она ведь и на самом деле рвет на себе одежду! А ты меня любишь? Ты ни разу этого не сказал в твоем чудовищном письме, ненавижу, когда ты притворяешься таким сверхмужественным и сдержаным (два «н»?). Вернее, не то что ненавижу, а просто мне органически противопоказаны «сильные и суровые мужчины». Нет, конечно, это ничего, что ты тоже сильный, но я же не о том, сам понимаешь. Так шумят, что не слышу собственных мыслей. Словом, я тебя люблю и, если только найду марку в этом бедламе, пошлю письмо с рочно, чтобы ты получил это заранее. Люблю тебя, люблю, люблю. А ты знаешь, что за одиннадцать месяцев мы с тобой танцевали всего два раза? Не считаю тот вечер, когда ты так напился в «Вангарде». Наверно, я буду ужасно стесняться. Кстати, если ты кому-нибудь про это скажешь, я тебя убью! Жду субботы, мой цветик.

Очень тебя люблю.
Фрэнни.

P. S. Папе принесли рентген из клиники, и мы обрадовались: опухоль есть, но не злокачественная. Вчера говорила с мамой по телефону. Кстати, он шлет тебе привет,

так что можешь успокоиться — я про тот вечер, в пятницу. По-моему, они даже не слышали, как мы вошли в дом.

Р. Р. С. Пишу тебе ужасно глупо и неинтересно. Почему? Разрешаю тебе проанализировать это. Нет, давай лучше проведем с тобой время как можно веселее. Я хочу сказать — если можно, хоть раз в жизни не надо все, особенно меня, разбирать по косточкам до одурения. Я люблю тебя.

Фрэнни (ее подпись)».

На этот раз Лейн успел перечитать письмо только на половину, когда его прервал — помешал, влез — коренастый юнец по имени Рэй Соренсен, которому понадобилось узнать, понимает ли Лейн, что пишет этот проклятый Рильке. И Лейн, и Соренсен, оба проходили курс современной европейской литературы — к нему допускались только старшекурсники и выпускники, и к понедельнику им задали разбор четвертой элегии Рильке, из цикла «Дунезские элегии».

Лейн знал Соренсена мало, но испытывал хотя и смутное, но вполне определенное отвращение к его физиономии и манере держаться и, спрятав письмо, сказал, что он не уверен, но, кажется, все понял.

— Тебе повезло, — сказал Соренсен, — счастливый ты человек. — Он сказал это таким безжизненным голосом, словно подошел к Лейну исключительно от скуки или от нечего делать, а вовсе не для того, чтобы по-человечески поговорить. — Черт, до чего холодно, — сказал он и вынул пачку сигарет из кармана. На отвороте верблюжьего пальто у Соренсена Лейн заметил полуустертый, но все же достаточно заметный след губной помады. Казалось, что этому следу уже несколько недель, а может быть, и месяцев, но Лейн слишком мало знал Соренсена и сказать постыдился, а кстати, ему было наплевать. К тому же подходил поезд. Оба они повернулись к путям. И тут же распахнулись двери в ожидалку, и все, кто там грелся, выбежали встречать поезд, причем казалось, что у каждого в руке, по крайней мере, три сигареты.

Лейн тоже закурил, когда подходил поезд. Потом, как большинство тех людей, которым надо было только после долгого испытательного срока выдавать пропуска на встречу поездов, Лейн постарался согнать с лица все, что могло бы просто и даже красиво передать его отношение к приехавшей гостье.

Фрэнни одна из первых вышла из дальнего вагона в

северном конце платформы. Лейн увидел ее сразу, и, что бы он ни старался сделать со своим лицом, его рука так вскинулась кверху, что сразу все стало ясно. И Фрэнни это поняла и горячо замахала в ответ. На ней была шубка из стриженого енота, и Лейн, идя к ней навстречу быстрым шагом, но с невозмутимым лицом, вдруг подумал, что на всем перроне только ему одному по-настоящему знакома шубка Фрэнни. Он вспомнил, как однажды, в чьей-то машине, целуясь с Фрэнни уже с полчаса, он вдруг поцеловал отворот ее шубки, как будто это было вполне естественное, желанное продолжение ее самой.

— Лейн! — Фрэнни поздоровалась с ним очень радостно: она была не из тех, кто скрывает радость.

Закинув руки ему на шею, она поцеловала его. Это был перронный поцелуй — сначала непринужденный, но сразу затормозившийся, словно они просто стукнулись лбами.

— Ты получил мое письмо? — спросила она и тут же сразу добавила: — Да ты совсем замерз, бедняжка! Почему не подождал внутри? Письмо мое получил?

— Какое письмо? — спросил Лейн, поднимая ее чемодан. Чемодан был синий, обшитый белой кожей, как десяток других чемоданов, только что снятых с поезда.

— Не получил? А я опустила в среду! Господи! Еще сама отнесла на почту!

— А-а-а, ты о том письме... Да, да. Это все твои вещи? А что за книжка?

Фрэнни взглянула на книжку, она держала ее в левой руке — маленькую книжечку в светло-зеленом переплете.

— Это? Так, ничего... — Открыв сумку, она сунула туда книжечку и пошла за Лейном по длинному перрону к остановке такси. Она взяла его под руку и всю дорогу говорила не умолкая. Сначала про платье — оно лежит в чемодане, и его необходимо погладить. Сказала, что купила чудесный маленький утюжок, совсем игрушечный, но забыла его привезти. В вагоне она встретила только трех знакомых девочек — Марту Фаррар, Типпи Тиббет и Элинор, как ее там, она с ней познакомилась бог знает когда, еще в пансионе, не то в Экзетере, не то где-то еще. А по всем остальным в поезде сразу было видно, что они из Смита, только две — абсолютно вассаровского типа, а одна — явно из Лоуренса или Беннингтона. У этой беннингтон-лоуренсовской был такой вид, словно она все время просидела в туалете и занималась там рисованием или скульптурой, в общем чем-то художественным, а может быть, у нее под платьем было балетное трико. Лейн шел слишком быстро и на ходу извинился, что не смог устро-

ить ее в Крофт-Хауз — это было безнадежно, но он устроил ее в очень хороший, уютный отель. Маленький, но чистый, и все такое. Ей понравится, сказал он, и Фрэнни сразу представила себе белый дщатый барак. Три незнакомые девушки в одной комнате. Кто первый попадет в комнату, тот захватит горбатый диванчик, а двум другим придется спать вместе на широкой кровати с совершенно неописуемым матрасом.

— Чудно! — сказала она восторженным голосом. До чертиков трудно иногда скрывать раздражение из-за полной неприспособленности мужской половины рода человеческого, и особенно это касалось Лейна. Ей вспомнился дождливый вечер в Нью-Йорке, сразу после театра, когда Лейн, стоя у обочины, с подозрительно преувеличенной вежливостью уступил такси ужасно противному типу в смокинге. Она не особенно рассердила: конечно, это ужас — быть мужчиной и ловить такси в дождь, но она помнила, каким злым, прямо-таки враждебным взглядом Лейн посмотрел на нее, вернувшись на тротуар. И сейчас, чувствуя себя виноватой за эти мысли и за все другое, она с притворной нежностью прижалась к руке Лейна. Они сели в такси. Синий с белым чемодан поставили рядом с водителем.

— Забросим твой чемодан и все лишнее в отель, где ты остановишься, просто швырнем в двери и пойдем завтракаем, — сказал Лейн. — Умираю, есть хочу! — Он наклонился к водителю и дал ему адрес.

— Как я рада тебя видеть, — сказала Фрэнни, когда такси тронулось. — Я так соскучилась! — Но не успела она выговорить эти слова, как поняла, что это неправда. И снова, почувствовав вину, она взяла руку Лейна и тесно, тепло переплела его пальцы со своими.

Примерно через час они уже сидели в центре города за сравнительно изолированным столиком в ресторане Сиклера — любимом прибежище студентов, особенно интеллектуальной элиты — того типа студентов, которые, будь они в Иеле или Принстоне, непременно уводили бы своих девушек подальше от Мори или Кронина. У Сиклера, надо отдать ему должное, никогда не подавали бифштексов «вот такой толщины» — указательный и большой пальцы разводятся примерно на дюйм. У Сиклера либо оба — и студент, и его девушка — заказывали салат, либо оба отказывались из-за того, что в подливку клали чеснок. Фрэнни и Лейн пили мартини.

С четверть часа назад, когда им подали коктейль, Лейн

отпил глоток, сел поудобнее и оглядел бар с почти осозаемым чувством блаженства оттого, что он был именно там, где надо, и именно с такой девушкой, как надо, — безукоризненной с виду и не только необыкновенно хорошенькой, но, к счастью, и не слишком спортивного типа — никакой тебе фланелевой юбки, шерстяного свитера. Фрэнни заметила это мелькнувшее выражение самодовольства и правильно его истолковала, не преувеличивая и не преуменьшая. Но по крепко укоренившейся внутренней привычке она сразу почувствовала себя виноватой за то, что увидела, подглядев это выражение и тут же вынесла себе приговор: слушать то, что рассказывал Лейн, с выражением особого, напряженного внимания.

А Лейн говорил как человек, уже минут с пятнадцать овладевший разговором и уверенный, что он попал именно в тот тон, когда все, что он изрекает, звучит абсолютно правильно.

— Грубо говоря, — продолжал он, — про него можно сказать, что ему не хватает нужных желез. Понимаешь, о чем я? — Он выразительно наклонился к своей внимательной слушательнице, Фрэнни, и положил руки на стол, около бокала с коктейлем.

— Не хватает чего? — переспросила Фрэнни. Ей пришлось откашляться, потому что она так долго молчала.

Лейн запнулся.

— Мужественности, — сказал он.

— Нет, ты сначала сказал не так.

— Ну, словом, это была, так сказать, основная мотивировка, и я старался ее подчеркнуть как можно ненавязчивее, — сказал Лейн, совершенно поглощенный собственной речью. — Понимаешь, какая штука. Честно говоря, я был уверен, что это мое сочинение пойдет ко дну, как свинцовое грузило, и, когда мне его вернули и внизу, вот эдакими буквами, футов в шесть вышиной, — «отлично», я чуть не упал, клянусь честью!

Фрэнни снова откашлялась. Очевидно, она уже полностью отбыла наложенное на себя наказание — слушать с неослабевающим интересом.

— Почему? — спросила она.

Лейн слегка удивился, что его перебили.

— Что «почему»?

— Почему ты решил, что оно пойдет ко дну, как свинцовое грузило?

— Да я же тебе объяснил. Я тебе только что рассказал, какой дока этот Брауман по Флоберу. По крайней мере, я так думал.

— А-а-а, — сказала Фрэнни. Она улыбнулась. Она отпила немножко мартини. — Как вкусно, — сказала она, глядя на бокал. — Хорошо, что некрепкий. Ненавижу, когда джина слишком много.

Лейн кивнул.

— Кстати, это трёклятое сочинение лежит у меня на столе. Если выкроим минутку, я тебе почитаю.

— Чудно, с удовольствием послушаю.

Лейн снова кивнул.

— Понимаешь, не то чтобы я сделал какое-то потрясающее открытие, вовсе нет. — Он сел поудобнее. — Не знаю, но, по-моему, то, что я подчеркнул, почему он стакой неврастенической одержимостью ищет *le mot juste*¹, было правильно. Я хочу сказать — в свете того, что мы теперь знаем. Не только психоанализ и всякая такая штука, но в каком-то отношении и это. Ты меня понимаешь. Я вовсе не фрейдист, ничего похожего, но есть вещи, которые нельзя просто окрестить фрейдизмом с большой буквы и выкинуть за борт. Я хочу сказать, что в каком-то отношении я имел полнейшее право написать, что ни один из этих настоящих, ну, первоклассных авторов — Толстой, Достоевский, наконец, Шекспир, черт подери! — никогда не ковырялся в словах до потери сознания. Они просто писали — и все. Ты меня понимаешь? — И Лейн выжидающе взглянул на Фрэнни. Ему казалось, что она слушает его с особым вниманием.

— Будешь есть оливку или нет?

Лейн мельком взглянул на свой бокал мартини, потом на Фрэнни.

— Нет, — холодно сказал он. — Хочешь съесть?

— Если ты не будешь, — сказала Фрэнни. По выражению лица Лейна она поняла, что спросила невпопад. И что еще хуже, ей совершенно не хотелось есть оливку, и она сама удивилась — зачем она ее попросила. Но делать было нечего: Лейн протянул бокал, и пришлось выловить оливку и съесть ее с показным удовольствием. Потом она взяла сигарету из пачки Лейна, он дал ей прикурить и закурил сам.

После эпизода с оливкой за их столиком наступило молчание. Но Лейн нарушил его — не такой он был человек, чтобы лишать себя возможности первым подать реплику после паузы.

— Знаешь, этот самый Брауман считает, что я должен

¹ Точное слово (франц.).

был бы напечатать свое сочиненьице, — сказал он отрывисто. — А я и сам не знаю.

И, как будто безумно устав, вернее, обессилен от требований, которые ему предъявляет жадный мир, жаждущий вкусить от плодов его интеллекта, Лейн стал поглаживать щеку ладонью, с неумышленной бестактностью протирая сонный глаз.

— Ты понимаешь, таких эссе про Флобера и всю эту компанию написана чертова уйма. — Он подумал, помрачнел. — И все-таки, по-моему, ни одной по-настоящему глубокой работы о нем за последнее время...

— Ты разговариваешь совсем как ассистент профессора. Ну точь-в-точка...

— Прости, не понял? — сказал Лейн размеренным голосом.

— Ты разговариваешь точь-в-точка, как ассистент профессора. Извини, но так похоже. Ужасно похоже.

— Да? А как именно разговаривает ассистент профессора, разреши узнать?

Фрэнни поняла, что он обиделся, и очень! — но сейчас, разозлившись наполовину на него, наполовину на себя, она никак не могла удержаться:

— Не знаю, какие они тут, у вас, но у нас ассистенты — это те, кто замещает профессора, когда тот в отъезде или возится со своими нервами, или ушел к зубному врачу, да мало ли что. Обыкновенно их набирают из старшекурсников или еще откуда-нибудь. Ну, словом, идут занятия, например, по русской литературе. И приходит такой чудик, все на нем аккуратно, рубашечка, галстучек в полоску, и начинает с полчаса терзать Тургенева. А потом, когда тебе Тургенев из-за него совсем опротивел, он начинает распространяться про Стендоля или еще про кого-нибудь, о ком он писал диплом. По нашему университету их бегает человек десять, портят все, за что берутся, и все они до того талантливые, что рта открыть не могут — прости за противоречие. Я хочу сказать, если начнешь им возражать, они только глянут на тебя с таким снисхождением, что...

— Слушай, в тебя сегодня прямо какой-то бес вселился! Да что это с тобой, черт возьми?

Фрэнни быстро стряхнула пепел с сигаретки, потом подвинула к себе пепельницу.

— Прости. Я сегодня плохая, — сказала она. — Я всю неделю готова была все изничтожить. Это ужасно. Я просто гадкая.

— По твоему письму этого никак не скажешь.

Фрэнни серьезно кивнула. Она смотрела на маленького солнечного зайчика величиной с покерную фишку, игравшего на скатерти.

— Я писала с большим напряжением, — сказала она.

Лейн что-то хотел сказать, но тут подошел официант, чтобы убрать пустые бокалы. — Хочешь еще выпить? — спросил Лейн у Фрэнни.

Ответа не было. Фрэнни смотрела на солнечное пятнышко с таким упорством, будто собиралась лечь на него.

— Фрэнни, — сказал Лейн терпеливым голосом, ради официанта. — Ты хочешь мартини или что-нибудь еще?

Она подняла глаза.

— Извини, пожалуйста. — Она взглянула на пустые бокалы в руках официанта. — Нет. Да. Не знаю.

Лейн засмеялся, тоже специально для официанта.

— Ну, так как же? — спросил он.

— Да, пожалуйста. — Она немного оживилась.

Официант ушел. Лейн посмотрел ему вслед, потом взглянул на Фрэнни. Чуть приоткрыв губы, она медленно стряхивала пепел с сигареты в чистую пепельницу, которую поставил официант. Лейн посмотрел на нее с растущим раздражением. Очевидно, его и обижали, и пугали проявления отчужденности в девушке, к которой он относился всерьез. Во всяком случае, его, безусловно, беспокоило то, что блажь, напавшая на Фрэнни, может изгладить им весь конец недели. Он вдруг наклонился к ней, положив руки на стол, — надо же, черт побери, наладить отношения, — но Фрэнни заговорила первая.

— Я сегодня никуда не гожусь, — сказала она, — совсем скисла.

Она посмотрела на Лейна, как на чужого, вернее, как на рекламу линолеума в вагоне метро. И опять ее укололо чувство вины, предательства — очевидно, сегодня это было в порядке вещей, и, потянувшись через стол, она накрыла ладонью руку Лейна. Но тут же отняв руку, она взялась за сигарету, лежавшую в пепельнице.

— Сейчас пройдет, — сказала она, — обещаю.

Она улыбнулась Лейну, пожалуй, вполне искренне, и в эту минуту ответная улыбка могла бы хоть немного смягчить все, что затем произошло. Но Лейн постарался напустить на себя особое равнодушие и улыбкой ее не удостоил. Фрэнни затянулась сигареткой.

— Если бы раньше сообразить, — сказала она, — и если бы я, как дура, не вlipла в этот дополнительный курс, я бы вообще бросила английскую литературу. Сама

не знаю. — Она стряхнула пепел. — Мне до визгу надоели эти педанты, эти воображалы, которые все изничтожают... — Она взглянула на Лейна. — Прости. Больше не буду. Честное слово... Просто, не будь я такой трусихой, я бы вообще в этом году не вернулась в колледж. Сама не знаю. Понимаешь, все это жуткая комедия.

— Блестящая мысль. Прямо блеск.

Фрэнни приняла сарказм как должное.

— Прости, — сказала она.

— Может, перестанешь без конца извиняться? Вероятно, тебе не приходит в голову, что ты делаешь совершенно дурацкие обобщения. Если бы все преподаватели английской литературы так все изничтожали, было бы совсем другое...

Но Фрэнни перебила его еле слышным голосом. Она смотрела поверх его серого фланелевого плеча незрячим далеким взглядом.

— Что? — переспросил Лейн.

— Я сказала — знаю. Ты прав. Я просто не в себе. Не обращай на меня внимания.

Но Лейн никак не мог допустить, чтобы спор окончился не в его пользу.

— Фу ты, черт, — сказал он, — в любой профессии есть мазилы. Это же элементарно. И давай забудем про этих идиотов-ассистентов хоть на минуту. — Он посмотрел на Фрэнни. — Ты меня слушаешь или нет?

— Слушаю.

— У вас там, на курсе, два лучших в стране преподавателя, черт возьми. Мэнлиус. Эспозито. Бог мой, да если бы их сюда, к нам. По крайней мере, они-то хоть поэты, и поэты без дураков.

— Вовсе нет, — сказала Фрэнни. — Это-то самое ужасное. Я хочу сказать — вовсе они не поэты. Просто люди, которые пишут стишкы, а их печатают, но никакие они не поэты. — Она растерянно замолчала и погасила сигарету. Стало заметно, что она все больше и больше бледнеет. Вдруг даже помада на губах стала светлее, словно она промокнула ее бумажной салфеткой. — Давай об этом не будем, — сказала она почти беззвучно, растирая сигарету в пепельнице. — Я совсем не в себе. Испорчу тебе весь праздник. А вдруг под моим столом люк и я исчезну?

Официант подошел быстрым шагом и поставил второй коктейль перед каждым. Лейн сплел пальцы, очень длинные, тонкие — и это было очень заметно, — вокруг ножки бокала.

— Ничего ты не испортишь, — сказал он спокойно. —

Мне просто интересно узнать, что ты понимаешь под всей этой чертовщиной. Разве нужно непременно быть какой-то богою или помереть к чертям собачьим, чтобы считаться настоящим поэтом? Тебе кто нужен — какойнибудь шизик с длинными кудрями?

— Нет. Только давай не будем об этом. Прошу тебя. Я так гнусно себя чувствую, и меня просто...

— Буду счастлив бросить эту тему, буду просто в восторге. Только ты мне скажи, что же это за штука — настоящий поэт? Буду тебе очень благодарен, ей-богу, очень!

На лбу у Фрэнни выступила легкая испарина, может быть, оттого, что в комнате было слишком жарко, или она съела что-то не то, или коктейль оказался слишком крепким. Во всяком случае, Лейн как будто ничего не заметил.

— Я сама не знаю, что такое настоящий поэт. Пожалуйста, перестань, Лейн. Я серьезно. Мне ужасно не по себе, как-то нехорошо, и я не могу...

— Ладно, ладно, успокойся, — сказал Лейн. — Я только хотел...

— Одно я только знаю, — сказала Фрэнни.. — Если ты поэт, ты создаешь красоту. Понимаешь, поэт должен оставить в нас что-то прекрасное, какой-то след на странице. А те, про кого ты говоришь, ни одной-единственной строчки, никакой красоты в тебе не оставляют. Может быть, те, что чуть получше, как-то проникают, что ли, в твою голову и что-то от них остается, но, все равно, хоть они и проникают, хоть от них что-то и остается, это все не значит, что они пишут настоящие стихи, господи боже мой! Может быть, это просто какие-то очень увлекательные синтаксические фокусы, испражнения какие-то — прости за выражение. И этот Мэнлиус, и Эспозито, все они такие.

Лейн повременил и затянулся сигаретой, прежде чем ответить.

— А я-то думал, что тебе нравится Мэнлиус. Кстати, с месяц назад, если память мне не изменяет, ты говорила, что он прелесть и что тебе...

— Да нет же, он очень приятный. Но мне надоели люди просто приятные. Господи, хоть бы встретить человека, которого можно уважать... Прости, я на минутку. — Фрэнни вдруг встала, взяла сумочку. Она страшно побледнела.

Лейн тоже встал, отодвинув стул.

— Что с тобой? — спросил он. — Ты плохо себя чувствуешь? Что случилось?

— Я сейчас вернусь.

Она вышла из зала, никого не спрашивая, как будто завтракала тут не раз и отлично все знает.

Лейн, оставшись в одиночестве, курил и понемножку отпивал мартини, чтобы осталось до возвращения Фрэнни. Ясно было одно: то чувство удовлетворения, которое он испытывал полчаса назад, оттого что завтракал там, где полагается, с такой девушкой, как надо — во всяком случае, с виду все было как надо, — это чувство теперь испарилось начисто. Он взглянул на шубку стриженого меха, косо висевшую на спинке стула Фрэнни, на шубку, которая так взволновала его на вокзале чем-то удивительно знакомым, — и в его взгляде мелькнуло что-то, определенно похожее на неприязнь. Почему-то его особенно раздражала измятая шелковая подкладка. Он отвел глаза от шубки и уставился на бокал с коктейлем, хмурясь, словно его несправедливо обидели. Ясно было только одно: вечер начинался довольно странно — чертовщина какая-то... Но тут он случайно поднял глаза и увидал вдали своего однокурсника с девушкой. Лейн сразу выпрямился и старательно переделал выражение лица — с обиженного и недовольного на обычновенное выражение, с каким человек ждет свою девушку, которая, по обычаю всех девиц, ушла на минуту в туалет, и ему теперь только и осталось, что курить со скучающим видом да еще выглядеть при этом как можно привлекательнее.

Дамская комната у Сиклера была почти такая же по величине, как и сам ресторан, и в каком-то отношении почти такая же уютная. Никто ее не обслуживал, и, когда Фрэнни вошла, там больше никого не было. Она постояла на кафельном полу, словно кому-то назначила тут свидание. Бисерные капельки пота выступили у нее на лбу, рот чуть приоткрылся, и она побледнела еще больше, чем там, в ресторане.

И вдруг, сорвавшись с места, она забежала в самую дальнюю, самую неприметную кабинку — к счастью, не надо было бросать монетку в автомат, — захлопнула дверь и с трудом повернула ручку. Не замечая, по-видимому, своеобразия окружающей обстановки, она сразу села, вплотную сдвинув колени, как будто ей хотелось сжаться в комок, стать еще меньше. И, подняв руки кверху, она крепко-накрепко прижала подушечки ладоней к глязам, словно пытаясь парализовать зрительный нерв, погрузить все образы в черную пустоту. Хотя ее пальцы дрожали, а может быть, именно от этой дрожи они казались

особенно тонкими и красивыми. На миг она застыла напряженно в этой почти утробной позе — и вдруг разрыдалась. Она плакала целых пять минут. Плакала громко и неудержимо, судорожно всхлипывая, — так ребенок заходится в слезах, когда дыхание никак не может прорваться сквозь зажатое горло. Но вдруг она перестала плакать — остановилась сразу, без тех болезненных, режущих, как нож, выдохов и вдохов, какими всегда кончается такой приступ. Казалось, она остановилась оттого, что у нее в мозгу что-то моментально переключилось, и это переключение сразу успокоило все ее существо. С каким-то отсутствующим выражением на залитом слезами лице она подняла с пола свою сумку и, открыв ее, вытащила оттуда книжечку в светло-зеленом матерчатом переплете. Она положила ее на колени, вернее, на одно колено и уставилась на нее не мигая, словно только тут, именно тут, на ее колене, и должна была лежать маленькая книжка в светло-зеленом матерчатом переплете. Потом она схватила книжку, подняла ее и прижала к себе решительно и быстро. И, спрятав ее в сумку, встала и вышла из кабинки. Вымыв лицо холодной водой, она взяла с полки чистое полотенце, вытерла лицо, подкрасила губы, причесалась и вышла из дамской комнаты.

Она была прелестна, когда шла по залу ресторана к своему столику, очень оживленная, как и полагалось, в предвкушении веселого университетского праздника. Улыбаясь на ходу, она подошла к своему месту, и Лейн медленно встал, не выпуская салфетку из рук.

— Ты уж прости, пожалуйста, — сказала Фрэнни. — Наверно, решил, что я умерла?

— Как это я мог подумать? Умерла... — сказал Лейн. Он отодвинул для нее стул. — Кстати, времени у нас в обрез. — Он сел. — Ты в порядке? Почему глаза красивые? — Он присмотрелся поближе: — Нездоровится, что ли?

Фрэнни закурила.

— Нет, сейчас все чудесно. Но меня никогда в жизни так не шатало. Ты заказал завтрак?

— Тебя ждал, — сказал Лейн, не сводя с нее глаз. — Все-таки что с тобой было? Животик?

— Нет. То есть и да и нет. Сама не знаю. — Она взглянула на меню у себя на тарелке и прочла, не бея листок в руки. — Мне только сандвич с цыпленком и стакан молока... А себе заказывай что хочешь. Ну, всяких там ули-чик и осьминожек. Прости, осьминогов. А я совсем не голодна.

Лейн посмотрел на нее, потом выпустил себе в тарелку очень тоненькую и весьма выразительную струйку дыма.

— Ну и праздничек у нас, просто прелесты! — сказал он. — Сандвич с цыпленком, матери божья!

— Прости, Лейн, но я совсем не голодна, — с досадой сказала Фрэнни. — Ах, боже мой... Ты закажи себе что хочешь, непременно, и я с тобой немножко поем. Но не могу же я ради тебя вдруг разить бешеный аппетит.

— Ладно, ладно! — И Лейн, вытянув шею, кивнул официанту. Он тут же заказал сандвич и стакан молока для Фрэнни, а для себя улиток, лягушачьи ножки и салат. Когда официант отошел, Лейн взглянул на часы: — Нам надо попасть в Тенбридж в час пятнадцать, в крайнем — в половине второго. Не позже. Я сказал Уолли, что мы зайдем что-нибудь выпить, а потом все отправимся на стадион в его машине. Согласна? Тебе ведь нравится Уолли?

— Понятия не имею, кто он такой.

— Фу, черт, да ты его видела раз двадцать. Уолли Кэмбл, ну? Да ты его сто раз видела...

— А-а, вспомнила. Ради бога, не злись ты, если я сразу не могу кого-то вспомнить. Ведь они же и с виду все одинаковые, и одеваются одинаково, и разговаривают, и делают все одинаково.

Фрэнни оборвала себя: собственный голос показался ей придиличным и ехидным, и на нее накатила такая ненависть к себе, что ее опять буквально вогнало в пот. Но помимо воли ее голос продолжал:

— Я вовсе не говорю, что он противный и вообще... Но четыре года подряд, куда ни пойдешь, везде эти уолли Кэмблы. И я заранее знаю — сейчас они начнут меня очаровывать, заранее знаю — сейчас начнут рассказывать самые подлые сплетни про мою соседку по общежитию. Знаю, когда спросят, что я делала летом, когда возьмут стул, сядут на него верхом, лицом к спинке, и начнут хвастать этаким ужасно, ужасно равнодушным голосом или называть знаменитостей — тоже так спокойно, так небрежно. У них неписаный закон: если принадлежишь к определенному кругу — по богатству или рождению, — значит, можешь сколько угодно хвастать знакомством со знаменитостями, лишь бы ты при этом непременно говорил про них какие-нибудь гадости, — что он сволочь, или эротоман, или всегда под наркотиками, — словом, что-нибудь мерзкое.

Она опять замолчала. Повертела в руках пепельницу и

стараясь не смотреть в лицо Лейну, она вдруг сказала:

— Прости меня. Уолли Кэмбл тут ни при чем. Я напала на него, потому что ты о нем заговорил. И потому что по нему сразу видно, что он проводит лето где-нибудь в Италии или вроде того.

— Кстати, для твоего сведения, он лето провел во Франции, — сказал Лейн. — Нет, нет, я тебя понимаю, — торопливо добавил он, — но ты дьявольски несправедли..

— Пусть, — устало сказала Фрэнни, — пусть во Франции. — Она взяла сигарету из пачки на столе. — Дело тут не в Уолли. Господи, да взять любую девчонку. Понимаешь, если б он был девчонкой, из моего общежития например, то он все лето писал бы пейзажики с какой-нибудь бродячей компанией. Или облезжал на велосипеде Уэльс. Или снял бы квартирку в Нью-Йорке и работал на журнал или на рекламное бюро. Понимаешь, все они такие. И все, что они делают, все это до того — не знаю, как сказать, — не то чтобы неправильно, или даже скверно, или глупо — вовсе нет. Но все до того мелко, бессмысленно и так уныло. А хуже всего то, что, если стать богемой или еще чем-нибудь вроде этого, все равно это будет конформизм, только шиворот-навыворот. — Она замолчала. И вдруг тряхнула головой, опять побледнела, на секунду приложила ладонь ко лбу — не для того, чтобы стереть пот со лба, а словно для того, чтобы пощупать, нет ли у нее жара, как делают мамы маленьким детям.

— Странное чувство, — сказала она, — кажется, что схожу с ума. А может быть, я уже свихнулась.

Лейн смотрел на нее по-настоящему встревоженно — не с любопытством, а именно с тревогой.

— Да ты бледная как полотно, — сказал он. — До того побледнела... Слышишь?

Фрэнни тряхнула головой:

— Пустяки, я прекрасно себя чувствую. Сейчас пройдет. — Она взглянула на официанта — тот принес заказ. — Ух, какие красивые улитки! — Она поднесла сигарету к губам, но сигарета потухла. — Куда ты девал спички? — спросила она.

Когда официант отошел, Лейн дал ей прикурить.

— Слишком много куришь, — заметил он. Он взял маленькую вилочку, положенную у тарелки с улитками, но, прежде чем начать есть, взглянул на Фрэнни. — Ты меня беспокоишь. Нет, я серьезно. Что с тобой стряслось за последние недели?

Фрэнни посмотрела на него и, тряхнув головой, пожала плечами.

— Ничего. Абсолютно ничего. Ты ешь. Ешь своих улиток. Если остынут, их в рот не возьмешь.

— И ты поешь.

Фрэнни кивнула и посмотрела на свой сандвич. К горлу волной подкатила тошнота, и она, отвернувшись, крепко затянулась сигаретой.

— Как ваша пьеса? — спросил Лейн, расправляясь с улитками.

— Не знаю. Я не играю. Бросила.

— Бросила? — Лейн посмотрел на нее. — Я думал, ты в восторге от своей роли. Что случилось? Отдали кому-нибудь твою роль?

— Нет, не отдали. Осталась за мной. Это-то и противно. Ах, все противно.

— Так в чем же дело? Уж не бросила ли ты театральный факультет?

Фрэнни кивнула и отпила немного молока.

Лейн прожевал кусок, проглотил его, потом сказал:

— Но почему, что за чертовщина? Я думал, ты в этот треклятый театр влюблена, как не знаю что... Я от тебя больше ни о чем и не слыхал весь этот...

— Бросила — и все, — сказала Фрэнни. — Вдруг стало ужасно неловко. Чувствую, что становлюсь противной, самовлюбленной, какой-то пуп земли. — Она задумалась. — Сама не знаю. Показалось, что это ужасно дурной вкус — играть на сцене. Я хочу сказать, какой-то эгоцентризм. Ох, до чего я себя ненавидела после спектакля, за кулисами. И все эти эгоцентрички бегают вокруг тебя, и уж до того они сами себе кажутся душевными, до того теплыми. Всех целуют, на них самих живого места нет от грима, а когда кто-нибудь из друзей зайдет к тебе за кулисы, уж они стараются быть до того естественными, до того приветливыми, ужас! Я просто себя возненавидела... А хуже всего, что мне как-то стыдно было играть во всех этих пьесах. Особенно на летних гастролях. — Она взглянула на Лейна. — Нет, роли мне давали самые лучшие, так что нечего на меня смотреть такими глазами. Не в том дело. Просто мне было бы стыдно, если бы кто-нибудь, ну, например, кто-то, кого я уважаю, например мои братья, вдруг услыхали бы, как я говорю некоторые фразы из роли. Я даже иногда писала некоторым людям, просяла их не приезжать на спектакли. — Она опять задумалась. — Кроме Пэгин в «Повесе», я ее летом играла. Понимаешь, было бы очень неплохо, если б не этот сапог — он играл Повесу — испортил все на свете. Такую лирику развел — о господи, до чего он все рассусолил!

Лейн доел своих улиток. Он сидел, нарочно согнав всякое выражение с лица.

— Однако рецензии о нем писали потрясающие, — сказал он. — Ты же сама мне их послала, если помнишь.

Фрэнни вздохнула:

— Ну, послала. Перестань, Лейн.

— Нет, я только хочу сказать, ты тут полчаса разглагольствуешь, будто ты одна на свете все понимаешь как черт, все можешь критиковать. Я только хочу сказать, если самые знаменитые критики считали, что он играл потрясающе, так, может, это верно, может быть, ты ошибешься? Ты об этом подумала? Знаешь, ты еще не совсем доросла...

— Да, он играл потрясающее для человека просто талантливого. А для этой роли нужен гений. Да, гений — и все, тут ничего не поделаешь, — сказала Фрэнни. Она вдруг выгнула спину и, приоткрыв губы, приложила ладонь к макушке. — Странно, я как пьяная, — сказала она. — Не понимаю, что со мной.

— По-твоему, ты гений?

Фрэнни сняла руку с головы.

— Ну, Лейн. Не надо. Прошу тебя. Не надо так со мной.

— Ничего я не...

— Одно я знаю: я схожу с ума, — сказала Фрэнни. — Надоело мне это вечное «я, я, я». И свое «я», и чужое. Надоело мне, что все чего-то добиваются, что-то хотят сделать выдающееся, стать кем-то интересным. Противно — да, да, противно! И все равно, что там говорят...

Лейн высоко поднял брови и откинулся на спинку стула, чтобы лучше дошли его слова.

— А ты не думаешь, что ты просто боишься соперничества? — спросил он нарочно спокойно. — Я в таких делах плохо разбираюсь, но уверен, что хороший психоаналитик — понимаешь, действительно знающий, — наверно, истолковал бы твои слова...

— Никакого соперничества я не боюсь, что я сама на чью соперничать, — вот что меня пугает. Из-за этого я ушла с театрального факультета. И тут никаких оправданий быть не может — ни в том, что я по своему характеру до ужаса интересуюсь чужими оценками, ни в том, что люблю аплодисменты, люблю, чтобы мной восхищались. Мне за себя стыдно. Мне все надоело. Надоело, что у меня не хватает мужества етать просто никем. Я сама себе надосла, мне все надоели, кто пытается сделать большой бум.

Она остановилась и вдруг взяла стакан молока и поднесла к губам.

— Так я и знала, — сказала она, ставя стакан на место. — Этого еще не было. У меня что-то с зубами. Так и стучат. Позавчера я чуть не прокусила стакан. Может, я уже сошла с ума и сама не понимаю.

Подошел официант с лягушачьими ножками и салатом для Лейна, и Фрэнни подняла на него глаза. А он взглянул на ее тарелку, на нетронутый сандвич с цыпленком. Он спросил, не хочет ли барышня заказать что-нибудь другое. Фрэнни поблагодарила его, нет, не надо.

— Я просто очень медленно ем, — сказала она. Официант, человек пожилой, посмотрел на ее бледное лицо, на мокрый лоб, поклонился и отошел.

— Хочешь, возьми платок? — отрывисто сказал Лейн. Он протягивал ей белый сложенный платок. Голос у него был добрый, жалостливый, несмотря на упрямую попытку заставить себя говорить равнодушно.

— Зачем? Разве надо?

— Ты вспотела. То есть не вспотела, но лоб у тебя в испарине.

— Да? Какой ужас! Извини, пожалуйста! — Фрэнни подняла сумочку и стала в ней рыться. — Где-то у меня был «клиник».

— Да возьми ты мой платок, бога ради. Какая разница, господи боже ты мой!

— Нет, такой чудный платок, зачем я его буду портить, — сказала Фрэнни. Сумочка была битком набита. Чтобы разобраться, она стала выкладывать на стол всяческую всячину рядом с нетронутым сандвичем. — Ага, вот оно! — Она открыла пудреницу с зеркальцем и быстрым легким движением промокнула лоб бумажной салфеточкой. — Бог мой, я похожа на привидение. Как ты терпишь меня?

— Это что за книга? — спросил Лейн.

Фрэнни буквально вздрогнула. Она посмотрела на кучку вещей, выложенную из сумки на скатерть.

— Какая книга? — сказала она. — Ты про эту? — Она взяла книжечку в светло-зеленом переплете и сунула в сумку. — Просто захватила почитать в вагоне.

— Ну-ка дай взглянуть. Что за книжка?

Фрэнни как будто ничего не слышала. Она открыла пудреницу и еще раз взглянула в зеркало.

— Господи! — сказала она. Потом собрала все со стола: пудреницу, кошелек, квитанцию из прачечной, зубную щетку, коробочку аспирина и золоченую мешалку для пунша. Все это она спрятала в сумочку. — Сама не знаю, за-

чем я таскаю с собой эту золоченую идиотскую штуку, — сказала она. — Мне ее подарил в день рождения один мальчишка, ужасный пошляк, я еще была на первом курсе. Решил, что это красивый и оригинальный подарок, смотрел на меня во все глаза, пока я разворачивала пакетик. Все хочу выбросить ее и никак не могу. Наверно, так и умру с этой дрянью. — Она подумала. — Он все хихикал мне в лицо и говорил, что мне всегда будет везти, если я не расстанусь с этой штукой.

Лейн уже взялся за одну из лягушачьих ножек.

— А все-таки что это за книжка? — спросил он. — Или это тайна, какая-нибудь чертовщина? — спросил он.

— Ты про книжку в сумке? — сказала Фрэнни. Она смотрела, как он разрезает лягушачью ножку. Потом вынула сигарету из пачки, закурила. — Как тебе сказать, — проговорила она. — Называется «Путь странника». — Она опять посмотрела, как Лейн ест лягушку. — Взяла в библиотеке. Наш преподаватель истории религии, я у него прохожу курс в этом семестре, нам про нее сказал. — Она крепко затянулась. — Она у меня уже давно. Все забываю отдать.

— А кто написал?

— Не знаю, — небрежно бросила Фрэнни. — Очевидно, какой-то русский крестьянин. — Она все еще внимательно смотрела, как Лейн ест. — Он себя не назвал. Он ни разу за весь рассказ не сказал, как его зовут. Только говорит, что он крестьянин, что ему тридцать три года и что он сухорукий. И что жена у него умерла. Все это было в тысяча восемьсот каких-то годах.

Лейн уже занялся салатом.

— И что же, книжка хорошая? О чем она?

— Сама не знаю. Она необычная. Понимаешь, это ведь прежде всего книжка религиозная. Даже можно было бы сказать — книжка фанатика, только это к ней как-то не подходит. Понимаешь, она начинается с того, что этот крестьянин, этот странник, хочет понять, что это значит, когда в Евангелии сказано, что надо молиться неустранно. Ну, ты знаешь — не переставая. В Послании к Фессалоникийцам или еще где-то. И вот он начинает странствовать по всей России, ищет кого-нибудь, кто ему объяснит — как это «молиться неустранно». И что при этом говорить. — Фрэнни снова посмотрела, как Лейн расправляется с лягушачьей ножкой. Она заговорила, не сводя глаз с его тарелки. — А с собой у него только торба с хлебом и солью. И тут он встречает человека — он называет его «старец» — это такие очень-очень просвещенные в ре-

лигии люди, — и старец ему рассказывает про такую книгу — называется «Филокалия». И как будто эту книгу написали очень-очень образованные монахи, которые как-то распространяли этот невероятный способ молиться!

— Не прыгай! — сказал Лейн лягушачьей ножке.

— Словом, этот странник научается молиться, как требуют эти таинственные монахи, — понимаешь, он молится и достигает в своей молитве совершенства, и всякое такое. А потом он странствует по России и встречает всяких замечательных людей и учит их, как молиться этим невероятным способом. Ну вот, понимаешь, вся книжка об этом.

— Не хочется говорить, но от меня будет нести чесно-ком, — сказал Лейн.

— А во время своих странствий он встречает ту пару — мужа с женой, и я их люблю больше всех людей на свете, никогда в жизни я еще про таких не читала, — сказала Фрэнни. — Он шел по дороге, где-то мимо деревни, с мешком за плечами и вдруг видит — за ним бегут двое малюсеньких ребятишек и кричат: «Нищий странничек, нищий странничек, пойдем к нашей маме, пойдем к нам домой! Она нищих любит!» И вот он идет домой к этим ребятишкам, и эта чудная женщина, их мать, выходит из дома, хлопочет, усаживает его, непременно хочет сама снять с него грязные сапоги, поит его чаем. А тут и отец приходит, и он, видимо, тоже любит нищих и странников, и все садятся обедать. А странник спрашивает, кто эти женщины, которые сидят с ними за столом, и отец говорит — это наши работницы, но они всегда едят с нами, потому что они наши сестры во Христе. — Фрэнни вдруг смущилась, села прямее. — Понимаешь, мне так понравилось, что странник спросил, кто эти женщины. — Она посмотрела, как Лейн мажет хлеб маслом. — Словом, после обеда странник остается ночевать, и они с хозяином дома допоздна обсуждают, как надо молиться не переставая. И странник ему все объясняет. А утром он уходит и опять идет странствовать. И встречает разных-разных людей — понимаешь, книга про это и написана, — и он им объясняет, как надо по-настоящему молиться.

— Лейн кивнул головой, ткнул вилкой в салат.

— Хоть бы у нас в эти дни время осталось, чтобы ты заглянула в мое треклятое сочинение, я тебе уже говорил про него, — сказал он. — Сам не знаю. Может, я с ним ~~ни~~ черта и не сделаю — там напечатать его и вообще, — то хочется, чтобы ты хоть просмотрела, пока ты тут.

— С удовольствием, — сказала Фрэнни. Она смотре-

ла, как он намазывает второй ломтик хлеба. — Может, тебе эта книжка и понравилась бы, — вдруг сказала она. — Она такая простая, понимаешь?

— Наверно, интересно. Ты масла есть не будешь?

— Нет, нет, бери все. Я не могу тебе дать ее, потому что все сроки давным-давно прошли, но ты можешь достать ее тут, в библиотеке. Уверена, что сможешь.

— Слушай, да ты ни черта не ела, даже не дотронулась! — сказал Лейн. — Ты это знаешь?

Фрэнни посмотрела на свою тарелку, как будто ее только что поставили перед ней.

— Сейчас, погоди, — сказала она. Она замолчала, держа сигарету в левой руке, но не затягиваясь и крепко обхватив правой рукой стакан с молоком. — Хочешь послушать, какой особой молитве старец научил этого странника? — спросила она. — Нет, правда, это очень интересно, очень.

Лейн разрезал последнюю лягушачью ножку. Он кивнул.

— Конечно, — сказал он, — конечно.

— Ну вот, как я уже говорила, этот странник, совсем простой мужик, пошел странствовать, чтобы узнать, что значат евангельские слова про неустанную молитву. И тут он встречает этого старца, это такой очень-очень ученый человек, богослов, поминьшь, я про него уже говорила, тот самый, который изучал «Филокалию» много-много лет подряд. — Фрэнни вдруг замолчала, чтобы собраться с мыслями, сосредоточиться. — И тут этот старец первым делом рассказал ему про молитву Христову: «Господи Иисусе Христе, помилуй мя!» Понимаешь, такая молитва. И старец объясняет страннику, что лучше этих слов для молитвы не найти. Особенно слово «помилуй», потому что это такое огромное слово и так много значит. Понимаешь, оно значит не только «помилование».

Фрэнни снова остановилась, подумала. Она уже смотрела не в тарелку Лейна, а куда-то через его плечо.

— Словом, старец говорит страннику, — продолжала она, — что если станешь повторять молитву снова и снова — сначала хотя бы одними губами, — то в конце концов само собой выходит, что молитва сама начинает действовать. Что-то потом случается. Сама не знаю что, но что-то случается, и слова попадают в такт твоему сердцебиению, и ты уже молишься непрестанно. И это как-то мистически влияет на все твои мысли, мировоззрение. Понимаешь, вся суть более или менее именно в этом. Ты молишься — и мысли очищаются, и ты совершенно по-ново-

му воспринимаешь и понимаешь все на свете.

Лейн досл свой завтрак. И когда Фрэнни замолчала, он сел поудобнее, закурил сигарету и посмотрел на ее лицо. Она все еще рассеянно глядела в никуда, через его плечо, как будто совсем забыв о нем.

— Но главное, самое главное чудо в том, что с самого начала тебе даже не надо верить в то, что ты делаешь. Понимаешь, даже если тебе ужасно невыносимо, все это не имеет ровно никакого значения. Ты никого не обижашь, и вообще все в порядке. Другими словами, с самого начала никто тебя и не заставляет ни во что верить. И старец учит, что тебе даже не надо думать о том, что ты твердишь. Сначала весь смысл в количестве повторений. А позже оно само переходит в качество. Собственной силой, так сказать. Он, старец, говорит, что любое имя господне — понимаешь, любое — таит в себе эту удивительную, самодействующую силу и само начинает действовать, когда ты его... ну, вот так повторяешь, что ли.

Лейн как-то развалился в кресле, покуривая и щуря глаза, и пристально всматривался в лицо Фрэнни. Она была очень бледна, но, с тех пор как они пришли, бывали минуты, когда она становилась еще бледнее.

— Кстати, все это абсолютно осмысленно, — сказала Фрэнни, — потому что буддисты из секты Нембутсу без конца повторяют «Наму Амида Бутсю», что значит «Хвала Будде Амитабхе»¹ или что-то вроде того, — и происходит то же самое. Точно такая же...

— Погоди. Погоди-ка, — сказал Лейн. — Во-первых, ты сию секунду обожжешь пальцы.

Фрэнни едва взглянула на левую руку и бросила дотлевающий окурок в пепельницу.

— И то же самое происходит в «Облаке неведения». Со словом «Бог», понимаешь, надо только повторять слово «Бог». — Она посмотрела прямо в глаза Лейну — как не смотрела уже довольно давно. — И главное, разве ты когда-нибудь в жизни слышал такие потрясающие вещи? Пойми, ведь нельзя сказать: «Это просто совпадение» — и тут же выбросить из головы — вот что меня потрясает. Тут, по крайней мере, потрясающее... — Она вдруг обернула себя. Лейну явно не сиделось на месте, а это его выражение — главным образом высоко поднятые брови — Фрэнни знала слишком хорошо.

— В чем дело? — спросила она.

¹ Речь идет об особом направлении буддизма, по которому один из будд, Амитабха, выступает в роли вселенского спасителя. (Примеч. перев.).

— И ты на самом деле веришь во всю эту штуку, или как?

Фрэнни взяла пачку, вынула сигарету.

— Я не говорила, верю я или нет, я сказала — это ме-ня потрясло. — Лейн дал ей прикурить. — Просто мне ка-жется, что это невероятное совпадение, очень странное, — сказала она, затянувшись, — везде тебе дают одно и то же наставление, понимаешь, все эти по-настоящему мудрые и абсолютно настоящие религиозные учителя упорно на-стаивают: если непрестанно повторять имя божье, то с то-бой что-то произойдет. Даже в Индии — в Индии тебя учат медитации, сосредоточению на слове «ом», что, в сущности, одно и то же, и результат будет такой же са-мый. И я только хочу сказать — нельзя просто рассудком все это отвергнуть, даже не...

— Ты про какой результат? — отрывисто бросил Лейн.

— Что?

— Я спрашиваю, какого именно результата ты ждешь. От всей этой синхронизации, этого мумбо-юмбо? Иинфарк-та? Не знаю, сознаешь ли ты, но и ты, и вообще каждый может себе наделать столько вреда, что...

— Нет, ты увидишь Бога. Что-то происходит в какой-то совершенно нефизической части сердца — там, где, по учению индуев, поселяется Атман, если ты верующий, — и тебе является Бог, вот и все. — Она смущилась, сбро-сила пепел с сигареты мимо пепельницы. Пальцами она подобрала пепел и высypала в пепельницу. — И не спра-шивай меня, что есть Бог, кто он такой. Я даже не знаю, есть он или нет. Когда я была маленькая, я думала... — Она остановилась. Подошел официант — забрать тарел-ки, положить новое меню.

— Хочешь сладкого или кофе? — спросил Лейн.

— Нет, я просто допью молоко. А ты себе закажи что хочешь, — сказала Фрэнни. Официант только что забрал ее тарелку с нетронутым сандвичем. Она не посмела взгля-нуть на него.

Лейн посмотрел на часы:

— Черт! Времени в обрез. Счастье, если на матч не опоздаем. — Он посмотрел на официанта. — Мне кофе, пожалуйста. — Он проводил официанта глазами, потом наклонился вперед, положив локти на стол, вполне до-вольный, сытый, в ожидании кофе. — Что ж... Во всяком случае, очень занятно. Вся эта штука... Но, по-моему, ты совершенно не оставляешь места для самой элементарной психологии. Видишь ли, я считаю, что у всех этих рели-гиозных переживаний чрезвычайно определенная психо-

логическая подоплека — ты меня понимаешь... Но все это очень интересно. Конечно, нельзя так, сразу, все отрицать. — Он посмотрел на Фрэнни и вдруг улыбнулся ей: — Ладно. Кстати, если я тебе забыл сказать... Я тебя люблю. Говорил или нет?

— Лейн, прости, я на минуту выйду! — сказала Фрэнни и уже поднялась с места.

Лейн тоже встал, не сводя с нее глаз.

— Что с тобой? — спросил он. — Тебе опять плохо, да?

— Как-то не по себе. Сейчас вернусь.

Она быстро прошла по залу, направляясь туда же, куда и раньше. Но в конце зала, у маленького бара, она вдруг остановилась. Бармен, вытиравший стаканчик для шерри, взглянул на нее. Она схватилась правой рукой за стойку, нагнула голову, низко склонилась и поднесла левую руку ко лбу, касаясь его кончиками пальцев. И, слегка покачнувшись, упала на пол в глубоком обмороке.

Прошло почти пять минут, прежде чем Фрэнни очнулась. Она лежала на диване в кабинете директора, и Лейн сидел около нее. Он наклонился над ней, его лицо необычно побледнело.

— Как ты себя чувствуешь? — спросил он тоном посетителя в больнице. — Тебе лучше?

Фрэнни кивнула. Она на минуту закрыла глаза от резкого света плафона, потом снова открыла их.

— Кажется, мне полагается спросить: «Где я?» Ну, где я?

Лейн засмеялся.

— Ты в кабинете директора. Они там все бегают, ищут для тебя нашатырный спирт, докторов, не знаю, чего еще. Кажется, у них нашатырь кончился. Нет, серьезно, как ты себя чувствуешь?

— Хорошо. Глупо, но хорошо. А я вправду упала в обморок?

— Да еще как. Прямо с катушек долой, — сказал Лейн. Он взял ее руку. — А что с тобой, как ты думаешь? Ты была такая — ну, понимаешь, такая замечательная, когда мы говорили по телефону на прошлой неделе. Ты что — не успела сегодня позавтракать или как?

Фрэнни пожала плечами. Она обвела кабинет взглядом.

— До чего неловко, — сказала она. — Неужели пришлось меня нести сюда?

— Да, мы с барменом несли. Втащили тебя сюда. Напугала ты меня до чертиков. Ей-богу, не вру.

Фрэнни задумчиво, не мигая, смотрела в потолок, пока он держал ее руку. Потом повернулась и подняла свободную руку, как будто хотела отвернуть рукав Лейна взглянуть на его часы. — Который час? — спросила она.

— Не важно, — сказал Лейн. — Нам спешить некуда.

— Но ты хотел пойти на вечеринку.

— А черт с ней!

— И на матч мы тоже опоздали? — спросила Фрэнни.

— Слушай, я же сказал, черт с ним со всем. Сейчас ты должна пойти в свою комнату — в этих, как их там, Голубых Ставеньках — и отдохнуть как следует, это самое главное, — сказал Лейн. Он подсел к ней поближе, наклонился и быстро поцеловал. Потом обернулся, посмотрел на дверь и снова наклонился к Фрэнни. — Будешь отдыхать до вечера. Отдыхать — и все. — Он погладил ее руку. — А потом, попозже, когда ты хорошенько отдохнешь, я, может быть, проберусь к тебе, наверх. Черт его знает, как будто там есть черный ход. Я разведаю.

Фрэнни промолчала. Она все еще смотрела в потолок.

— Знаешь, как давно мы не виделись? — сказал Лейн. — Когда это мы встретились, в ту пятницу? Черт знает когда — в начале того месяца. — Он покачал головой: — Не годится так. Слишком большой перерыв от рюмки до рюмки, грубо говоря. — Он пристальнеегляделся в лицо Фрэнни. — Тебе и вправду лучше?

Она кивнула. Потом повернулась к нему лицом.

— Ужасно пить хочется, и все. Как, по-твоему, можно мне достать стакан воды? Не трудно?

— Конечно, нет, чушь какая! Слушай, а что, если я оставлю тебя на минутку? Знаешь, что я сейчас сделаю?

Фрэнни отрицательно помотала головой.

— Пришлю кого-нибудь сюда с водой. Потом найду главного, скажу, что нашатыря не надо, и, кстати, заплачу по счету. Потом пригоню сюда такси, чтобы не бегать за ним. Придется немного обождать, все машины, наверно, везут народ на матч. — Он выпустил руку Фрэнни и встал. — Хорошо? — спросил он.

— Очень хорошо.

— Ладно. Скоро вернусь. Не вставай! — И он вышел из комнаты.

Оставшись в одиночестве, Фрэнни лежала не двигаясь, все еще глядя в потолок. Губы у нее беззвучно зашевелились, безостановочно складывая слова.

Грустный мотив

Сказание о Лиде-Луизе, которая пела
блузы, как ~~не~~ ~~никто~~ на свете —
ни до нее, ни после.

Зимой сорок четвертого года в армейском транспортном грузовике я проехал из Люксембурга в прифронтовой германский город Хольцхафен — путь, который обошелся в четыре проколотых шины, три случая отморожения ног и минимум одно воспаление легких.

В грузовик набилось человек сорок — все больше пехотное пополнение. Многие возвращались из госпиталей в Англии, где залечивали полученные на войне раны. По виду вполне поправившиеся, они теперь догоняли одну пехотную дивизию, про командующего которой мне рассказывали, будто он садится в штабную машину не иначе, как повесив через одно плечо наган, а через другое фотоаппарат; этот ярый вояка был знаменит тем, что умел писать неподражаемые по ядовитости послания противнику, если тот превосходил его силами или брал в окружение.

Много часов я трялся в этом грузовике, никому не взглянув в глаза.

Пока было светло, солдаты дружными усилиями пытались развлечься и успокоить воинственный зуд в крови. Играли в шарады прямо в кузове, разбившись на две партии — кто где сидел. Обсуждали известных государственных мужей. Распевали песни — бодрые воинственные песни, сочиненные патриотами с Бродвея, которым досадный поворот колеса фортуны помешал, увы, занять свое место в рядах фронтовиков. Словом, грузовик прямо расpirало от песен и веселья — пока вдруг не наступила ночь и не спустили брезент для затемнения. И тут все то ли уснули, то ли замерзли насмерть, кроме меня и того человека, ко-

торый рассказал мне эту историю. У него были сигареты, у меня — уши.

Вот все, что я знаю об этом человеке.

Звали его Радфорд. Фамилию он не сказал. У него был еле заметный акцент южанина и хронический окопный кашель. Нашишки и красный крест, капитана медицинской службы он носил по тогдашней моде на шапке.

И это все, что мне о нем известно, — не считая, понятно, того, о чем говорится в самом рассказе. Так что, пожалуйста, не пишите мне писем с требованием дальнейших сведений — я не знаю даже, жив ли он. Моя просьба в особенности относится к читателям, которые усмотрят в этом рассказе хулу на нашу страну.

Это — ни на кого и ни на что не хула. А просто небольшой рассказ о домашнем яблочном пироге, о пиве со льда, о команде «Бруклинские Ловкачи», о телевизионных программах «Люкс» — словом, о том, во имя чего мы сражались. Да это и так ясно, сами увидите.

Радфорд был родом из Эйджерсбурга, штат Теннесси. Он говорил, что это примерно в часе езды от Мемфиса. Видимо, очень славный городок. Там, например, есть одна улица, называется Мисс-Пэккер-стрит. Не просто Пэккер-стрит, а именно Мисс-Пэккер-стрит. Так звали одну эйджерсбургскую учительницу, которая во время Гражданской войны в упор расстреляла из окна отряд северян, проходивший под стенами школьного здания. Не размахивала флагом, как какая-нибудь Барбара Фритчи. Нет, мисс Пэккер просто прицелилась и открыла огонь и успела уложить пятерых парней в синих мундирах, прежде чем до нее добрались с топором. И было ей тогда девятнадцать лет.

Отец Радфорда был на самом деле бостонец, он служил торговым агентом в бостонской компании, производившей пишущие машинки. Перед самым началом первой мировой войны, заехав по делам в Эйджерсбург, он познакомился там с одной красивой девушкой из приличной обеспеченной семьи и через две недели был уже женат. Ни в Бостон, ни на прежнюю работу он больше не вернулся, вычеркнув то и другое из своей жизни без малейшего сожаления. Вообще это был человек своеобразный. Спустя час после того, как умерла, подарив жизнь Радфорту, его жена, он сел в трамвай, поехал на окраину Эйджерсбурга и купил там расстроенное, но почтенное издательское дело. И через полгода уже опубликовал им же самим написанную книгу «Гражданское процессуальное право для американцев».

Вслед за этой книгой за небольшой промежуток времени была издана целая серия совершенно неудобоваримых, но широко известных у нас и по сей день премудрых учебных пособий под общим названием «Справочная серия для учащихся средних учебных заведений Америки». Я, например, знаю точно, что его «Естествознание для американцев» году этак в тридцать втором появилось в школах Филадельфии. Книжка изобиловала умопомрачительными графиками перемещения обыкновенных маленьких точек А и В.

Детство Радфорд провел в отчём доме необыкновенное. Его отец, видимо, не выносил, когда книги просто читали. Радфода натаскивали и школили даже в те годы, когда мальчишкам полагается знать только свои мраморные шарики. Он простоявал на стремянке у книжного шкафа, пока не находил в словаре определение слова «хромосома». За столом ему передавали блюдо с бобами, только если он сначала перечислит планеты в порядке величины. Еженедельные десять центов на карманные расходы он мог получить, лишь назвав дату рождения, смерти, победы или поражения какого-нибудь исторического лица. Словом, к одиннадцати годам Радфорд знал по всем академическим предметам примерно столько же, сколько средний выпускник средней школы. А если брат не только академические предметы, то и больше. Средний выпускник средней школы не знает, как можно проспать ночь в подвале на полу без подушки и одеяла.

Однако к детским годам Радфорда существовало два важных примечания. Они не содержались в книгах его отца, но всегда были под рукой и могли в случае нужды пролить немного живого света. То были взрослый человек по имени Черный Чарльз и маленькая девочка Пегги Мур.

Пегги училась с Радфордом в одном классе. Правда, он больше года не обращал на нее внимания, разве только заметил, что ее всегда первую отпускали с дополнительных занятий по правописанию. Понимать цену Пегги он начал лишь тогда, когда разглядел у нее на шее, в ямке между ключицами, комочек жевательной резинки. Он тогда подумал, что это она здорово догадалась, хоть и девчонка. Она сидела через проход от него, и он залез под парту, будто бы что-то уронил, а сам шепнул ей:

— Эй! Ты всегда так прилепляешь резинку?

Юная леди с жевательной резинкой между ключицами обернулась, приоткрыв рот, и кивнула. Она была польщенна. То был первый случай, когда Радфорд обратился к ней не по учебному делу.

Радфорд пошарил под партой, ища несуществующий ластик.

— Слушай. Хочешь, я тебя познакомлю после школы с одним моим другом?

Пегги прикрыла рот ладонью и притворилась, что кашляет.

— С кем? — спросила она.

— С Черным Чарльзом.

— А он кто?

— Один человек. Играет на рояле. На Уиллард-стрит. Мой приятель.

— Мне не разрешают ходить на Уиллард-стрит.

— Подумаешь!

— А ты когда пойдешь?

— Сразу после школы. Сегодня она нас не будет оставлять. Ей самой-то скучища... Двинули?

— Двинули.

В тот день дети отправились на Уиллард-стрит, и Пегги познакомилась с Черным Чарльзом, а Черный Чарльз с Пегги.

Кафе Черного Чарльза было обыкновенной дешевой «забегаловкой» и вечным бельмом на глазу городских властей, которые и всю-то улицу, на которой оно стояло, из года в год неизменно обрекали на снос — на бумаге, понятное дело. Про такие заведения родители — глядя сквозь боковое стекло семейного автомобиля — обыкновенно говорят детям: «Безобразие. Антисанитария». Словом, это было отличное местечко. Да и не случалось, кажется, чтобы у молодых посетителей Черного Чарльза хоть однажды разболелись животы от аппетитных, шипящих в сале сосисок, которые он подавал. Но вообще-то к Черному Чарльзу ходили не затем, чтобы есть. Конечно, придешь, так уж и поешь, но идешь-то не для этого.

К Черному Чарльзу ходили потому, что он играл на рояле как бог — играл словно какой-нибудь знаменитый пианист из Мемфиса, а может, и того лучше. Он играл и свинг, и просто, и, когда ни придешь, он всегда сидел за роялем, а потом пора было уже уходить домой, а он все сидит за роялем. Но дело даже не только в этом. Настоящий хороший музыкант не может уставать от музыки, это само собой, тут и удивляться нечему. Но его отличала еще одна черта, свойственная мало кому из белых музыкантов. Он был добрый, и, когда к нему подходили и просили сыграть что-нибудь или просто так подходили поговорить, он всегда слушал. И смотрел на тебя, а не мимо.

До того, как Радфорд привел Пегги, он был, видимо,

самым юным из посетителей Черного Чарльза. Он уже больше двух лет ходил туда один, раза по два, по три в неделю. И всегда засветло, по той простой причине, что поздно вечером ему не разрешалось уходить из дома. Правда, на его долю не доставалось той толкотни, того гомона и чада, которыми славилось заведение Черного Чарльза в ночное время; зато и днем он получал кое-что не хуже, а то и лучше. Он мог слушать, как Черный Чарльз играет подряд все знаменитые песни. Нужно было только разбудить его. Но в этом-то и была загвоздка. Черный Чарльз после обеда спал, и спал мертвецким сном.

Оказалось, что с Пегги бегать на Уиллард-стрит к Черному Чарльзу еще лучше, чем одному. С ней было хорошо не только сидеть на полу, с ней и слушать было хорошо. Радфорду нравилось, как она подтягивает к подбородку длинные крепкие ноги, все в синяках и ссадинах, и сплетает пальцы на лодыжках. Нравилось, как она; когда слушает, прижимает рот к коленкам, так что от зубов остаются метины. И как она потом шла домой: не болтала, только иной раз поддаст ногой камешек или консервную банку или в задумчивости раздавит пяткой надвое окурок сигары. В общем, она была девчонка что надо, хотя Радфорд, конечно, ей этого не говорил. У нее была опасная привычка чуть что лезть с нежностями, даже, кажется, совершенно безо всякого повода.

Но надо отдать ей справедливость — она даже научилась будить Черного Чарльза.

Однажды, когда они, как обычно, в четвертом часу вошли в кафе, она сказала:

— Радфорд, знаешь что? Можно сегодня я его разбужу?

— Валяй. Если только у тебя получится.

Черный Чарльз, сняв ботинки, спал на старой жесткой кушетке, отгороженный несколькими неубранными столиками от своего любимого рояля.

Пегги подошла к вопросу с научной обстоятельностью.

— Что же ты? Давай буди.

— Погоди, не мешай. Я сейчас.

Радфорд смотрел на нее снисходительно.

— Н-да. Его просто так не растолкаешь. Видела, как я? Нужно выбрать верное место. Где почки. Ты же видела.

— Вот сюда? — Пегги ткнула пальцем в чувствительный островок на спине у Чарльза, отчеркнутый сверху ширеневыми подтяжками.

— Давай-давай.

Пегги размахнулась и ударила.

Черный Чарльз чуть пошевелился, но продолжал спать, не переменив даже позы.

— Не попала ты. И потом, надо гораздо сильнее.

Пегги задумала сделать из своей правой руки более со- крушительное оружие. Сжала кулак, просунув большой палец между средним и указательным, и, вытянув руку, влюбилась своей работой.

— Так ты только палец сломаешь. Слышишь? Убери палец...

— Не мешай. — И Пегги, словно цепом, ударила спящего по спине.

Удар подействовал. Чарльз испустил истошный вопль и на добрых два фута подлетел в душный воздух непропитенного кафе. И еще не успел приземлиться, как Пегги обратилась к нему с просьбой:

— Пожалуйста, Чарльз, будь добр, сыграй мне «Леди, леди».

Чарльз поскреб в затылке, опустил огромные ступни в носках прямо на усыпанный окурками пол и скосил глаза:

— Ах, это ты, Маргарет?

— Да. Мы только что вошли. Нас всем классом за- держали, — объяснила она. — Пожалуйста, будь добр, сыг-рай мне «Леди, леди».

— С понедельника начинаются летние каникулы, — радостно вставил Радфорд. — Мы сможем приходить каж- дый день.

— Вот как? Это здорово, — сказал Чарльз. И не просто сказал, а ему в самом деле было приятно. Он поднялся на ноги — большой, добрый великан, — стараясь стряхнуть с себя тяжелое въедливое похмелье. И пошел куда-то на- угад в том направлении, где стоял рояль.

— И мы сможем приходить раньше, — пообещала Пегги.

— Вот и отлично, — отозвался Чарльз.

— Ты не туда идешь, Чарльз, — сказал Радфорд, — Так прямо в дамскую комнату.

— Он еще спит, Радфорд. Стукни его покрепче.

То было, я думаю, хорошее лето — целые дни, напол- ненные звуками Чарльзова рояля. Но точно я не знаю, Радфорд ведь рассказывал мне просто одну историю, а не всю свою автобиографию. Дальше он мне рассказал об од-ном ноябрьском дне. Это было еще в кулиджевские време- на, но в каком именно году, не знаю. Кулиджевые годы все на одно лицо.

День был ясный. Полчаса назад ученики эйджерсбургской начальной школы, отчаянно толкаясь, высыпали из дверей на улицу и разошлись. И теперь Радфорд и Пегги сидели верхом на стропилах нового дома, который как раз строился тогда на Мисс-Пэккер-стрит. Никого из рабочих поблизости не было. И никто не помешал им забраться на самую высокую, самую тонкую балку.

Удобно устроившись на высоте целого этажа над землей, они разговаривали о важных вещах — как пахнет бензин, и какие уши у Роберта Хермансона, и какие зубы у Элис Колдуэлл, и какими камнями удобнее всего швыряться, и о Милтоне Силлзе, и о том, как пускать сигаретный дым через нос, и о людях с дурным запахом изо рта, и о том, какой длины должен быть нож, чтобы зарезать человека.

Они делились друг с другом планами на будущее. Пегги мечтала, когда вырастет, стать санитаркой. И еще киноактрисой. И пианисткой. И потом еще бандиткой — ну вот которые награбят бриллиантов и всяких там сокровищ и обязательно дают немного бедным, если кто уж совсем бедный. Радфорд сказал, что хочет быть только пианистом. Разве что, может, в свободное время он еще будет автомобильным гонщиком, у него уже есть пара отличных защитных очков.

Затем последовало состязание, кто дальше плюнет. Но в самый напряженный момент борьбы проигрывающая сторона выронила из кармана джемпера драгоценную пудренницу без зеркала. Карабкаясь за ней вниз, Пегги сорвалась и, пролетев метра полтора, с ужасным стуком шлепнулась на свежевыструганный деревянный пол.

— Цела? — осведомился ее спутник, и не думая покидать своего места под крышей.

- Ой-ой, Радфорд, голову больно! Умираю!
- Ну да, не ври.
- Нет, умираю. Вот пощупай.
- Стану я спускаться, чтобы щупать твою макушку.
- Ну пожалуйста, — умоляла его дама.

И Радфорд, бормоча себе под нос что-то язвительное о людях, которые не смотрят под ноги, спустился вниз.

Он откинул со лба пострадавшей черные ирландские локоны и деловито спросил:

- Где болит?
- Везде...
- Ну, знаешь, ничего у тебя нет. Не видно даже нарушений кожного покрова.
- Чего не видно?

— Ну, этих... нарушений. Крови там, царапин. Даже шишки нет. — Он поглядел на нее с подозрением и отодвинулся. — Ты, по-моему, вовсе и не головой ударилась.

— Нет, головой. Ты еще посмотри... Вот здесь. Как раз где твоя рука...

— Ничего тут нет. Я полез назад.

— Подожди, — сказала Пегги. — Сначала поцелуй вот здесь. Вот прямо здесь.

— И не подумаю. Очень мне надо целовать твою макушку.

— Ну пожалуйста. Ну хоть здесь. — Пегги ткнула пальцем себе в щеку.

Радфорду надоело, и он с великим и человеколюбивым енисхождением выполнил эту просьбу.

И тут ему было с коварством объявлено:

— Теперь мы помолвлены!

— Еще чего!. Я ухожу. Забегу к старику Чарльзу.

— К нему нельзя. Он ведь сказал, чтоб сегодня не приходить. Он сказал, что у него сегодня гость.

— Ничего, он не рассердится. А уж с тобой-то я здесь все равно не останусь. Плеваться ты не умеешь. Даже сидеть смирно и то не можешь. А пожалеешь тебя, так ты лезешь со всякими нежностями.

— Я ведь не часто лезу с нежностями.

— Я пошел. Пока!

— Погоди! Я с тобой.

Они выбрались с безлюдной, сладко пахнувшей стройки и побрали по осенним улицам к Черному Чарльзу. На Лиственничной улице минут пятнадцать стояли смотрели, как два гневных пожарника снимали с высокого дерева подростка-котенка. Какая-то тетя в японском кимоно противным рассерженным голосом давала указания. Дети послушали ее, поглядели на пожарников и, не сговариваясь, стали болеть за кошку. И она не подкачала. Она вдруг спрыгнула с верхней ветки, шлепнулась прямо на голову одному из пожарников и рикошетом отлетела на соседнюю лиственницу. Радфорд и Пегги задумчиво пошли дальше. Что-то для них навсегда переменилось. Этот день отныне и навечно сохранил для них в себе дерево, все в золоте и багрянце, каску пожарника и котенка, который так умел прыгать — будь здоров!

— Позвоним у двери, — сказал Радфорд. — Сегодня нельзя войти просто так.

Радфорд позвонил, и дверь отворил сам Черный Чарльз — он не только не спал, он был даже побрит. Пегги тут же доложила:

— Ты сказал, чтоб мы сегодня не приходили, но Радфорду захотелось.

— Входите-входите, — сердечно пригласил их Черный Чарльз. Он вовсе не сердился.

Радфорд с Пегги, смущаясь, последовали за ним, ища глазами гостя.

— У меня племянница в гостях, дочка сестры, — сказал Черный Чарльз. — Приехала с матерью из Флориды.

— Она играет на рояле? — спросил Радфорд.

— Она поет, малыш, она поет.

— А почему шторы спущены? — спросила Пегги. — Почему ты не поднял шторы, Чарльз?

— Я там стряпаю на кухне. А вы бы, ребятки, вот взяли и помогли шторы поднять, — сказал Черный Чарльз и снова скрылся на кухне.

Ребята разошлись в разные концы зала и стали двигаться навстречу друг другу, впуская в окна дневной свет. Они больше не смущались. Мысль о госте уже не тревожила их. Если сегодня у Черного Чарльза и находится кто-то посторонний, то это всего лишь его племянница — можно сказать, никто.

Но тут Радфорд дошел до рояля и от неожиданности замер. За роялем кто-то сидел и смотрел на него. Он нечаянно выпустил шнур, и штора сразу подлетела кверху, пошуршала там и только потом замерла.

— И изрек Господь: «Да будет свет», — проговорила взрослая девушка, сидевшая на Чарльзовом месте за роялем. Она была такая же черная, как Чарльз. — Вот так-то, братец, — заключила она примирительно.

На ней было желтое платье и желтая лента в волосах. Впущенный Радфордом солнечный свет упал на ее левую руку — она отбивала что-то медленное и очень прочувствованное на деревянной крышке рояля. В другой руке между длинными, изящными пальцами она держала тлеющий окурок. Она была некрасивая девушка.

— Я шторы поднимаю, — произнес наконец Радфорд.

— Вижу, — сказала девушка. — У тебя это хорошо получается.

Она улыбалась.

Подошла Пегги.

— Здравствуйте, — сказала она и заложила руки за спину.

— Здравствуйте и вы, — ответила девушка; ногой она, Радфорд заметил, тоже что-то отстукивала.

— Мы сюда часто приходим, — сказала Пегги. — Мы с Чарльзом самые лучшие друзья.

— О, вот это здорово, — проговорила девушка и подмигнула Радфорду.

Из кухни вышел Черный Чарльз, на ходу вытирая о полотенце свои большие красивые руки.

— Лида-Луиза, — обратился он к девушке, — это мои друзья, мистер Радфорд и мисс Маргарет. — Потом повернулся к детям: — А это дочка сестры моей мисс Лида-Луиза Джонс.

— Мы знакомы, — сказала его племянница. — Мы встречались у лорда Плюшезада. На прошлой неделе мы вот с ним, — она кивнула в сторону Радфорда, — играли в маджонг на веранде.

— Может, споешь что-нибудь ребяткам? — предложил Чарльз.

Лида-Луиза не отозвалась. Она смотрела на Пегги.

— Вы с ним влюблены? — спросила она.

— Нет, — быстро ответил Радфорд.

— Да, — сказала Пегги.

— А почему тебе так нравится этот мальчик? — Лида-Луиза спрашивала Пегги.

— Не знаю, — ответила Пегги. — Мне нравится, как он стоит в классе у доски.

Такой ответ показался Радфорду возмутительным, но траурные глаза Лиды-Луизы ухватили его и вместе с ним устремились вдаль. Она спросила у Черного Чарльза:

— Дядя, ты слыхал, что говорит эта малютка Маргарет?

— Нет. А что она сказала? — Черный Чарльз поднял крышку рояля и искал что-то на струнах — может, сигареты, а может, пробку от соусницы.

— Она говорит, что она любит вот этого мальчика, потому что ей нравится, как он стоит в классе у доски.

— Правда? — Черный Чарльз высвободил голову из-под крышки рояля. — Спой ребятишкам что-нибудь, Лида-Луиза.

— Ладно. Какую песню они любят?.. Кто, интересно, стянул мои сигареты? Они все время лежали возле меня.

— Ты слишком много куришь Ни в чем меры не знаешь. Пой лучше, — сказал ей дядя. Он уже сидел за роялем. — Спой им «Никто меня не любит».

— Эта песня не для детей.

— Эти дети любят такие песни.

— Тогда ладно, — сказала Лида-Луиза. Она поднялась и стала у рояля сбоку. Она была высокого роста. Радфорд и Пегги уже сидели на полу, им пришло с сильно задрать головы.

— Какой ключ тебе?

Лида-Луиза пожала плечами.

— Да любой, все равно, — сказала она и подмигнула детям. — Зеленый будет лучше всего, подойдет к моим туфлям.

Черный Чарльз взял аккорд, и голос его племянницы влился в него, проскользнув между нот. Она пела «Никто меня не любит». Когда она кончила, у Радфорда по спине бегали мурашки. Кулак Пегги оказался в кармане его куртки. Он не почувствовал, как она его туда засунула, и не стал говорить, чтоб она его вынула.

Теперь, годы спустя, Радфорд, сбиваясь, все старался мне втолковать, что голос Лиды-Луизы описать невозможно, пока я не сказал ему, что у меня есть почти все ее пластинки и я сам это знаю. Но, между прочим, сделать попытку, пожалуй, все-таки стоит.

Голос у Лиды-Луизы был сильный и мягкий. На каждой ноте она по-своему чуть детонировала. Она нежно и ласково раздирала вам душу. Говоря, что голос Лиды-Луизы невозможно описать, Радфорд, вероятно, имел в виду, что его ни с чем нельзя сопоставить. И в этом он прав.

Покончив с «Никто меня не любит», Лида-Луиза наклонилась и подобрала сигареты из-под стула, на котором сидел ее дядя.

— Ах вот вы где были, — сказала она и закурила.

Дети глядели на нее как завороженные.

Черный Чарльз встал.

— А у меня есть холодная грудинка, — провозгласил он. — Кому принести кусочек?

На рождественской неделе Лида-Луиза начала петь по вечерам в кафе своего дяди. В понедельник вечером Радфорд и Пегги оба отпросились из дома — в школу, на лекцию по гигиене. Так что они присутствовали при ее первом выступлении. Черный Чарльз усадил их за крайний столик у самого рояля и поставил перед ними по бутылке ягодной воды, но они оба от волнения не могли пить. Пегги нервно постукивала зубами по жестяной пробке на своей бутылке, а Радфорд до своей бутылки даже не дотронулся. Публика — а там собралась молодежь, съехавшиеся на каникулы студенты — нашла, что «детишки просто прелесть». Все обращали на них внимание, друг другу на них показывали. Часов в девять, когда народу набилось полно, Черный Чарльз вдруг встал из-за рояля и поднял руку. Жест этот, однако, не возымел действий на веселую, презднично гомонящую публику, и тут Пегги, никогда не

отличавшаяся особой изысканностью манер, обернулась и пронзительно крикнула: «Тише вы там!», после чего за столиками наконец угомонились. Чарльз особенно не распространялся.

— У меня гостит дочка сестры, Лида-Луиза, — объявил он, — и она сейчас для вас споет.

После этого он сел, а Лида-Луиза вышла в своем желтом платье и встала возле рояля. Публика вежливо похлопала, явно не ожидая ничего особенного. Лида-Луиза наклонилась к столику Радфорда и Пегги, щелкнула пальцами у Радфорда над ухом и спросила: «Никто меня не любит? И они оба ответили: «Да!»

Лида-Луиза спела эту песню, и все словно вверх дном перевернулось. Пегги так плакала, что, когда Радфорд спросил ее, что с ней, и она сквозь всхлипывания ответила: «Не знаю», он вдруг ни с того ни с сего сказал ей, тоже сам не свой от волнения: «Я тебя очень люблю, Пегги!» — и тогда она так разрыдалась, что пришлось ему отвести ее домой.

Наверное, с полгода выступала Лида-Луиза по вечерам в кафе у Черного Чарльза. Но в конце концов, конечно же, ее услышал Люис Хэрролл Медоуз и увез к себе в Мемфис. Она поехала, хотя что-то не заметно было, чтобы ее особенно волновали открывшиеся ей «блестящие возможности». Но поехать поехала. По мнению Радфорда, она просто думала отыскать кого-то или хотела, чтобы кто-то отыскал ее. Мне это представляется вполне правдоподобным.

Но пока Эйджерсбург не потерял ее, местная молодежь ее превозносила и боготворила. Почти все понимали ей цену, а те, кто не понимал, притворялись, будто понимают. По субботам в городок привозили знакомых поглядеть на нее. Те, кто пописывал для институтских газет, воспевали ее в красноречивой прозе. А если в общежитиях кто-нибудь упоминал в разговоре Вайолет Хенри, или Элис Мэй Старбек, или Принсиплу Джордан, которые тоже пели блюзы и служили предметом поклонения молодежи в Гарлеме, Новом Орлеане или Чикаго, на этих бедняг смотрели презрительно, свысока.  в вашем городе нет Лиды-Луизы, то и говорить с вами не о чём. Да и сами-то вы не многоГО стоите.

В ответ на всю эту любовь и поклонение Лида-Луиза держалась очень, очень хорошо с эйджерсбургскими ребятами. Что бы и сколько бы раз подряд ни просили они ее петь, она чуть улыбалась и говорила: «Славный мотив» — и пела.

В один знаменательный субботний вечер какой-то тип в смокинге — говорили, что он студент из Иеля, — вышел, красуясь, прямо к роялю и спросил у Лиды-Луизы:

— Вы случайно не знаете «Почтовый до Джексонвилля»?

Лида-Луиза быстро взглянула на него, потом поглядела внимательнее и спросила в ответ:

— А вы где слыхали эту песню, молодой человек?

Предполагаемый гость из Иеля ответил:

— Мне ее играл один парень в Нью-Йорке.

— Цветной? — спросила Лида-Луиза.

Студент нетерпеливо кивнул.

— Не Эндиcott Уилсон, не знаете?

— Не знаю я. Небольшого роста. С усиками.

Лида-Луиза кивнула.

— Он в Нью-Йорке сейчас? — спросила она.

— Почем я знаю, где он сейчас. Наверно, там... Так что ж, споете, если вы ее знаете?

Лида-Луиза кивнула и сама уселась за рояль. Она сыграла им и спела «Почтовый до Джексонвилля».

По словам тех, кто ее тогда слышал, это была очень хорошая песня, по крайней мере с оригинальной мелодией. О незадачливом парне, у которого на воротничке сорочки следы губной помады. Она пропела ее тогда до конца и больше, насколько знал Радфорд и насколько знаю я, не пела никогда. И записана эта песня, если я не ошибаюсь, тоже не была.

Тут мы немного углубимся в историю джаза. Лида-Луиза пела в знаменитом Джазовом центре Люиса Хэролда Медоуза на Байл-стрит в Мемфисе неполных четыре месяца. (Начала в конце мая 1927 года и пела до сентября того же года.) Но это как считать: не во времени дело, а в человеке. Лида-Луиза и двух недель не пропела на Байл-стрит, как уже публика стала выстраиваться на улице в очереди за час до начала ее выступления. Компании, выпускающие граммофонные пластинки, стали осаждать ее почти с самого начала. За первый месяц выступлений на Байл-стрит она еще и напела девять пластинок, в том числе «Город улыбок», «Смуглую девчонку», «Парнишку под дождем», «Никто меня не любит» и «Словно в доме родном».

Все, кто имел хоть какое-то отношение к джазу — то есть к настоящему джазу, — приезжали ее послушать, пока она там выступала. Рассел Хайтон, Джон Рэймонд Джуел, Иэззи Феллд, Луи Армстронг, Мач Мак-Найл, Фред-

ди Дженкс, Джек Тигарден, Берни и Морти Голд, Вилли Фукс, Гудмен, Бейдербекк, Джонсон, Эрл Слейгл — одним словом, все.

Однажды в субботу вечером к Медоузу подкатил большой «седан» из Чикаго. Среди тех, кто вылез из машины, были Джо и Санни Вариони. Остальные все, кто был с ними, назавтра утром уехали, а они остались. Они просидели двое суток в гостинице «Пибоди», сочиняя песню. И перед тем, как вернуться в Чикаго, подарили Лиде-Луизе «Малютку Пегги». Это была песня о сентиментальной девочке, которая влюблена в мальчика, стоящего в классе у доски. (Теперь «Малютку Пегги» в исполнении Лиды-Луизы не купишь ни за какие деньги. Там на обороте была запись с изъяном, и компания выпустила всего несколько пластинок.)

Никто не знал наверняка, почему Лида-Луиза ушла от Медоуза и уехала из Мемфиса. Радфорд и кое-кто еще не без основания полагали, что ее отъезд стоял в некоторой, а быть может, и в прямой связи с одним происшествием на углу Бийл-стрит.

В тот день, когда Лида-Луиза ушла от Медоуза, ее видели часов в двенадцать на улице разговаривающей с хорошо одетым цветным джентльменом небольшого роста. Кто бы он ни был, но Лида-Луиза вдруг со всего размаха ударила его сумочкой по лицу. Потом вбежала в ресторан Медоуза, прошмыгнула между официантами и оркестрантами и захлопнула за собой дверь своей уборной. Спустя час она уже собралась и была готова к отъезду.

Она возвратилась в Эйджерсбург. Она не привезла с собою новых шелковых туалетов, не переехала с матерью на новую большую квартиру. Просто возвратилась назад.

В день своего приезда она написала Радфорду и Пегги записку. Вероятно, по наущению Черного Чарльза — который, как и все в Эйджерсбурге, побаивался Радфордова отца,— она послала ее на адрес Пегги. Там было написано:

«Дорогие малыши. Я вернулась, и у меня для вас есть несколько отличных новых песен, так что заходите поскорее, повидаемся.

Искренне ваша
мисс Лида-Луиза Джонс».

Как раз в сентябре, когда Лида-Луиза возвратилась в Эйджерсбург, Радфорда отправляли в закрытую школу. Перед его отъездом Черный Чарльз, Лида-Луиза, мать Лиды-Луизы и Пегги устроили ему прощальный пикник.

В субботу утром, часов в одиннадцать, Радфорд зашел за Пегги. Тут их подобрал Черный Чарльз в своем старом, с вмятинами автомобиле и вывез за город к Таккетову ручью.

Черный Чарльз сказочным ножом разрезал веревки, которыми были обвязаны соблазнительные коробки. Пегги специализировалась по холодной грудинке. Радфорд больше любил жареных цыплят. А Лиза-Луиза принадлежала к тем, кто укусит раз другой куриную ногу — и тут же заскирывает сигарету.

Дети ели, пока на еду не наползали муравьи, тогда Черный Чарльз, оставив последний кусок грудинки для Пегги и последнее цыплячье крыышко для Радфорда, снова аккуратно перевязал все коробки.

Миссис Джонс растянулась на траве и уснула. Черный Чарльз с Лизой-Луизой сели играть в казино. У Пегги с собой были открытки с портретами Ричарда Бартелмесса, Ричарда Дикса и Реджинальда Денни. Она расставила их на солнце, прислонив к стволу дерева, и любовалась своими сокровищами. А Радфорд лежал в траве на спине и смотрел, как большие ватные облака скользили по небу. Любопытно, что, когда облака наплывали и затмевали солнце, он закрывал глаза, но тут же снова открывал, как только оно, освобожденное, начинало рдеть сквозь опущенные веки. Кто его знает, а вдруг, пока он лежит с закрытыми глазами, наступит конец мира?

И конец мира наступил. Его мира, во всяком случае.

Он услышал короткий жуткий женский вопль. Рывком обернувшись, он увидел, что Лиза-Луиза катается по траве, держась за свой худой, втянутый живот. Черный Чарльз неловко пытался повернуть ее к себе, как-нибудь изменить неестественное положение, которое приняло ее схваченное мукой тело. Лицо у него было серое.

Радфорд и Пегги очутились подле них в одно и то же время.

— Что она ела? Что она могла съесть? — истерично допрашивала миссис Джонс брата.

— Ничего! Она почти ничего не ела, — отвечал подавленно Чарльз. Он все пытался что-то сделать с неестественно изогнутым телом Лизы-Луизы.

Тут у Радфорда мелькнуло какое-то воспоминание. Что-то такое из отцовской «Первой помощи для американцев». Он, волниясь, шлепнулся на колени и двумя пальцами нажал Лизе-Луизе на живот. Она откликнулась нечеловеческим воплем.

— Это аппендиц. У нее лопнул аппендиц. Или вот-

вот лопнет, — сказал он Черному Чарльзу. — Ее надо скорее в больницу.

Уразумев по крайней мере часть из сказанного, Черный Чарльз кивнул.

— Бери ее за ноги, — приказал он сестре.

Миссис Джонс, однако, на пути к машине выпустила из рук свой конец ноши. Радфорд и Пегги оба ухватили по ноге, и с их помощью Черный Чарльз втащил стонущую девушки на переднее сиденье. Радфорд и Пегги забрались туда же. Пегги поддерживала голову Лиды-Луизы. Миссис Джонс осталась одна сидеть на заднем сиденье. И оттуда неслись стоны куда более громкие, чем те, что издавала ее дочь.

— Везем ее к «Самаритянину». На Бентон-стрит, — сказал Радфорд Черному Чарльзу.

Руки у Черного Чарльза так дрожали, что он не мог включить мотор. Радфорд просунул руку между спицами рулевого колеса и включил зажигание. Машина тронулась.

— «Самаритянин» — это ведь частная больница, — заметил Черный Чарльз, заскрежетав рукояткой скоростей.

— Ну и что? Только скорее. Скорее, Чарльз.

Радфорд подсказал ему, когда перевести на вторую, когда на третью. Только на одно у Чарльза самого хватило соображения: гнать все время на повышенной скорости.

Пегги гладила Лиде-Луизе лоб. Радфорд следил за дорогой. Миссис Джонс на заднем сиденье не переставая причитала. Лида-Луиза лежала у детей на коленях с закрытыми глазами и стонала, стонала... Наконец машина доехала до больницы «Самаритянин», в полутора милях от речки.

— Подъезжай с главного входа, — успел подсказать Радфорд.

Черный Чарльз оглянулся на него.

— С главного входа, малыш? — переспросил он.

— Да с главного же, с главного, — повторил Радфорд, в нетерпении шлепнув его по колену.

Черный Чарльз послушно описал полукруг по гравию у главного подъезда и затормозил перед высокими белыми дверьми. Радфорд, не открывая дверцы, выкарабкался через верх из машины и взлетел по ступеням в больницу.

В вестибюле за столом регистратуры сидела медсестра в наушниках.

— Там привезли Лиду-Луизу, она умирает, — зачастил он, встав перед ней. — Ей нужно немедленно удалить аппендикс.

— Т-ш-ш, — махнула ему сестра, слушая наушники.
— Будьте добры. Я же вам говорю, она умирает.
— Ш-ш-ш.

Радфорд стянул с нее наушники.

— Простите, — сказал он, — нужно, чтобы кто-нибудь пошел с нами, помог вынести ее из машины. Она умирает.

— Это которая певица? — спросила сестра.

— Ну да! Лиза-Луиза, — многозначительно повторил мальчик, почти счастливый от гордости.

— Очень сожалею, но правила в нашей больнице не допускают приема пациентов-негров. Мне очень жаль... Минуту Радфорд стоял с разинутым ртом.

— Будьте добры вернуть мои наушники, — невозмутимо промолвила сестра. Ее не так-то просто было вывести из себя.

Радфорд выпустил ее наушники, повернулся и выбежал вон из больницы.

Он снова влез в машину и распорядился:

— Едем в Джейферсоновскую, угол Лиственничной и Фентон-стрит.

Черный Чарльз не сказал ничего. Он снова включил мотор и рывком пустил машину с места.

— А в чем дело? «Самаритянин» ведь хорошая больница, — недоумевала Пегги, не переставая гладить лоб Лизы-Луизы!

— Нет, плохая, — отрезал Радфорд, глядя прямо перед собой, чтобы не встретиться нечаянно глазами с Черным Чарльзом.

Машина повернула на Фентон-стрит и остановилась перед зданием больницы, названной именем Джейферсона. Радфорд опять вскочил на дорожку, сопровождаемый на этот раз Пегги.

Внутри был такой же стол регистратуры, но за ним сидела не медсестра, а мужчина — санитар в белом парусиновом костюме. Он читал газету.

— Будьте добры, скорее. Там у нас в машине женщина, она умирает. Наверно, аппендиц у нее лопнул. Только поскорее, пожалуйста.

Санитар вскочил, газета упала на пол. Он поспешил за Радфордом.

Радфорд открыл дверцу автомобиля и отступил в сторону. Санитар увидел бледное, искаженное мукой лицо Лизы-Луизы на коленях у Черного Чарльза.

— О! М-м, я ведь сам не доктор. Подождите минутку.

— Да помогите же нам ее внести! — заорал на него Радфорд.

— Минутку, — повторил санитар. — Я сейчас позову дежурного хирурга.

И зашагал прочь, с показной непринужденностью засунув руку в карман куртки.

Радфорд и Пегги уже приоровились было поднимать больную, но теперь отпустили ее. И бросились вслед за служителем, Радфорд первый, Пегги за ним. Они настигли его в тот момент, когда он как раз подошел к щитку звонков. Рядом стояли две медсестры и женщина с мальчиком, у которого было забинтовано горло.

— Слушайте, вы. Я знаю. Вы не хотите ее брать. Да!

— Подождите мину-то-чку, сказано вам. Я звоню дежурному хирургу... Ну-ка, отпусти мою куртку. Тут ведь больница, мой милый.

— Можете не звонить, — сквозь зубы проговорил Радфорд. — Можете никого не звать. Мы повезем ее в другую больницу, в хорошую больницу. В Мемфис.

И, полуослепший от ярости, он повернулся к дверям.

— Пошли, Пегги.

Но Пегги покинула поле боя лишь минуту спустя. Дрожа с ног до головы, она сказала всем, кто был в приемной:

— Гады вы! Гады вы все!

И побежала за Радфордом.

Машина снова тронулась в путь. Но до Мемфиса они так и не доехали. Они не проехали и полпути.

Произошло это так.

Голова Лиды-Луизы лежала у Радфорда на коленях. Пока машина ехала, глаза ее оставались закрытыми. Но вдруг, впервые за всю поездку, Черный Чарльз затормозил перед красным светом. В остановившемся автомобиле Лида-Луиза открыла глаза и посмотрела на Радфорда.

— Эндикиотт? — спросила она.

Мальчик посмотрел на нее и ответил как можно громче:

— Да, дорогая, я здесь!

Лида-Луиза улыбнулась, закрыла глаза и умерла.

У рассказа не бывает конца. Разве что какое-нибудь подходящее место, где рассказчик может умолкнуть.

Радфорд и Пегги были на похоронах Лиды-Луизы. На завтра утром Радфорд уехал в свою закрытую школу. И больше в течение пятнадцати лет он Пегги не видел. Отец его вскоре переехал в Сан-Франциско, женился и поселился там. Радфорду так и не пришлось больше побывать в Эйджерсбурге.

Он встретился с Пегги весной 1942 года. Он как раз

отработал год ординатуры в Нью-Йорке. И ждал теперь, чтобы его призвали в армию.

Как-то вечером он сидел в Пальмовом зале отеля «Балтимор» и поджидал свою знакомую, с которой условился там встретиться. Сзади него какой-то женский голос во всеуслышание пересказывал роман Тэйлора Колдуэлла. Голос принадлежал южанке, но выговор у нее был вовсе не тягучий, не в нос и даже распевный только в меру. Радфорд решил, что она, всего верней, из Теннесси. Обернулся. Это была Пегги. Не понадобилось даже второго взгляда.

Минуту он сидел, соображая, что он ей скажет; в том случае, конечно, если вообще встанет и подойдет к ее столику — покрыв дистанцию в пятнадцать лет. Пока он размышлял, Пегги его заметила. Никогда ничего заранее не обдумывавшая, она вскочила и подошла к его столику.

— Радфорд?

— Да...

Он встал:

Без тени смущения Пегги сердечно чмокнула его в щеку.

Они посидели немного за столиком Радфорда, поговорили о том, как это удивительно, что они друг друга узнали, и как они оба отлично выглядят. Потом Радфорд пошел с нею к ее столику. Там сидел ее муж.

Звали мужа Ричард и как-то еще по фамилии, он был военный летчик. Росту в нем было метра два с половиной, и в руке он держал театральные билеты, или пилотские очки, а может быть, копье. Будь у Радфорда револьвер, он пристрелил бы его на месте.

Они все трое уселись за низенький столик, и Пегги восторженно спросила:

— Радфорд, ты помнишь тот дом на Мисс-Пэккер-стрит?

— Разумеется, помню.

— А знаешь, кто в нем теперь живет? Айва Хаббел с мужем!

— Кто-кто? — переспросил Радфорд.

— Айва Хаббел! Ну помнишь, из нашего класса. Такая без подбородка, еще ябедничала на всех...

— Кажется, помню, — сказал Радфорд. — Хотя ведь пятнадцать лет... — добавил он значительно.

Пегги повернулась к мужу и долго вводила его в курс дела с этим домом на Мисс-Пэккер-стрит. Он слушал с застывшей улыбкой на устах.

— Радфорд, — вдруг сказала Пегги. — А Лида-Луиза?

— Что — Лида-Луиза, Пегги?

— Не знаю, так. Я все время думаю о ней. — Она не повернулась к мужу с объяснениями. — И ты тоже? — спросила она Радфорда.

Он кивнул:

— Во всяком случае, часто.

— Я в колледже все время заводила ее пластинки. А потом один пьяный дурак наступил на мою «Малютку Пегги». Я проплакала всю ночь. Потом у меня был один знакомый, он играл в джазе у Джека Тигардена, так у него была эта пластинка, но он ни за что не соглашался мне ее ни подарить, ни продать. Я ее так с тех пор и не слышала даже.

— У меня она есть.

— Дорогая, — деликатно вмешался муж Пегги, — я не хочу вас прерывать, но ведь ты знаешь, какой у Эдди характер. Я же сказал ему, что мы будем.

Пегги кивнула.

— И она у тебя здесь, с собой? — спросила она. — В Нью-Йорке?

— Да. На квартире у моей тетки. Хочешь послушать?

— Когда? — спросила Пегги.

— Да когда угодно...

— Детка. Прости, пожалуйста. Пойми. Сейчас уже полчетвертого. И если...

— Радфорд, — сказала Пегги. — Мы должны бежать. Слушай, ты не мог бы позвонить мне завтра? Мы остановились в этом отеле. Позвонишь? Ну пожалуйста, — умоляющим голосом произнесла Пегги, пока муж закутывал ее в манто.

Радфорд расстался с Пегги, пообещав, что назавтра позвонит.

Однако он не позвонил. И так никогда с ней больше не виделся.

Он почти и не заводил эту пластинку в сорок втором году. Она уже вся была поцарапана и заняграна. Даже не узнаешь, что это Лида-Луиза.

Хорошо ловится рыбка-бананка

В гостинице жили девяносто семь ньюйоркцев, агентов по рекламе, и они так загрузили междугородный телефон, что молодой женщине из 507-го номера пришлось ждать полдня, почти до половины третьего, пока ее соединили. Но она не теряла времени зря. Она прочла статейку в

женском журнальчике — карманный формат! — под заглавием «Секс — либо радость, либо — ад!». Она вымыла гребенку и щетку. Она вывела пятнышко с юбки от бежевого костюма. Она переставила пуговку на новой блузке. Она вышипнула два волосика, выросшие на родинке. И когда телефонистка наконец позвонила, она, сидя на диванчике у окна, уже кончала покрывать лаком ногти на левой руке.

Но она была не из тех, кто бросает дело из-за какого-то телефонного звонка. По ее виду можно было подумать, что телефон так и звонил без перерыва с того дня, как она стала взрослой.

Телефон звонил, а она наносила маленькой кисточкой лак на ноготь мизинца, тщательно обводя лунку. Потом завинтила крышку на бутылочке с лаком и, встав, помахала в воздухе левой, еще не просохшей, рукой. Другой, уже просохшей, она взяла переполненную пепельницу с диванчика и перешла с ней к ночному столику — телефон стоял там. Сев на край широкой, уже оправленной кровати, она после пятого или шестого сигнала подняла телефонную трубку.

— Алло, — сказала она, держа поодаль растопыренные пальчики левой руки и стараясь не касаться ими белого шелкового халатика — на ней больше ничего, кроме туфель, не было — кольца лежали в ванной.

— Даю Нью-Йорк, миссис Гласс, — сказала телефонистка.

— Хорошо, спасибо, — сказала молодая женщина и поставила пепельницу на ночной столик.

Послышался женский голос:

— Мюриель? Это ты?

Молодая особа отвела трубку от уха:

— Да, мама. Здравствуй, как вы все поживаете?

— Безумно за тебя волнуюсь. Почему не звонила? Как ты, Мюриель?

— Я тебе пробовала звонить и вчера, и позавчера вечером. Но телефон тут...

— Ну как ты, Мюриель?

Мюриель еще немного отодвинула трубку от уха:

— Чудесно. Только жара ужасающая. Такой жары во Флориде не было уже...

— Почему ты мне не звонила? Я волновалась, как...

— Мамочка, милая, не кричи на меня, я великолепно тебя слышу. Я пыталась дозвониться два раза. И сразу после...

— Я уже говорила папе вчера, что ты, наверно, будешь

вечером звонить. Нет, он все равно... Скажи, как ты, Мюриель? Только правду!

— Да все чудесно. Перестань спрашивать одно и то же...

— Когда вы приехали?

— Не помню. В среду утром, что ли.

— Кто вел машину?

— Он сам, — ответила дочь. — Только не ахай. Он правил осторожно. Я просто удивилась.

— Он сам правил? Но, Мюриель, ты мне дала честное слово...

— Мама, я же тебе сказала, — перебила дочь, — он правил очень осторожно. Кстати, не больше пятидесяти в час, ни разу...

— А он не фокусничал — ну, помнишь, как тогда, с деревьями?

— Мамочка, я же тебе говорю — он правил очень осторожно. Перестань, пожалуйста. Я его просила держаться посреди дороги, и он послушался, он меня понял. Он даже старался не смотреть на деревья, видно было, как он старается. Кстати, папа уже отдал ту машину в ремонт?

— Нет еще. Запросили четыреста долларов за одну только...

— Но, мамочка, Симор обещал папе, что он сам заплатит. Не понимаю, чего ты...

— Посмотрим, посмотрим. А как он себя вел в машине и вообще?

— Хорошо, — сказала дочь.

— Он тебя не называл этой ужасной кличкой?..

— Нет. Он меня зовет по-новому.

— Как?

— Да не все ли равно, мама!

— Мюриель, мне необходимо знать. Папа говорил...

— Ну ладно, ладно! Он меня называет Святой бродяжка выпуска 1948 года, — сказала дочка и рассмеялась.

— Ничего тут нет смешного, Мюриель. Абсолютно не смешно. Это ужасно. Нет, это просто очень грустно. Когда подумаешь, как мы...

— Мама, — прервала ее дочь, — погоди, послушай. Помнишь ту книжку, он ее прислал мне из Германии? Помнишь, какие-то немецкие стихи? Куда я ее девала? Ломаю голову и не могу...

— Она у тебя.

— Ты уверена?

— Конечно. То есть она у меня. У Фредди в комнате,

Ты ее тут оставила, а места в шкафу... В чем дело? Она ему нужна?

— Нет. Но он про нее спрашивал по дороге сюда. Все допытывался — читала я ее или нет.

— Но книга немецкая!

— Да, мамочка. А ему все равно, — сказала дочь и зажинула ногу на ногу. — Он говорит, что стихи написал единственный великий поэт нашего века. Он сказал: надо было мне хотя бы достать перевод. Или выучить немецкий — вот, пожалуйста!

— Ужас. Ужас! Нет, это так грустно... Папа вчера говорил...

— Одну секунду, мамочка! — сказала дочь. Она пошла к окну — взять сигареты с диванчика, закурила и снова села на кровать. — Мама? — сказала она в трубку, выпуская дым.

— Мириель, выслушай меня внимательно.

— Слушаю.

— Папа говорил с доктором Сиветским...

— Ну? — сказала дочь.

— Он все ему рассказал. По крайней мере так он мне говорит, но ты знаешь папу. И про деревья. И про историю с окошком. И про то, что он сказал бабушке, когда она обсуждала, как ее надо будет хоронить, и что он сделал с этими чудными цветными открыточками, помнишь, Бермудские острова, словом, про все.

— Ну? — сказала дочь.

— Ну и вот. Во-первых, он сказал — сущее преступление, что военные врачи выпустили его из госпиталя, честное слово! Он определенно сказал папе, что не исключено, совсем не исключено, что Симор может совершенно потерять способность владеть собой. Честное благородное слово.

— А здесь в гостинице есть психиатр, — сказала дочь.

— Кто? Как фамилия?

— Не помню. Ризер, что ли. Говорят, очень хороший врач.

— Никогда не слыхала!

— Это еще не значит, что он плохой.

— Не дерзи мне, Мириель, пожалуйста! Мы ужасно за тебя волнуемся. Папа даже хотел дать тебе вчера телеграмму, чтобы ты вернулась домой, и потом...

— Нет, мамочка, домой я пока не вернусь, успокойся!

— Мириель, честное слово, доктор Сиветский сказал, что Симор может окончательно потерять...

— Мама, мы только что приехали. За столько лет я в

первый раз по-настоящему отдохну, не стану же я хватать вещички и лететь домой. Да и не могла бы сейчас ехать. Я так обожглась на солнце, что еле кожу.

— Ты обожглась? И сильно? Отчего же ты не мазалась «Бронзовым кремом» — я тебе положила в чемодан? Он в самом...

— Мазалась, мазалась. И все равно сожглась.

— Вот ужас! Где ты обожглась?

— Вся, мамочка, вся, с ног до головы.

— Вот ужас!

— Ничего, выживу.

— Скажи, а ты говорила с этим психнатором?

— Да, немножко.

— Что он сказал? И где в это время был Симор?

— В Морской гостиной, играл на рояле. С самого приезда он оба вечера играл на рояле.

— Что же сказал врач?

— Ничего особенного. Он сам заговорил со мной. Я сидела рядом с ним — мы играли в «бинго», и он меня спросил — это ваш муж играет на рояле в той комнате? Я сказала — да, и он спросил, не болел ли Симор недавно. И я сказала...

— А почему он вдруг спросил?

— Не знаю, мама. Наверно, потому, что Симор такой бледный, худой. В общем, после «бинго» он и его жена пригласили меня чего-нибудь выпить. Я согласилась. Жена у него чудовище. Помнишь то жуткое вечернее платье, мы его видели в витрине у Бонвита? Ты еще сказала, что для такого платья нужна топенка-претоненка...

— То зеленое?

— Вот она и была в нем. А бедра у нее! Она все ко мне приставала — не родня ли Симор той Сюзанне Гласс, у которой мастерская на Мэдисон-авеню — шляпы.

— А он-то что говорил? Этот доктор?

— Да так, ничего особенного. И вообще мы сидели в баре, шум ужасный.

— Да, но все-таки ты ему сказала, что он хотел сделать с бабусиным креслом?

— Нет, мамочка, никаких подробностей я ему не рассказывала. Но может быть, удастся с ним еще поговорить. Он целыми днями сидит в баре.

— А он не говорил, что может так случиться — ну, в общем, что у Симора появятся какие-нибудь странности? Что это для тебя опасно?

— Да нет, — сказала дочь. — Видишь ли, мама, для этого ему нужно собрать всякие данные. Про детство и

всякое такое. Я же сказала — мы почти не разговаривали; в баре стоял ужасный шум.

— Ну что ж... А как твое синее пальтишко?

— Ничего. Прокладку в плечах пришлось вынуть.

— А как там вообще одеваются?

— Ужасающе. Ни на что не похоже. Всюду блестки — бог знает что такое.

— Номер у вас хороший?

— Ничего. Вполне терпимо. Тот номер, где мы жили до войны, нам не достался, — сказала дочь. — Публика в этом году жуткая. Ты бы посмотрела, с кем мы сидим рядом в столовой. Прямо тут же, за соседним столиком. Вид такой, будто они приехали на грузовике.

— Сейчас везде так. Юбочку носишь?

— Она слишком длинная. Я же тебе говорила.

— Мюриель, ответь мне в последний раз — как ты? Все в порядке?

— Да, мамочка! — сказала дочка. — В сотый раз — да!

— И тебе не хочется домой?

— Нет, мамочка, нет!

— Папа вчера сказал, что он готов дать тебе денег, чтобы ты уехала куда-нибудь одна и все хорошенько обдумала. Ты могла бы совершить чудесное путешествие на пароходе. Мы оба считаем, что тебе...

— Нет, спасибо, — сказала дочь и села прямо. — Мама, этот разговор влетит...

— Только подумать, как ты ждала этого мальчишку всю войну, то есть только подумать, как все эти глупые молодые жены...

— Мамочка, давай прекратим разговор. Симор вот-вот придет.

— А где он?

— На пляже.

— На пляже? Один? Он себя прилично ведет на пляже?

— Слушай, мама, ты говоришь про него, словно он буйно помешанный.

— Ничего подобного, Мюриель, что ты!

— Во всяком случае, голос у тебя такой. А он лежит на песке, и все. Даже халат не снимает.

— Не снимает халат? Почему?

— Не знаю. Наверно, потому что он такой бледный.

— Боже мой! Но ведь ему необходимо солнце! Ты не можешь его заставить?

— Ты же знаешь Симора, — сказала дочь и снова скрестила ножки. — Он говорит — не хочу, чтобы всякие дураки глазели на мою татуировку.

— Но у него же нет никакой татуировки! Или он в армии себе что-нибудь наколол?

— Нет, мамочка, нет, миленькая, — сказала дочь и встала. — Знаешь что, давай я тебе позову завтра.

— Мюриель! Выслушай меня. Только внимательно.

— Слушаю, мамочка. — Она переступила с ноги на ногу.

— В ту же секунду, как только он скажет или сделает что-нибудь странное — ну, ты меня понимаешь, немедленно звони. Слышишь?

— Мама, но я не боюсь Симора.

— Мюриель, дай мне слово...

— Хорошо. Даю. До свидания, мамочка! Поцелуй папу. — И она повесила трубку.

— Сими Гласс, Семиглаз, — сказала Сибилла Карпентер, жившая в гостинице со своей мамой. — Где Семиглаз?

— Кисонька, перестань, ты маму замучила. Стой смирно, слышишь?

Миссис Карпентер растирала маслом покрасневшие плечики Сибиллы, спинку и худенькие, похожие на крыльшки лопатки. Сибилла, кое-как удерживаясь на огромном, туго надутом мячике, сидела, глядя на океан. На ней был желтенький, как канарейка, купальник — трусики и лифчик, хотя в ближайшие девять-десять лет она еще прекрасно могла бы обойтись и без лифчика.

— Обыкновенный шелковый платочек, но это заметно только вблизи, — объяснила женщина, сидевшая в кресле рядом с миссис Карпентер. — Интересно, как это она умудрилась так его завязать. Прелесть что такое.

— Да, наверно, мило, — сказала миссис Карпентер. — Сибилочка, кисонька, сиди смироно.

— А где мой Семиглаз? — спросила Сибилла.

Миссис Карпентер вздохнула.

— Ну вот, — сказала она. Она завинтила крышку на бутылочке с маслом. — Беги теперь, киска, играй. Мамочка пойдет в отель и выпьет мартини с миссис Хаббел. А оливку принесет тебе.

Вырвавшись на волю, Сибилла стремглав добежала до пляжа, потом свернула к Рыбающему павильону. По дороге она остановилась, брыкнула ножкой мокрый, развалившийся песчаный дворец и скоро очутилась далеко от курортного пляжа.

Она прошла с четверть мили и вдруг понеслась бегом, прямо к дюнам на берегу. Она добежала до места, где на спине лежал молодой человек, и остановилась.

— Пойдешь купаться, Сими Гласс? — спросила она.
Молодой человек вздрогнул, схватился рукой за отвороты купального халата. Потом перевернулся на живот, и скрученное колбасой полотенце упало с его глаз. Он прищурился на Сибиллу.

— А, привет, Сибилочка!
— Пойдешь купаться?
— Только тебя и ждал, — сказал тот. — Какие новости?
— Чего? — спросила Сибилла.
— Новости какие? Что в программе?
— Мой пapa завтра прилетит на ариплане! — сказала Сибилла, подкидывая ножкой песок.

— Только не мне в глаза, крошка! — сказал молодой человек, придерживая Сибиллину ножку. — Да, пора бы твоему папе приехать. Я его жду не дождусь. Считаю часы.

— А где та тетя? — спросила Сибилла.

— Та тетя? — Молодой человек стряхнул песок с негустых волос. — Трудно сказать, Сибилочка. Она может быть в тысяче мест. Скажем, у парикмахера. Красится в рыжий цвет. Или у себя в комнате — шьет кукол для бедных деток. — Он все еще лежал ничком и теперь, скав кулаки, поставил один кулак на другой и оперся на него подбородком. — Ты лучше спроси меня что-нибудь попроще, Сибилочка, — сказал он. — До чего у тебя костюмчик красивый, прелесть. Больше всего на свете люблю синие купальнички.

Сибилла посмотрела на него, потом — на свой выпяченный животик.

— А он желтый, — сказала она, — он вовсе желтый.
— Правда? Ну-ка подойди!
Сибилла сделала шагок вперед.
— Ты совершенно права. Дурак я, дурак!
— Пойдешь купаться? — спросила Сибилла.
— Надо обдумать. Имей в виду, Сибилочка, что я серьезно обдумываю это предложение.

Сибилла ткнула ногой надувной матрасик, который ее собеседник подложил под голову вместо подушки.

— Надуть надо, — сказала она.
— Ты права. Вот именно — надуть, и даже сильнее, чем я намеревался до сих пор.

Он вынул кулаки и уперся подбородком в песок.
— Сибилочка, — сказал он, — ты очень красивая. Приятно на тебя смотреть. Расскажи мне про себя. — Он протянул руки и обхватил Сибиллины щиколотки. — Я Коерог, — сказал он. — А ты кто?

— Шэрон Липшиц говорила — ты ее посадил к себе

на рояльную табуретку, — сказала Сибилла.

— Неужели Шэрон Липшиц так и сказала?

Сибилла энергично закивала.

Он выпустил ее ножки, скрестил руки и прижался щекой к правому локтю.

— Ничего не поделаешь, — сказал он, — сама знаешь, как это бывает, Сибильочка. Сижу, играю. Тебя нигде нет. А Шэрон Липшиц подходит и забирается на табуретку рядом со мной. Что же мне — столкнуть ее, что ли?

— Столкнуть.

— Ну нет. Нет! Я на это не способен. Но знаешь, что я сделал, угадай!

— Что?

— Я притворился, что это ты.

Сибилла сразу нагнулась и начала копать песок.

— Пойдем купаться! — сказала она.

— Так и быть, — сказал ее собеседник. — Кажется, на это я способен.

— В другой раз ты ее столкни! — сказала Сибилла.

— Кого это?

— Шэрон Липшиц.

— Ах, Шэрон Липшиц! Как это ты все время про нее вспоминаешь? Мечты и сны...

Он вдруг вскочил на ноги, взглянул на океан.

— Слушай, Сибильочка, знаешь, что мы сейчас сделаем? Попробуем поймать рыбку-бананку.

— Кого?

— Рыбку-бананку, — сказал он и развязал пояс халата. Он снял халат. Плечи у него были белые, узкие, плавки — ярко-синие. Он сложил халат сначала пополам, в длину, потом свернул втрое. Развернув полотенце, которым перед тем закрывал себе глаза, он разостлал его на песке и положил на него свернутый халат. Нагнувшись, он поднял надувной матрасик и засунул его под мышку. Свободной левой рукой он взял Сибиллу за руку.

Они пошли к океану.

— Ты-то уж наверняка не раз видела рыбок-бананок? — спросил он.

Сибилла покачала головкой.

— Не может быть. Да где же ты живешь?

— Не знаю, — сказала Сибилла.

— Как это не знаешь? Не может быть! Шэрон Липшиц это знает, где она живет, а ей тоже всего три с половиной.

Сибилла остановилась и выдернула руку. Потом подняла ничем не приметную ракушку и стала рассматривать с подчеркнутым интересом. Потом бросила ее.

— Шошновый лес, Коннектикут, — сказала она и пошла дальше, выпятив животик.

— Шошновый лес, Коннектикут, — повторил ее спутник. — А это случайно не около Соснового леса в Коннектикуте?

Сибилла посмотрела на него.

— Я там живу! — сказала она нетерпеливо. — Я живу Шошновый лес, Коннектикут. — Она пробежала несколько шагков, подхватила левую ступню левой же рукой и за-прыгала на одной ножке.

— До чего ты все хорошо объяснила, просто чудно, — сказал ее спутник.

Сибилла сняла руку со ступни.

— Ты читал «Негритенок Самбо»? — спросила она.

— Как странно, что ты меня об этом спросила, — сказал ее спутник. — Понимаешь, только вчера вечером я его дочитал. — Он нагнулся, взял ручонку Сибиллы. — Тебе понравилось? — спросил он.

— А тигры бегали вокруг дерева?

— Да-а, я даже подумал: когда же они остановятся? В жизни не видел столько тигров.

— Их всего шесть, — сказала Сибилла.

— Всего? — переспросил он. — По-твоему, это мало?

— Ты любишь воск? — спросила Сибилла.

— Что? — переспросил он.

— Ну, воск.

— Очень люблю. А ты?

Сибилла кивнула.

— Ты любишь оливки? — спросила она.

— Оливки? Ну еще бы! Оливки с воском. Я без них ни шагу.

— Ты любишь Шэрон Липшиц? — спросила девочка.

— Да. Да, конечно, — сказал ее спутник. — И особенно я ее люблю за то, что она никогда не обижает собачек у нас в холле, в гостинице. Например, карликового бульдожку той дамы, из Канады. Ты, может быть, не поверишь, но есть такие девочки, которые любят тыкать в этого бульдожку палками. А вот Шэрон — никогда. Никого она не обижает, не дразнит. За это я ее и люблю.

Сибилла промолчала.

— А я люблю жевать свечки, — сказала она наконец.

— Это все любят, — сказал ее спутник, пробуя воду ногой. — Ух, холодная! — Он опустил надувной матрасик на воду. — Нет, погоди, Сибиллочка. Давай пройдем по-дальше.

Они пошли вброд, пока вода не дошла Сибилле до пояс-

са. Тогда молодой человек поднял ее на руки и положил на матрасик.

— А ты никогда не носишь купальной шапочки, не закрываешь головку? — спросил он.

— Не отпускай меня! — приказала девочка. — Держи крепче!

— Простите, мисс Кэрпентер. Я свое дело знаю, — сказал ее спутник. — А ты лучше смотри в воду, карауль рыбку-бананку. Сегодня отлично ловится рыбка-бананка.

— А я их не вижу, — сказала девочка.

— Вполне понятно. Это очень странные рыбки. Очень странные. — Он толкал матрасик вперед. Вода еще не дошла ему до груди. — И жизнь у них грустная, — сказал он. — Знаешь, что они делают, Сибиллочка?

Девочка покачала головкой.

— Понимаешь, они заплывают в пещеру, а там — куча бананов. Посмотреть на них, когда они туда заплывают, — рыбы как рыбы. Но там они ведут себя просто по-свински. Одна такая рыбка-бананка заплыла в банановую пещеру и съела там семьдесят восемь бананов. — Он подтолкнул плотик с пассажиркой еще дальше к горизонту. — И конечно, они от этого так раздуваются, что им никак не выплыть из пещеры. В дверь не пролезают.

— Дальше не надо, — сказала Сибилла. — А после что?

— Когда после? О чём ты?

— О рыбках-бананках.

— Ах, ты хочешь сказать — после того как они так наедаются бананов, что не могут выбраться из банановой пещеры?

— Да, — сказала девочка.

— Грустно мне об этом говорить, Сибиллочка. Умирают они.

— Почему? — спросила Сибилла.

— Заболевают банановой лихорадкой. Страшная болезнь.

— Смотри, волна идет, — сказала Сибилла с тревогой.

— Давай ее не замечать, — сказал он, — давай презирать ее. Мы с тобой гордецы. — Он покрепче захватил Сибиллины щиколотки и прижал ее ножки к плоту. Плотик подняло на гребень волны. Вода залила светлые волосики Сибиллы, но в ее визге слышался только восторг.

Когда плотик выровнялся, она отвела со лба прилипшую мокрую прядку и заявила:

— А я ее видела!

— Кого, радость моя?

— Рыбку-бананку.

— Не может быть! — сказал ее спутник. — А у нее были во рту бананы?

— Да, — сказала Сибилла. — Шесть.

Молодой человек вдруг схватил мокрую ножку Сибиллы — она свесила ее с плотика — и поцеловал пятку.

— Фу! — сказала она.

— Сама ты «фу»! Поехали назад. Хватит с тебя?

— Нет!

— Жаль, жаль, — сказал он и подтолкнул плотик к берегу, где Сибилла спрыгнула на песок. Он взял плотик под мышку и понес на берег.

— Прощай! — крикнула Сибилла и, даже не обернувшись, побежала к гостинице.

Молодой человек надел халат, плотнее запахнул отвороты и сунул полотенце в карман. Он поднял мокрый, скользкий, неудобный матрасик и взял его под мышку. Потом побрел по горячему мягкому песку к гостинице.

В подвальном этаже — дирекция отеля просила купальщиков подыматься наверх только оттуда — какая-то женщина с намазанным цинковой мазью носом вошла в лифт вместе с молодым человеком.

— Я вижу, вы смотрите на мои ноги, — сказал он, когда лифт подымался.

— Простите, не расслышала, — сказала женщина.

— Я сказал: вижу, вы смотрите на мои ноги.

— Простите, но я смотрела на пол, — сказала женщина и отвернулась к дверцам лифта.

— Хотите смотреть мне на ноги, так и скажите, — буркнул молодой человек. — Зачем это вечное притворство, черт возьми?

— Выпустите меня, пожалуйста, — торопливо сказала женщина лифтерше.

Дверцы лифта открылись, и женщина вышла не оглянувшись.

— Ноги у меня совершенно нормальные, не вижу никакой причины, чтобы так на них глазеть, — сказал молодой человек. — Пятый, пожалуйста. — И он вынул ключ от номера из кармана халата.

Выходя на пятом этаже, он прошел по коридору и открыл своим ключом двери 507-го номера. Там пахло новыми кожаными чемоданами и лаком для ногтей.

Он посмотрел на молодую женщину — та спала на широкой кровати. Он подошел к своему чемодану, открыл его и достал из-под груды рубашек и трусов трофейный пистолет. Он вынул обойму, посмотрел на нее, потом вло-

жил обратно. Он взвел курок. Потом подошел к другому краю кровати, сел, посмотрел на молодую женщину, поднял пистолет и пустил себе пулю в правый висок.

Лапа-растяпа

Почти до трех часов Мэри Джейн искала дом Элоизы. И когда та вышла ей навстречу к въезду, Мэри Джейн объяснила, что все шло отлично, что она помнила дорогу совершенно точно, пока не свернула с Меррик-Паркуэй.

— Не Меррик, а Меррит, деточка! — сказала Элоиза и тут же напомнила Мэри Джейн, что она уже дважды приезжала к ней сюда, но Мэри Джейн что-то невнятно простонала насчет салфеток и бросилась к своей машине. Элоиза подняла воротничок верблюжьего пальто, повернулась спиной к ветру и осталась ждать. Мэри Джейн тут же возвратилась, вытирая лицо бумажной салфеточкой, но это не помогло — вид у нее все равно был какой-то растерпанный, даже грязный. Элоиза весело сообщила, что завтрак сгорел к чертям — и сладкое мясо и все вообще, — но оказалось, что Мэри Джейн уже перекусила по дороге. Они пошли к дому, и Элоиза поинтересовалась, почему Мэри Джейн сегодня свободна. Мэри Джейн сказала, что у нее вовсе не весь день свободный, просто у мистера Вайнбурга грыжа и он сидит дома, в Ларчмонте, а ее дело — возить ему вечером почту и писать под диктовку письма.

— А что такое грыжа, не знаешь? — спросила она Элоизу. Элоиза бросила сигарету себе под ноги, на грязный снег, и сказала, что в точности она не знает, но Мэри Джейн может не беспокоиться — это не заразное. — Ага, — сказала Мэри Джейн, и они вошли в дом.

Спустя двадцать минут они уже допивали в гостиной первую порцию виски с содовой и вели разговор, какой ведут только бывшие подруги по колледжу или соседки по общежитию. Правда, между ними была еще более прочная связь: обе ушли из колледжа, не окончив его. Элоизе пришлось уйти со второго курса, в 1942 году, через неделю после того, как ее застали на третьем этаже общежития в закрытом лифте с солдатом. А Мэри Джейн в том же году, с того же курса, чуть ли не в том же месяце вышла замуж за курсанта джексонвилльской летной школы в штате Флорида — это был худенький мальчик из Дилла, штат Миссисипи, влюбленный в авиацию. Два месяца из своего трехмесячного брака с Мэри Джейн он просидел в

тюрьме за то, что пырнул ножом сержанта из военного патруля.

— Нет-нет, — говорила Элоиза, — совершенно рыжая.

Она лежала на диване, скрестив худые, но очень стройные ножки.

— А я слыхала, что блондинка, — повторила Мэри Джейн. Она сидела в синем кресле. — Эта, как ее там, жизнью клялась, что блондинка.

— Ну прямо! — Элоиза широко зевнула. — Она же красилась чуть ли не при мне. Что ты? Сигареты кончились?

— Ничего, у меня есть целая пачка. Только где она? — сказала Мэри Джейн, шаря в сумке.

— Эта идиотка нянька, — сказала Элоиза не двигаясь, — час назад я у нее под носом выложила два нераспечатанных блока. Вот увидишь, сейчас явится и спросит, куда их девать. Черт, так про что это мы говорили?

— Про эту Тирингер, — подсказала Мэри Джейн, закуривая сигарету.

— Ага, верно. Так вот, я точно помню. Она выкрасилась вечером, накануне свадьбы, она же вышла за этого Фрэнка Хенке! Помнишь его?

— Ну как же не помнить, помню, конечно. Такой задрипанный солдатишко. Ужасно некрасивый, верно?

— Некрасивый? Мать родная! Да он был похож на немытого Белу Лугози!

Мэри Джейн расхохоталась, запрокинув голову.

— Здорово сказано! — проговорила она и снова наклонилась к стакану.

— Дай-ка твой стакан, — сказала Элоиза и спустила на пол ноги в одних чулках. — Ох, эта идиотка нянька! И чего я только не делала, честное слово, чуть не заставила Лью с ней целоваться, лишь бы она поехала с нами сюда, за город. А теперь жалею. Ой, откуда у тебя эта штучка?

— Эта? — Мэри Джейн тронула камею у ворота. — Господи, да она у меня со школы. Еще мамина.

— Чертова жизнь, — сказала Элоиза, держа пустые стаканы. — А мне хоть бы кто что оставил — ни черта, вносить нечего. Если когда-нибудь моя свекровь окочурится — дождешься, как же! — она мне, наверное, завещает свои старые щипцы для льда с монограммой!

— А ты с ней теперь ладишь? — спросила Мэри Джейн.

— Тебе все шуточки! — сказала Элоиза, уходя на кухню.

— Я больше не хочу, слышишь? — крикнула ей вслед Мэри Джейн.

— Черта с два! Кто кому называнивал по телефону? Кто опоздал на два часа? Теперь сиди, пока мне не надоест. А карьера твоя пусть катится к чертовой маме!

Мэри Джейн опять захочотала, мотая головой, но Элоиза уже вышла на кухню.

Когда Мэри Джейн стало скучно сидеть одной в комнате, она встала и подошла к окну. Откинув занавеску, она взялась было рукой за раму, но вымазала пальцы угольной пылью, вытерла их о другую ладонь и отодвинулась от окна. Подмерзло, слякоть на дворе постепенно переходила в гололед. Мэри Джейн опустила занавеску и пошла к своему синему креслу, мимо двух набитых до отказа книжных шкафов, даже не взглянув на корешки книжек. Усевшись в кресло, она открыла сумочку и стала рассматривать в зеркальце свои зубы. Потом скжала губы, крепко провела языком по верхним зубам и снова посмотрелась в зеркальце.

— Гололедица началась, — сказала она оборачиваясь. — Ого, как ты быстро. Не разбавляла, что ли?

Элоиза остановилась, в руках у нее были полные стаканы. Она вытянула указательные пальцы, как автоматы, и сказала:

— Ни с места! Ваш дом оцеплен.

Мэри Джейн опять захочотала и убрала зеркальце.

Элоиза подошла к ней со стаканом. Неловким движением она поставила стакан гостьи на подставку, но свой из рук не выпустила. Растворившись на диване, она сказала:

— Догадайся, что эта нянька делает? Расселась своим толстым черным задом и читает «Облачение». Я нечаянно уронила подносик со льдом из холодильника, а она на меня как взглянет — помешала ей, видите ли!

— Это последний, слышишь? — сказала Мэри Джейн и взяла стакан. — Да, угадай, кого я видела на прошлой неделе? В главном зале, в универмаге?

— А? — сказала Элоиза и подсунула себе под голову диванную подушку. — Акима Тамирова?

— Кого-о-о? — удивилась Мэри Джейн. — Это еще кто?

— Ну, Аким Тамиров. В кино играет. Он еще так по-тешно говорит: «Шутыши, всо шутыши, э?» Обожаю его... Ох, черт, в этом проклятом доме ни одной удобной подушки нет. Так кого ты видела?

— Джексон. Она шла...

— Это какая Джексон?

— Ну, не знаю... Та, что была с нами в семинаре по психологии. Она еще вечно...

- Обе они были с нами в семинаре.
— Ну, знаешь, с таким огромным...
— А-а, Марсия Луиза. Мне она тоже как-то показалась.
Наверно, заговорила тебя до обморока?
— Спрашиваешь! Но вот что она мне рассказала: доктор Уайтинг умерла. Говорит, Барбара Хилл ей писала, что у доктора Уайтинг прошлым летом нашли рак, вот она и умерла. А весу в ней было всего шестьдесят два фунта. Перед смертью, понимаешь. Ужас, правда?
- А мне-то что?
— Фу, какая ты стала элюка, Элоиза!
— М-да. Ну, а еще что она рассказывала?
— Говорит, только что вернулась из Европы. Муж у нее служил где-то в Германии, что ли, она там была с ним. Дом, говорит, у них был в сорок семь комнат, кроме них, еще одна семья и десять слуг. Своя верховая лошадь, а ихний конюх раньше служил у Гитлера, чуть ли не личный его шталмейстер. Да, и еще она мне стала рассказывать, как ее чуть не изнасиловал солдат-негр. Понимаешь, стоим в универмаге, главном зале, а она во весь голос — ты же ее знаешь, эту Джексон. Говорит, он служил у мужа шофером, повез ее утром на рынок или еще куда. Говорит, до того перепугалась, что даже не могла...
- Погоди минутку! — Элоиза подняла голову, повысила голос: — Рамона, ты?!
- Я, — ответил детский голосок.
- Закрой, пожалуйста, двери хорошенъко! — крикнула Элоиза.
- Рамона пришла? Умираю, хочу ее видеть! Ведь я ее не видела с тех самых пор...
- Рамона! — крикнула Элоиза, зажмурив глаза. — Ступай на кухню, пусть Грэйс снимет с тебя ботики!
- Ладно, — сказала Рамона. — Пойдем, Джимми!
- Умираю, хочу ее видеть, — сказала Мэри Джейн. — Боже! Смотри, что я натворила. Прости меня, Эл.
- Бросы! Да брось же! — сказала Элоиза. — Мне этот гиусный ковер и так опротивел. Погоди, я тебе налью еще.
- Нет, нет, смотри, у меня больше половины осталось. — И Мэри Джейн подняла стакан.
- Не хочешь? — сказала Элоиза. — Дай-ка мне сигарету.
- Мэри Джейн протянула ей свою пачку и повторила:
- Умираю, хочу ее видеть. На кого она похожа?
- Элоиза зажгла спичку:
- На Акима Тамирова.
- Нет, я серьезно.

— На Лью. Вылитый Лью. А когда его мамаша является, они все как тройняшки. — Не вставая, Элоиза потянулась к пепельницам, сложенным стопкой на дальнем углу курительного столика. Ей удалось снять верхнюю и поставить себе на живот. — Мне бы собаку завести, спаниеля, что ли, — сказала она, — пусть хоть кто-нибудь в семье будет похож на меня.

— А как у нее с глазками? — спросила Мэри Джейн. — Хуже не стало?

— Господи, да почем я знаю?

— Но без очков она видит или нет? Ну, например, почью, если надо встать в уборную?

— Да разве она скажет? Скрытная, чертенок, как не знаю что.

Мэри Джейн обернулась.

— Ну, здравствуй, Рамона! — сказала она. — Ах, какое платьице! — Она поставила стакан. — Да ты меня, на-верно, и не помнишь, Рамона?

— Как это не помнит? Кто эта тетя, Рамона?

— Мэри Джейн, — сказала Рамона и почесалась.

— Молодец! — сказала Мэри Джейн. — Ну поцелуй же меня, Рамона!

— Перестань сейчас же! — сказала Рамоне Элоиза.

Рамона перестала чесаться.

— Ну поцелуй же меня, Рамона, — повторила Мэри Джейн.

— Не люблю целоваться.

Элоиза презрительно фыркнула и спросила:

— А где твой Джимми?

— Тут.

— Кто такой Джимми? — спросила Мэри Джейн у Элоизы.

— Господи боже, да это же ее кавалер. Ходит за ней. Всегда они вместе. Все как у людей.

— Нет, правда? — восторженно спросила Мэри Джейн. Она наклонилась к Рамоне. — У тебя есть кавалер, Рамона?

В близоруких глазах Рамоны за толстыми стеклами очков не отразилось ни тени восторга, звучавшего в голосе Мэри Джейн.

— Мэри Джейн тебя спрашивает, Рамона, — сказала Элоиза.

Рамона засунула палец в широкий курносый носик.

— Не смей! — сказала Элоиза. — Мэри Джейн спрашивает, есть у тебя кавалер или нет?

— Есть, — сказала Рамона, ковыряя в носу.

— Рамона! — сказала Элоиза. — Перестань сейчас же.
Слышишь? Кому говорят?

Рамона опустила руку.

— Нет, правда, это чудесно! — сказала Мэри Джейн. — А как его звать? Скажи мне, как его зовут, Рамона? Или это секрет?

— Джимми, — сказала Рамона.

— Ах Джимми! Как я люблю это имя! Джимми, а дальше как, Рамона?

— Джимми Джиммирино, — сказала Рамона.

— Не вертись! — сказала Элоиза.

— О-о, какое интересное имя! А где сам Джимми?
Скажи, Рамона, где он?

— Тут, — сказала Рамона.

Мэри Джейн оглянулась вокруг, потом посмотрела на Рамону с самой нежной улыбкой.

— Где тут, солнышко?

— Тут, — сказала Рамона. — Я его держу за руку.

— Ничего не понимаю, — сказала Мэри Джейн Элоизе.
Та допила виски.

— А я тут при чем? — сказала она.

Мэри Джейн обернулась к Рамоне:

— Ах, поняла! Ты просто придумала себе маленького мальчика, Джимми. Какая прелесть! — Мэри Джейн приветливо наклонилась к Рамоне. — Здравствуй, Джимми! — сказала она.

— Да разве он станет с тобой разговаривать! — сказала Элоиза. — Рамона, ну-ка расскажи Мэри Джейн про Джимми.

— Что про Джимми?

— Не вертись, стой прямо, слышишь... Расскажи Мэри Джейн, какой он, твой Джимми.

— У него глаза зеленые, а волосы черные.

— Еще что?

— Папы-мамы нет.

— Еще что?

— Веснушек нет.

— А что есть?

— Сабля.

— А еще что?

— Не знаю, — сказала Рамона и снова стала почесываться.

— Да он просто красавец! — сказала Мэри Джейн и еще ближе наклонилась вперед. — Скажи, Рамона, а Джимми тоже снял ботики, когда вы пришли?

— Он в сапогах, — сказала Рамона.

— Нет, это просто прелесты! — сказала Мэри Джейн.

— Тебе хорошо говорить. А мне целыми днями терпеть. Джимми с ней ест, Джимми с ней купается, Джимми спит на ее кровати. Она и ложится-то с самого краю, чтобы его нечаянно не толкнуть.

Мэри Джейн сосредоточенно закусила губу, выражая полное восхищение, потом спросила: — Откуда она взяла это имя?

— Джимми Джиммирино? Кто ее знает...

— Наверно, так зовут какого-нибудь соседского мальчишку?

Элоиза зевнула и покачала головой.

— Нет тут никаких соседских мальчишек. Тут вообще ребят нету. Меня и то зовут «соседка-наседка», конечно, не в глаза, а...

— Мам, можно поиграть во дворе? — спросила Рамона. Элоиза покосилась на нее; — Ты же только что пришла.

— Джимми хочет туда.

— Это еще зачем?

— Саблю забыл.

— О черт, опять Джимми, опять эти дурацкие выдумки. Ладно. Ступай. Ботики не забудь.

— Можно взять это? — Рамона взяла обгорелую спичку из пепельницы.

— Взять, а не взять. Бери. На улицу не выходи, слышишь?

— До свидания, Рамона! — ласково пропела Мэри Джейн.

— ...сиданя. Пошли, Джимми!

Элоиза вдруг вскочила, покачнулась: — Дай-ка твой стакан!

— Не надо, Эл, ей-богу! Меня ведь ждут в Ларчмонте. Мистер Вейнбург такой добрый, я никак не могу...

— Позвони, скажи, что тебя зарезали. Ну, давай стакан, слышишь?

— Не надо, Эл, честное слово. Тут еще подмораживает... А у меня и антифриза почти не осталось. Понимаешь, если я...

— Ну и пусть все замерзает к чертям. Иди звони. Сообщи, что ты умерла, — сказала Элоиза. — Ну, давай стакан.

— Что с тобой делать... Где у вас телефон?

— А вот он куда забрался, — сказала Элоиза, выходя с пустыми стаканами в столовую. — Во-он где. — Она вдруг остановилась на пороге столовой, споткнулась и пригнула ногой. Мэри Джейн только хихикнула.

— А я тебе говорю — не знала ты Уолта, — говорила Элоиза в четверть пятого, лежа на ковре и держа стакан с коктейлем на невысокой, почти мальчишеской груди. — Никто на свете не умел так смешить меня. До слез, понастоящему. — Она взглянула на Мэри Джейн. — Помнишь тот вечер, в последний семестр, как мы хохотали, когда эта психованная Луиза Германсон влетела к нам в одном бюстгальтере черном, она еще купила его в Чикаго, помнишь?

Мэри Джейн громко прыснула. Она лежала ничком на диване, опервшись подбородком на валик, чтобы лучше видеть Элоизу. Стакан с коктейлем стоял на полу, рядом.

— А как он умел меня рассмешить, — сказала Элоиза. — Смешил, когда просто говорили. Смешил по телефону. Даже в письмах смешил до упаду. И самое главное, он и не старался нарочно, просто с ним всегда было так весело, так смешно. — Она повернула голову к Мэри Джейн. — Будь другом, брось мне сигаретку.

— Никак не дотянусь, — сказала Мэри Джейн.

— Ну, шут с тобой. — Элоиза опять уставилась в потолок. — А как-то раз я упала, — сказала она. — Ждала его, как всегда, на автобусной остановке, около самого обшегития, и он почему-то опоздал, пришел, а автобус уже тронулся. Мы побежали, я грохнулась и растянула связку. Он говорит: «Бедный мой лапа-растяпа!» Это он про мою ногу. Так и сказал: «Бедный мой лапа-растяпа!..» Господи, до чего ж он был милый!

— А разве у твоего Лью нет чувства юмора? — спросила Мэри Джейн.

— Что?

— Разве у Лью нет чувства юмора?

— А черт его знает! Наверно, есть, не знаю. Смеется, когда смотрит карикатуры и всякое такое. — Элоиза приподняла голову с ковра и, сняв стакан с груди, отпила глоток.

— Нет, все-таки это еще не все, — сказала Мэри Джейн. — Этого мало. Понимаешь, мало.

— Чего мало?

— Ну... сама знаешь... Если тебе с человеком весело и все такое...

— А кто тебе сказал, что этого мало? — сказала Элоиза. — Жить надо весело, не в монашки же мы постриглись, ей-богу!

Мэри Джейн захохотала.

— Нет, ты меня уморишь! — сказала она.

— Господи боже, до чего он был милый, — сказала Элоиза. — То смешной, то ласковый. И не то чтобы прелестный, как все эти дураки мальчишки, нет, он и ласковый был по-своему. Знаешь, что он однажды сделал?

— Ну? — сказала Мэри Джейн.

— Мы ехали поездом из Трентона в Нью-Йорк — его только что призвали. В вагоне холода, мы оба укрылись моим пальто. Помню, на мне еще был джемпер — я его взяла у Джойс Морроу, — помнишь, такой чудный синий джемперок?

Мэри Джейн кивнула, но Элоиза даже не поглядела на нее.

— Ну вот, а его рука как-то очутилась у меня на животе. Понимаешь, просто так. И вдруг он мне говорит: у тебя животик до того красивый, что лучше бы сейчас какой-нибудь офицер приказал мне высунуть другую руку в окошко. Говорит: хочу, чтоб все было по справедливости. И тут он убрал руку и говорит проводнику: «Не сутультесь! Не выношу», — говорит, — людей, которые не умеют носить форму с достоинством». А проводник ему говорит: «Спите, пожалуйста».

Элоиза помолчала, потом сказала: — Важно не то, что он говорил, важно, как он это говорил.

— А ты своему Лью про него рассказывала? Вообще рассказывала?

— Ему? — сказала Элоиза. — Да, я как-то упомянула, что был такой. И знаешь, что он прежде всего спросил? В каком он был звании?

— А в каком?

— И ты туда же! — сказала Элоиза.

— Да нет же, я просто так...

Элоиза вдруг рассмеялась грудным смехом.

— Знаешь, что Уолт мне как-то сказал? Сказал, что он, конечно, продвигается в армии, но не в ту сторону, что все. Говорит: когда его повысят в звании, так вместо того, чтоб дать ему нашивки, у него срежут рукава. Говорит, пока дойду до генерала, меня догола разденут. Только и останется, что медная пуговка на пупе.

Элоиза посмотрела на Мэри Джейн — та даже не улыбнулась.

— По-твоему, не смешно?

— Смешно, конечно. Только почему ты не рассказываешь про него своему Лью?

— Почему? Да потому что Лью — тушица каких свет не видел, вот почему, — сказала Элоиза. — Мало того. Я тебе вот что скажу, деловая барышня. Если ты еще раз

выйдешь замуж, никогда ничего мужу не рассказывай. Поняла?

— А почему? — спросила Мэри Джейн.

— Потому. Ты меня слушай, — сказала Элоиза. — Им хочется думать, что тебя от каждого знакомого мальчишки всю жизнь с души воротило. Я не шучу, понятно? Да, конечно, можешь им рассказывать что угодно. Но правду — никак, ни за что! Понимаешь, правду — ни за что! Скажешь, что была знакома с красивым мальчиком, обязательно добавь, что красота у него была какая-то славная. Скажешь, что знала остроумного парня, непременно тут же объясни, что он был трепло или задавака. А не скажешь, так он тебе будет колоть глаза этим мальчиком при всяком удобном случае... — Элоиза остановилась, отпила глоток из стакана и задумалась. — Да, конечно, он тебя выслушает очень разумно, как полагается. И физиономия у него будет умная до черта. А ты не поддавайся. Ты меня слушай. Стоит только поверить, что они умные, у тебя не жизнь будет, а сущий ад.

Мэри Джейн явно расстроилась, подняла голову с диванного валика и для разнообразия оперлась на локоть, уткнув подбородок в ладонь. Видно, она обдумывала совет Элоизы.

— Но не будешь же ты отрицать, что Лью — умный? — сказала она вслух.

— Как это не буду?

— А разве он не умный? — невинным голоском спросила Мэри Джейн.

— Слушай! — сказала Элоиза. — Что толку болтать впустую? Давай бросим. Я тебе только настроение испорчу. Не слушай меня.

— Чего ж ты за него вышла замуж? — спросила Мэри Джейн.

— Матерь божия! Да почем я знаю. Говорил, что любит романы Джейн Остин. Говорил — эти книги сыграли большую роль в его жизни. Да, да, так и сказал. А когда мы поженились, я все узнала: оказывается, он ни одного ее романа и не открывал. Знаешь, кто его любимый писатель?

Мэри Джейн покачала головой.

— Л. Мэннинг Вайнс. Слыхала про такого?

— Не-ет!

— Я тоже. И никто его не знает. Он написал целую книжку про каких-то людей, как они умерли с голода на Аляске, — их было четверо. Лью и названия книжки не помнит, но говорит, она изумительно написана! Видала?

Не хватает честности прямо сказать, что ему просто нравится читать, как эти четверо подыхают с голоду в этом самом йглу или как оно там называется. Нет, ему надо выставляться, говорить — изумительно написано!

— Тебе бы все критиковать, — сказала Мэри Джейн. — Понимаешь, слишком ты все критикуешь. А может, на самом деле книга хорошая.

— Ни черта в ней хорошего, поверь мне! — сказала Элоиза. Потом подумала и добавила: — У тебя хоть работа есть. Понимаешь, хоть работа...

— Нет, ты послушай, — сказала Мэри Джейн. — Может, ты все-таки расскажешь ему когда-нибудь, что Уолт погиб? Понимаешь, не станет же он ревновать, когда узнает, что Уолт — ну, сама знаешь. Словом, что он погиб.

— Ах ты моя миленькая! Дурочка ты моя невинная, а еще карьеру делаешь, бедняжечка! — сказала Элоиза. — Да тогда будет в тысячу раз хуже! Он из меня кровь выпьет. Ты пойми. Сейчас он только и знает, что я дружила с каким-то Уолтом — с каким-то остряком-солдатиком. Я ему ни за что не скажу, что Уолт погиб. Ни за что на свете. А если скажу — что вряд ли, — так скажу, что он убит в бою.

Мэри Джейн приподняла голову, потерлась подбородком об руку.

— Эл... — сказала она.

— Ну?

— Почему ты мне не расскажешь, как он погиб? Клянусь, я тебя никому не выдам. Честное благородное. Ну пожалуйста!

— Нет

— Ну пожалуйста. Честное благородное. Никому.

Элоиза допила виски и поставила стакан прямо на грудь.

— Ты расскажешь Акиму Тамирову, — проговорила она.

— Да что ты! То есть я хочу сказать — ни за что, никому...

— Понимаешь, его полк стоял где-то на отдыхе, — сказала Элоиза. — Передышка между боями, что ли, так в письме было, мне его друг написал. Уолт с одним парнем упаковывали японскую переносную печку. Их полковник хотел ее отослать домой. А может, распаковывали, вынимали из ящика, чтобы перепаковать, — точно не знаю. Словом, в ней было полно бензина и всякой чертовщины — она и взорвалась прямо у них в руках. Тому, второму, только глаз выбило. — Элоиза вдруг заплакала и крепко

обхватила пальцами пустой стакан, чтобы он не опрокинулся ей на грудь.

Соскользнув с дивана, Мэри Джейн на коленях ползла к Элоизе и стала гладить ее по голове: — Не плачь, Эл, не надо, не плачь!

— Разве я плачу? — сказала Элоиза.

— Да-да, понимаю. Не надо. Теперь уж не стоит, не надо.

Стукнула парадная дверь.

— Рамона явилась, — протянула Элоиза в нос. — Сделай милость, пойди на кухню и скажи этой самой, как ее, чтобы она накормила ее пораньше. Ладно?

— Ладно, ладно, только ты не плачи! Обещаешь?

— Обещаю. Ну иди же! А мне неохота сейчас идти в эту чертову кухню.

Мэри Джейн встала, пошатнулась, выпрямилась и вышла из комнаты. Вернулась она минуты через две, впереди бежала Рамона. Бежала она, стуча пятками, стараясь как можно громче шлепать расстегнутыми ботиками.

— Ни за что не дает снять ботики! — сказала Мэри Джейн.

Элоиза, так и не поднявшись с полу, лежала на спине и сморкалась в платок. Не отнимая платка, она сказала Рамоне:

— Ступай, скажи Грэйс, пусть снимет с тебя боты. Ты же знаешь, что нельзя в ботиках...

— Она в уборной, — сказала Рамона.

Элоиза скомкала платок и с трудом села.

— Дай ногу! — сказала она. — Нет, ты сядь, слышишь?.. Да не там, тут, тут... Ох, мать божия!

Мэри Джейн ползла под столом на коленях, ища сигареты.

— Слушай, знаешь, что случилось с Джимми? — сказала она.

— Понятия не имею. Другую ногу! Слышишь, другую ногу! Ну!..

— Попал под машину! — сказала Мэри Джейн. — Какой ужас, правда?

— А я видела Буяна с косточкой, — сказала Рамона.

— Что там с твоим Джимми? — спросила ее Элоиза.

— Его переехала машина, он умер. Я хотела отнять косточку у Буяна, а он не отдавал...

— Дай-ка лоб, — сказала Элоиза. Она дотронулась до лобика Рамоны. — Да у тебя жар. Ступай скажи Грэйс, чтобы покормила тебя наверху. И сразу в кровать. Я потом приду. Иди же, иди, пожалуйста. И забери ботинки.

Медленно, как на ходулях, Рамона прошагала к две-
рям.

— Брось-ка мне сигаретку! — попросила Элоиза. — И давай еще выпьем!

Мэри Джейн подала Элоизе сигаретку. — Нет, ты толь-
ко подумай! Как она про этого Джимми! Вот это фантазия!

— Угу. Пойди-ка налей нам. А лучше неси бутылку
сюда. Не хочу я туда идти... Там так противно пахнет
апельсиновым соком.

В пять минут восьмого зазвонил телефон. Элоиза встала с кушетки у окна и начала в темноте нашупывать свои туфли. Найти их не удалось. В одних чулках она медленно, томной походкой направилась к телефону. Звонок не разбудил Мэри Джейн — уткнувшись лицом в подушку, она спала на диване.

— Алло, — сказала Элоиза в трубку; верхний свет она не включила. — Слушай, я за тобой не приеду. У меня Мэри Джейн. Она загородила своей машиной выезд, а ключа найти не может. Невозможно выехать. Мы двадцать ми-
нут искали ключ — в этом самом, как его, в снегу, в грязи. Может, Дик и Милдред тебя подвезут? — Она послушала, потом сказала: — Ах так. Жаль, жаль, дружок. А вы бы, мальчики, построились в шеренгу и марш-марш до-
мой! Только командуй: левой, правой! Левой, правой! Те-
бя — командиром. — Она опять послушала. — Вовсе я не острю, — сказала она, — ей-богу, и не думаю. Это у меня чисто нервное. — И она повесила трубку.

Обратно в гостиную она шла уже не так уверенно. По-
дойдя к кушетке у окна, она вылила остатки виски из бу-
тылки в стакан; вышло примерно с полпальца, а то и больше. Она выпила залпом, передернулась и села.

Когда Грэйс включила свет в столовой, Элоиза вздрог-
нула. Не вставая, она крикнула Грэйс:

— До восьми не подавайте, мистер Венглер немножко
опоздает.

Грэйс остановилась на пороге столовой, лампа освещала ее сзади.

— Ушла ваша гостья? — спросила она.

— Нет, отдыхает.

— Та-ак, — сказала Грэйс. — Миссис Венглер, нельзя бы моему мужу переночевать тут? Места у меня в комна-
те хватит, а ему в Нью-Йорк до утра не надо, да и пого-
да — хуже нет

— Вашему мужу? А где он?

— Да тут, — сказала Грэйс, — у меня на кухне сидит.

— Нет, Грэйс, ему тут ночевать нельзя.

— Как вы сказали, мэм?

— Ему тут ночевать нельзя. У меня не гостиница.

Грэйс на минуту застыла, потом сказала: — Слушаю, мэм, — и вышла на кухню.

Элоиза прошла через столовую и поднялась по лестнице, куда падал смутный от свет из столовой. На площадке валялся Рамонин ботик. Элоиза подняла его и с силой швырнула через перила вниз. Ботик с глухим стуком шлепнулся на пол.

В Рамониной детской она включила свет, крепко держась за выключатель, словно боялась упасть. Так онаостояла минуту, уставившись на Рамону. Потом выпустила выключатель и торопливо подошла к кроватке.

— Рамона! Проснисы! Проснись сейчас же!

Рамона спала на самом краешке кроватки, почти сев сидя задник через край. На столике, разрисованном утятами, лежали стеклами вверх очки с аккуратно сложенными дужками.

— Рамона!

Девочка проснулась с испуганным вздохом. Она широко раскрыла глаза и тут же сощурилась: — Мам?

— Ты же сказала, что Джимми Джиммирино умер, что он попал под машину?

— Чего?

— Слышишь, что я говорю? Почему ты опять спишь в краю?

— Потому.

— Почему «потому», Рамона, я тебя серьезно спрашиваю, не то...

— Потому что не хочу толкать Микки.

— Кого-о?

— Микки, — сказала Рамона и почесала нос. — Микки Микеранно.

Голос у Элоизы сорвался до визга: — Сию минуту ложись посередке! Ну!

Рамона испуганно уставилась на мать.

— Ах так! — Элоиза схватила Рамону за ножки и, приподняв их, не то перетащила, не то перебросила ее на середину кровати. Рамона не сопротивлялась, не плакала, она дала себя передвинуть, но сама не пошевельнулась.

— А теперь спи! — сказала Элоиза, тяжело дыша. — Закрой глаза... Что я тебе сказала, закрой сию минуту!

Рамона закрыла глаза.

Элоиза подошла к выключателю, потушила свет. В две ряда она остановилась и долго-долго не уходила. И вдруг

метнулась в темноте к ночному столику, ударила коленкой о ножку кровати, но сгоряча даже не почувствовала боли. Схватив обеими руками Рамонины очки, она прижала их к щеке. Слезы ручьем покатились на стекла.

— Бедный мой лапа-растяпа! — повторяла она снова и снова. — Бедный мой лапа-растяпа!

Потом положила очки на столик, стеклами вниз. Наклоняясь, она чуть не потеряла равновесие, но тут же стала подтыкать одеяло на кроватке Рамоны. Рамона не спала. Она плакала, и, видно, плакала уже давно. Мокрыми губами Элоиза поцеловала ее в губы, убрала ей волосы со лба и вышла из комнаты.

Спускаясь с лестницы, она уже сильно пошатывалась и, сойдя вниз, стала будить Мэри Джейн.

— Что? Кто это? Что такое? — Мэри Джейн рывком села на диване.

— Слушай, Мэри Джейн, милая, — всхлипывая, сказала Элоиза. — Помнишь, как на первом курсе я надела плащевое, помнишь, такое коричневое с желтеньkim, я его купила в Бойсе, а Мириам Белл сказала — таких платьев в Нью-Йорке никто не носит, помнишь, я всю ночь проплакала?

Элоиза схватила Мэри Джейн за плечо.

— Я же была хорошая, — умоляюще сказала она, — правда, хорошая?

Перед самой войной с эскимосами

Пятую субботу подряд Джинни Мэннокс играла по утрам в теннис на ист-сайдском корте с Селиной Графф, своей соученицей по школе мисс Бейсхор. Джинни не скрывала, что считает Селину самой жуткой занудой во всей школе — а у мисс Бейсхор зануд было предостаточно, — но, с другой стороны, из всех знакомых Джинни одна только Селина приносила на корт непочатые жестянки с теннисными мячами. Отец Селины их изготавлял — что-то вроде того. (Однажды за обедом Джинни изобразила семейству Мэннокс сцену обеда у Граффов; в созданной ее воображением картине фигурировал и вышколенный лакей — он обходил обедающих с левой стороны, поднося каждому вместо стакана с томатным соком жестянку с мячиками.) Но эта история с такси — каждый раз после тенниса Джинни довозила Селину до дома, а потом должна была выкладывать деньги за проезд одна — начинала

действовать ей на нервы. Ведь, в конце концов, мысль о том, чтобы возвращаться с корта на такси, а не автобусом, подала Селина. И на пятый раз, когда машина двинулась вверх по Йорк-авеню, Джинни вдруг прорвало.

— Слушай, Селина...

— Что? — спросила Селина, сосредоточенно шаря под ногами. — Никак не найду чехла от ракетки! — проныла она.

Несмотря на теплую майскую погоду, обе девочки были в пальто, накинутых поверх шорт.

— Он у тебя в кармане, — сказала Джинни. — Эй, послушай-ка...

— О господи! Ты меня просто спасла!

— Слушай, — повторила Джинни, которой вовсе не требовалась благодарность Селины, ни в коей мере.

— Ну что?

Джинни решила идти напролом. Они подъезжали к улице, где жила Селина.

— Мне это не светит — опять выкладывать за такси свои денежки, — объявила Джинни. — Я, знаешь ли, не миллионерша.

Селина приняла сперва удивленный вид, потом обиженный.

— Но ведь я всегда плачу половину, скажешь нет? — спросила она самым невинным тоном.

— Нет, — отрезала Джинни. — Ты заплатила половину в первую субботу, где-то в начале прошлого месяца. А с тех пор — ни разу. Я не хочу зажиматься, но, по правде говоря, мне выдают всего четыре пятьдесят в неделю. И из них я должна...

— Но ведь я всегда приношу теннисные мячи, скажешь нет? — огрызнулась Селина.

Иногда Джинни готова была убить Селину.

— Твой отец их изготавляет — или как там еще, — оборвала она ее. — Они же тебе ни гроша не стоят. А мне приходится платить буквально за каждую...

— Ладно, ладно, — громко сказала Селина, давая понять, что разговор окончен и последнее слово осталось за ней. Потом со скучающим видом принялась шарить в карманах пальто.

— У меня всего тридцать пять центов, — холодно сообщила она. — Этого хватит?

— Нет. Прости, но за тобой доллар шестьдесят пять. Я каждый раз замечала, сколько...

— Придется мне подняться домой и взять деньги у мамы. Может, это подождет до понедельника? Я бы захва-

тила их в спортивный зал, если ты уж без них жить не можешь.

Тон Селины убивал всякое желание пойти ей навстречу.

— Нет, — сказала Джинни. — Вечером я иду в кино. Так что деньги нужны мне сейчас.

Девочки смотрели в разные стороны и враждебно молчали, пока такси не остановилось у многоквартирного дома, где жила Селина. Тогда Селина, сидевшая со стороны trotuара, вылезла из машины. Небрежно прикрыв дверцу, она с величаво-рассеянным видом заезжей голливудской знаменитости быстро вошла в дом. Джинни стала расплачиваться, лицо у нее пылало. Потом собрала свое теннисное снаряжение — ракетку, полотенце, картузик — и направилась вслед за Селиной. В пятнадцать лет Джинни была метр семьдесят два ростом, и сейчас, когда она вошла в парадное — угловатая, такая нескладная, в большущих кедах, — чувствовалась в ней резкая грубоватая прямолинейность. Поэтому Селина предпочитала смотреть на шкалу указателя у клети лифта.

— Всего за тобой доллар девяносто, — сказала Джинни, подходя к лифту.

Селина обернулась.

— Может, тебе интересно будет узнать, что моя мама очень больна, — сказала она.

— А что с ней?

— Вообще-то у нее воспаление легких, и если ты думаешь, что для меня такое удовольствие — беспокоить ее из-за каких-то там денег... — В эту незаконченную фразу Селина постаралась вложить весь свой апломб.

По правде говоря, Джинни была несколько озадачена этим сообщением, хоть и не ясно было, в какой мере оно соответствует истине, — впрочем, не настолько, чтобы расчувствоваться.

— Ну, я тут ни при чем, — ответила Джинни и вслед за Селиной вошла в лифт.

Наверху Селина позвонила, и прислуга-негритянка, с которой она, видимо, не разговаривала, впустила девочек — вернее, просто распахнула перед ними дверь и оставила ее открытой. Бросив теннисное снаряжение на стул и передней, Джинни двинулась за Селиной. В гостиной Селина обернулась:

— Ничего, если ты обождешь здесь? Может, мне придется будить маму и все такое.

— Ладно, — сказала Джинни и плюхнулась на диван.

— В жизни бы не подумала, что ты такая мелочная, —

сказала Селина. У нее достало злости употребить слово «мелочная», но все-таки не хватило смелости сделать на нем упор.

— Ну, а теперь знаешь, — отрезала Джинни и, раскрыв «Вог», занялась им. Она держала журнал перед собой до тех пор, пока Селина не вышла из гостиной, потом положила его обратно на приемник и принялась разглядывать комнату, мысленно переставляя мебель, выбрасывая настольные лампы и искусственные цветы. Обстановка была, на ее взгляд, отвратная: дорогая, но совершенно безвкусная.

Внезапно из другой комнаты донесся громкий мужской голос:

— Эрик, ты?

Джинни решила, что это Селинин брат, которого она никогда не видела. Скрестив длинные ноги, она обдернула на коленках пальто из верблюжьей шерсти и стала ждать.

В гостиную ворвался очкастый молодой человек — в пижаме и босиком; рот у него был приоткрыт.

— Ой... Я думал, это Эрик, черт подери. — Сильно горбясь и бережно прижимая что-то к своей впалой груди, он прошагал через комнату и сел на свободный конец дивана. — Вот палец порезал, будь он проклят, — возбужденно заговорил он, глядя на Джинни так, словно бы ожидал ее здесь встретить. — Когда-нибудь случалось порезаться? Чтоб до самой кости, а?

В его громком голосе явственно слышались просительные нотки, словно своим ответом Джинни могла избавить его от тягостной обособленности, на которую обречен человек, испытавший такое, чего еще не бывало ни с кем.

Джинни смотрела на него во все глаза.

— Ну, не так, чтобы до кости, но случалось, — ответила она.

Такого чудного с виду парня — или мужчины (это было трудно определить) — она в жизни не видела. Волосы расстрепаны, верно, только что встал с постели. На лице — двухдневная щетина, редкая и белесая. Вообще, с виду лопух.

— А как же вы порезались? — спросила Джинни.

Опустив голову и раскрыв вялый рот, он внимательно разглядывал пораненный палец.

— Чего? — переспросил он.

— Как вы порезались?

— Черт его знает, — сказал он, и самый тон его означал, что ответить на этот вопрос сколько-нибудь вразумительно нет никакой возможности. — Искал что-то в эта-

дурацкой мусорной корзинке, а там лезвий полно.

— Вы брат Селины? — спросила Джинни.

— Угу. Черт, я истекаю кровью. Не уходи. Как бы не потребовалось дурацкое переливание крови.

— А вы его чем-нибудь залепили?

Селинин брат слегка отвел руку от груди и приоткрыл ранку чтобы показать ее Джинни.

— Да вот, приложил кусочек этой дурацкой туалетной бумаги, — сказал он. — Останавливает кровь. Как при бритье, когда порежешься. — Он снова взглянул на Джинни. — А ты кто? — подозрительно спросил он. — Подруга нашей соплюхи?

— Мы с ней из одного класса.

— Да?.. А звать как?

— Вирджиния Мэннокс.

— Ты — Джинни? — спросил он и подозрительно глянул на нее. — Джинни Мэннокс?

— Да, — сказала Джинни и села прямо.

Селинин брат снова уставился на свой палец — для него это явно был самый важный, единственный достойный внимания объект во всей комнате.

— Я знаю твою сестру, — проговорил он ровным голосом. — Воображала паршивая.

Спина у Джинни выгнулась:

— Кто-кто?

— Ты слышала, кто.

— Вовсе она не воображала!

— Ну да, не воображала. Еще какая, черт подери.

— Никакая она не воображала!

— Еще какая, черт дери! Принцесса паршивая. Воображала, каких свет не видел.

Джинни не сводила с него глаз. Он приподнял туалетную бумагу, накрученную в несколько слоев на палец, и заглянул под нее.

— Да вы мою сестру вовсе не знаете!

— Ну прямо, не знаю.

— А как ее звать? Как ее имя? — настойчиво допытывалась Джинни.

— Джоан. Джоан, воображала.

Джинни помолчала.

— А какая она из себя? — спросила она вдруг. Ответа не последовало.

— Ну, какая она из себя? — повторила Джинни.

— Да будь она хоть в половину такая хорошенъкая, как она воображает, можно было бы считать, что ей чертовски повезло, — сказал Селинин брат.

Ответ довольно занятный, решила про себя Джинни.

— А она о вас никогда не упоминала.

— Я убит. Убит на месте.

— Кстати, она помолвлена, — сказала Джинни, наблюдая за ним. — В будущем месяце выходит замуж.

— За кого? — он вскинул глаза.

Джинни не преминула этим воспользоваться.

— А вы его все равно не знаете, — объявила она с вызовом.

Он снова принялся накручивать на палец туалетную бумагу.

— Мне его жаль, — сказал он.

Джинни фыркнула.

— Кровища хлещет как сумасшедшая. Ты как считаешь — может, смазать чем-нибудь? А вот чем? Меркурохром годится?

— Лучше йодом, — сказала Джинни. Потом, решив, что слова ее прозвучали недостаточно профессионально и веско, добавила: — Меркурохром тут вовсе не поможет.

— А почему? Чем он плох?

— Просто он в таких случаях не годится, вот и все. Йодом нужно.

Он взглянул на Джинни.

— Ну да еще, он жуть как щиплет, скажешь нет? Щиплет как черт, что — неправда?

— Ну, щиплет, — согласилась Джинни. — Но вы от этого не умрете, и вообще — вреда никакого.

Видимо нисколько не обидевшись на Джинни за ее тон, он снова уставился на свой палец.

— Не люблю, когда щиплет, — признался он.

— Никто не любит.

— Угу, — кивнул он.

Некоторое время Джинни молча наблюдала за его действиями.

— Хватит ковырять, — сказала она вдруг.

Селинин брат, словно его током ударило, отдернул здоровую руку. Он чуть выпрямился — вернее, стал чуть меньше горбиться — и принялся разглядывать что-то на другом конце комнаты. Небритое лицо его приняло задумчивое выражение. Всунув ноготь между передними зубами, он извлек оттуда застрявший кусочек и повернулся к Джинни.

— Ела уже? — спросил он.

— Что?

— Завтракала, говорю?

Джинни покачала головой.

— Дома поем. Мама всегда приготовляет завтрак к моему приходу.

— У меня в комнате половинка сандвича с курицей. Хочешь? Я его не надкусывал и ничего такого.

— Нет, спасибо. Правда, не хочу.

— Ты же только что с тенниса, черт дери. Неужели не проголодалась?

— Не в том дело, — ответила Джинни и снова скрестила ноги. — Просто мама всегда готовит завтрак к моему приходу. Если я не стану есть, она взбесится, вот я про что.

Брат Селины, видимо, удовлетворился этим объяснением. Во всяком случае, он кивнул и стал смотреть в сторону. Но вдруг снова обернулся:

— Стаканчик молока, а?

— Нет, не надо... А вообще-то спасибо вам.

Он рассеянно наклонился и почесал голую лодыжку.

— Как звать того парня, за которого она выходит? — спросил он.

— Это вы про Джоан? — сказала Джинни. — Дик Хефнер.

Селинин брат молча чесал лодыжку.

— Он военный моряк, капитан-лейтенант.

— Фу-ты ну-ты!

Джинни фыркнула. Он расчесывал лодыжку, покуда она не покраснела, потом принялся расковыривать какую-то царапину, и Джинни отвела глаза.

— А откуда вы знаете Джоан? — спросила она. — Я вас ни разу не видела ни у нас дома, ни вообще.

— Сроду не был в вашем дурацком доме.

Джинни выжидательно помолчала, но продолжения не последовало.

— Где же вы тогда с ней познакомились?

— Вечеринка...

— На вечеринке? Когда же?

— Да не помню. На рождество в сорок втором.

Из нагрудного кармана пижамы он вытянул двумя пальцами сигарету, такую измятую, будто он на ней спал.

— Дай-ка мне спички, а? — попросил он.

Джинни взяла коробок со столика у дивана и протянула Селининому брату. Он закурил сигарету, так и не расправив ее, потом сунул обгоревшую спичку в коробок. Задротив голову, он медленно выпустил изо рта целое облако дыма и стал втягивать его носом. Так он и курил, делая «французские затяжки» одну за другой. Видимо, то была не салонная бравада, а просто демонстрация личного

до~~с~~ижения молодого человека, который, к примеру, может быть, даже пробовал бриться левой рукой.

— А почему Джоан воображала? — поинтересовалась Джинни.

— Почему? Да потому, что воображала. Откуда мне, к чертям, знать — почему?

— Ну да. Но я-то спрашиваю — почему вы так говорите?

Он устало повернулся к ней.

— Я ей восемь писем написал, черт подери! Восемь. И она ни на одно не ответила.

Джинни помолчала.

— Ну, может, она была занята.

— Хм. Занята. Трудится не покладая рук, черт подери.

— Вам непременно надо все время чертыхаться?

— Непременно, черт подери.

Джинни снова фыркнула.

— А вообще-то вы давно ее знаете? — спросила она.

— Довольно давно.

— Я хочу сказать — вы ей звонили хоть раз и вообще, как-то давали о себе знать? Я говорю — звонили вы ей?

— Не-а...

— Вот это да! Но если вы ей ни разу не звонили и вообще...

— Не мог, к чертям собачим.

— Это почему же? — удивилась Джинни.

— Не был я тогда в Нью-Йорке.

— Да? А где же вы были?

— Я? В Огайо.

— А, вы были в колледже?

— Не, ушел.

— А, так вы были в армии?

— Не...

Рукой, в которой была зажата сигарета, Селинин брат похлопал себя по левой стороне груди.

— Моторчик, — бросил он.

— Вы хотите сказать — сердце? А что у вас с сердцем?

— А черт его знает. В детстве болел ревматизмом. Жутко мучился, вот и...

— Так вам, наверно, курить не надо? То есть, наверно, совсем курить нельзя. Врач говорил моей...

— Ха, они наговорят!

Джинни недолго умолкла. Но очень недолго. Потом спросила:

— А что вы делали в Огайо?

— Я? Работал на этом проклятом авиационном заводе.
— Да? — сказала Джинни. — Ну и как вам, понравилось?

— «Ну и как вам, понравилось?» — передразнил он с гримасой. — Я был в восторге. Просто обожаю самолеты. Такие миляги!

Джинни было так интересно, что она и не подумала обидеться.

— И долго вы там работали? На авиационном заводе?
— Да черт его знает. Три года и месяц.

Он поднялся, подошел к окну и стал смотреть вниз, на улицу, почесывая спину большим пальцем.

— Нет, ты только погляди на них, — сказал он. — Идиоты проклятые.

— Кто?

— Да черт их знает. Все!

— Не опускайте руку, опять кровь пойдет, — сказала Джинни.

Он послушался, поставил левую ногу на широкий низкий подоконник и положил порезанную руку на колено.

— Тащатся все на распроклятый призывной пункт, — объявил он, продолжая глядеть вниз, на улицу. — В следующий раз будем воевать с эскимосами Тебе это известно?

— С кем? — удивилась Джинни.

— С эскимосами... Слушай ушами, черт подери.

— Но почему с эскимосами?

— Да черт его знает. Ну откуда мне знать? Теперь все старище погонят. Стариаков лет под шестьдесят. Кому нет шестидесяти, брат не будут. Дадут им укороченный рабочий день, и все дела. Сила!

— Ну, вас все равно не возьмут, — сказала Джинни без всякой задней мысли, но, не успев докончить фразу, поняла, что говорит не то.

— Знаю, — быстро ответил он и снял ногу с подоконника.

Приподняв раму, он вышвырнул сигарету на улицу. Потом повернулся к Джинни.

— Эй, будь другом. Тут придет один малый, скажи — пусть подождет минутку. Я только побреюсь, и все. Ладно?

Джинни кивнула.

— Мне поторопить Селину или как? Она знает, что ты здесь?

— Да, знает, — ответила Джинни. — Я не спешу, спасибо.

Селинин брат кивнул. В последний раз внимательно

оглядел порез, словно прикидывая, сможет ли в таком состоянии дойти до своей комнаты.

— А вы его залепите. Есть у вас пластырь или еще что-нибудь?

— Не-а. Ладно, не переживай.

И он побрел из гостиной. Но очень скоро вернулся, неся половину сандвича.

— На, ешь, — сказал он. — Вкусно.

— Но я, правда, совсем не...

— А ну ешь, черт возьми. Не отравил же я его! Джинни взяла сандвич.

— Спасибо большое, — сказала она.

— С курнцей, — пояснил он, стоя над Джинни и внимательно на нее глядя. — Купил вчера вечером в этой дурацкой кулинарии.

— На вид очень аппетитно.

— Ну вот и ешь.

Джинни откусила кусочек.

— Вкусно, а?

Джинни глотнула с трудом.

— Очень, — сказала она.

Селинин брат кивнул. Он рассеянно озирался, почесывая впалую грудь.

— Ладно, пожалуй, я пойду оденусь... Господи! Звонят. Ну давай, действуй.

И он вышел.

Оставшись одна, Джинни, не вставая с дивана, огляделась по сторонам: куда бы выбросить или спрятать сандвич? В коридоре послышались шаги, и она сунула сандвич в карман пальто.

В гостиную вошел молодой человек лет тридцати с небольшим, не очень высокий, но и не низкий. По его правильным чертам, короткой стрижке, покрою костюма и расцветке фулярного галстука нельзя было сказать сколько-нибудь определенно, кто он такой. Может, он сотрудник — или пытается попасть в сотрудники — какого-нибудь журнала. Может, участвовал в спектакле, который только что провалился в Филадельфии. А может, служит в юридической фирме.

— Привет! — дружелюбно обратился он к Джинни.

— Привет.

— Френклина не видели?

— Он бреется. Просил передать, чтобы вы его подождали. Он вот-вот выйдет.

— Бреется! Боже милостивый! — Молодой человек

взглянул на свои часы. Потом опустился в обитое красным дамастом кресло, закинул ногу за ногу и поднес ладони к лицу. Прикрыл веки, он принялся тереть их кончиками пальцев, словно совсем обессилел или долго напрягал глаза. — Ужасное утро! Хуже не бывало, — объявил он, отводя руки от лица. Голос у него был сдавленный, горловой — будто он слишком устал, чтобы произносить слова на обычном диафрагмальном дыхании.

— Что случилось? — спросила Джинни.

— Ах, это слишком длинная история. Я никогда не до-кучаю людям — разве только тем, кого знаю по меньшей мере тысячу лет. — Он с недовольным видом рассеянно по-смотрел в сторону окон. — Да, больше я уже не буду во-ображать, будто хоть сколько-нибудь разбираюсь в челове-ческой натуре. Можете передавать мои слова кому угодно.

— А что случилось? — снова спросила Джинни.

— Господи. Да этот тип жил в моей квартире месяцы, месяцы и месяцы.. Я о нем даже говорить не хочу... Писа-тель! — с мстительным удовлетворением произнес он, воз-можно вспомнив хемингуэевский роман, где слово это про-звучало как брань.

— А что он такого сделал?

— Откровенно говоря, я предпочел бы не вдаваться в подробности, — заявил молодой человек. Он вынул сигаре-ту из собственной пачки, оставил без внимания стоящий на столике прозрачный ящичек с сигаретами, и закурил от своей зажигалки. В больших его руках не было ни лов-кости, ни чуткости, ни силы. Но каждым их движением он как бы подчеркивал, что есть в них некое особое, лишь им присущее изящество, и очень это непросто — делать так, чтобы оно не бросалось в глаза. — Я твердо решил даже не думать о нем. Но я просто в ярости, — сказал он. — По-является, понимаете ли, этот гнусный типчик из Алтуны, штат Пенсильвания, или еще откуда-то из захолустья. Вид такой, будто вот-вот умрет с голода. Я проявляю такую сердечность и порядочность — ну прямо добрый самарите-нин, — пускаю его к себе в квартиру, совершенно микро-скопическую квартирку, мне там и самому повернуться негде. Знакомлю его со всеми своими друзьями. Позволяю ему заваливать всю квартиру этими жуткими рукописями, окурками, редиской и еще бог знает чем. Знакомлю его со всеми театральными продюсерами Нью-Йорка. Таскаю его вонючие рубашки в прачечную и обратно. И в довер-шении всего... — Молодой человек внезапно умолк. — И в награду за всю мою порядочность и сердечность, — снова заговорил он, — этот тип уходит из дома часов в пять ут-

ра, даже записки не оставляет, и уносит с собой решительно все, на что только смог наложить свои вонючие, грязные лапы. — Он сделал паузу, чтобы затянуться, и выпустил дым изо рта тонкой свистящей струйкой. — Я не хочу даже говорить об этом. Право же, не хочу. — Он взглянул на Джинни. — У вас прелестное пальто, — сказал он, поднявшись с кресла. Подойдя к Джинни, он взялся за отворот ее пальто и потер его между пальцами. — Прелестная какая. Первый раз после войны вижу качественную верблюжью шерсть. Разрешите узнать, где вы его приобрели?

— Мама привезла из Нассо¹.

Молодой человек глубокомысленно кивнул и стал пятиться к своему креслу.

— Это, знаете ли, одно из немногих мест, где можно достать качественную верблюжью шерсть. — Он сел. — И долго она там пробыла?

— Что? — спросила Джинни.

— Ваша мама долго там пробыла? Я потому спрашиваю, что моя мама провела там декабрь. И часть января. Обычно я езжу с ней, но этот год был такой суматошный — я просто не мог вырваться.

— Она была там в феврале, — сказала Джинни.

— Изумительно. А где она останавливалась? Вы не знаете?

— У моей тетки.

Он кивнул.

— Разрешите узнать, как вас зовут? Полагаю, вы подруга сестры Фрэнклина?

— Мы из одного класса, — сказала Джинни, оставляя первый вопрос без ответа.

— Вы не та знаменитая Мэксин, о которой рассказывает Селина?

— Нет, — ответила Джинни.

Молодой человек вдруг принялся отряхивать ладонью манжеты брюк.

— Я с ног до головы облеплен собачьей шерстью, — пояснил он. — Мама уехала на субботу и воскресенье в Вашингтон и водворила своего пса ко мне. Песик, знаете ли, премилый. Но что за гадкие манеры! У вас есть собака?

— Нет.

— Вообще-то, я считаю, это жестоко — держать их в городе. — Он кончил чистить брюки, уселся поглубже в кресло и снова взглянул на часы. — Случая не было,

¹ Известный курорт, ныне столица государства Багамские Острова.

чтобы этот человек куда-нибудь поспел вовремя. Мы идем смотреть «Красавицу и чудовище» Кокто, а на этот фильм, знаете ли, непременно надо поспеть вовремя. Потому что иначе весь шарм пропадет. Вы его смотрели?

— Нет.

— О, посмотрите непременно. Я его восемь раз видел. Совершенно гениально. Вот уже сколько месяцев пытаюсь затащить на него Фрэнклина. — Он безнадежно покачал головой. — Ну и вкус у него... Во время войны мы с ним работали в одном ужасном месте, и этот человек упорно таскал меня на самые немыслимые фильмы в мире. Мы смотрели гангстерские фильмы, вестерны, мюзиклы...

— Вы тоже работали на авиационном заводе? — спросила Джинни.

— Ох, да. Годы, годы и годы. Только не будем говорить об этом, прошу вас.

— А что, у вас тоже плохое сердце?

— Слава богу, нет. Тыфу-тыфу, постучу по дереву. — И он дважды стукнул по ручке кресла. — У меня здоровье крепкое, как у...

В дверях появилась Селина, Джинни вскочила и пошла ей навстречу. Селина успела переодеться, она была уже не в шортах, а в платье — деталь, которая в другое время обозлила бы Джинни.

— Извини, что задержала тебя, — сказала она лживым голосом, — но мне пришлось дожидаться, пока проснется мама... Привет, Эрик!

— Привет, привет!

— Не нужно мне денег, — сказала Джинни, понизив голос так, чтобы ее слышала одна Селина.

— Что-что?

— Я передумала. Я хочу сказать — ты все время приносишь теннисные мячи, и вообще. Я про это совсем забыла.

— Но ты же говорила — раз они мне ни гроша не стоят...

— Проводи меня до лифта, — быстро сказала Джинни и вышла первая, не попрощавшись с Эриком.

— Но, по-моему, ты говорила, что вечером идешь в кино, что тебе нужны деньги, и вообще, — сказала в коридоре Селина.

— Нет, я так устала, что уже не пойду, — ответила Джинни и нагнулась, чтобы собрать свое теннисное снаряжение. — Слушай, я после обеда тебе позвоню. У тебя на вечер никаких особых планов нет? Может, я зайду.

Селина смотрела на нее во все глаза.

— Ладно, — сказала она.

Джинни открыла входную дверь и пошла к лифту.

— Познакомилась с твоим братом, — сообщила она, нажав кнопку.

— Да? Вот тип, правда?

— А кстати, что он делает? — словно невзначай осведомилась Джинни. — Работает или еще что?

— Только что уволился. Папа хочет, чтобы он вернулся в колледж, а он не желает.

— Почему?

— А бог его знает. Говорят — ему уже поздно, и вообще.

— Сколько же ему лет?

— А бог его знает. Двадцать четыре, кажется.

Дверцы лифта разошлись в стороны.

— Так я попозже позвоню тебе! — сказала Джинни.

Выйдя из Селининого дома, она пошла в западном направлении, к автобусной остановке на Лексингтон-авеню. Между Третьей и Лексингтон-авеню она сунула руку в карман пальто, чтобы достать кошелек, и наткнулась на половинку сандвича. Джинни вынула сандвич и опустила было руку, чтобы бросить его здесь же, на улице, но потом сунула обратно в карман.

За несколько лет до того она три дня не могла набраться духу и выкинуть подаренного ей на пасху цыпленка, которого обнаружила, уже дохлым, в мусорной корзинке.

Человек, который смеялся

В 1928 году — девяти лет от роду — я был членом некой организации, носившей название Клуба команчей, и привержен к ней со всем *esprit de corps*¹. Ежедневно после уроков, ровно в три часа, у выхода школы № 165 на Сто девятой улице, близ Амстердамской авеню, нас, двадцать пять человек команчей, поджидал наш Вождь. Теснясь и толкаясь, мы забирались в маленький «пикап» Вождя, и он вез нас, согласно деловой договоренности с нашими родителями, в Центральный парк. Все послеобеденное время мы играли в футбол или в бейсбол, в зависимости — правда, относительной — от погоды. В очень дождливые дни наш Вождь обычно водил нас в естественноисторический музей или в музей «Метрополитен»

¹ Корпоративным духом (франц.).

По субботам и большим праздникам Вождь с утра собирал нас по квартирам и в своем доживавшем век «пиканье» вывозил из Манхэттена на сравнительно вольные просторы Ван-Кортлендовского парка или в Палисады. Если нас тянуло к честному спорту, мы ехали в Ван-Кортлендовский парк: там были настоящие площадки и футбольные поля и не грозила опасность встретить в качестве противника детскую коляску или разъяренную старую даму с палкой. Если же сердца команчей тосковали по вольной жизни, мы отправлялись за город в Палисады и там боролись с лишениями. (Помню, однажды, в субботу, я даже заблудился в дебрях между дорожным знаком и просторами Моста Джорджа Вашингтона, но я не растерялся. Я примостился в тени огромного рекламного щита и, глотая слезы, развернул свой завтрак — для подкрепления сил, смутно надеясь, что Вождь меня отыщет. Вождь всегда находил нас.)

В часы, свободные от команчей, наш Вождь становился просто Джоном Гедсудским со Стейтен-Айленд. Это был невероятно застенчивый, тихий юноша лет двадцати двух — двадцати трех, обыкновенный студент-юрист Нью-Йоркского университета, но для меня его образ незабываем. Не стану перечислять все его достоинства и добродетели. Скажу мимоходом, что он был членом бойскаутской «Орлиной стаи», чуть не стал лучшим нападающим, почти что чемпионом американской сборной команды 1926 года, и что его как-то раз весьма настойчиво приглашали попробовать свои силы в нью-йоркской бейсбольной команде мастеров. Он был самым беспристрастным и невозмутимым судьей в наших бешеных соревнованиях, мастером по части разжигания и гашения костров, опытным и терпеливым подателем первой помощи. Мы все, от малышей до старших сорванцов, любили и уважали его беспредельно.

Я и сейчас вижу перед собой нашего Вождя таким, каким он был в 1928 году. Будь наши желания в силах наращивать дюймы, он вмиг стал бы у нас великаном. Но жизнь есть жизнь, и росту в нем было всего каких-нибудь пять футов и три-четыре дюйма. Иссиня-черные волосы почти закрывали лоб, нос у него был крупный, заметный и туловище почти такой же длины, как ноги. Плечи в кожаной куртке казались сильными, хотя и неширокими, сутуловатыми. Но для меня в то время в нашем Вожде нерасторжимо сливались все самые фотогеничные черты лучших киноактеров — и Бака Джонса, и Кена Мейнара, и Тома Микса.

К вечеру, когда настолько темнело, что проигрывающие оправдывались этим, если мазали или упускали легкие мячи, мы, команчи, упорно и эгоистично эксплуатировали талант Вождя как рассказчика. Разгоряченные, взвинченные, мы дрались и визгливо ссорились из-за мест в «пикапе», поближе к Вождю. В «пикапе» стояли два параллельных ряда соломенных сидений. Слева были еще три места — самые лучшие: с них можно было видеть даже профиль Вождя, сидевшего за рулем. Когда мы все рассаживались, Вождь тоже забирался в «пикап». Он садился на свое шоферское место, лицом к нам и спиной к рулю, и не очень звучным, но приятным тенорком начинал очередной выпуск «Человека, который смеялся». Стоило ему начать — и мы уже слушали с неослабевающим интересом. Это был самый подходящий рассказ для настоящих команчей. Возможно, что он даже был построен по классическим канонам. Повествование ширилось, захватывало тебя, поглощало все окружающее и вместе с тем оставалось в памяти сжатым, компактным и как бы портативным. Его можно было унести домой и вспоминать, сидя, скажем, в ванне, пока медленно выливалась вода.

Единственный сын богатых миссионеров, Человек, который смеялся, был в раннем детстве похищен китайскими бандитами. Когда богатые миссионеры отказались (из религиозных соображений) заплатить выкуп за сына, бандиты, оскорбленные в своих лучших чувствах, сунули головку малыша в тиски и несколько раз повернули соответствующий винт вправо. Объект такого редчайшего эксперимента вырос и возмужал, но голова у него осталась лысой как колено, грушевидной формы, а под носом вместо рта зияло огромное овальное отверстие. Да и вместо носа у него были только следы заросших ноздрей. И потому, когда Человек дышал, жуткое, уродливое отверстие под носом расширялось и опадало, словно огромная амеба. (Вождь скорее наглядно изображал, чем описывал, как дышал Человек.) При виде страшного лица Человека, который смеялся, непривычные люди сразу брякались в обморок. Знакомые избегали его. Как ни странно, бандиты не гнали его от себя — лишь бы он прикрывал лицо тонкой бледно-алой маской, сделанной из лепестков мака. Эта маска не только скрывала от бандитов лицо их приемного сына — благодаря ей они всякий раз знали, где он находится: по вполне понятной причине от него несло опиумом.

Каждое утро, страдая от одиночества, Человек пробирался (конечно, грациозно и легко, как кошка) в густой лес, окружавший бандитское логово. Там он дружил со

всяким зверьем: с собаками, белыми мышами, орлами, львами, боа-конструкторами, волками. Мало того, там он снимал маску и со всеми зверями разговаривал мягким, мелодичным голосом на их собственном языке. Им он не казался уродом.

Вождю понадобилось месяца два, чтобы дойти до этого места в рассказе. Но отсюда он стал куда щедрее разворачивать события перед восхищенными команчами.

Человек, который смеялся, был мастером подслушивать и вскоре овладел всеми самыми сокровенными тайнами бандитской профессии. Но об этих приемах он был не слишком высокого мнения и незамедлительно изобрел собственную, куда более эффективную систему: сначала изредка, потом чаще он стал разгуливать по Китаю, грабя и оглушая людей — убивал он только в случае крайней необходимости. Своими изворотливыми и хитрыми преступлениями, в которых, как ни удивительно, проявлялось его исключительное благородство, он завоевал прочную любовь простого народа. Как ни странно, его приемные родители (те самые бандиты, которые толкнули его на стезю преступлений) узнали о его подвигах чуть ли не последними. А когда узнали, их охватила черная зависть. Ночью они гуськом пронесли мимо постели Человека, думая, что, одурманенный ими, он спит глубоким сном, и по очереди вонзали в тело, прикрытое одеялами, свои ножи — мачете. Но жертвой оказалась мамаша главаря банды, чрезвычайно сварливая и неприятная особа. Этот случай только распалил бандитов, жаждавших крови Человека, который смеялся, и в конце концов ему пришлось запереть всю банду в глубокий, но вполне комфортабельно обставленный мавзолей. Изредка они удирали оттуда и мешали ему жить, но все же убивать их он не желал. (Эта его нелепая жалостливость бесила меня до чертков.)

Вскоре Человек, который смеялся, стал регулярно пересекать китайскую границу, попадая прямо в Париж, французский город, где он при всей своей скромности любил с гениальной изобретательностью изводить некоего Марселя Диофаржа, всемирно известного сыщика, чахоточного, но весьма остроумного господина. Диофарж и его дочка (очаровательная, хотя и двуличная девица) стали злейшими врагами Человека. Много раз они пытались пронести и поймать его. Человек вначале поддавался им из чисто спортивного интереса, но потом исчезал без следа, так что никто не мог догадаться, каким образом он удрал. Только изредка он оставлял прощальную записечку в системе Парижской канализации, и она незамедлительно до-

ставлялась Дюфаржу в собственные руки. Семья Дюфарж проводила уйму времени, шлепая по трубам парижской канализации.

Вскоре Человек, который смеялся, стал единоличным владельцем самого грандиозного состояния в мире. Большую часть он анонимно пожертвовал монахам одного местного монастыря — смиренным аскетам, посвятившим жизнь дрессировке немецких овчарок. Остатки своего богатства Человек вкладывал в бриллианты, он небрежно опускал их в изумрудных сейфах на дно Черного моря. Личные его потребности были до смешного ограниченны. Он питался исключительно рисом с орлиной кровью и жил в скромном домике, с подземным тиром и гимнастическим залом, на бурном береге Тибета. С ним жили четверо беззаветно преданных сообщников: легконогий гигант волк, по прозванию Чернокрылый, симпатичный карлик, по имени Омба, великан монгол, по имени Гонг (язык ему выжгли белые люди), и несказанно прекрасная девушка-евразийка, которая из-за неразделенной любви к Человеку и постоянного страха за его личную безопасность иногда не брезговала даже нарушением законности. Человек отдавал распоряжения своей команде из-за черной шелковой ширмы. Даже Омбе, симпатичному карлику, не дано было видеть его лицо.

Я мог бы буквально часами — не бойтесь, не буду! — водить вас, читатель, насильно, если понадобится, взад и вперед через китайско-парижскую границу. До сих пор я считаю Человека, который смеялся, чем-то вроде своего героического предка, ну, скажем, Роберта Э. Ли. Но эти нынешние мечты и сравнить нельзя с теми, что владели мною в 1928 году, когда я считал себя не только прямым потомком Человека, но и его единственным живым и законным наследником. В том 1928 году я был вовсе не сыном своих родителей, но дьявольски хитрым самозванцем, выживавшим малейшего просчета с их стороны, чтобы тут же, лучше без насилия, хотя и оно не исключалось, открыть им свое истинное лицо. Но, не желая разбить сердце своей мнимой матери, я предполагал наградить ее в моем преступном мире каким-то, пока неопределенным, но, несомненно, королевским, званием. Однако самым главным для меня в 1928 году была постоянная бдительность. ИграТЬ им всем на руку. Чистить зубы, причесываться. Изо всех сил скрывать свой природный, дьявольски-жуткий смех.

В действительности я был далеко не единственным живым потомком и законным наследником Человека, кото-

рый смеялся. В клубе было двадцать пять команчей, двадцать пять живых потомков и законных наследников Человека, и мы все зловещими незнакомцами кружили по городу, чуя возможного врага в каждом лифте, сдавленным, но отчетливым шепотом отдавали приказания на ухо своему спаниелю и, вытянув указательный палец, брали на мушку учителей арифметики. И напряженно, неустанно выжидали, когда же наконец представится случай вселить ужас и восхищение в чью-то простую душу.

Однажды в февральский день, открывший сезон бейсбола для команчей, я узрел новое украшение в машине нашего Вождя. Над зеркальцем ветрового стекла появилась маленькая фотография девушки в студенческой шапочке и мантине. Мне показалось, что эта фотография нарушает общий, чисто мужской стиль нашего «пикапа», и я прямо спросил Вождя, кто это такая. Сначала он помялся, но наконец открыл мне, что это девушка. Я спросил, как ее зовут. Помедлив, он нехотя ответил: «Мэри Хадсон». Я спросил: в кино она снимается, что ли? Он сказал: нет, она учится в университете в колледже Уэлсли. После некоторого размышления он добавил, что колледж Уэлсли — очень знаменитый колледж. Я спросил его: зачем ему эта карточка тут, в нашей машине? Он слегка покал плечами, словно хотел, как мне показалось, создать впечатление, что фотографию ему вроде как бы навязали.

Но в ближайшие две-три недели эта фотография, силой или случаем навязанная нашему Вождю, так и осталась в машине. Ее не выметали ни с конфетными бумажками, где был изображен Бейб Рут, ни с палочками от леденцов. И мы, команчи, как-то к ней привыкли. Постепенно мы ее стали замечать не больше чем спидометр.

Но однажды по дороге в парк Вождь остановил машину на Пятой авеню, в районе Шестидесятых улиц, более чем в полумиле от нашей бейсбольной площадки. Двадцать непрошенных советчиков тут же потребовали объяснений, но Вождь промолчал. Вместо ответа он принял обычную позу рассказчика и не ко времени стал нас уговаривать продолжением истории Человека, который смеялся. Но не успел он начать, как в дверцу машины постучались. В тот ленъ все рефлексы нашего Вождя были молниеносными. Он буквально сделал полный оборот вокруг собственной оси, дернул ручку дверцы, и девушка в меховой шубке забралась в наш «пикап».

Сразу, без раздумья, я вспоминаю только трех девушек в своей жизни, которые с первого же взгляда поразили

меня безусловной, безоговорочной красотой. Одну я видел на пляже в Джонс-Бич в 1936 году — худенькая девчонка в черном купальнике, которая никак не могла раскрыть оранжевый зонтик. Вторая мне встретилась в 1939 году на пароходе, в Карибском море, — она еще бросила вожигалку в дельфина. А третьей была девушка нашего Вождя — Мэри Хадсон.

— Я очень опоздала? — спросила она, улыбаясь Вождю.

С тем же успехом она могла бы спросить: «Я очень некрасивая?»

— Нет! — сказал наш Вождь. Растерянным взглядом он обвел команчей, сидевших поблизости от него, и подал знак уступить место. Мэри Хадсон села между мной и мальчиком, по имени Эдгар — фамилии не помню, — у его дяди лучший друг был бутлегером. Мы потеснились ради нее, как только могли. Машина двинулась, вильнув, будто ее вел новичок. Команчи, все как один, молчали.

На обратном пути к нашей обычной стоянке Мэри Хадсон наклонилась к Вождю и стала восторженно докладывать ему, на какие поезда она опоздала и на какой поезд попала; жила она в Дугластоне, на Лонг-Айленде.

Наш Вождь очень нервничал. Он не только никак не поддерживал разговора, он почти не слушал, что она говорила. Помню, что головка с рычага переключения передач отлетела у него под рукой.

Когда мы вышли из «пикапа», Мэри Хадсон тоже увязалась за нами. Не сомневаюсь, что, когда мы подошли к бейсбольной площадке, на лицах всех команчей читалась одна мысль: «Есть же такие девчонки, не знают, когда им пора убираться восьсяси!» И в довершение всего именно в ту минуту, как мы с другим команчем бросали монетку, чтобы разыграть поле между командами, Мэри Хадсон робко выразила желание принять участие в игре. Ответ был более чем ясен. До этой минуты команчи с недоумением смотрели на эту особу женского пола, теперь в их взглядах вспыхнуло возмущение. Она же улыбнулась нам в ответ. Мы несколько растерялись. Тут вступил наш Вождь, проявив скрытую ранее слабость — теряться в некоторых обстоятельствах. Отведя Мэри Хадсон в сторону, чтобы не слышали команчи, он безуспешно пытался поговорить с ней серьезно и внушительно.

Но Мэри Хадсон прервала его, и ее голос отчетливо услышали все команчи.

— Но раз мне хочется! — сказала она. — Мне в самом деле хочется поиграть!

Вождь кивнул и снова стал ее убеждать. Он показал на поле, мокрое, все в ямах. Он взял биту и продемонстрировал, какая она тяжелая.

— Все равно! — громко сказала Мэри Хадсон. — Зря я, что ли, приехала в Нью-Йорк, будто бы к зубному врачу, и все такое. Нет, я хочу играть!

Вождь снова покачал головой, но сдался. Он медленно подошел туда, где ждали Смельчаки и Воители — так назывались наши команды, — и посмотрел на меня. Я был капитаном Воителей. Он напомнил мне, что мой центральный нападающий сидит дома больной, и предложил в качестве замены Мэри Хадсон. Я сказал, что мне замена вообще не нужна. А Вождь сказал: а почему, черт подери? Я осталенел. Впервые в жизни Вождь при нас выругался. Хуже того, я видел, что Мэри Хадсон мне улыбается. Чтобы прийти в себя, я поднял камешек и метнул его в дерево.

Мы начали первые. Сначала центральному нападающему делать было нечего. Из первого ряда я изредка оглядывался назад. И каждый раз Мэри Хадсон весело машала мне рукой. Рука была в бейсбольной рукавице — со стальным упором. Мэри настояла на своем и надела рукавицу. Ужасающее зрелище!

У нас в команде Мэри Хадсон была по мячу девятой. Когда я ей об этом сообщил, она сделала гримасу и сказала:

— Хорошо, только поторопитесь!

И, как ни странно, мы действительно заторопились. Пришла ее очередь. Для такого случая она сняла меховую шубку и бейсбольную рукавицу и в одном темно-коричневом платье встала на свое место. Когда я подал ей биту, она спросила, почему она такая тяжеленная. Вождь забеспокоился и перешел с судейского места к ней поближе. Он велел Мэри Хадсон упереть конец биты в правое плечо. — А я уперла, — сказала она. Он велел ей не сжимать биту изо всей силы. — А я и не сжимаю! — сказала она. Он велел ей смотреть прямо на мяч. — Я и смотрю! — сказала она. — Ну-ка, посторонись!

Мощным ударом она отбила первый же посланный ей мяч — он полетел через голову левого крайнего. Даже для обычного удара это было бы отлично, но Мэри Хадсон сразу вышла на третью позицию — вот так, запросто.

Во мне удивление сначала сменилось испугом, а потом — восторгом, и, только оправившись от всех этих чувств, я посмотрел на нашего Вождя. Казалось, что он не стоит за подающим, а парит над ним в воздухе. Он

был бесконечно счастлив. Мэри Хадсон махала мне рукой с дальней позиции. Я помахал ей в ответ. Тут меня ничто не могло остановить. Дело было не в умении работать битой, она и махать человеку с дальней позиции умела никак не хуже. До самого конца игры она каждый раз била в цель. Почему-то ей не нравилась первая позиция: она там никак не могла устоять. Трижды она переходила на вторую.

Принимала она из рук вон плохо, но мы уже так разыгрались, что некогда было обращать внимание. Конечно, она могла бы играть и лучше, если бы отбивала чем угодно, только не бейсбольной рукавицей. А она никак не желала с ней расстаться. Нет, говорит, она такая мильная.

Весь месяц она играла в бейсбол с команчами раза два в неделю (как видно, в эти дни она приезжала к зубному врачу). Иногда она встречала «пикап» вовремя, иногда опаздывала. То она трещала в машине без умолку, то молчала и курила свои сигареты с фильтром. А когда я сидел с ней рядом, я чувствовал, что от нее пахнет чудесными духами.

Однажды, холодным апрельским днем, наш Вождь, подобрав нас, как всегда, на углу Сто девятой и Амстердамской, повернул машину на восток, у Сто десятой улицы, и поехал обычным путем вниз по Пятой авеню. Но волосы у него были приглажены мокрой щеткой, вместо кожаной куртки на нем красовалось пальто, и я, само собой разумеется, предположил, что назначена встреча с Мэри Хадсон. А когда мы проскочили наш обычный въезд в парк, я уже не сомневался. Вождь остановил машину, как и полагалось, на углу одной из Шестидесятых улиц. И, чтобы убить время без вреда для команды, он сел к нам лицом и выдал новую серию приключений «Человека, который смеялся». Помню эту серию до мельчайших подробностей и должен вкратце пересказать ее.

Стечением обстоятельств лучший друг Человека, его ручной волк-гигант, Чернокрылый, попал в ловушку, хитро и коварно подстроенную Дюфаржами. Зная благородство Человека и его неизменную верность друзьям, Дюфаржи предложили ему освободить Чернокрылого в обмен на него самого. Безоговорочно поверив им, Человек согласился на эти условия (иногда в мелочах гениальный механизм его мозга по каким-то таинственным причинам не срабатывал). Было условлено, что Дю-

фаржи встретятся с Человеком в полночь на полянке в дремучем лесу, окружавшем Париж, и там при свете луны они выпустят Чернокрылого. Однако Дюфаржи и не думали отпускать Чернокрылого, которого они боялись и ненавидели. В назначеннюю ночь они привязали вместо Чернокрылого другого, подставного волка, выкрасив ему левую заднюю лапу в белоснежный цвет — для полного сходства с Чернокрылым.

Но Дюфаржи позабыли о двух вещах: о чувствительном сердце Человека и о его знании волчьего языка. Лишь только он дал дочери Дюфаржа привязать себя колючей проволокой к дереву, как по зову души его прекрасный, мелодичный голос зазвучал прощальным напутствием тому, кого он принял за своего старого друга. Подставной волк, стоявший в нескольких шагах на освещенной луной поляне, был поражен лингвистическими познаниями неизнакомца и вежливо выслушивал последние напутствия как личного, так и профессионального характера. Но потом ему это надоело, и он стал переступать с лапы на лапу. Внезапно он довольно резким тоном перебил Человека, сообщив, что, во-первых, зовут его не Темнокрылый, и не Чернокрылый, и не Сероногий, и вообще не дурацкой кличкой: зовут его Арман, а во-вторых, он никогда в жизни не был в Китае и не испытывает ни малейшего желания попасть туда.

В справедливом гневе Человек сдернул языкком маску и при лунном свете явился Дюфаржам во всей наготе своего лица. Мадемуазель Дюфарж тут же хлопнулась в обморок. Ее отцу повезло больше. Его, к счастью, одолел обычный припадок чахоточного кашля, и он избежал смертельного испуга. Когда припадок прошел и он увидел озаренное луной бесчувственное тело дочери, он тут же все понял. Закрыв глаза ладонью, он выпустил всю обойму из пистолета прямо на звук тяжелого, свистящего дыхания Человека.

На этом рассказ кончался до следующего выпуска. Вождь вынул из кармана свои долларовые часы, взглянул на них, повернулся к рулю и завел мотор. Я проверил и свои часы. Было почти половина пятого. Когда машина тронулась, я спросил Вождя: разве мы не будем ждать Мэри Хадсон? Он мне не ответил и, прежде чем я успел повторить вопрос, он обернулся и сказал, обращаясь ко всем: — А ну, давайте-ка помолчим! Тихо! — Как ни кинь, но, по существу, этот приказ был бессмыслицей. В машине и раньше и сейчас стояла полнейшая тишина. Все думали о передряге, в которую попал Чело-

век. Нет, мы о нем уже давно перестали тревожиться — слишком мы в него верили, — но, когда он подвергался опасности, нам было не до разговоров.

Мы уже сыграли три или четыре тайма, когда я вдруг издали увидел Мэри Хадсон. Она сидела на скамейке, шагах в ста налево от меня, стиснутая двумя няньками с колясками. На ней была меховая шубка, она курила сигарету и как будто смотрела в нашу сторону. Я заволновался — такое открытие! — и крикнул об этом нашему Вождю, стоящему за подававшим. Он поспешил ко мне, стараясь не бежать.

«Где?» — спросил он. Я показал где. Он посмотрел в ту сторону, потом сказал: «Вернусь через минутку». И ушел с поля. Уходил медленно, расстегнув пальто и засунув руки в карманы брюк. Я сел у первой позиции и стал смотреть ему вслед. Когда он подходил к Мэри Хадсон, пальто у него было уже застегнуто доверху и руки вытянуты по швам.

Он стоял перед ней минут пять — кажется, он что-то ей говорил. Потом Мэри Хадсон встала, и оба пошли к площадке. Они шли молча и ни разу не взглянули друг на друга. Когда они подошли и Вождь снова встал на свое место, я крикнул:

— А она будет играть?

Он сказал: молчи в тряпочку. Я помолчал в тряпочку, но глаз с Мэри Хадсон не спускал. Она медленно прошла вдоль площадки, засунув руки в карманы меховой шубки, и наконец села на сдвинутую с места скамейку, за третьей позицией. Она закурила сигарету и закинула ногу на ногу.

Когда подавали Воители, я подошел к ее скамейке и спросил, не хочет ли она поиграть на левом крае. Она покачала головой.

Я спросил: — У вас насморк? — Но она опять помотала головой.

Я сказал, что у меня на левом крае играть совершен но некому. Я ей объяснил, что у меня один и тот же мальчик играет и в центре, и слева. На это сообщение никакого ответа не последовало. Я подбросил кверху свою рукавицу, пытаясь отбить ее головой, но она упала в грязь. Я вытер рукавицу о штаны и спросил Мэри Хадсон: не придет ли она к нам домой, в гости, к обеду? Я ей объяснил, что Вождь часто бывает у нас в гостях.

— Оставь меня в покое, — сказала она. — Пожалуйста, оставь меня в покое.

Я смотрел на нее во все глаза, потом пошел к скамье, где сидели мои Воители, и, вынув мандаринку из кармана, стал подбрасывать ее в воздух. Не дойдя до штрафной линии, я повернул и стал пятиться задом, глядя на Мэри Хадсон и продолжая подкидывать мандаринку. Я понятия не имел, что же происходит между ней и нашим Вождем, да и теперь только смутно догадываюсь, и все же во мне росла уверенность, что Мэри Хадсон навсегда выбыла из племени команчей. Эта уверенность независимо от внешних обстоятельств так подорвала даже нормальную способность пятиться задом, что я налетел прямо на детскую коляску.

После следующего тайма играть стало уже темновато. Мы закончили игру и стали подбирать снаряжение. Я еще успел разглядеть Мэри Хадсон — она стояла у края площадки и плакала. Вождь взял было ее за рукав шубки, но она вырвалась. Она побежала от площадки по цементной дорожке и бежала, пока не скрылась из виду. Вождь за ней не побежал. Он только провожал ее глазами, пока она не скрылась. Потом повернулся, вышел на поле и поднял обе наши биты — мы всегда оставляли биты, и он их относил в машину. Я подошел к нему и спросил: может, они с Мэри Хадсон поссорились? Он сказал: — Не суй нос куда не положено.

Как всегда, мы, команчи, с криком и визгом бежали к машине, толкая и теребя друг друга; все отлично знали, что сейчас опять подходит время для рассказа о Человеке, который смеялся. Перебегая Пятую авеню, кто-то уронил свой запасной свитер, и, споткнувшись об него, я растянулся во весь рост. Добежав до машины, я увидел, что лучшие места уже успели занять, и мне пришлось сидеть в среднем ряду. Со зла я двинул соседа справа локтем под ребро, потом выглянул — и увидел, как наш Вождь переходит улицу. Было еще не совсем темно, но уже смеркалось, как всегда в четверть шестого. Наш Вождь, подняв воротник и уставившись в мостовую, с битами под мышкой, переходил улицу. Его темная шевелюра, так хорошо приглаженная мокрой щеткой, теперь высокла и развевалась по ветру. Помню, я пожалел, что у него нет перчаток.

Как всегда при его появлении, в машине наступила тишина. То есть тишина относительная, как в театре, когда свет начинает гаснуть. Кто торопливым шепотом заклиничивал разговор, кто сразу обрывал его. И все-таки первое, что сказал наш Вождь, было:

— Тихо, ребята, а то рассказывать не буду.

В ту же секунду воцарилась полнейшая тишина, так что Вождю только и оставалось сесть на место и приготовиться к рассказу. Усевшись, он вынул носовой платок и тщательно высыпал сначала одну ноздрю, потом другую. Мы смотрели на это зрелище терпеливо и даже с некоторым интересом. Высыпалвшись, он аккуратно сложил платок вчетверо и засунул в карман. И тут последовал новый выпуск рассказа о Человеке, который смеялся. Продолжался он не более пяти минут.

...Четыре пули Дюфаржа вонзились в Человека, две из них — прямо в сердце. Когда Дюфарж, все еще закрывавший ладонью глаза, чтобы не видеть лице Человека, услыхал, как оттуда, куда он целил, доносятся предсмертные стоны, он возликовал. Сердце злодея радостно колотилось, он бросился к дочери, лежавшей в обмороке, и привел ее в чувство. Вне себя от радости, они оба с храбростью трусов только теперь осмелились взглянуть на Человека, который смеялся. Его голова поникла в предсмертной муке, подбородок касался окровавленной груди. Медленно, жадно отец и дочь приближались к своей добыче. Но их ожидал немалый сюрприз. Человек вовсе не умер, он тайными приемами сокращал мускулы живота. И когда Дюфаржи приблизились, он вдруг поднял голову, захочотал гробовым голосом и аккуратно, даже педантично, выплюнул одну за другой все четыре пули. Этот подвиг так поразил Дюфаржей, что сердца у них буквально лопнули, и оба, отец и дочь, замертво упали к ногам Человека, который смеялся. (Если выпуск все равно предполагалось сделать коротким, можно было бы остановиться на этом: команчи легко нашли бы объяснение внезапной смерти Дюфаржей. Но рассказ продолжался.)

День за днем Человек стоял, привязанный к дереву колючей проволокой, а трупы Дюфаржей разлагались у его ног. Никогда еще смерть не подбиралась к нему так близко — его раны кровоточили, а запасов орлиной крови под рукой не было. И вот однажды охрипшим, но задушевным голосом он возвзвал к лесным зверям, прося их помочь ему. Он поручил им позвать к нему симпатичного карлика Омбу. И они позвали. Но длина дорога через парижско-китайскую границу и обратно, и, когда Омба прибыл с аптечкой и свежим запасом орлиной крови, Человек уже потерял сознание. Прежде всего Омба совершил акт милосердия: он поднял маску своего господина, которая валялась на кишащем червями теле мадемуазель Дюфарж. Он почтительно прикрыл жуткие

черты лица и лишь тогда стал перевязывать раны.

Когда Человек, который смеялся, наконец приоткрыл заплышигие глаза, Омба торопливо поднес к маске сосуд с орлиной кровью. Но Человек не притронулся к нему. Слабым голосом он произнес имя своего любимца — Чернокрылого. Омба склонил голову — она тоже была не слишком красивой — и открыл своему господину, что Дюфаржи убили верного волка, Чернокрылого. Горестный, душераздирающий стон вырвался из груди Человека. Слабой рукой он потянулся к сосуду с орлиной кровью и раздавил его. Остатки крови тонкой струйкой побежали по его пальцам; он приказал Омбе отвернуться, и Омба, рыдая, повиновался ему. И перед тем, как обратить лицо к залитой кровью земле, Человек, который смеялся, в предсмертной судороге сдернул маску.

На этом повествование, конечно, кончилось. (Продолжения уже не было никогда.) Наш Вождь тронул машину. Через проход от меня Вилли Уолш, самый младший из команчей, горько заплакал. Никто не сказал ему: замолчи. Как сейчас помню, и у меня дрожали коленки.

Через несколько минут, выйдя из машины, я вдруг увидел, как у подножия фонарного столба бьется по ветру обрывок тонкой алои оберточной бумаги. Он был очень похож на ту маску из лепестков мака. Когда я пришел домой, зубы у меня безудержно стучали, и мне тут же велели лечь в постель.

В лодке

Шел пятый час, и золотой осенний день уже клонился к вечеру. Сандра, кухарка, поглядела из окна в сторону озера и отошла, поджав губы, — с полудня она продевала это, должно быть, раз двадцать. На этот раз, отходя от окна, она в рассеянности развязала и опять потуже завязала фартук на своей необъятной талии. Приведя в порядок свое форменное одеяние, она вернулась к кухонному столу и уселась напротив миссис Снелл. Миссис Снелл уже покончила с уборкой и глажкой и, как обычно перед уходом, пила чай. Миссис Снелл была в шляпе. Это оригинальное сооружение из черного фетра она не снимала не только все минувшее лето, но три лета подряд — в любую жару, при любых обстоятельствах, склоняясь над бесчисленными гладильными досками и орудяя бесчисленными пылесосами. Ярлык фирмы Карне-

ги еще держался на подкладке — поблекший, но, смело можно сказать, непобежденный.

— Не стану я расстраиваться, — наверно, уже в пятый или шестой раз объявила Сандра — не столько миссис Снелл, сколько самой себе. — Так уж я решила, не стану расстраиваться. Больно надо!

— И правильно, — сказала миссис Снелл. — Я бы тоже не стала. Нипочем не стала бы. Передайте-ка мне мою сумку, голубушка.

Кожаная сумка, до невозможности потертая, но с ярлыком внутри, не менее внушительным, чем на подкладке шляпы, лежала на буфете. Сандра дотянулась до нее, не вставая. Подала сумку через стол владелице, та открыла ее, достала пачку «Ментоловых» сигарет и карточку спичек «Сторк-клуб». Закурила, потом поднесла к губам чашку, но сейчас же снова поставила ее на блюдце.

— Да что это мой чай никак не остынет, я из-за него автобус пропущу. — Она поглядела на Сандру, которая мрачно уставилась на сверкающую шеренгу кастрюль у стены. — Бросьте вы расстраиваться! — приказала миссис Снелл. — Что толку расстраиваться? Или он ей скажет, или не скажет. И все тут. А что толку расстраиваться?

— Я и не расстраиваюсь, — ответила Сандра. — Да же и не думаю. Просто от этого ребенка с ума сойти можно, так и шныряет по всему дому. Да все слишком, его и не услышишь. Верно вам говорю, никак его не услышишь. Вот только на днях за этим самым столом я лущила бобы — и чуть не наступила ему на руку. Он сидел вон тут, под столом.

— Ну и что? Не стала бы я расстраиваться.

— То есть словечка сказать нельзя, все на него оглядывайся, — пожаловалась Сандра. — С ума сойти.

— Не могу я пить кипяток, — сказала миссис Снелл. — Да, прямо ужас что такое. Когда словечка нельзя сказать, и вообще.

— С ума сойти! Верно вам говорю. Прямо с ума он меня сводит. — Сандра смахнула с колен воображаемые крошки и сердито фыркнула: — В четыре-то года!

— И ведь хорошенький мальчиконка, — сказала миссис Снелл. — Глазищи карие, и вообще.

Сандра снова фыркнула:

— Нос-то у него будет отцовский. — Она взяла свою чашку и стала пить, ничуть не обжигаясь. — Уж и не знаю, чего это они вздумали торчать тут весь октябрь, — проворчала она и отставила чашку. — Никто из них боль-

ше и к воде-то не подходит, верно вам говорю. Сама не купается, сам не купается, и мальчонка не купается. Никто теперь не купается. И даже на своей дурацкой лодке они больше не плавают. Только деньги задаром потратили.

— И как вы пьете такой кипяток? Я и пригубить-то не могу.

Сандра злобно уставилась в стену.

— Я бы хоть сейчас вернулась в город. Право слово. Терпеть не могу эту дыру. — Она неприязненно взглянула на миссис Снелл. — Вам-то ничего, вы круглый год тут живете. У вас тут и знакомства, и вообще. Вам все одно, что здесь, что в городе.

— Хоть живем сварюсь, а чай выпью, — сказала миссис Снелл, поглядев на часы над электрической плитой.

— А что бы вы сделали на моем месте? — в упор спросила Сандра. — Я говорю, вы бы что сделали? Скажите по правде.

Вот теперь миссис Снелл была в своей стихии. Она тотчас отставила чашку.

— Ну, — начала она, — первым делом я не стала бы расстраиваться. Уж я бы сразу стала искать другое...

— А я и не расстраиваюсь, — перебила Сандра.

— Знаю, знаю, но уж я подыскала бы себе...

Распахнулась дверь, и в кухню вошла Бу-Бу Танненбаум, хозяйка дома. Была она лет двадцати пяти, маленькая, худощавая, как мальчишка; сухие, бесцветные, не по моде подстриженные волосы заложены назад, за пересчур большие уши. Весь наряд — черный свитер, брючки чуть ниже колен, носки да босоножки. Прозвище, конечно, нелепое, и хорошенькой ее тоже не назовешь, но такие вот живые, перемечивые рожицы не забываются — в своем роде она была просто чудо! Она сразу направилась к холодильнику, открыла его. Расставила ноги, уперлась руками в коленки и, заглядывая в холодильник, довольно немузикально настыривала сквозь зубы и легонько покачивалась в такт свисту. Сандра и миссис Снелл молчали. Миссис Снелл неторопливо вынула сигарету изо рта.

— Сандра...

— Да, мэм? — Сандра настороженно смотрела поверх шляпы миссис Снелл.

— У нас разве нет больше пикулей? Я хотела ему отнести.

— Он все съел, — без запинки доложила Сандра. —

Вчера перед сном съел. Там две штучки оставалось.

— А-а. Ладно, буду на станции — куплю еще. Я думала, может быть, удастся выманить его из лодки. — Бу-Бу захлопнула дверцу холодильника, отошла к окну и посмотрела в сторону озера. — Нужно еще что-нибудь купить? — спросила она, глядя в окно.

— Только хлеба.

— Я положила вам чек на столик в прихожей, миссис Снелл. Благодарю вас.

— Очень приятно, — сказала миссис Снелл. — Говорят, Лайонел сбежал из дома. — Она хихикнула.

— Похоже, что так, — сказала Бу-Бу и сунула руки в карманы.

— Хорошо, хоть недалеко бегает. — И миссис Снелл опять хихикнула.

Не отходя от окна, Бу-Бу слегка повернулась, так, чтобы не стоять совсем уж спиной к женщинам за столом.

— Да, — сказала она. Заправила за ухо прядь волос и продолжала: — Он удирает из дома с двух лет. Но пока не очень далеко. Самое дальнее — в городе по крайней мере — он забрел раз на Мэлл в Центральном парке. За два квартала от нашего дома. А самое ближнее — даже из паркного не вышел. Там и застрял — хотел попрощаться с отцом.

Женщины за столом рассмеялись.

— Мэлл — это такое место в Нью-Йорке, там все катаются на коньках, — любезно пояснила Сандра, наклонясь к миссис Снелл. — Детишки и вообще.

— А-а, — сказала миссис Снелл.

— Ему только-только исполнилось три. Как раз в прошлом году, — сказала Бу-Бу, доставая из кармана сигареты и спички. Пока она закуривала, обе женщины не сводили с нее глаз. — Вот был переполох! Подняли на ноги всю полицию.

— И нашли его? — спросила миссис Снелл.

— Ясно, нашли, — презрительно сказала Сандра.

— Нашли его уже ночью, в двенадцатом часу, а дело было... когда же это... да, в середине февраля. В парке ни детей, никого не осталось. Разве что, может быть, бандиты, бродяги да какие-нибудь чокнутые. Он сидел на эстраде, где днем играет оркестр, и катал камешек взад-вперед по щели в полу. Замерз до полусмерти, и уж вид у него был...

— Боже милостивый! — сказала миссис Снелл. — И с чего это он? То есть, я говорю, чего это он из дома бегает?

Бу-бу пустила кривое колечко дыма, и оно расплылось по оконному стеклу.

— В тот день в парке кто-то из детей ни с того ни с сего обозвал его вонючкой. По крайней мере мы думаем, что дело в этом. Право, не знаю, миссис Снелл.

— И давно это с ним? — спросила миссис Снелл. — То есть, я говорю, давно это с ним?

— Да вот, когда ему было два с половиной, он спрятался под раковиной в подвале, — обстоятельно ответила Бу-Бу. — Мы живем в большом доме, в подвале прачечная. Какая-то Наоми, его подружка, сказала ему, что у нее в термосе сидит червяк. По крайней мере мы больше ничего от него не добились. — Бу-Бу вздохнула и отошла от окна, на кончике ее сигареты нарощен пепел. Она шагнула к двери. — Попробую еще раз, — сказала она на прощанье.

Сандра и миссис Снелл засмеялись.

— Поторапливайтесь, Милдред, — все еще смеясь, сказала Сандра миссис Снелл. — А то автобус прозеваете.

Бу-Бу затворила за собой забранную проволочной сеткой дверь.

Она стояла на лужайке, которая отлого спускалась к озеру; низкое предвечернее солнце светило ей в спину. Ярдах в двухстах впереди на корме небольшого отцовского бота сидел ее сын Лайонел. Паруса были сняты, бот покачивался на привязи под прямым углом к мосткам, у самого их конца. Футах в пятидесяти за ним плавала перевернутая водная лыжа — кто-то потерял или бросил, — но нигде не видно было катающихся; лишь вдалеке уходил к Парусной бухте пассажирский катер. Почему-то Бу-Бу никак не удавалось толком разглядеть Лайонела. Солнце хоть и не очень грело, но светило так ярко, что издали все — и мальчик и лодка — теряло отчетливость, зыбились, будто очертания палки в воде. Спустя минуту-другую Бу-Бу перестала всматриваться. По-солдатски раздавила окурок и зашагала к мосткам.

Стоял октябрь, и доски уже не дышали жаром в лица. Бу-Бу шла по мосткам, насыпывая сквозь зубы «Малютку из Кентукки». Дошла до конца мостков, опустилась на корточки — порывисто, так что хрустнуло в коленках, — и сбоку посмотрела на сына. До него можно было достать веслом. Он не поднял глаз.

— Эй, на борту! — позвала Бу-Бу. — Эй, друг! Пират! Старый пес! А вот и я!

Лайонел все не поднимал глаз, но ему вдруг понадо-

Билось показать, какой он искусный моряк. Он перекинул незакрепленный румпель до отказа вправо и сейчас же снова прижал его к боку. И не отрывал глаз от палубы.

— Это я, — сказала Бу-Бу. — Вице-адмирал Танненбум. Урожденная Гласс. Прибыл для осмотра стермафоров.

— Ты не адмирал, — послышалось в ответ. — Ты женщина.

Когда Лайонел говорил, ему почти всегда посреди фразы не хватало дыхания, и самое важное слово подчас звучало не громче, атише других. Бу-Бу, казалось, не просто слушала, но сторожко ловила каждый звук.

— Кто тебе это сказал? — спросила она. — Кто сказал тебе, что я не адмирал?

Лайонел что-то ответил, но совсем уж неслышно.

— Кто? — переспросила Бу-Бу.

— Папа.

Бу-Бу все еще сидела на корточках, расставленные коленки торчали углами; левой рукой она коснулась дощатого настила: не так-то просто было сохранять равновесие.

— Твой папа славный малый, — сказала она. — Только он, должно быть, самая сухопутная крыса на свете. Совершенно верно, на суще я женщина, это чистая правда. На истинное мое призвание было, есть и будет.

— Ты не адмирал, — сказал Лайонел.

— Как вы сказали?

— Ты не адмирал. Ты всегда женщина.

Разговор прервался. Лайонел снова стал менять курс своего судна, он схватился за румпель обеими руками. На нем были шорты цвета хаки и чистая белая тенниска с картинкой во всю грудь: страус Джером играет на скрипке. Мальчик сильно загорел, и его волосы, совсем такие же, как у матери, на макушке заметно выцвели.

— Очень многие думают, что я же адмирал, — сказала Бу-Бу, приглядываясь к сыну. — Просто потому, что я не хвастаюсь каждому встречному и поперечному. — Стараясь не потерять равновесия, она вытащила из кармана сигареты и спички. — Мне и неохота толковать с людьми про то, в каком я чине. Да еще с маленьными мальчиками, которые даже не смотрят на меня, когда я с ними разговариваю. За это, пожалуй, еще с флота выгонят с позором.

Так и не закурив, она неожиданно встала, выпрямилась во весь рост, сомкнула кольцом большой и указательный палец правой руки и, поднеся их к губам, точно игрушечную трубу, продудела что-то вроде сигнала. Лайонел

нел вскинул голову. Вероятно, он знал, что сигнал ненастящий, и все-таки весь встрепенулся, даже рот приоткрыл. Три раза кряду, не переводя духа, Бу-Бу протрубила сигнал — то ли утреннюю зорю, то ли вечернюю. Потом торжественно отдала честь дальнему берегу. И наконец опять, словно бы неохотно, присела на корточки на краю мостков —казалось, в эту минуту ее слишком взволновал благородный обычай, недоступный простым смертным и маленьким мальчикам. Она задумчиво созерцала недалекий горизонт, потом как будто вспомнила, что она здесь не одна. И важно поглядела вниз, на Лайонела, который все еще сидел, раскрыв рот.

— Это тайный сигнал, слышать его разрешается одним только адмиралам. — Она закурила и, выпустив длинную тонкую струю дыма, картинно задула спичку. — Если бы кто-нибудь узнал, что я дала этот сигнал при тебе... — Она покачала головой. И снова зорким глазом морского волка окинула горизонт.

- Потруби еще.
- Не положено.
- Почему?

Бу-Бу пожала плечами.

— Тут вертится слишком много всяких мичманов — это раз. — Она переменила позу и уселилась, скрестив ноги, как индеец. Подтянула носки. И продолжала деловито: — Ну вот что. Скажи, почему ты убегаешь из дома, и я пропротрублю тебе все тайные сигналы, какие мне известны. Гадно?

Лайонел тотчас опустил глаза.

- Нет, — сказал он.
- Почему?
- Потому.
- Почему «потому»?
- Потому что не хочу, — сказал Лайонел и решительно перевел руль.

Бу-Бу заслонилась рукой от солнца, ее слепило.

— Ты мне говорил, что больше не будешь удирать из дома, — сказала она. — Мы ведь об этом говорили, и ты сказал, что не будешь. Ты мне обещал.

Лайонел что-то сказал в ответ, но слишком тихо.

- Что? — переспросила Бу-Бу.
- Я не обещал.
- Нет, обещал. Ты дал слово.

Лайонел опять принялся работать рулем.

- Если ты адмирал, — сказал он, — где же твой флот?
- Мой флот? Вот хорошо, что ты об этом спросил, —

сказала Бу-Бу и хотела спуститься в лодку.

— Назад! — приказал Лайонел, но голос его звучал не очень уверенно, и глаз он не поднял. — Сюда никому нельзя.

— Нельзя? — Бу-Бу, которая уже ступила на нос бота, послушно отдернула ногу. — Совсем никому нельзя? — Она снова уселась на мостках по-индейски. — А почему?

Лайонел что-то ответил, но опять слишком тихо.

— Что? — переспросила Бу-Бу.

— Потому что не разрешается.

Долгую минуту Бу-Бу молча смотрела на мальчика.

— Мне очень грустно это слышать, — сказала она на конец. — Мне так хотелось к тебе в лодку. Я по тебе соскучилась. Очень сильно соскучилась. Целый день я сидела в доме совсем одна, не с кем было поговорить.

Лайонел не повернул руль. Он разглядывал какую-то щербинку на рукоятке.

— Поговорила бы с Сандрой, — сказал он.

— Сандра занята, — сказала Бу-Бу. — И не хочу я разговаривать с Сандрой, хочу с тобой. Хочу сесть к тебе в лодку и разговаривать с тобой.

— Говори с мостков.

— Что?

— Говори с мост-ков!

— Не могу. Очень далеко. Мне надо подойти поближе.

Лайонел рванул румпель.

— На борт никому нельзя, — сказал он.

— Что?

— На борт никому нель-зя!

— Ладно, тогда, может, скажешь, почему ты сбежал из дома? — спросила Бу-Бу. — Ты ведь мне обещал больше не бегать.

Возле кормового сиденья лежала маска аквалангиста. Вместо ответа Лайонел подцепил ее пальцами правой ноги и ловким быстрым движением швырнул за борт. Маска тотчас ушла под воду.

— Мило, — сказала Бу-Бу. — Дельно. Это маска дяди Уэбба. Он будет в восторге. — Она затянулась сигаретой. — Раньше в ней нырял дядя Симор.

— Ну и пусть.

— Ясно. Я так и поняла, — сказала Бу-Бу.

Сигарета торчала у нее в пальцах как-то вкривь. Внезапно почувствовав ожог, Бу-Бу уронила ее в воду. Потом вытащила что-то из кармана. Это был белый пакетик величиной с колоду карт, перевязанный зеленою ленточкой.

— Цегочка для ключей, — сказала Бу-Бу, чувствуя на

себе взгляд Лайонела. — Точь-в-точь такая же, как у папы. Только на ней куда больше ключей, чем у папы. Целых десять штук.

Лайонел подался вперед, выпустив румпель. Подставил ладони чашкой.

— Кинь! — попросил он. — Пожалуйста!

— Одну минуту, солнышко. Мне надо немножко подумать. Следовало бы кинуть эту цепочку в воду.

Лайонел смотрел на нее, раскрыв рот, потом закрыл рот.

— Это моя цепочка, — сказал он не слишком уверенно. Бу-Бу, глядя на него, пожала плечами:

— Ну и пусть.

Не спуская глаз с матери, Лайонел медленно отодвинулся на прежнее место и стал нащупывать за спиной румпель. По глазам его видно было: он все понял, мать и не сомневалась, что он поймет.

— Держи! — Она бросила пакетик ему на колени. И не промахнулась.

Лайонел поглядел на пакетик, взял в руку, еще поглядел — и внезапно швырнул его в воду. И сейчас же поднял глаза на Бу-Бу — в глазах был не вызов, но слезы. Еще мгновение — и губы его искривились опрокинутой восьмеркой, и он отчаянно заревел.

Бу-Бу встала осторожно — будто в театре отсидела ногу — и спустилась в бот. Мгновенье — и она уже на короме, держит рулевого на коленях, и укачивает его, и це-лует в затылок, и сообщает кое-какие полезные сведения:

— Моряки не плачут, дружок. Моряки никогда не плачут. Разве только если корабль пошел ко дну. Или они потерпели крушение, и их несет на плоту, и им нечего пить, и...

— Сандра... сказала миссис Снелл... что наш папа... большой... грязный... иуда...

Ее слегка передернуло. Она спустила мальчика с колен, поставила перед собой и откинула волосы у него со лба.

— Сандра так и сказала, да?

Лайонел изо всех сил закивал головой. Он придинулся ближе, все не переставая плакать, и встал у нее между колен.

— Ну, это еще не так страшно, — сказала Бу-Бу, стиснула сына коленями и крепко обняла. — Это еще не самая большая беда. — Она легонько куснула его ухо. — А ты знаешь, что такое иуда, малыш?

Лайонел ответил не сразу — то ли не мог говорить, то ли не хотел. Он молчал, вздрогивая и всхлипывая, пока

слезы не утихли немного. И только тогда, уткнувшись в теплую шею Бу-Бу, выговорил глухо, но внятно:

— Чуда-юда... это в сказке... такая рыба-кит...

Бу-Бу чуть отстранила сына, чтобы поглядеть на него. И ни с того ни с сего сунула руку сзади ему за пояс — он даже испугался, — но тотчас ее убрала и только чинно заправила ему рубашку.

— Вот что, — сказала она. — Сейчас мы поедем в город, и купим пикулей и хлеба, и перекусим прямо в машине, а потом съездим на станцию, встретим папу и привезем его домой, и пускай он покатает нас на боте. И ты поможешь ему отнести паруса. Ладно?

— Ладно, — сказал Лайонел.

К дому они не шли, а бежали наперегонки. Лайонел прибежал первым.

Дорогой Эсме с любовью — и мерзопакостью

Совсем недавно я получил авиапочтой приглашение на свадьбу, которая состоится в Англии восемнадцатого апреля. Я бы дорого дал, чтобы попасть именно на эту свадьбу, и потому, когда пришло приглашение, в первый момент подумал, что, может быть, все-таки мне удастся полететь в Англию, а расходы — черт с ними. Но потом я очень тщательно обсудил это со своей женой, женщиной на редкость здравомыслящей, и мы решили, что я не поеду: я, например, совсем упустил из виду, что во второй половине апреля у нас собирается гостить теща. По правде сказать, я вижусь с матушкой Гренчери не так уж часто, а она не молодеет. Ей уже пятьдесят восемь. (Она и сама этого не скрывает.)

И все-таки, где я ни буду в тот день, мне кажется, я не из тех, кто хладнокровно допустит, чтобы чья-нибудь свадьба вышла донельзя пресной. Вот я и набросал заметки, где содержатся кое-какие подробности о невесте, какою она была почти шесть лет тому назад, когда я познакомился с нею. Если заметки мои доставят жениху, которого я в глаза не видел, несколько невеселых минут — что ж, тем лучше. Никто и не собирался говорить приятное. Отнюдь. Скорее проинформировать и наставить.

Я был одним из шестидесяти американских военнослужащих, которые в апреле 1944 года под руководством английской разведки проходили в Девоншире (Англия) весьма специальную подготовку в связи с предстоящей

высадкой на континент. Сейчас, когда я оглядываюсь назад, мне кажется, что народ у нас тогда подобрался довольно своеобразный — из всех шестидесяти не нашлось ни одного общительного человека. Мы все больше писали письма, а если и обращались друг к другу по неслужебным делам, то обычно лишь за тем, чтобы спросить, нет ли у кого лишних чернил.

В те часы, когда мы не писали писем и не сидели на занятиях, каждый был предоставлен самому себе. Я, например, в ясные дни обычно бродил по живописным окрестностям, а в дождливые забирался куда-нибудь в сухое место и читал, зачастую как раз на таком расстоянии от стола для пинг-понга, откуда можно было бы хватить его топором.

Наши занятия, длившиеся три недели, закончились в субботу, очень дождливую. В семь часов вечера вся наша группа выезжала поездом в Лондон, где нас, по слухам, должны были распределить по пехотным и воздушно-десантным дивизиям, готовившимся к высадке на континент. К трем часам дня я сложил в вещевой мешок все свои пожитки, включая брезентовую сумку от противогаза, набитую книгами, которые я привез из-за океана (противогаз я вытаскинул из иллюминатора на «Мавритании» еще с месяца тому назад, прекрасно понимая, что, если враг когда-нибудь в самом деле применит газы, я все равно не успею нацепить эту чертову маску). Я помню, что очень долго стоял у окна в конце казармы и смотрел на тосклиwyй косой дождь, не испытывая никакого желания схватиться с противником, решительно никакого. Позади слышалось, как множество авторучек чиркает вразнобой по многочисленным бланкам для микрофотописем. Потом, без всякой определенной цели, я отошел от окна, надел плащ, теплый шарф, шерстяные перчатки и пилотку (как мне по сей день напоминают, я носил ее на свой манер, слегка надвинув на уши); затем, сверив свои часы с часами в уборной, я зашагал вниз по мокрой мощеной дороге в город. На молнии, сверкавшие со всех сторон, я не обращал внимания. Либо уж на какой-нибудь из них стоит твой номер, либо нет.

В центре городка, где было, пожалуй, мокрее всего, я остановился перед церковью у доски с объявлениями и стал их читать — главным образом потому, что четкие цифры белым по черному привлекли мое внимание, а еще и потому, что после трех лет пребывания в армии я пристрастился к чтению объявлений. В 3.15 — было написано

на доске — состоится спевка детского хора. Я посмотрел на свои часы, потом снова на объявление. К нему был прикреплен листок с фамилиями детей, которые должны явиться на спевку. Я стоял под дождем, пока не прочитал все фамилии, потом пошел в церковь.

На скамьях сидело человек десять взрослых, некоторые из них держали на коленях детские галошки, подошвами вверх. Я прошел вперед и сел в первом ряду. На возвышении, на деревянных откидных стульях, тесно сдвинутых в три ряда, сидело около двадцати детей, большей частью девочек, в возрасте от семи до тринадцати лет. Как раз в этот момент руководительница хора, могучего телосложения женщина в твидовом костюме, внушала им, чтобы они пошире открывали рты, когда поют. Слышал ли кто-нибудь, спрашивала она, чтобы птичка пела свою прелестную песенку, не раскрывая клювика широко-широко-широко? Такого, по-видимому, никто никогда не слышал. Дети смотрели на нее ничего не выражаящим взглядом. Потом она сказала, что хочет, чтобы каждый из ее деток понимал смысл того, что поет, а не просто повторял слова, как попка-дурак.

Тут она дунула в камертон-дудку, и дети, словно маленькие штангисты, подняли свои сборники гимнов.

Они пели без всякого музыкального сопровождения, или, как правильнее было бы выразиться в данном случае, без всяких помех. Голоса их звучали мелодично, без малейшей сентиментальности, и человек, более склонный к религиозным чувствам, чем я, мог бы без особого напряжения испытать душевный подъем. Правда, двое самых маленьких все время чуть-чуть отставали, но получалось у них это так, что разве только мамаша композитора могла бы придраться. Гимна этого я никогда раньше не слышал, однако меня не оставляла надежда, что в нем будет стихов двенадцать, а то и больше. Слушая пение, я вглядывался в лица всех детей, но одно из них — лицо моей ближайшей соседки, сидевшей на крайнем стуле в первом ряду, — особенно привлекло мое внимание. Это была девочка лет тринадцати с прямыми пепельными волосами, едва покрывающими уши, прекрасным лбом и холодноватыми оценивающими глазами, которые, как мне показалось, внимательно все подмечают. Голос ее явственно выделялся из всех остальных — и не только потому, что она сидела ко мне ближе, чем другие. Самый высокий и чистый, самый мелодичный, самый уверенный, он естественно вел за собою хор. Но вид у юной леди был слегка скучающий — то ли ей было довольно безразлично ее дарование, то ли

просто стало скучно сейчас, в церкви. Я видел, как в перерывах между стихами она дважды зевнула. Зевок был благовоспитанный, с закрытым ртом, но все-таки его можно было заметить: подрагивание ноздрей выдало ее.

Как только гимн кончился, руководительница хора начала пространно высказываться о людях, которые во время проповеди не могут держать ноги на месте, а рот на замке. Из этого я заключил, что спевка закончена, и, не дожидаясь, пока голос регентши, прозвучавший неприятным диссонансом, полностью нарушит очарование детского пения, я поднялся и вышел из церкви.

Дождь лил пуще прежнего. Я пошел по улице и заглянул в окно солдатского клуба Красного Креста, но внутри, у стойки, где наливали кофе, люди стояли в три ряда, и даже через стекло было слышно, как пощелкивают в задней комнате шарики пинг-понга. Перейдя улицу, я вошел в обычное кафе. Там не было ни души, одна только официантка, по выражению лица которой сразу можно было сказать, что она предпочла бы клиента в сухом плаще. Я подошел к вешалке и, стараясь действовать как можно аккуратней, повесил плащ, потом сел за столик и заказал себе чаю и гренков с корицей. Это были первые слова, произнесенные мною в тот день. Затем я обшарил все карманы, залез даже в карманы плаща и нашел на конец два завалявшихся письма, которые можно было перечитать: одно от жены — о том, как плохо стали обслуживать в ресторане Шрафта на Восемьдесят восьмой улице, а другое от тещи — чтобы я был так добр и прислал ей немного тонкой шерсти для вязанья, как только мне представится возможность отлучиться из «лагеря».

Я еще не допил первой чашки, когда в кафе вошла та самая юная леди, которую я только что разглядывал и слушал в церкви. Волосы у нее намокли, между прядями проглядывали кончики ушей. С ней был совсем маленький мальчуган, явно ее брат. Она сняла с него шапку, подняв ее двумя пальцами, словно пинцетом. Шествие замыкала энергичного вида женщина в фетровой шляпе, по-видимому гувернантка. Юная леди из хора, на ходу снимая пальто, выбрала столик — на мой взгляд, весьма удачно: прямо передо мной и всего в каких-нибудь десяти шагах от моего. Девочка и гувернантка сели, но малыш — ему было лет пять — садиться не собирался. Он сбросил с себя матросскую курточку, после чего с невозмутимым видом прирожденного мучителя принялся методически изводить гувернантку: то выдвигал свой стул, то снова его задвигал и при этом не сводил с нее глаз. Гувернантка раза три

сказала ему приглушенным голосом, чтобы он сел и вообще прекратил свои фокусы, но, только когда к нему обратилась сестра, он наконец-то усился. После чего схватил салфетку и положил себе на голову. Сестра сняла салфетку, расправила ее и разостлала у него на коленях.

К тому времени, когда им принесли чай, девочка из хора успела заметить, что я разглядываю их компанию. Она тоже пристально посмотрела на меня своими оценивающими глазами, потом вдруг слегка улыбнулась мне осторожной улыбкой, как ни странно, ясной и лучезарной — это бывает иной раз с такими вот осторожными улыбками. Я улыбнулся в ответ, но далеко не так лучезарно и ясно, стараясь не поднимать верхней губы, чтобы не открылись угольно-черные солдатские пломбы в двух передних зубах. Не успел я опомниться, как юная леди уже стояла около моего столика, держась с завидной уверенностью. На ней было платье из шерстяной шотландки (помоему, это были цвета клана Кемпбеллов), и я нашел, что это чудесный наряд для девочки-подростка в такой пасмурный-пасмурный день.

— А я думала, американцы чаю в рот не берут, — сказала она.

В этих словах не было развязного самодовольства все-знатки; скорее, в них чувствовалась любовь к точности, к статистическим данным. Я ответил, что некоторые американцы ничего не пьют, кроме чая. Потом спросил, не присядет ли она за мой столик.

— Благодарю вас, — сказала она. — Пожалуй, но только на одну-единственную секунду.

Я вскочил, выдвинул стул напротив моего, и она присела на краешек, держась очень прямо — это получалось у нее естественно и красиво. А я пошел, вернее, бросился к своему стулу, горя желанием поддержать разговор. Но, сев на место, я никак не мог придумать, что бы такое сказать. Я снова улыбнулся, стараясь прикрывать угольно-черные пломбы. Наконец я сообщил, что погода сегодня очень скверная.

— Да, весьма, — ответила моя гостья таким тоном, который ясно показывал, что она терпеть не может пустых разговоров. Она положила пальцы на край стола, словно на спиритическом сеансе, но почти тотчас же спрятала их, сжав кулаки, — ногти у нее были обкусаны чуть не до мяса.

На руке у нее я увидел часы военного образца, напоминавшие штурманский хронограф. Циферблат их казался непомерно большим на ее тоненьком запястье.

— Вы были на спевке, — сказала она деловито, — я вас видела.

Я ответил, что действительно был и что голос ее выделялся из остальных. Я сказал, что, по-моему, у нее очень красивый голос.

Она кивнула.

— Знаю. Я собираюсь стать профессиональной певицей.

— Вот как? Оперной?

— Боже, нет, конечно. Я буду выступать с джазом по радио и зарабатывать кучу денег. Потом, когда мне исполнится тридцать, я все брошу, уеду в Огайо и буду жить на ранчо. — Она потрогала ладонью макушку: волосы у нее сильно намокли. — Вы знаете Огайо? — спросила она.

Я ответил, что несколько раз проезжал там поездом, но, по сути дела, тех мест не знаю. И предложил ей грееков с корицей.

— Нет, благодарю, — сказала она. — Я ем, как птичка, знаете ли.

Тогда я сам откусил кусочек гренка, после чего сказал ей, что Огайо — суровый край.

— Знаю. Мне один американец говорил. Вы уже одиннадцатый американец, с которым я познакомилась.

Гувернантка усиленно подавала ей знаки, чтобы она вернулась к своему столику — нельзя же так надоедать человеку. Но моя гостья только чуть передвинула стул, так что оказалась спиной к своему столику, устранив этим всякую возможность дальнейшей сигнализации оттуда.

— Вы обучаетесь в секретной школе для разведчиков — там, на пригорке, да? — сдержанно осведомилась она.

Памятая о блитительности, я ответил, что приехал в Дендишир на поправку.

— Ах вот как, — сказала она. — Только я, знаете ли, не вчера родилась.

Я сказал, что, конечно, нет, ясное дело. Некоторое время я молча пил чай. Мне вдруг стало казаться, что сижу я как-то не так, и я выпрямился.

— А у вас весьма интеллигентный вид для американца, — задумчиво произнесла моя гостья.

Я ответил, что говорить подобные вещи, по сути дела, — порядочный сnobизм и что, по-моему, это ее недостойно.

Она вспыхнула, и мне тут же передалась ее прежняя светская непринужденность, которой мне так не хватало.

— Да, но большинство американцев, которых я видела, ведут себя как скоты, — сказала она. — Вечно дерутся между собой, всех оскорбляют и даже... знаете, что один из них проделал?

Я покачал головой.

— Швырнул пустую бутылку из-под виски моей тети в окно. К счастью, окно было открыто. Но как вы считаете, это очень интеллигентный поступок?

Я считал, что не очень, однако умолчал об этом. Я сказал, что сейчас солдаты разных стран оторваны от родного дома и у большинства из них в жизни мало хорошего. Казалось бы, добавил я, не так уж трудно это понять.

— Возможно, — ответила моя гостья без особого убеждения. Она снова потрогала рукой влажные волосы и, захватив несколько намокших светлых прядей, переложила их так, чтобы прикрыть уши. — Волосы у меня совсем мокрые, — сказала она. — Наверное, я сейчас сущее пугало. — Она посмотрела на меня. — Вообще-то волосы у меня довольно волнистые, когда они сухие.

— Это заметно. Даже теперь заметно.

— Не то чтобы кудрявые, но довольно волнистые, — сказала она. — А вы женаты?

Я ответил, что женат.

Она кивнула.

— Вы очень любите свою жену? Или это вопрос чересчур личный?

Я ответил, что, когда будет чересчур, я сам скажу. Она снова положила руки на стол, и я помню, что мне захотелось что-нибудь сделать с огромными часами, которые красовались у нее на запястье, — посоветовать ей, чтобы она носила их вокруг талии, что ли.

— Вообще-то мне не свойственно стадное чувство, — сказала она и посмотрела на меня: знаю ли я смысл этого выражения. Однако я ничем не дал понять, так это или не так. — Я подошла к вам исключительно потому, что вы показались мне чрезвычайно одиноким. У вас лицо чрезвычайно тонко чувствующего человека.

Я сказал, что в самом деле чувствовал себя одиноким и очень рад, что она подошла ко мне.

— Я вырабатываю в себе чуткость. Моя тетя говорит, что я страшно холодная натура, — сказала она и снова потрогала макушку. — Я живу с тетей. Она чрезвычайно мягкая натура. После смерти мамы она делает все, что только в ее силах, чтобы мы с Чарлзом чувствовали себя комфортно.

— Рад это слышать.

— Мама была чрезвычайно интеллигентная женщина и весьма пылкая натура во многих отношениях. — Она посмотрела на меня с обостренным вниманием. — А как вы

ваходите, я страшно холодная натура?

Я сказал, что вовсе нет, скорее наоборот. Потом назвал себя и спросил, как ее зовут.

Она помедлила с ответом.

— Меня зовут Эсме. Фамилию свою я лучше пока не скажу. Дело в том, что я ношу титул, а на вас это может произвести впечатление. С американцами, знаете ли, такое случается.

Я ответил, что мне такое вряд ли угрожает, но, пожалуй, это мысль — пока пусть своего титула не называет.

Тут я почувствовал сзади на шее чье-то теплое дыхание. Я повернулся, и мы чуть было не стукнулись носами с маленьким братом Эсме. Не удостаивая меня вниманием, он тонким, пронзительным голоском сказал сестре:

— Мисс Мегли говорит — иди допей чай! — Выполнив свою миссию, он уселся на стул между сестрой и мной, по правую руку от меня. Я принял разглядывать его с большим интересом. Он был просто великолепен — в коротких коричневых штанишках из шетлендской шерсти, темно-синем джемпере и белой рубашке с полосатым галстучком. Он тоже смотрел на меня вовсю своими зелеными глазищами. — Почему в кино люди целуются боком? — спросил он напористо.

— Боком? — повторил я. Эта проблема мучила и меня в дни моего детства. Я сказал, что, наверное, у актеров очень большие носы, вот они и не могут целоваться прямо.

— Его зовут Чарлз, — сказала Эсме. — На удивление умен для своего возраста.

— А вот глаза у него на удивление зеленые. Верно, Чарлз?

Чарлз бросил на меня пренебрежительный взгляд, иного я не заслуживал после такого вопроса — и стал сползать со стула, пока не ощутился под столом. Запрокинув голову, словно делал «мостик», он лег затылком на сиденье стула.

— Они оранжевые, — процелил он, обращаясь к потолку. Потом поднял угол скатерти и закрыл им свою красивую непроницаемую рожицу.

Иногда он очень умен, а иногда не очень, — сказала Эсме — Чарлз, а ну-ка сядь!

Чарлз не шевельнулся. Казалось, он даже затаил дыхание.

— Он очень тоскует по отцу. Наш отец пал в бою в Северной Африке.

Я сказал, что мне очень жаль это слышать.

Эсме кивнула в ответ.

— Отец его обожал. — Она задумчиво стала покусывать заусеницу. — Он очень похож на маму, я хочу сказать — Чарлз. А я — вылитый отец. — Она снова стала покусывать заусеницу. — Мама была весьма страстная натура. Она была экстроверт. А отец — интроверт. Впрочем, они весьма подходили друг другу — если судить поверхностно. Но, говоря вполне откровенно, отцу, конечно, нужна была более интеллектуально выдающаяся спутница, чем мама. Он был чрезвычайно одаренный гений.

Я с интересом ждал дальнейших сведений, но их не последовало. Я взглянул вниз, на Чарлза — теперь он положил щеку на сиденье стула. Заметив, что я смотрю на него, он сонно, с ангельским видом прикрыл веки, а потом высунул язык — на редкость длинный — и, вытянув губы, издал громкий неприличный звук, каким у меня на родине награждают ротозея судью на бейсбольном матче. В кафе просто стены затряслись.

— Прекрати, — сказала Эсме, на которую это явно не произвело впечатления. — При нем один американец прошел такое в очереди за жареной рыбой с картошкой, и теперь он тоже это устраивает, как только ему станет скучно. Прекрати сейчас же, а то отправишься назад к мисс Мегли.

Чарлз открыл глазищи в знак того, что угроза сестры дошла до него, но в остальном не проявил особого беспокойства. Потом снова закрыл глаза, продолжая прижиматься щекой к сиденью стула.

Я заметил, что ему, пожалуй, следует приберечь этот трюк — я имел в виду способ выражения чувств, принятый в Бронксе, — до той поры, когда он станет носить титул. Если, конечно, у него тоже есть титул.

Эсме посмотрела на меня долгим, изучающим взглядом, словно на объект для лабораторного исследования.

— Как называется такой юмор, как у вас? Когда острят с непроницаемым видом? — спросила она задумчиво. — Отец говорил, что у меня нет чувства юмора. Он считал, что, раз у меня нет чувства юмора, я не приспособлена к жизни.

Я закурил сигарету и сказал, что, когда попадаешь в настоящую переделку, от чувства юмора, на мой взгляд, нет никакого проку.

— А отец говорил, что есть.

Это было не возражение, а символ веры, и я поспешил перестроиться. Кивнув в знак согласия, я сказал, что отец ее, по-видимому, говорил это в широком смысле слова, а я в узком (как это следовало понимать — неизвестно).

— Чарлз тоскует по нем невероятно, — сказала Эсме после короткой паузы. — Он был невероятно обаятельный человек. И необыкновенно красивый. Внешность, конечно, не главное. А все же он был необыкновенно красив. У него был ужасно пронзительный взгляд для человека с такой им-мо-мент-но присущей добротой.

Я кивнул. Должно быть, сказал я, у отца ее был весьма необычный лексикон.

— Да, весьма, — сказала Эсме. — Он был архивист — любитель, конечно.

Тут я почувствовал настойчивый толчок, вернее, даже удар по плечу, с той стороны, где находился Чарлз. Я повернулся к нему. Теперь он сидел на стуле почти в нормальной позе, только ногу поджал.

— А что говорит одна стенка другой стенке? — нетерпеливо спросил он. — Это такая загадка.

Я задумчиво поднял глаза к потолку и повторил вопрос вслух. Потом с растерянным видом взглянул на Чарлза и сказал, что сдаюсь.

— Встретимся на углу! — выпалил он торжествующе.

Больше всех ответ развеселил самого Чарлза. Он чуть не задохнулся от смеха. Эсме даже пришлось подойти и похлопать его по спине, как во время приступа кашля.

— Ну-ка прекрати, — сказала она. Потом вернулась на свое место. — Он всем задает одну и ту же загадку и каждый раз вот так задыхается. От смеха у него начинает течь слюна. Чарлз, пожалуйста, перестань.

— А кстати, это одна из лучших загадок, какие я слышал, — сказал я, поглядывая на Чарлза — тот понемногу приходил в нормальное состояние.

В ответ на мой комплимент он опять сполз со стула и до самых глаз закрыл лицо уголком скатерти. Потом взглянул на меня поверх скатерти — в глазах его светились медленно угасавшее веселье и гордость человека, знающего парочку стоящих загадок.

— Могу я осведомиться, где вы служили до того, как пошли в армию? — спросила Эсме.

Я ответил, что не служил нигде, что только за год перед тем окончил колледж, но мне хотелось бы считать себя профессиональным писателем-новеллистом.

Она вежливо кивнула.

— Печатались? — спросила она.

Вопрос обычный, но, как всегда, щекотливый, и так вот, сразу, на него не ответишь. Я стал было объяснять, что эти американские издатели в большинстве своем — такой народ...

— Мой отец писал превосходно, — перебила меня Эсме. — Я сохраняю многие его письма для потомства.

Я сказал, что это прекрасная мысль. Тут мне снова бросились в глаза ее огромные часы, напоминавшие хронограф. Я спросил, не принадлежали ли они ее отцу. Эсме серьезно и сосредоточенно посмотрела на свое запястье.

— Да, — ответила она. — Он дал их мне как раз перед тем, как нас с Чарлзом эвакуировали. — Застеснявшись, она убрала руки со стола. — Разумеется, просто на память, ну, в качестве су-ве-ре-на, — сказала она и тут же переменила тему. — Я буду чрезвычайно польщена, если вы когда-нибудь напишете рассказ специально для меня. Я ведьма страстная любительница чтения.

Я ответил, что напишу непременно, если только сумею. Но что вообще-то я не бог весть как плодовит.

— А вовсе не обязательно быть бог весть каким плодовитым. Лишь бы рассказ не получился детским и глупеньким. — Она задумалась. — Я предпочитаю рассказы про мерзопакость.

— Про что? — спросил я, подаваясь вперед.

— Про мерзопакость. Меня чрезвычайно интересует мерзопакость.

Я собирался расспросить ее подробнее, но тут Чарлз ущипнул меня за руку, и очень сильно. Я повернулся к нему, слегка поморщившись. Он стоял совсем рядом.

— А что говорит одна стенка другой стенке? — задал он вопрос, не очень для меня новый.

— Ты его уже спрашивал, — сказала Эсме. — Ну-ка, прекрати!

Не обращая на сестру никакого внимания, Чарлз вскарабкался мне на ногу и повторил свой коронный вопрос. Узел его галстучка сбился на сторону, я водворил его на место, потом посмотрел Чарлзу в глаза и сказал:

— Встретимся на углу?

Не успел я произнести эти слова, как тут же пожалел о них. Рот у Чарлза широко раскрылся. У меня было такое чувство, будто это я раскрыл его сильным ударом. Он слез с моей ноги, кипя негодованием, и с неприступным видом зашагал к своему столику, даже не оглянувшись.

— Он в ярости, — сказала Эсме. — Бешеный прав. У мамы была тенденция его баловать. Единственный, кто его не портил, — это отец.

Я продолжал наблюдать за Чарлзом. Он уселся за свой столик и стал пить чай, держа чашку обеими руками. Я ждал, что он обернется, но напрасно.

Эсме поднялась.

— Il faut que je parte aussi! — сказала она, вздыхая. — Вы знаете французский?

Я тоже встал — со смешанным чувством печали и сму-
щения. Мы с Эсме пожали друг другу руки. Как я и ожи-
дал, рука у нее была нервная, влажная. Я сказал ей — по-
английски, — что общество ее доставило мне большое удо-
вольствие.

Она кивнула.

— Полагаю, что так оно и было, — сказала она. — Я
довольно коммуникабельна для своего возраста. — Тут она
снова коснулась рукой головы, проверяя, высохли ли во-
лосы. — Ужасно жаль, что у меня такое с волосами. Мой
вид, должно быть, внушает отвращение.

— Вовсе нет! Если на то пошло, волосы уже опять вол-
нистые.

Быстрым движением она снова коснулась головы.

— Как вы полагаете, придете вы сюда в ближайшем
будущем? — спросила она. — Мы бываем здесь каждую
субботу, после спевки.

Я ответил, что это было бы самым большим моим же-
ланием, но, к сожалению, я твердо знаю, что больше мне
прийти не удастся.

— Иными словами, вы не вправе сообщать о перебро-
ске войск, — сказала Эсме. От столика она отходить как
будто не собиралась. Напротив, переплела ноги и стала
глядеть вниз, стараясь выровнять носки туфель. Получа-
лось это красиво — она была в белых гольфах, и на ее
стройные щиколотки и икры приятно было смотреть. Вне-
запно Эсме подняла на меня глаза.

— Хотите, я вам буду писать? — спросила она, слегка
покраснев. — Я пишу чрезвычайно вразумительные письма
для человека моего...

— Я был бы очень рад. — Я вынул карандаш и бумагу
и написал свою фамилию, звание, личный номер и номер
моей полевой почты.

— Я напишу вам первая, — сказала она, взяв листок, —
чтобы вы ни с какой стороны не чувствовали себя ском-
про-мети-рован-ным. — Она положила бумажку с адресом
в карман платья. — До свидания, — сказала она и направ-
илась к своему столику.

Я заказал еще чаю и продолжал наблюдать за ними.
Но вот оба они и вконец замученная мисс Мегли встали
из-за стола и пошли к двери. Возглавлял шествие Чарльз —
он хромал с трагическим видом, как будто у него одна нога

¹ Надо и мне ядти (франц.).

на несколько дюймов короче другой. В мою сторону он даже не посмотрел. За ним шла мисс Мегли, а последней Эсме — она махнула мне рукой. Я помахал ей в ответ, приподнявшись со стула. Почему-то меня охватило волнение.

Не прошло и минуты, как Эсме появилась снова, таща Чарлза за рукав курточки.

— Чарлз хочет поцеловать вас на прощание, — объявила она.

Я поставил чашку и сказал, что это замечательно, но вполне ли она уверена?

— Вполне, — ответила Эсме довольно сурово. Она выпустила рукав Чарлза и весьма энергично толкнула его в мою сторону. Он подошел, бледный как мел, и влепил мне звучный мокрый поцелуй чуть пониже правого уха. Пройдя через это тяжкое испытание, он направился было прямиком к двери и к иной жизни, где обходятся без таких сантиментов, но я поймал его за хлястик куртки и, крепко за него ухватившись, спросил:

— А что говорит одна стенка другой стени?

Лицо его засветилось.

— Встретимся *за углу!* — выкрикнул он и опрометью бросился за дверь — видимо, в диком возбуждении.

Эсме стояла в прежней позе, переплетая ноги.

— А вы вполне уверены, что не забудете написать для меня рассказ? — спросила она. — Ну, пусть не специально для меня. Пусть даже...

Я сказал, что не забуду ни в коем случае — такого быть не может. Что я никогда еще не писал рассказа специально для кого-нибудь, но сейчас, пожалуй, самое время этим заняться.

Она кивнула.

— Пусть он будет чрезвычайно трогательный и чтобы в нем было побольше о мерзопакости, — попросила она. — Вы вообще-то, имеете достаточное представление о мерзопакости?

Я сказал, что не так чтобы очень, но, в общем, мне приходится все время с ней сталкиваться — в той или иной форме, — и я приложу все усилия, чтобы рассказ соответствовал ее инструкциям. Мы пожали друг другу руки

— Жаль, что нам не довелось встретиться при обстоятельствах не столь удручающих, правда?

Я сказал, что, конечно, жаль, еще как.

— До свидания, — сказала Эсме. — Желаю вам вернуться с войны сохранив свой интеллект полностью.

Я поблагодарил ее и сказал еще несколько слов, а потом стал смотреть, как она выходит из кафе. Она шла медленно, задумчиво, проверяя на ходу, высохли ли кончики волос.

А вот мерзопакостная — она же трогательная — часть моего рассказа. Место действия меняется. Действующие лица тоже. Я по-прежнему остаюсь в их числе, но по причинам, которые открыть не волен, я замаскировался, притом так хитроумно, что даже самому догадливому читателю меня не распознать.

Это было в Гауфурте, в Баварии, примерно в половине одиннадцатого вечера, через несколько недель после Дня победы над Германией. Штаб-сержант Икс сидел в своей комнате, на втором этаже частного дома, куда он вместе с девятью другими американскими военнослужащими был назначен на постай еще до прекращения боевых действий. Примостившись на складном деревянном стуле у захламленного письменного столика, он держал перед собой открытый иностранный роман в дешевом издании и пытался читать, но дело не ладилось. Впрочем, неладно было с ним самим, а не с романом. Правда, книги, ежемесячно поступавшие из Отдела спецобслуживания, прежде всего попадали в руки солдатам с нижнего этажа, но на долю Икса обычно доставались книжки, которые он, скорее всего, выбрал бы и сам. Однако этот молодой человек, пройдя через войну, как видно, не сохранил свой интеллект полностью, и потому он больше часа перечитывал по три раза каждый абзац, а теперь стал проделывать то же самое с каждой фразой. Внезапно он захлопнул книгу, даже не заложив страницу, заслонил глаза рукой от слепящего холодного света голой электрической лампы, висевшей над столом.

Затем вынул сигарету из лежавшей на столе пачки и с трудом закурил ее — пальцы у него тряслись, то и дело легонько стукаясь друг о друга. Сев чуть поглубже, он затянулся, совершенно не чувствуя вкуса дыма. Уже много недель он дымил беспрерывно, прикутивая одну сигарету от другой. Десны его кровоточили, стоило прикоснуться к ним кончиком языка, и он без конца повторял этот опыт, что уже превратилось в своего рода игру, он иногда занимался ею часами. Так сидел он минуту-другую — курил и проделывал все тот же опыт. Потом, как всегда неожиданно, его охватило привычное чувство — будто сознание его спуталось, мозг потерял устойчивость и мотается из стороны в сторону, словно незакрепленный чемодан на багажнике.

вой полке. Он сразу прибег к тому средству, которое уже много недель помогало ему водворить все на место, — стиснул виски ладонями на секунду-другую. Он оброс, волосы у него были грязные. Он мыл их раза три в госпитале, во Франкфурте-на-Майне, где пролежал около двух недель, но на обратном пути в Гауфурт он долго ехал в пропыленном джипе, и они загрязнились снова. Капрал Зет, забравший его из госпиталя, по-прежнему гонял на джипе на фронтовой лад — опустив ветровое стекло, а то, что военные действия кончились, — дело десятое. В Германию были переброшены тысячи новобранцев, и, разъезжая на своем джипе по-фронтовому, с опущенным ветровым стеклом, капрал желал показать им, что он-то не из таковских, он не какой-нибудь там сопливый новичок на европейском театре военных действий.

Перестав наконец скимать виски, Икс долго смотрел на письменный стол, где горкой лежали десятка два нераспечатанных писем и штук шесть нераскрытых посылок — все на его имя. Протянув руку, он достал из-за этой кучи прислоненный к стене томик. То была книга Геббельса «Беспримерное время». Принадлежала она тридцативосьмилетней незамужней дочери хозяев дома, живших здесь еще несколько недель тому назад. Женщина эта занимала какой-то не очень звачительный пост в нацистской партии, достаточно, впрочем, высокий, чтоб оказаться в числе тех, кто по приказу американского командования автоматически подлежал аресту. Икс сам ее арестовал. И вот сегодня, вернувшись из госпиталя, он уже третий раз открывал эту книгу и перечитывал краткую надпись на форзаце. Безнадежно искренним мелким почерком там было чернилами написано по-немецки пять слов: «Боже милостивый, жизнь — это ад». И больше ничего — никаких пояснений. На пустой странице, в болезненной тишине комнаты слова эти обретали весомость неоспоримого обвинительного акта. Икс смотрел на них несколько минут, стараясь им не поддаваться, а это было очень трудно. Затем взял огрызок карандаша и с жаром, какого за все эти месяцы не вкладывал ни в одно дело, приписал винзу по-английски: «Отцы и учителя, мыслю: «Что есть ад?» Рассуждаю так: «Страдание о том, что нельзя уже более любить». Он начал выводить под этой надписью имя автора — Достоевского, — но вдруг увидел — и страх прокатился волной по всему его телу, — что разобрать то, что он написал, почти невозможно. Он захлопнул книгу.

Потом схватил со стола первое, что попалось под ру

ку, — это было письмо от его старшего брата из Олбэни. Оно лежало на столе еще до того, как он очутился в госпитале. Икс вскрыл конверт и вяло приготовился прочесть все письмо целиком, но прочитал лишь начало первой страницы. Он остановился после слов: «...теперь, когда эта проклятущая война кончилась и у тебя, наверное, уйма свободного времени, не пришлешь ли ты ребятишкам парочку штыков или свастик...» Икс разорвал письмо и глянул в корзину на его обрывки. Только тут он обнаружил, что в письмо был вложен любительский снимок, которого он не заметил раньше. Можно было разглядеть чьи-то ноги, стоящие на какой-то лужайке.

Он положил руки на стол и опустил на них голову. Болело все, с головы до ног, и казалось, все зоны боли связаны между собой. Он был словно рождественская елка, обвитая гирляндами лампочек: стоит испортиться одной, и они гаснут все разом.

Дверь с шумом распахнулась, хотя никто не постучал. Икс поднял голову, с усилием повернул ее и увидел капрала Зет, стоящего в дверях. Капрал ездил с ним в одном джипе и был постоянным его напарником во всех пяти военных операциях, с первого дня высадки на континент. Он жил внизу, а наверх, к Иксу, обычно поднимался затем, чтобы выложить новые сплетни или повозмущаться. Это был здоровенный детина лет двадцати четырех, очень фотогеничный. Во время войны его сфотографировали в Хюргенвальде для одного из американских журналов. Он позировал с величайшей охотой, держа в каждой руке по индейке — их прислали ко Дню благодарения.

— Что, письмишко пишешь? — обратился он к Иксу, — Ну и темень у тебя, жуть берет. — Он обычно предпочитал, чтобы в помещении был включен верхний свет.

Икс повернулся к нему и предложил войти — только осторожней, чтобы не наступить на собаку.

— На чго?

— На Элвина. Он у тебя прямо под ногами, Клей. Да лажег бы ты свет, что ли, черт подери!

Клей нащупал выключатель, щелкнул им, прошел через комнатушку — видно, прежде это была каморка для прислуги — и сел на край постели, глядя на Икса. С его тщательно расчесанных кирпично-рыжих волос еще стекали капли — он не пожалел воды, чтобы хорошенько промыть свою шевелюру. Из правого нагрудного кармана серовато-зеленой гимнастерки торчала неизменная расческа с зажимом, как у авторучки. Над левым карманом

красовался боевой значок пехотинца (хотя формально во- сить его было ему не положено), орденская ленточка за участие в операциях на европейском театре военных действий с пятью бронзовыми звездочками на ней (вместо одной серебряной, заменившей пять бронзовых) и ленточка за службу в армии до Перл-Харбора.

— Так тебя и разэтак, — проговорил он с тяжким вздохом. Это не означало ровно ничего — армия она и есть армия! Потом он вынул из кармана куртки пачку сигарет, вытряхнул одну, водворил пачку на место и застегнул клапан кармана. Закурив, он обвел комнату пустым взглядом. Глаза его остановились на приемнике.

— Эй, — сказал он, — через пару минут по радио ко- доссальное обозрение. Боб Хоуп и еще разные.

Икс открыл новую пачку сигарет и ответил, что только недавно выключил радио.

Ничуть не обескураженный, Клей стал с интересом наблюдать за тем, как Икс пытается закурить.

— Ух, черт, — сказал он с азартом болельщика, — по- смотрел бы ты на свои дурацкие лапы. Ну и трясучка у тебя, черт подери. Да ты сам-то знаешь?

Иксу удалось наконец закурить сигарету; он кивнул и сказал, что Клей, конечно, здорово все подмечает.

— Эй, кроме шуток. Я чуть в обморок не брякнулся, к чертям, когда увидел тебя в госпитале. Прямо мертвец, черт тебя подери. Сколько ты весу спустил, а? Сколько фунтов? Ты сам-то знаешь?

— Не знаю. Как ты тут без меня — много писем полу- чил? От Лоретты есть что-нибудь?

Лоретта была девушка Клея. Они собирались пожениться при первой возможности. Она довольно часто писала ему из безмятежного своего мирка тройных восклицательных знаков и скороспелых суждений. И всю войну Клей читал Иксу вслух все письма Лоретты, даже самые интимные, — пожалуй, чем они были интимнее, тем он охотней их читал. А прочитав, всякий раз просил Икса то набросать ответ, то сделать его поблажней, то вставить для большей внушительности французские и немецкие слова.

— Ага, вчера получил от нее письмо. Оно внизу, у меня в комнате. Потом покажу, — ответил Клей равнодушно. Сидя на краю постели, он вдруг выпрямился, задержал дыхание и звучно, со смаком рыгнул. Потом, видимо не слишком довольный своим достижением, принял прежнюю позу. — Этот сукан сын, ее братец, смыывается с флота — бедро у него повреждено. Подвезло ему в этом бед-

ром, гаду. — Он опять сел прямо и приготовился рыгнуть, но на сей раз получилось совсем неважно. Вдруг он встрепенулся: — Эй, пока я не забыл. Завтра встаем ~~и пьем~~ и гоним в Гамбург или еще там куда-то. Получать эйзенхаузеровские куртки на все подразделение.

Бросив на него сердитый взгляд, Икс заявил, что ему лично эйзенхаузеровская куртка ни к чему.

Клей удивился, даже слегка обиделся.

— Мировые куртки. Вид — что надо. Чего это ты?

— Да на что она? С какой стати нам подниматься в пять утра? Война-то кончилась, черт их дери!

— Не знаю я. Сказано — до обеда вернуться. Пришли какие-то новые бланки, надо их до обеда заполнить... Я спрашивал Буллинга, чего ж он сегодня их не дает заполнять, — они ж у него на столе, эти чертовы бланки. Так нет, не желает конверты распечатывать, сукин он сын.

Они помолчали секунду, остро ненавидя Буллина.

Вдруг Клей взглянул на Икса с новым — повышенным — интересом.

— Эй, — сказал он, — а ты знаешь, что у тебя половина морды ходуном ходит?

Икс ответил, что знает, и прикрыл рукой дергающуюся щеку.

Клей разглядывал его еще некоторое время, потом оживленно объявил, словно сообщая самую радостную весть:

— А я написал Лоретте, что у тебя нервное расстройство.

— Да?

— Ага. Ее знаешь как всякие такие штуки интересуют! Она ведь по психологию специализируется. — Клей растянулся на кровати прямо в ботинках. — Она знаешь, что говорит? Это, говорит, не бывает, чтобы нервное расстройство началось вот так, вдруг, просто от войны и вообще. Говорит, ты, наверное, от рождения слабонервный.

Икс приставил козырьком ладонь ко лбу — лампа над кроватью ослепляла его — и заметил, что проницательность Лоретты всякий раз приводит его в восторг.

Клей бросил на него быстрый взгляд.

— Слушай, ты, гад, — сказал он, — уж как-нибудь она понимает в этой самой психологии побольше твоего.

— Может, ты все-таки соизволишь снять свои вонючие можищи с моей постели? — спросил Икс.

Клей еще полежал на постели — ты мне, мол, не указывай, куда ноги класть. Потом спустил их на пол и сел.

— Ладно, я все равно ухожу. Внизу, в комнате Уокера,

есть приемник, — сказал он. Но с постели почему-то не встал. — Эй, я сейчас рассказывал внизу этому сопливому новичку, Бернстайну. Помнишь, приехали мы с тобой в Валонь, и два часа нас обстреливали как проклятых, и тогда эта проклятущая кошка как вскочит на капот джипа — мы еще лежали в той яме, — я ее и подстрелил, помнишь?

— Помню, только вот что, Клей, не заводи ты оять про свою проклятую кошку. Не хочу больше об этом слышать.

— Да нет, я только хочу сказать, я написал про эту историю Лоретте. Они ее обсуждали всей группой, эти самые психологи. На занятиях и все такое. Всем скопом, и ихний дурацкий профессор вместе с ними.

— Вот и прекрасно. Но я не желаю об этом слышать, Клей.

— Да нет; знаешь, что говорит Лоретта: почему я пальнул в эту кошку прямо в упор? Говорят, у меня было временное помешательство. Кроме шуток. От обстрела и вообще.

Икс провел пятерней по грязным волосам, потом снова заслонил глаза от света.

— Никакое это не помешательство. Просто ты выполнил свой долг. И киску эту пристрелил, как положено храброму воину. Этого требовала обстановка.

Клей подозрительно глянул на него.

— Что ты мелешь?

— Та кошка была немецкая шпионка. И ты должен был снять ее выстрелом в упор. Это была лилипутка, очень коварная, а для маскировки нацепила манто из кошачьего меха. Так что не было тут никакого зверства, или жестокости, или там пакости, или даже...

— Черт подери! — сказал Клей, поджимая губы. — Ты хоть когда-нибудь что-нибудь говоришь на полном серьезе?

Икс вдруг почувствовал, что его сейчас стошнит; он быстро повернулся на стуле и схватил мусорную корзинку — как раз вовремя.

Когда он выпрямился и снова взглянул на своего гостя, тот стоял со смущенным видом на полпути между кроватью и дверью. Икс хотел было извиниться, но передумал и потянулся за своими сигаретами.

— Эй, пошли вниз, послушаем Хоупа по радио, — сказал Клей, держась на прежней дистанции, но стараясь проявлять оттуда максимум дружелюбия. — Тебе это будет полезно. Правда.

— Ты иди, Клей... А я посмотрю коллекцию марок.

— Вон что! У тебя, значит, коллекция есть? А я и не знал, что ты...

— Да я шучу.

Клей сделал несколько шагов к двери.

— Я потом, может, в Эштадт махну, — сказал он. — Там у них танцы. Часов до двух, наверно. Поехали, а?

— Нет, спасибо... Я, может, немножко попрактикуюсь тут, в комнате.

— Ну ладно. Пока! Ты того, не расстраивайся, пес с ним. — Дверь захлопнулась, но тут же вновь отворилась. — Эй, письмо к Лоретте я положу тебе под дверь, ладно? Я там вставил кой-чего по-немецки. Так ты уж подправь, а?

— Ладно, а сейчас оставь ты меня в покое, черт возьми!

— Идет, — сказал Клей. — А знаешь, что мне мать пишет? Рада, говорит, что мы с тобой всю войну вместе, и вообще. В одном джинпе и все такое. Говорит, письма у меня стали куда интеллигентнее с тех пор, как мы вместе.

Икс поднял голову, поглядел на него и сказал, с трудом выговаривая слова:

— Спасибо. Поблагодари ее от меня.

— Идет. Ну, будь.

Дверь захлопнулась, теперь уже насовсем.

Икс долго сидел, глядя на дверь, потом повернулся вместе со стулом к письменному столу и поднял с пола портативную пишущую машинку. Расчищая для нее место на заваленном всяkim хламом столе, он сдвинул груду нераспечатанных посылок и писем, и она тотчас же развалилась. Ему казалось, что если он напишет одному своему старому нью-йоркскому приятелю, то ему тут же полегчает, хотя бы чуть-чуть. Но он никак не мог ровно вставить бумагу за валик — с такой силой тряслись у него пальцы. Он опустил руки, отдохнул, но в конце концов скомкал бумагу в руке.

Надо было вынести мусорную корзинку из комнаты, но вместо этого он опустил руки на пишущую машинку и, уронив на них голову, снова закрыл глаза.

Прошло несколько минут, наполненных пульсирующей болью, и, когда он приподнял веки, перед его сощуренными глазами оказалась нераспечатанная посыпочка в зеленой бумаге. Должно быть, она соскользнула с груды пакетов, когда он освобождал уголок для пишущей машинки. Он увидел, что посылку много раз пересыпали с места на место. Только на одной ее стороне он разобрал по крайней

мере трех номера своей полевой почты.

Он вскрыл посылку без всякого интереса, даже не взглянув на обратный адрес. Просто пережег веревочку. Бежавший по веревке огонек занимал его больше, чем посылка; но в конце концов он все-таки вскрыл ее.

В коробочке, под исписанным чернилами листком, лежал небольшой предмет, завернутый в папиросную бумагу. Он взял листок и прочел:

«7 июня 1944 г.

Девон, улица, 17.

Дорогой сержант Икс!

Надеюсь Вы мне простите, что к переписке с Вами я приступаю лишь 38 дней спустя но, дело в том что я была чрезвычайно загружена, так как моя тетя подверглась стрептококковой ангине и едва не погибла и я была обременена множеством обязанностей, которые сваливались на меня одна за другой. И все же я часто вспоминала Вас и то чрезвычайно приятное время, которое мы провели в обществе друг друга 30 апреля 1944 года между 3.45 и 4.15 пополудни, — напоминаю на тот случай, если это ускользнуло из Вашей памяти.

Узнав о высадке союзников мы все были невероятно потрясены, разволновались ужасно и только надеемся что она поможет скорее покончить с войной и тем способом существования, который мягко выражаясь можно назвать нелепым. Мы с Чарлзом оба весьма за Вас беспокоимся. Хотелось бы надеяться что Вы не были в числе тех, кто первым из первых совершил высадку на полуостров Котантен. А может быть? Пожалуйста ответьте как можно скорее.

Шлю горячий привет Вашей жене.

Искренне Ваша
Эсме.

P. S. Я беру на себя смелость послать Вам вместе с этим письмом свои часы и пусть они остаются в Вашем владении, пока длится военный конфликт. Во времена нашего непролongательного общения с Вами я не заметила, были ли у Вас на руке часы, но эти абсолютно водонепроницаемы и абсолютно противоударны, а также обладают другими достоинствами — например по ним можно определить с какой быстротой идешь. Я вполне уверена что в эти трудные дни они принесут Вам больше пользы, чем мне, и что Вы согласитесь взять их на счастье как талисман.

Чарлз, которого я учу читать и писать и который показал себя чрезвычайно способным учеником, хочет прибавить от себя несколько слов. Пожалуйста, напишите, как только у Вас будет время и склонность.

ЗДРАСТУЙ ЗДРАСТУЙ ЗДРАСТУЙ ЗДРАСТУЙ
ЗДРАСТУЙ ЗДРАСТУЙ ЗДРАСТУЙ ЗДРАСТУЙ
ПРИВЕТ ЦЕЛЮ ЧАЛЗ»

Прошло немало времени, прежде чем Икс отложил письмо, и он еще долго не вынимал из коробки часы, принадлежавшие отцу Эсме. Когда же он наконец их вынул, то обнаружил, что стекло при пересылке треснуло. Он с тревогой подумал о том, нет ли там еще каких-нибудь повреждений, но завести их и проверить у него не хватило

духу. И опять он долго сидел, не двигаясь и держа часы в руке. Потом, внезапно, как ощущение счастья, пришла блаженная сонливость.

А раз человеку так захотелось спать, Эсме, у него, безусловно, есть надежда вновь обрести свой интел — и-и-т-е-л-л-л-е-к-т полностью.

И эти губы, и глаза зеленые...

Когда зазвонил телефон, седовласый мужчина не без учтивости спросил молодую женщину, снять ли трубку — может быть, ей будет неприятно? Она услышала словно издалека, повернулась к нему и крепко зажмурила один глаз от света; другой глаз, в тени, широко раскрытый, но отнюдь не наивный, был уж до того синий, что казался фиолетовым. Седовласый просил поторопиться с ответом, и женщина приподнялась — медлительно, едва ли не равнодушно — и оперлась на правый локоть. Левой рукой отвела волосы со лба.

— О господи, — сказала она. — Не знаю. А по-твоему, как быть?

Седовласый ответил, что, по его мнению, снять ли трубку, нет ли, — один черт, пальцы левой его руки скользнули между теплой рукой и боком женщины, повыше локтя, на который она опиралась, и поползли вверх. Правой рукой он потянулся к телефону. Чтобы не искать трубку на ощупь, надо было приподняться, и затылком он задел край абажура. В эту минуту его седые, почти совсем белые волосы были освещены особенно выгодно, хотя, может быть, и чересчур ярко. Они слегка растрепались, но видно было, что их недавно подстригли — вернее, подровняли. На висках и на шее они, как полагается, были короткие, вообще же гораздо длиннее, чем принято, пожалуй даже на «аристократический» манер.

— Да? — звучным голосом сказал он в трубку.

Молодая женщина, по-прежнему опершись на локоть, следила за ним. В ее широко раскрытых глазах не отражалось ни тревоги, ни раздумья, только и видно было, какие они большие и синие.

В трубке раздался мужской голос — безжизненный и в то же время странно напористый, почти до неприличия взбудораженный:

— Ли? Я тебя разбудил?

Седовласый бросил быстрый взгляд влево, на молодую женщину.

— Кто это? — спросил он. — Ты, Артур?
— Да, я. Я тебя разбудил?
— Нет-нет. Я лежу и читаю. Что-нибудь случилось?
— Правда я тебя не разбудил? Честное слово?
— Да нет же, — сказал седовласый. — Вообще говоря, я уже привык спать каких-нибудь четыре часа...
— Я вот почему звоню, Ли: ты случайно не видал, когда уехала Джоана? Ты случайно не видал, она не с Эленбогенами уехала?

Седовласый опять поглядел влево, но на этот раз не на женщину, которая теперь следила за ним, точно молодой синеглазый ирландец-полицейский, а выше, поверх ее головы.

— Нет, Артур, не видал, — сказал он, глядя в дальний, неосвещенный угол комнаты, туда, где стена сходилась с потолком. — А разве она не с тобой уехала?

— Нет, черт возьми. Нет. Значит, ты не видал, как она уехала?

— Да нет, по правде говоря, не заметил. Понимаешь, Артур, по правде говоря, я вообще сегодня за весь вечер ни черта не видел. Не успел я переступить порог, как в меня намертво вцепился этот болван — то ли француз, то ли австриец, черт его разберет. Все эти паршивые иностранцы только и ждут, как бы вытянуть из юриста даровой совет. А что? Что случилось? Джоана потерялась?

— О черт! Кто ее знает! Я не знаю. Ты же знаешь, какова она, когда налакается и ей не сидится на месте. Ничего я не знаю. Может быть, она просто...

— А Эленбогенам ты звонил? — спросил седовласый.

— Звонил. Они еще не вернулись. Ничего я не знаю. Черт, я даже не уверен, что она уехала с ними. Знаю только одно. Только одно, черт подери. Не стану я больше ломать себе голову. Хватит с меня. На этот раз я твердо решил. С меня хватит. Пять лет. Черт подери!

— Послушай, Артур, не надо так волноваться, — сказал седовласый. — Во-первых, насколько я знаю Эленбогенов, они наверняка взяли такси, прихватили Джоану за компанию и махнули на часок-другой в Гринвич-Вилледж. Скорее всего, эта троица сейчас ввалится...

— У меня такое чувство, что Джоана там на кухне вешается на шею какому-нибудь сукину сыну. Такое у меня чувство. Она, когда налакается, всегда бежит в кухню и развлекается с каким-нибудь сукиным сыном. Хватит с меня. Клянусь богом, на этот раз я твердо решил. Пять лет, черт меня...

— Ты из дома говоришь? — спросил седовласый.

— Вот-вот. Из дому. Мой дом, мой милый дом. Ох, черт.

— Слушай, не надо так волноваться... Ты что... ты пьян, что ли?

— Не знаю. Почем я знаю, будь оно все проклято.

— Ну логоди, ты вот что. Ты успокойся. Ты только успокойся, — сказал седовласый. — Господи, ты же знаешь Эленбогенов. Скорей всего, они просто опоздали на последний поезд. Скорей всего, они все трое с минуты на минуту ввалиятся к тебе с пьяными шуточками и...

— Они поехали домой.

— Откуда ты знаешь?

— От девицы, на которую они оставили детей. Мы с ней вели весьма приятную светскую беседу. Мы с ней за-кадычные друзья, черт подери. Нас водой не разольешь.

— Ну ладно. Ладно. Что из этого? Может, ты все-таки взымешь себя в руки и успокоишься? — сказал седовласый. — Наверно, они все прискакут с минуты на минуту. Можешь мне поверить. Ты же знаешь Леону. Уж не знаю, что это за чертовщина, но, когда они попадают в Нью-Йорк, всех их сразу одолевает этакое коннектикутское веселье, будь оно неладно. Ты же сам знаешь.

— Да, да. Знаю. Знаю. А, ничего я не знаю.

— Ну конечно знаешь. Попробуй представить себе, как было дело. Эти двое, наверно, просто силком затащили Джоану...

— Слушай. Ее сроду никому никуда не приходилось тащить силком. И не втирай мне очки, что ее кто-то там затащил.

— Никто тебе очки не втирает, — спокойно сказал седовласый.

— Знаю, знаю! Извини. О черт, я с ума схожу. Нет, я права тебя не разбудил? Честное слово?

— Если б разбудил, я бы так и сказал, — ответил седовласый. Он рассеянно убрал руку из гнездышка под мышкой женщины и взялся за провод под самой трубкой. — Вот что, Артур. Может, послушаешься моего совета? Я тебе серьезно говорю. Хочешь выслушать дальний совет?

— Да-да. Не знаю. А, черт, я тебе спать не даю. И почему я просто не перережу себе...

— Послушай меня, — сказал седовласый. — Первым делом, это я тебе серьезно говорю, ложись в постель и отдохи. Опрокинь стаканчик чего-нибудь покрепче на сон грядущий, укройся...

— Стаканчик! Ты что, шутишь? Да я, черт подери, за последние два часа, наверно, больше литра вылакал. Стаканчик!

канчик! Я уже до того допился, что сил нет...

— Ну ладно, ладно. Тогда ложись в постель, — сказал седовласый. — И отдохни, слышишь? Подумай сам, что толку вот так сидеть и мучиться?

— Да, да, понимаю. Я бы и не волновался, ей-богу, но ведь ей нельзя доверять! Вот клянусь тебе. Клянусь, ей ни на волос нельзя доверять. Только отвернешься, и... А-а, что говорить... Проклятье, я с ума схожу.

— Ладно. Не думай об этом. Не думай. Можешь ты сделать мне такое одолжение? — сказал седовласый. — Попробуй-ка выкинуть все это из головы. Похоже, ты... честное слово, по-моему, ты делаешь из мухи...

— А знаешь, чем я занимаюсь? Знаешь, чем я занимаюсь?! Мне очень совестно, но сказать тебе, чем я, черт подери, занимаюсь каждый вечер, когда прихожу домой? Сказать?

— Артур, послушай, все это не...

— Нет, погоди. Вот я тебе сейчас скажу, будь оно все проклято. Мне просто приходится держать себя за шиворот, чтоб не заглянуть в каждый стенной шкаф, сколько их есть в квартире, — клянусь! Каждый вечер, когда я прихожу домой, я так и жду, что по углам прячется целая орава всяких сукиных сынов. Какие-нибудь лифтеры! Рассыльные! Полицейские!..

— Ну ладно. Ладно, Артур. Попробуй немного успокоиться, — сказал седовласый. Он бросил быстрый взгляд направо: там на краю пепельницы лежала сигарета, которую он закурил еще до телефонного звонка. Впрочем, она уже погасла, и он не соблазнился ею. — Прежде всего, — продолжал он в трубку, — я тебе сто раз говорил, Артур: вог тут-то ты и совершаешь самую большую ошибку. Ты понимаешь, что делаешь? Сказать тебе? Ты как нарочно — я серьезно говорю, — ты просто как нарочно себя растревляешь. В сущности, ты сам внушаешь Джоане... — он оборвал себя на полуслове. — Тебе еще повезло, что она моло-дец девочка. Серьезно тебе говорю. А по-твоему, у нее так мало вкуса, да и ума, черт возьми, если уж на то пошло...

— Ума! Да ты шутишь? Какой там у нее, к черту, ум! Она просто животное!

Седовласый раздул ноздри, словно ему вдруг не хватило воздуха.

— Все мы животные, — сказал он. — По самой сути своей все мы — животные.

— Чертова с два. Никакое я не животное. Я, может быть, болван, бестолочь, гиусное порождение двадцатого века, но я не животное. Ты мне этого не говори. Я не животное.

— Послушай, Артур. Так мы ни до чего не...

— Ума захотел! Господи, знал бы ты, до чего это смешно. Она-то воображает, будто она ужасная интеллигентка. Вот где смех, вот где комедия. Читает в газете театральные новости и смотрит телевизор, покуда глаза на лоб не полезут, значит, интеллигентка. Знаешь, кто у меня жена? Нет, ты хочешь знать, кто такая моя жена? *Величайшая артистка, писательница, психоаналитик* и вообще величайший гений во всем Нью-Йорке, только еще не проявившийся, не открытый и не признанный. А ты и не знал? О черт, до того смешно, прямо охота перерезать себе глотку. Мадам Бовари, вольнослушательница курсов при Колумбийском университете. Мадам...

— Кто? — досадливо переспросил седовласый.

— Мадам Бовари, слушательница лекций на тему «Что нам дает телевидение». Господи, знал бы ты...

— Ну ладно, ладно. Не стоит толочь воду в ступе, — сказал седовласый. Повернулся и, поднеся два пальца к губам, сделал женщине знак, что хочет закурить. — Прежде всего, — сказал он в трубку, — черт тебя разберет, умный ты человек, а такта ни на грош. — Он приподнялся, чтобы женщина могла за его спиной дотянуться до сигарет. — Серьезно тебе говорю. Это сказывается и на твоей личной жизни, и на твоей...

— Ума захотел! Фу, помереть можно! Боже милостивый! А ты хоть раз слыхал, как она про кого-нибудь рассказывает, про какого-нибудь мужчину? Вот выпадет у тебя минутка свободная, сделай одолжение, попроси, чтоб она тебе описала кого-нибудь из своих знакомых. Про каждого мужчину, который попадается ей на глаза, она говорит одно и то же: «Ужасно симпатичный». Пусть он будет распоследний жирный, безмозглый, старый...

— Хватит, Артур, — резко перебил седовласый. — Ни к чему этот разговор. Совершенно ни к чему. — Он взял у женщины зажженную сигарету. Она тоже закурила. — Да, кстати, — сказал он, выпуская дым из ноздрей, — а как твои сегодняшние успехи?

— Что?

— Как твои сегодняшние успехи? Выиграл дело?

— Фу, черт! Не знаю. Скверно. Я уже собирался начать заключительную речь, и вдруг этот Лисберг, адвокат истца, вытащил откуда-то дуру горничную с целой кучей простины в качестве вещественного доказательства, а простины все в пятнах от клопов. Бrrr!

— И чем же кончилось? Ты проиграл? — спросил седовласый и опять глубоко затянулся.

— А ты знаешь, кто сегодня судил? Эта старая баба Витторио. Черт его разберет, почему у него против меня зуб. Я и слова сказать не успел, а он уже на меня накинулся. С таким не сговоришься, никаких доводов не слушает. Хоть кол на голове тешя.

Седовласый чуть повернулся и посмотрел, что делает женщина. Она взяла со столика пепельницу и поставила между ними.

— Так ты проиграл, что ли? — спросил он в трубку.

— Что?

— Я спрашиваю, дело ты проиграл?

— Ну да. Я еще на сегодняшнем сборище хотел тебе рассказать. Только не удалось в этой толчее. Как по-твоему, шеф полезет на стену? Мне-то плевать, но все-таки, как по-твоему? Очень он взбесится?

Левой рукой седовласый стряхнул пепел на край пепельницы.

— Не думаю, что шеф непременно полезет на стену, Артур, — сказал он спокойно. — Но, уж надо полагать, и не обрадуется. Знаешь, сколько времени мы заправляем этими гремя паршивыми гостиницами? Еще папаша нашего Шенли основал...

— Знаю, знаю. Сынок мне рассказывал уже раз пятьдесят, не меньше. Отродясь не слыхивал ничего увлекательнее. Так вот, я проиграл это треклятое дело. Во-первых, я не виноват. Чертов псих Витторио с самого начала травил меня, как зайца. Потом безмозглая дура горничная вытащила эти простыни с клопами...

— Никто тебя и не винит, Артур, — сказал седовласый. — Ты хотел знать мое мнение — очень ли обозлится шеф. Вот я и сказал тебе откровенно...

— Да знаю я, знаю... ничего я не знаю. Кой черт! В крайнем случае могу опять податься в военные. Я тебе говорил?

Седовласый снова повернулся к женщине — может быть, хотел показать, как терпеливо, даже стонически он все это выслушивает. Но она не увидела его лица. Она нечаянно опрокинула коленом пепельницу и теперь поспешила собирала пепел и окурки в кучку — и не успела вовремя поднять глаза.

— Нет, Артур, ты мне об этом не говорил, — сказал седовласый в трубку.

— Ну да. Могу вернуться в армию. Еще сам не знаю. Понятно, я вовсе этого не жажду и не пойду на это, если сумею выкрутиться по-другому. Но, может быть, все-таки придется. Не знаю. По крайней мере можно будет забыть

обо всем на свете. Если мне опять дадут тропический шлем, и большущий письменный стол, и хорошую сетку от москитов, может быть, это будет не так уж...

— Вот что, друг, хотел бы я вправить тебе мозги, — сказал седовласый. — Очень бы я этого хотел. Ты до черта... Ты ведь вроде неглупый малый, а несешь какой-то младенческий вздор. Я тебе это от души говорю. Из пустяка раздуваешь невесть что...

— Мне надо от нее уйти. Понятно? Еще прошлым летом надо было все кончить, тогда был такой разговор — ты это знаешь? А знаешь, почему я с нею не порвал? Сказать тебе?

— Артур. Ради всего святого. Какой смысл об этом говорить.

— Нет, погоди. Ты слушай. Сказать тебе, почему я с ней не порвал? Так вот, слушай. Потому что мне жалко ее стало. Чистую правду тебе говорю. Мне стало ее жалко.

— Ну, не знаю. То есть я хочу сказать, тут не мне судить, — сказал седовласый. — Только, мне кажется, ты забываешь одно: ведь Джоана взрослая женщина. Я, конечно, не знаю, но мне кажется...

— Взрослая женщина! Да ты спятил? Она взрослый ребенок, вот она кто! Послушай, вот я бреюсь — нет, ты только послушай, — бреюсь, и вдруг здрасте, она зовет меня через всю квартиру. Я недобрый, морда вся в мыле, иду смотреть, что у нее там стряслось. И знаешь, зачем она меня звала? Хотела спросить, как, по-моему, умная она или нет. Вот честное слово! Говорю тебе, она жалкое существо. Сколько раз я смотрел на нее спящую, и я знаю, что говорю. Можешь мне поверить.

— Ну, тебе виднее... я хочу сказать, тут не мне судить, — сказал седовласый. — Черт подери, вся беда в том, что ты ничего не делаешь, чтобы исправить...

— Мы не пара, вот и все. Коротко и ясно. Мы совершенно друг другу не подходим. Знаешь, что ей нужно? Ей нужен какой-нибудь здоровенный сукин сын, который вообще не станет с ней разговаривать, нет-нет да и даст ей жару, доведет до полного беспечевства — и пойдет спокойно дочитывать газету. Вот что ей нужно. Слаб я для нее, по всем статьям слаб. Я знал это, еще когда мы только поженились, клянусь богом, знал. Вот ты хитрый черт, ты так и не женился, но понимаешь, перед тем как люди женятся, у них иногда бывает вроде озарения: вот, мол, какая будет моя семейная жизнь. А я от этого отмахнулся. Отмахнулся от всяких озарений и предчувствий, черт дери Слабый я. В этом вся беда.

— Никакой ты не слабый. Только надо шевелить мозгами, — сказал седовласый и взял у молодой женщины зажженную сигарету.

— Конечно, я слабый! Конечно, слабый! А, дьявольщина, я сам знаю, слабый я или нет! Не будь я слабый человек, неужели, по-твоему, я бы допустил, чтобы все так... А-а, что об этом говорить! Конечно, я слаб... Господи боже, я тебе всю ночь спать не даю. И какого дьявола ты не повесишь трубку? Я серьезно говорю. Повесь трубку, и все.

— Я вовсе не собираюсь вешать трубку, Артур. Я хотел бы тебе помочь, если это в человеческих силах, — сказал седовласый. — Право же, ты сам себе худший...

— Она меня не уважает. Господи боже, да она меня и не любит. А в сущности, если разобраться, я и тоже больше ее не люблю. Не знаю. И люблю и не люблю. Всяко бывает. То так, то эдак. О черт! Каждый раз, как я твердо решаю положить этому конец, вдруг почему-то оказывается, что мы приглашены куда-то на обед и я должен где-то ее встретить, и она, черт возьми, является в белых перчатках или еще в чем-нибудь гаком... Не знаю. Или я начинаю вспоминать, как мы с ней в первый раз поехали в Нью-Хейвен на матч принстонцев с Йельцами. И только выехали, спустила шинна, а холод был собачий, и она светила мне фонариком, пока я накачивал эту треклятую шину... Ну, ты понимаешь, что я хочу сказать... Не знаю. Или вспомнится... черт, даже неловко... вспомнятся дурацкие стихи, я их ей написал, когда у нас только-только все началось. «Такая розовая и лилейная, и эти губы, и глаза зеленые...» Черт, даже неловко... Вспоминаю эти строчки и все о ней думаю. Глаза у нее не зеленые... у нее глаза как морские раковины, чтоб им... но все равно, вспоминается... не знаю. А-а, что тут говорить. Я с ума схожу. И почему ты не повесишь трубку? Серьезно...

Седовласый откашлялся.

— Я совсем не собираюсь вешать трубку, Артур. Тут только одно...

— Как-то она купила мне костюм. На свои деньги. Я тебе не рассказывал?

— Нет, я...

— Вот так взяла и пошла к Триплеру, что ли, и купила мне костюм. Сама, без меня. Нет, я что хочу сказать, есть в ней что-то хорошее. И вот забавно, костюм пришелся почти впору. Надо было только чуть сузить в бедрах... брюки... да подкоротить. Я хочу сказать, есть же в ней что-то хорошее...

Седовласый послушал еще минуту. Потом резко обернулся к женщине. Он лишь мельком глянул на нее, но она сразу поняла, что происходит на другом конце провода.

— Ну-ну, Артур. Послушай, этим ведь не поможешь, — сказал он в трубку. — Этим не поможешь. Серьезно. Ну, послушай. От души тебе говорю. Будь умницей, разденься и ложись в постель, ладно? И отдохни. Джоана, скорей всего, через несколько минут явится. Ты же не хочешь, чтобы она застала тебя в таком виде, верно? И вместе с ней, скорей всего, ввалятся эти черти Эленбогены. Ты же не хочешь, чтобы вся эта шатия застала тебя в таком виде, верно? — Он помолчал, вслушиваясь. — Артур! Ты меня слышишь?

— О господи, я тебе всю ночь спать не даю. Что бы я ни делал, я...

— Ты мне вовсе не мешаешь, — сказал седовласый. — нечего об этом думать. Я же тебе сказал, я теперь сплю часа четыре в сутки. Но я бы очень хотел тебе помочь, дружище, если только это в человеческих силах. — Он помолчал. — Артур! Ты слушаешь?

— Ага. Слушаю. Вот что. Все равно я тебе спать не даю. Можно я зайду к тебе и выпью стаканчик? Ты не против?

Седовласый выпрямился и свободной рукой взялся за голову.

— Прямо сейчас? — спросил он.

— Ну да. То есть если ты не против. Я на минутку. Просто мне хочется пойти куда-то и сесть, и... сам не знаю. Можно?

— Ну да, но только, по-моему, не стоит, Артур, — сказал седовласый и опустил руку. — То есть я буду очень рад, если ты придешь, но, уверяю тебя, сейчас ты должен взять себя в руки и успокоиться и дождаться Джоану. Уверяю тебя. Когда она прискакет домой, ты должен быть на месте и ждать ее. Разве я не прав?

— Да-да. Не знаю. Честное слово, не знаю.

— Зато я знаю, уж ты мне поверь, — сказал седовласый. — Вот что, ложись-ка сейчас в постель и отдохни, а потом, если захочешь, позвони мне опять. То есть если тебе захочется поговорить. И не волнуйся ты! Это самое главное. Слышишь? Ну как, согласен?

— Ладно.

Седовласый еще минуту прислушивался, потом опустил трубку на рычаг.

— Что он сказал? — тотчас спросила женщина.

Седовласый взял из пепельницы сигарету — выбрал среди окурков выкуренную наполовину. Затянулся, потом ответил:

— Он хотел прийти сюда и выпить.

— О боже! А ты что?

— Ты же слышала, — сказал седовласый, глядя на женщину. — Ты сама слышала. Разве ты не слыхала, что я ему говорил? — Он смял сигарету.

— Ты был изумителен. Просто великолепен, — сказала женщина, не сводя с него глаз. — Боже мой, я чувствую себя ужасной дрянью.

— Да-а, — сказал седовласый. — Положение не из легких. Уж не знаю, насколько я был великолепен.

— Нет-нет. Ты был изумителен, — сказала женщина. — А на меня такая слабость напала. Просто ужасная слабость. Посмотри на меня.

Седовласый посмотрел.

— Да, действительно, положение невозможное, — сказал он. — То есть все это настолько невероятно...

— Прости, милый, одну минуту, — поспешило сказала женщина и перегнулась к нему. — Мне показалось, ты горишь! — Быстрыми, легкими движениями она что-то смахнула с его руки. — Нет, ничего. Это просто пепел. Но ты был великолепен. Боже мой, я чувствую себя настоящей дрянью.

— Да, положение тяжелое. Он, видно, в совершенном... Зазвонил телефон.

— А, черт! — выругался седовласый, но тотчас снял трубку. — Да?

— Ли? Я тебя разбудил?

— Нет, нет.

— Слушай, я подумал, что тебе будет интересно. Сию минуту ввалилась Джоана.

— Что? — переспросил седовласый и левой рукой застылок глаза, хотя лампа светила не в лицо ему, а в затылок.

— Ага. Вот только что ввалилась. Прошло, наверно, секунд десять, как мы с тобой кончили разговаривать. Вот я и решил тебе позвонить, пока она в уборной. Слушай, Ли, огромное тебе спасибо. Я серьезно — ты знаешь, о чем я говорю. Я тебя не разбудил, нет?

— Нет, нет. Я как раз... нет, нет, — сказал седовласый, все еще заслоняя глаза рукой, и откашлялся.

— Ну вот. Получилось, видно, так: Леона здорово напилась и закатила истерику, и Боб упросил Джоану поехать с ними еще куда-нибудь выпить, пока все не утря-

сется. Я-то не знаю. Тебе лучше знать. Все очень сложно. Ну и вот, она уже дома. Какая-то мышиная возня. Честное слово, это все подлый Нью-Йорк. Я вот что думаю: если все наладится, может, мы снимем домик где-нибудь в Коннектикуте. Не обязательно забираться уж очень далеко, но куда-нибудь, где можно жить по-людски, черт возьми. Понимаешь, у нее страсть — цветы, кусты и всякое такое. Если бы ей свой садик и все такое, она, верно, с ума сойдет от радости. Понимаешь? Ведь в Нью-Йорке все наши знакомые — кроме тебя, конечно, — просто психи, понимаешь? От этого и нормальный человек рано или поздно попадет в неволе спятит. Ты меня понимаешь?

Седовласый все не отвечал. Глаза его за щигком ладони были закрыты.

— Словом, я хочу сегодня с нею об этом поговорить. Или, может быть, завтра утром. Она все еще немножко не в себе. Понимаешь, в сущности она ужасно славная девочка, и, если нам еще можно как-то все наладить, просто глупо не попробовать. Да, кстати, я заодно попытаюсь уладить эту гнусную историю с клопами. Я тут подумываю... Как по-твоему, Ли, если мне прямо пойти к шефу и поговорить, могу я...

— Извини, Артур, если ты не против, я бы...

— Ты только не думай, я не потому тебе звоню, что беспокоюсь из-за моей дурацкой службы или что-нибудь в этом роде. Ничего подобного. В сущности, меня это мало трогает, черт подери. Просто я подумал, если можно, не слишком надрываясь, все-таки успоконить шефа, так дурак я буду...

— Послушай, Артур, — прервал седовласый, отнимая руку от лица, — у меня вдруг зверски разболелась голова. Черт ее знает, с чего это. Ты извинишься, если мы сейчас кончим? Потолкуем утром, ладно?

Он слушал еще минуту, потом положил трубку.

Женщина тотчас начала что-то говорить, но он не ответил. Взял с пепельницы тлеющую сигарету — ту, что закурила она, — и поднес было к губам, но уронил. Женщина хотела помочь ему отыскать сигарету, вдруг прожжет что-нибудь, но он сказал, чтобы она, ради всего святого, сидела смирно, — и она убрала руку.

Голубой период де Домье-Смита

Если бы в этом был хоть малейший смысл — чего и в помине нету, — я был бы склонен посвятить мой неприхот-

ливый рассказ, особенно если он получится хоть немножко озорным, памяти моего покойного отчима, большого озорника, Роберта Агаджаняна. Бобби-младший, как его звали все, даже я, умер в 1947 году от закупорки сосудов, вероятно, с сожалением, но без единой жалобы. Это был человек безрассудный, необыкновенно обаятельный и щедрый. (Я так долго и упорно скучился на эти пышные эпитеты, что теперь считаю делом чести воздать ему должное.)

Мои родители развелись зимой 1928 года, когда мне было восемь лет, а весной мать вышла замуж за Бобби Агаджаняна. Через год, во время финансового кризиса на Уолл-стрите, Бобби потерял все свое и мамино состояние, но, по-видимому, сохранил умение колдовать. Так или иначе, не прошло и суток, как Бобби сам превратил себя из безработного маклера и обнищавшего бонвивана в деловитого, хотя и не очень опытного, агента-оценщика, обслуживающего объединение владельцев частных картинных галерей американской живописи, а также музеи изящных искусств. Несколько недель спустя, в начале 1930 года, наша не совсем обычная троица переехала из Нью-Йорка в Париж, где Бобби мог легче заниматься своей профессией. Мне было десять лет — возраст равнодушия, если не сказать — полного безразличия, и эта серьезная перемена никакой особой травмы мне не нанесла. Пришибло меня возвращение в Нью-Йорк девять лет спустя, через три месяца после смерти матери, и пришибло со страшной силой.

Хорошо помню один случай — дня через два после нашего с Бобби приезда в Нью-Йорк. Я стоял в переполненном автобусе на Лексингтон-авеню, держась за эмалированный поручень около сиденья водителя, спиной к спине со стоявшим сзади человеком. Несколько раз водитель повторял тем, кто толпался около него: «Пройдите назад!» Кто послушался, кто — нет. Наконец, воспользовавшись красным светом, умученный водитель круто обернулся и посмотрел на меня — я стоял с ним рядом. Было мне тогда девятнадцать лет, шляпы я не носил, и гладкий, черный, не особенно чистый чуб на европейский манер спускался на прыщавый лоб. Водитель обратился ко мне негромким, даже, я бы сказал, осторожным голосом.

— Ну-ка, братец, — сказал он, — убери-ка зад! — Это «братец» и взбесило меня окончательно. Не потрудившись хотя бы наклониться к нему, то есть продолжать разговор

таким же частным порядком, в таком же *bon goût*¹, как он, я сообщил ему по-французски, что он грубый, тупой, наглый тип и что он даже не представляет себя как я его ненавижу. И только тогда, облегчив душу, я пробрался в конец автобуса.

Но бывало и куда хуже. Как-то через неделю-другую, выходя днем из отеля «Ритц», где мы с Бобби постоянно жили, я вдруг вообразил, что из всех нью-йоркских автобусов вытащили сиденья, расставили их на тротуарах и вся улица стала играть в «море волнуется». И я сам согласился бы поиграть в эту игру, если бы только получил гарантировано от манхэттенской церкви, что все остальные участвующие будут почтительно стоять и ждать, пока я не займу свое место. Когда стало ясно, что никто мне места уступать не собирается, я принял более решительные меры. Я стал молиться, чтобы все люди исчезли из города, чтобы мне было подарено полное одиночество, да, оди-н-о-ч-е-с-т-в-о. В Нью-Йорке это единственная мольба, которую не кладут под сукно и в небесных канцеляриях не задерживают; не успел я оглянуться, как все, что меня касалось, уже дышало беспросветным одиночеством. С утра до половины дня я присутствовал — не душой, а телом — на занятиях ненавистной мне художественной школы на углу Сорок восьмой улицы и Лексингтон-авеню. (За неделю до нашего с Бобби отъезда из Парижа я получил три первые премии на национальной выставке молодых художников, в галерее Фрейберг. И когда мы возвращались в Америку, я не раз смотрелся в большое зеркало нашей каюты, удивляясь своему необъяснимому сходству с Эль-Греко.) Три раза в неделю я проводил послеобеденные часы в зубоврачебном кресле — за несколько месяцев мне вырвали восемь зубов, причем три передних. Дважды в неделю я бродил по картинным галереям, большей частью на Пятьдесят седьмой улице, и еле удерживался, чтоб не освистать американских художников. Вечерами я обычно читал. Я купил полное гарвардское издание «Классиков литературы», главным образом наперекор Бобби — он сказал, что их некуда поставить, — и назло всем прочел эти пятьдесят томов от корки до корки. По вечерам я упрямо устанавливал мольберт между кроватями в номере, где жили мы с Бобби, и писал маслом. В один только месяц, если верить моему дневнику за 1939 год, я закончил восемнадцать картин. Примечательней всего то, что семнадцать из них были автопортретами. Только изредка, должно быть, в дни, ко-

¹ Хорошем тоне (франц.).

гда моя музка капризничала, я откладывал краски и рисовал карикатуры. Одна из них сохранилась до сих пор. На ней изображена огромная человеческая пасть, над которой возится зубной врач. Вместо языка изо рта высовывается стодолларовая ассигнация, и зубной врач грустно говорит пациенту по-французски: «Думаю, что коренной зуб можно сохранить, а вот язык придется вырвать». Я обожал эту карикатуру.

Для совместного жития мы с Бобби подходили друг к другу примерно так же, как, скажем, исключительно воспитанный, уступчивый студент-старшекурсник Гарвардского университета и исключительно противный кэмбриджский мальчишка-газетчик. И когда с течением времени выяснилось, что мы оба до сих пор любим одну и ту же умершую женщину, нам от этого легче не стало. Наоборот, после этого открытия между нами установились невыносимо фальшивые, притворно-вежливые отношения. «После вас, Альфонс!» — словно говорили мы, бодро ухмыляясь друг другу при встрече на пороге ванной.

Как-то в начале мая 1939 года — мы прожили в отеле «Ритц» около десяти месяцев — в одной квебекской газете (я выписывал шестнадцать газет и журналов на французском языке) я прочел объявление на четверть колонки, помещенное дирекцией заочных курсов живописи в Монреале. Объявление призывало — и даже подчеркивало, что призывает оно весьма *fortement*¹, — всех квалифицированных преподавателей немедленно подать заявление на должность преподавателя на самых новых, самых прогрессивных художественных заочных курсах Канады. Кандидаты должны отлично владеть как английским, так и французским языком, и только лица с безукоризненной репутацией и примерным поведением могут принимать участие в конкурсе. Летний семестр на курсах «Les Amis des Vieux Maîtres»² официально открывался десятого июня. Образцы работы как в области чистого искусства, так и рекламы надо было выслать на имя месье Йошото, директора курсов, бывшего члена Императорской академии изящных искусств в Токио.

Меня тут же наполнила непреодолимая уверенность, что лучшего кандидата, чем я, не найти. Я вытащил портативную машинку Бобби из-под его кровати и написал

¹ Настойчиво (франц.).

² «Любители великих мастеров» (франц.).

по-французски длиннейшее, неумеренно взолнованное письмо месье Йошото; утренние занятия в своей школе я из-за этого, конечно, пропустил. От вступления — целых три страницы! — просто шел дым столбом. Я писал, что мне двадцать девять лет и что я внучатый племянник Онорé Домье. Я писал, что только сейчас, после смерти жены, я покинул небольшое родовое поместье на юге Франции и временно — это я подчеркнул особо — гошу в Америке у престарелого родственника. Рисую я с раннего детства, но по совету Пабло Пикассо, старейшего и любимейшего друга нашей семьи, я никогда еще не выставлялся. Однако многие мои полотна — масло и акварель — в настоящее время украшают лучшие дома Парижа, притом отнюдь не дома каких-нибудь нуворишей, и уже *gagné*¹ внимание самых выдающихся критиков нашего времени. После безвременной и трагической кончины моей супруги, последовавшей после *ulcération cancéreuse*², я был глубоко уверен, что никогда больше не коснусь кистью холста. Но недавно я почти разорился, и это заставило меня пересмотреть мое серьезнейшее *resolution*³. Я написал, что сочту за честь представить «Любителям великих мастеров» образцы своих работ, как только мне их вышлет мой парижский агент, которому я, разумеется, напишу *très pressé*⁴. И подпись: «С глубочайшим уважением Жан де Домье-Смит».

Этот псевдоним я придумывал чуть ли не дольше, чем писалось все письмо.

Письмо было написано на простой тонкой бумаге. Но запечатал я его в конверт, где стояло «Отель «Ритц». Я наклеил марки для заказного письма, ставив их из ящика Бобби, и отнес конверт вниз, в вестибюль, в центральный почтовый ящик. По пути я остановился возле клерка, раздававшего почту (он явно меня ненавидел), и предупредил его о возможном поступлении писем на имя де Домье-Смита. Около половины третьего я проскользнул в свой класс: урок анатомии уже начался без четверти два. Впервые мои соученики показались мне довольно славными ребятами.

Четыре дня подряд я тратил все свое свободное — да и не совсем свободное — время на рисование образцов, как мне казалось, типичных для американской рекламы. Работая по преимуществу акварелью, но иногда для вящего

¹ Привлекли (франц.).

² Раковая опухоль (франц.).

³ Решение (франц.).

⁴ Срочно (франц.).

эффекта переходя на рисунок пером, я изображал сверхэлегантные пары в вечерних туалетах — они прибывали в лимузинах на театральные премьеры, сухопарые, стройные, никому в жизни не причинявшие страданий из-за небрежного отношения к гигиене подмышек, впрочем, у этих существ, наверно, и подмышек не было. Я рисовал загорелых юных великанов в белых смокингах — они сидели у белых столиков около лазоревых бассейнов и с преувеличным энтузиазмом подымали за здоровье друг друга бокалы с коктейлями, куда входил дешевый, но явно сверхмодный сорт виски. Я рисовал краснощеких, очень «рекламогеничных» детей, пышущих здоровьем, — сияя от восторга, они протягивали пустые тарелки из-под каши и весело просили добавки. Я рисовал веселых высокогрудых девушки — они скользили на аквапланах, не зная забот, потому что были прочно защищены от таких всенародных бедствий, как кровоточащие десны, нечистая кожа лица, излишние волоски и незастрахованная жизнь. Я рисовал домашних хозяек, и если они не употребляли лучшую мыльную стружку, то им грозила страшная жизнь: нечесаные, сутулые, они будут маяться в своих запущенных, хотя и огромных кухнях, их тонкие руки огрубеют и дети перестанут их слушаться, а мужья разлюбят навсегда. Наконец образцы были готовы, и я тут же отправил их мосье Йошото вместе с десятком произведений чистого искусства, которые я привез с собой из Франции. К ним я приложил небольшое письмоцо, где сжато, но задушевно рассказывалось о том, как я без чьей бы то ни было помощи, следя высоким романтическим традициям, преодолевал всяческие препятствия и в одиночестве достиг сияющих холодной белизной вершин мастерства.

Несколько дней я провел в напряженном ожидании, но к концу недели пришло письмо от мосье Йошото, где сообщалось, что я зачислен преподавателем курсов «Любители великих мастеров». Письмо было написано по-английски, хотя я писал по-французски. (Впоследствии я узнал, что мосье Йошото знал французский и не знал английского и почему-то поручил ответить мадам Йошото, немного знавшей английский.) Мосье Йошото писал, что летний триместр будет, пожалуй, самым загруженным и начнется двадцать четвертого июня. Он напоминал, что мне оставалось пять недель для устройства личных дел. Он выскакивал безграничное сочувствие по поводу моих материальных и моральных потерь. Он надеялся, что я смогу явиться на курсы «Любители великих мастеров» в воскресенье двадцать третьего июня, чтобы ознакомиться со своими

обязанностями, а также «завязать дружбу» с другими преподавателями. (Как я потом узнал, их оказалось всего двое — месье и мадам Йошото.) Он глубоко сожалел, что не в обычаях курсов оплачивать дорожные расходы преподавателей. Мой оклад выражался в сумме двадцати восьми долларов в неделю, и месье Йошото писал, что вполне отдает себе отчет, насколько эта сумма невелика, но так как при этом полагается квартира и хорошее питание, то он надеется, что я не буду разочарован, тем более что он чувствует во мне истинное призвание. Он с нетерпением ждет от меня телеграммы, подтверждающей согласие, и с чувством живейшего удовольствия предвкушает мой приезд. «Ваш новый друг, директор курсов И. Йошото, бывший член Императорской академии изящных искусств в Токио».

Телеграмма, подтверждающая мое согласие, была подана через пять минут. Может быть, от волнения, а вернее, из чувства вины перед Бобби (телеграмма была послана по телефону за его счет) я сдержал свой литературный пыл и, как ни странно, ограничился всего лишь десятью словами.

Вечером мы с Бобби, как всегда, встретились за обедом в Овальном зале, и я очень расстроился, увидев, что он привел с собой гостью. До сих пор я ничего не говорил ему о своих внешкольных занятиях, и мне до смерти хотелось выложить ему все новости, огорошить его, но только наедине. А тут эта гостья, очень привлекательная молодая особа, — она недавно развелась с мужем, и Бобби виделся с ней довольно часто, да и я не раз с ней сталкивался. Это была очень милая женщина, но любую ее попытку подружиться со мной, ласково уговорить меня снять свой панцирь или хотя бы поднять забрали я предвзято толковал как невысказанное приглашение лечь с ней в постель, как только подвернется удобный случай, то есть как только ей удастся отделаться от Бобби, который, безусловно, был для нее слишком стар. Весь обед я был настроен враждебно и ограничивался краткими репликами. Только за кофе я скжато изложил свои летние планы. Выслушав меня, Бобби задал несколько деловых вопросов. Я отвечал хладнокровно, отрывисто и кратко, как неоспоримый правитель своей судьбы.

— Ах, как интересно! — сказала гостья Бобби, явно выжиная с присущей ей ветреностью, чтобы я передал ей под столом свой монреальский адрес.

— Но я думал, ты поедешь со мной на Род-Айленд, — сказал Бобби.

— Ах, милый, не надо портить ему удовольствие! — сказала миссис Икс.

— А я и не собираюсь, — сказал Бобби, — но я бы не пропустил узнать все более подробно.

Но по его тону мне показалось, что он мысленно уже обменивает два билета в отдельном купе на одно нижнее место.

— По-моему, это самое теплое, самое лестное приглашение, какое только может быть, — с горячностью сказала мне миссис Икс. Ее глаза сверкали порочным вожделением.

В то воскресенье, когда я вышел на перрон Уиндзорского вокзала в Монреале, на мне был двубортный габардиновый песочного цвета костюм (мне он казался верхом элегантности), темно-синяя фланелевая рубаха, плотный желтый бумажный галстук, коричневые с белым туфли, шляпа-панама (взятая у Бобби и слишком тесная), а также каштановые, с рыжинкой усики трех недель от роду. Меня встречал мистер Ишотто — маленький человечек, футов пяти ростом, в довольно несвежем полотняном костюме, черных башмаках и черной фетровой шляпе с загнутыми кверху полями. Без улыбки и, насколько мне помнится, без единого слова он пожал мне руку. Выражение лица у него было, как сказано во французском переводе книжечек Сакса Ромер про Фу Манчу, *inscrutable*¹. А я по неизвестной причине улыбался до ушей. Ни пригласить эту улыбку, ни тем более стереть ее я никак не мог.

От вокзала до курсов пришлось ехать несколько миль в автобусе. Сомневаюсь, чтобы за всю дорогу месье Ишотто сказал пять слов. То ли из-за этого молчания, то ли напрекор ему я говорил без умолку, высоко задрав левую ногу на правое колено и непрестанно вытирая потную ладонь о носок. Мне казалось, что необходимо не только повторить все прежние выдумки про родство с Домье, про покойную супругу и небольшое поместье на юге Франции, но и разукрасить это вранье. Потом, чтобы избавиться от мучительных воспоминаний (а они и на самом деле начинали меня мучить), я перешел на тему о старинной дружбе моих родителей с дорогим их сердцу Пабло Пикассо, се рапуре Picasso², как я его называл.

Кстати, выбрал я Пикассо потому, что считал, что из французских художников его лучше всех знают в США,

¹ Непроницаемо (франц.).

² Бедняга Пикассо (франц.).

а Канаду я тоже присоединил к США. Исключительно ради просвещения месье Йошото я припомнил с подчеркнутым состраданием к падшему гиганту, сколько раз я говорил нашему другу: «*Maitre Picasso, où allez vous?*¹!». И как в ответ на этот проникновенный вопрос старый мастер медленным, тяжким шагом проходил по мастерской и неизменно останавливался перед небольшой репродукцией своих «Акробатов», вспоминая о своей давно загубленной славе. Когда мы выходили из автобуса, я объяснил месье Йошото, что беда Пикассо в том, что он никогда и никого не слушает, даже своих ближайших друзей.

В 1939 году «Любители великих мастеров» помещались на втором этаже небольшого, удивительно унылого с виду трехэтажного домика, как видно сдававшегося внаем, в самом неприглядном, верденском, районе Монреаля. Школа находилась прямо над ортопедической мастерской. «Любители великих мастеров» занимали одну большую комнату с крохотной незапиравшейся уборной. Но напрекор всему, когда я вошел в это помещение, мне оно сразу показалось удивительно приятным. И тому была причина: все стены этой «преподавательской» были увешаны картинами — главным образом акварелями работы месье Йошото. Мне и сейчас иногда видится во сне белый гусь, лежащий по невыразимо бледному, голубому небу, причем — и в этом главное достижение смелого и опытного мастера — голубизна неба, вернее, дух этой голубизны, отражен в оперении птицы. Картина висела над столом мадам Йошото. Это произведение и еще две-три картины, схожие по мастерству, придавали комнате свой особый характер.

Когда я вошел в преподавательскую, мадам Йошото в красивом, черном с вишневым, шелковом кимоно подметала пол коротенькой щеткой. Это была седовласая дама, чуть ли не на голову выше своего супруга, похожая скорее на малайку, чем на японку. Она поставила щетку и подошла к нам. Месье Йошото представил меня. Пожалуй, она была еще более *inscrutable*, чем месье Йошото. Затем месье Йошото предложил показать мне мою комнату, объяснив по-французски, что это комната их сына, который уехал в Британскую Колумбию работать на ферме. (После его продолжительного молчания в автобусе я обрадовался, что он заговорил, и слушал его с преувеличенным воодушевлением.) Он начал было извиняться, что в комнате сына нет стульев — только циновки на полу, но я сразу

¹ Куда вы идете, метр Пикассо? (франц.).

уверил ёго, что для меня это чуть ли не дар небес. (Кажется, я даже сказал, что ненавижу стулья. Я до того нервничал, что, скажи мне, будто в комнате его сына день и ночь стоит вода по колено, я завопил бы от восторга. Возможно, я даже сказал бы, что у меня редкая болезнь ног, требующая ежедневного и по крайней мере восьми часовного погружения их в воду.) Мы поднялись наверх по шаткой деревянной лесенке. Мимоходом я подчеркнул в разговоре, что изучаю буддизм. Впоследствии я узнал, что и он, и мадам Йошото пресвитерианцы.

До поздней ночи я не спал — малайско-японский обед мадам Йошото en masse¹ то и дело подкатывался кверху, как лифт, распирая желудок, а тут еще за перегородкой кто-то из супругов Йошото застонал во сне. Стон был высокий, тонкий, жалобный; казалось, что стонет не взрослый человек, а несчастный недоношенный ребенок или мелкая искалеченная зверушка. (Ни одна ночь не проходила без концерта, но я так и не узнал, кто из них издавал эти звуки и по какой причине.) Когда мне стало совсем невыносимо слушать стоны в лежачем положении, я встал, сунул ноги вочные туфли и в темноте уселся на пол, на одну из циновок. Просидел я так часа два и выкурил несколько сигарет — тушить их приходилось о подошву туфли, а окурки класть в карман пижамы. (Сами Йошото не курили, и в доме не было ни одной пепельницы.) Уснул я только в пять утра.

В шесть тридцать мосье Йошото постучал в мою дверь и сообщил, что завтрак будет подан без четверти семь. Он спросил через двери, хорошо ли я спал, и я ответил: «Oui»². Я оделся, выбрав синий костюм как самый подходящий для преподавателя в день открытия курсов и к нему красный ручной работы галстук — мне его подарила мама — и, не умываясь, побежал по коридору на кухню. Мадам стояла у плиты, готовя на завтрак рыбу. Мосье Йошото, в брюках и фуфайке, сидел у кухонного стола и читал японскую газету. Он молчаливо кивнул мне. Никогда еще они не выглядели более inscrutable. Вскоре мне подали какую-то рыбу со смазанными, но довольно явными следами засохшего кетчупа на краю тарелки. Мадам Йошото спросила меня по-английски — выговор у нее был неожиданно приятный, — может быть, я предпочитаю яйца, но я сказал: «Non, non, merci, madame»³. Я добавил,

¹ Целиком (франц.).

² Да (франц.).

³ Нет, нет, спасибо, мадам (франц.).

что никогда не ем яиц. Мосье Йошото прислонил свою газету к моему стакану, и мы все трое молча стали есть, вернее, они оба ели, а я, также молча, с усилием глотал пищу.

После завтрака мосье Йошото тут же, на кухне, натянул рубашку без воротника, мадам Йошото сняла передник, и мы все трое гуськом, с некоторой неловкостью, проследовали вниз, в преподавательскую. Там, на широком столе мосье Йошото, были грудой навалены штуки десять огромных пухлых, нераспечатанных конвертов из плотной бумаги. Эти двое мне показались какими-то вымытыми, причесанными — совершенно как школьники-новички. Мосье Йошото указал мне место за столом, стоявшим в дальнем углу комнаты, и попросил сесть. Мадам Йошото подсела к нему, и они стали вскрывать конверты. В том, как раскладывалось и рассматривалось содержимое, по-видимому, была какая-то система, они все время советовались по-японски, тогда как я, сидя в другом конце комнаты в своем синем костюме и красном галстуке, старался всем видом показать, как терпеливо и в то же время заинтересованно я жду указаний, а главное — какой я тут незаменимый человек. Из внутреннего кармана я вынул несколько мягких карандашей, привезенных из Нью-Йорка, и, стараясь не шуметь, разложил их на столе. А когда мосье Йошото, должно быть случайно, взглянул в мою сторону, я одарил его сверхобаятельной улыбкой. Внезапно, не сказав мне ни слова и даже не взглянув в мою сторону, они оба разошлись к своим столам и взялись за работу. Было уже половина восьмого.

Около девяти мосье Йошото снял очки и, шаркая ногами, прошелепал к моему столу — в руках он держал стопу рисунков. Полтора часа я просидел без всякого дела с усилием сдерживая бурчание в животе. Когда он приблизился, я торопливо встал ему навстречу, слегка согнувшись, чтобы не смущать его своим высоким ростом. Он вручил мне принесенные рисунки и вежливо спросил, не буду ли я так добр перевести его замечания с французского на английский. Я сказал: «Oui, monsieur». С легким поклоном он прошаркал назад, к своему столу. Я отодвинул карандаши, вынул авторучку и с тоской в душе принялся за работу.

Как и многие другие по-настоящему хорошие художники, мосье Йошото как преподаватель стоял ничуть не выше любого посредственного живописца с кое-какими педагогическими способностями. Его практические поправки, то есть его рисунки, нанесенные на кальку, поверх

рисунков учащихся, вместе с письменными замечаниями на обороте рисунков вполне могли показать мало-мальски способному ученику, как похоже изобразить свинью или даже как живописно изобразить свинью в живописном хлеву. Но никогда в жизни он не сумел бы научить кого-нибудь отлично написать свинью и так же отлично хлен, а ведь передачи, к тому же заочной, именно этого небольшого секрета мастерства и добивались от него так жадно наиболее способные ученики. И не в том, разумеется, было дело, что он сознательно или бессознательно скрывал свой талант или не расточал его из скромности, он просто не умел его передать. Сначала эта жестокая правда как-то не затронула и не поразила меня. Но представьте себе мое положение, когда доказательства его беспомощности все накапливались и накапливались. Ко второму завтраку я дошел до такого состояния, что должен был соблюдать величайшую осторожность, чтобы не размазать строчку перевода потными ладонями. В довершение всего у мосье Йошто оказался на редкость неразборчивый почерк. И когда настала пора идти завтракать, я решительно отверг приглашение четы Йошто. Я сказал, что мне надо на почту. Сбежав по лестнице, я наугад углубился в путаницу незнакомых, запущенных улочек. Увидев закусочную, я забежал туда, проглотил четыре «с пылу с жару» кони-айлендские колбаски и выпил три чашки мутного кофе.

Возвращаясь к «*Les Amis des Vieux Maîtres*», я ощущал сначала привычную смутную тревогу — правда, с ней я, по прошлому опыту, более или менее умел справляться, но тут она перешла в настоящий страх: неужели мои личные качества тому виной, что мосье Йошто не нашел для меня лучшего дела, чем эти переводы. Неужто старый Фу Манчу раскусил меня, понял, что я не только хотел сбить его с толку всякими выдумками, но что я, девятнадцатилетний мальчишка, и усы отрастил для этого? Думать об этом было невыносимо. Вера моя в справедливость медленно подтачивалась. В самом деле, меня, меня, получившего три первые премии, меня, личного друга Пикассо (я уже сам начал в это верить), меня использовать как переводчика! Мое преступление никак не заслужило такого наказания. Да и усики, пусть жидкые, зато мои собственные, а не наклеенные: Для успокоения я все время по дороге на курсы теребил их пальцами. Но чем больше я думал о своем положении, тем быстрее я шел и под конец уже бежал бегом, будто боясь, что меня со всех сторон вот-вот забросают камнями.

Хотя я потратил на завтрак всего минут сорок, чета Йошото уже сидела за столами и работала. Они не подняли глаз, не подали виду, что заметили, как я вошел. Потный, запыхавшийся, я сел за свой стол. Минут пятнадцать—двадцать я сидел, вытянувшись в струнку и придумывая новехонькие анекдоты про старика Пикассо, на тот случай, если мосье Йошото вдруг поднимется и станет разоблачать меня. И тут он действительно поднялся и пошел ко мне. Я встал, готовый, если понадобится, встретить его в упор свеженькой сплетней про Пикассо, но, когда он подошел к столу, все, что я придумал, к моему ужасу, вылетело у меня из головы. Но я воспользовался моментом, чтобы выразить свой восторг по поводу изображения гуся в полете, висящего над столом мадам Йошото. Я рассыпался в самых щедрых похвалах. Я сказал, что у меня в Париже есть знакомый богач — паралитик, как я объяснил, — который не пожалеет никаких денег за картину мосье Йошото. Я сказал, что, если мосье Йошото согласен, я могу немедленно связаться с Парижем. К счастью, мосье Йошото объяснил, что картина принадлежит его кузену, гостяющему сейчас у родных в Японии. И тут же, прежде чем я успел выразить сожаление, он, назвав меня «мосье Домье-Смит», спросил, не буду ли я так добр исправить несколько заданий. Он пошел к своему столу и вернулся с тремя огромными пухлыми конвертами. Я стоял обалденный, машинально кивая головой и ощупывая карман индюка, куда я засунул все карандаши. Мосье Йошото объяснил мне метод преподавания на курсах (вернее было бы сказать, отсутствие всякого метода). Он вернулся к своему столу, а я все еще никак не мог прийти в себя.

Все три ученика писали нам по-английски. Первый конверт прислала двадцати трехлетняя домохозяйка из Торонто — она выбрала себе псевдоним Бэмби Кремер — так ей и надлежало адресовать письма. Все вновь поступающие на курсы «Любители великих мастеров» должны были заполнить анкету и приложить свою фотографию. Мисс Кремер приложила большую глянцевую фотокарточку, восемь на десять дюймов, где она была изображена с браслетом на щиколотке, в купальном костюме без бретелек и в белой морской бескозырке. В анкете она сообщала, что ее любимые художники Рембрандт и Уолт Дисней. Она писала, что надеется когда-нибудь достичь их славы. Образцы рисунков были несколько пренебрежительно подковоты снизу к ее портрету. Все они вызывали удивление. Но один был незабываем. Это незабываемое произведение было выполнено яркими акварельными кра-

сками, с подписью, гласившей: «И прости им прегрешения их». Оно изображало трех мальчуганов, ловивших рыбу в каком-то странном водоеме, причем чья-то курточка висела на доске с объявлением: «Ловля рыбы воспрещается». У самого высокого мальчишки на переднем плане одна нога была поражена ракитом, другая — слоновой болезнью: очевидно, мисс Кремер таким способом старалась показать, что он стоит, слегка расставив ноги.

Вторым моим учеником оказался пятидесятишестилетний «светский фотограф» по имени Р. Говард Риджфилд, из города Уиндуор, штат Онтарио. Он писал, что его жена годами не дает ему покоя, требуя, чтобы он тоже «втерся в это выгодное дельце» — стал художником. Его любимые художники — Рембрандт, Сарджент и «Тициан», но он благородно добавлял, что сам он в их духе работать не собирается. Он писал, что интересуется скорее сатирической стороной живописи, чем художественной. В поддержку своего кредо он приложил изрядное количество оригинальных произведений — масло и карандаш. Одна из его картин — по-моему, главный его шедевр — навеки врезалась мне в память: так привязываются слова популярных песенок. Это была сатира на всем знакомую, будничную трагедию невинной девицы с длинными белокурыми локонами и вымебразной грудью, которую преступно соблазнял в церкви, так сказать, прямо под сенью алтаря, ее духовник. Художник графически подчеркнул живописный беспорядок в одежде своих персонажей. Но гораздо больше, чем обличительный сатирический сюжет, меня потрясли стиль работы и характер исполнения. Если бы я не знал, что Риджфилд и Бэмби Кремер живут на расстоянии сотен миль друг от друга, я поклялся бы, что именно Бэмби Кремер помогала Риджфилду с чисто технической стороны.

Не считая исключительных случаев, у меня в 19 лет чувство юмора было самым уязвимым местом и при первых же неприятностях отмирало иногда частично, а иногда и полностью. Риджфилд и мисс Кремер вызвали во мне множество чувств, но не рассмешили ни на йоту. И когда я просматривал их работы, меня не раз так и подмывало вскочить и обратиться с официальным протестом к мэрии Йошото. Но я не совсем представлял себе, в какой форме выразился бы этот протест. Должно быть, я боялся, что, подойдя к его столу, я закричу срывающимся голосом: «У меня мать умерла, приходится жить у ее милейшего мужа, и в Нью-Йорке никто не говорит по-французски, а в комнате вашего сына даже стульев нет! Как

же вы хотите, чтобы я учил этих двух идиотов рисовать?»

Но я так и не встал с места — настолько я приучил себя сдерживать приступы отчаяния и не метаться зря. И я открыл третий конверт.

Третьей моей ученицей оказалась монахиня женского монастыря св. Иосифа, по имени сестра Ирма, преподававшая «кулинарию и рисование» в начальной монастырской школе неподалеку от Торонто. Не знаю, как бы лучше начать описание того, что было в ее конверте. Во-первых, надо сказать, что вместо своей фотографии сестра Ирма без всяких объяснений прислала вид своего монастыря. Помнится также, что она не заполнила графу «возраст». Но с другой стороны, ни одна анкета в мире не заслуживает, чтобы ее заполняли так, как заполнила ее сестра Ирма. Она родилась и выросла в Детройте, штат Мичиган, ее отец «в миру» служил в «отделе контроля автомашин». Кроме начальной школы, она еще год проучилась в средней. Рисованию нигде не обучалась. Она писала, что преподает рисование лишь потому, что сестра такая-то скончалась и отец Циммерман (я особенно запомнил эту фамилию, потому что так звали зубного врача, вырвавшего мне восемь зубов) — отец Циммерман выбрал ее в заместительницы покойной. Она писала, что у нее в классе кулинарии 34 крошки, а в классе рисования 18 крошек. Любит она больше всего «Господа и Слово божье», и еще любит «собирать листья, но только когда они уже сами опадают на землю». Любимым ее художником был Дуглас Бантинг (сознаюсь, что я много лет искал такого художника, но и следа не нашел). Она писала еще, что ее крошки «любят рисовать бегущих человечков, а я этого совсем не умею». Она писала, что будет очень стараться, чтобы научиться лучше рисовать, и надеется, что «мы будем к ней снисходительны».

В конверт были вложены всего шесть образцов ее работы. (Все они были без подписи — само по себе это мелочь, но в тот момент мне это необычно понравилось.) И Бэмби Кремер, и Риджфилд ставили под картинами свою подпись или — что меня раздражало еще больше — свои инициалы. С тех пор прошло тринацать лет, а я не только ясно помню все шесть рисунков сестры Ирмы, но четыре из них я вспоминаю настолько отчетливо, что это иногда нарушает мой душевный покой. Лучшая ее картина была написана акварелью на оберточной бумаге. (На коричневой оберточной бумаге, особенно на очень плотной, писать так удобно, так приятно. Многие серьезные мастера писали на ней, особенно когда у них не было ка-

кого-нибудь грандиозного замысла.)

Несмотря на небольшой размер, примерно десять на двенадцать дюймов, на картине очень подробно и тщательно было изображено перенесение гела Христа в пещеру сада Иосифа Аримафейского. На переднем плане справа два человека, очевидно слуги Иосифа, довольно неловко несли тело. Иосиф (Аримафейский) шел за ними. В этой ситуации он, пожалуй, держался слишком прямо. За ним на почтительном расстоянии среди разношерстной, возможно, даже явившейся без приглашения толпы плакальщиц, зевак, детей шли жены галилейские, а около них безбожно резвилось не меньше трех дворняжек. Но больше всех привлекала мое внимание женская фигура на переднем плане слева, стоявшая лицом к зрителю. Вскинув правую руку, она отчаянно махала кому-то — может быть, ребенку или мужу, а может, и нам, зрителям, — бросай все и беги сюда. Сияние окружало головы двух женщин, идущих впереди толпы. Под рукой у меня не было Евангелия, поэтому я мог только догадываться, кто они. Но Марию Магдалину я узнал тотчас же. Во всяком случае, я был убежден, что это она. Она шла впереди, поодаль от толпы, уронив руки вдоль тела. Горе свое она, как говорится, напоказ не выставляла — по ней совсем не было видно, насколько близок ей был усопший в последние дни. Как все лица, и ее лицо было написано дешевой краской телесного цвета. Но было до боли ясно, что сестра Ирма сама поняла, насколько не подходит эта готовая краска, и неумело, но от всей души попыталась как-то смягчить тон. Других серьезных недостатков в картине не было. Вернее сказать, всякая критика уже была бы придиркой. По моим понятиям, это было произведение истинного художника, с печатью высокого и в высшей степени самоубийственного таланта, хотя одному Богу известно, сколько упорного труда было вложено в эту картину.

Первым моим побуждением было броситься с рисунками сестры Ирмы к мосье Йошото. Но я и тут не встал с места. Не хотелось рисковать — вдруг сестру Ирму отнимут у меня? Поэтому я аккуратно закрыл конверт и отложил в сторону, с удовольствием думая, как вечером, в свободное время, я поработаю над ее рисунками. Затем с терпимостью, которой я в себе и не подозревал, я великодушно и доброжелательно стал править обнаженную натурę — мужчин и женщин (*sans¹* признаков пола), жеманно и непристойно изображенных Р. Говардом Ридж菲尔-

¹ Без (франц.).

дом. В обеденный перерыв я расстегнул три пуговки на рубашке и засунул конверт сестры Ирмы туда, куда было не добраться ни ворам, ни — тем более! — самим супругам Йошото.

Все вечерние трапезы в школе происходили по негласному, но нерушимому ритуалу. Ровно в половине шестого мадам Йошото вставала и уходила наверх готовить обед, а мы с мосье Йошото обычно гуськом приходили туда же ровно в шесть. Никаких отклонений с пути, хотя бы они были вызваны требованиями гигиены или неотложной необходимости, не полагалось. Но в тот вечер, согретый конвертом сестры Ирмы, лежавшем у меня на груди, я впервые чувствовал себя спокойным. Больше того, за этим обедом я был настоящей душой общества. Я рассказал про Пикассо такой анекдот — пальчики оближешь! — пожалуй, было бы нелишне приберечь его на черный день. Мосье Йошото только слегка опустил свою японскую газету, зато мадам как будто заинтересовалась; во всяком случае, полного отсутствия интереса заметно не было. А когда я окончил, она впервые обратилась ко мне, если не считать утреннего вопроса, не хочу ли я съесть яйцо. Она спросила: может быть, мне все-таки поставить стул в комнату? Я торопливо ответил: «Non, non, merci, madame». Я объяснил, что придвигаю циновки к стене и таким образом приучаюсь держаться прямо, а мне это очень полезно. Я даже встал, чтобы продемонстрировать, до чего я сутулюсь.

После обеда, когда чета Йошото обсуждала по-японски какой-то, может быть и весьма увлекательный, вопрос, я попросил разрешения уйти из-за стола. Мосье Йошото взглянул на меня так, будто не совсем понимал, каким образом я очутился у них на кухне, но кивнул в знак согласия. И я быстро прошел по коридору к себе в комнату.

Включив полный свет и заперев двери, я вынул из кармана свои карандаши, потом снял пиджак, расстегнул рубаху и, не выпуская конверт сестры Ирмы из рук, сел на пол, на циновку. Почти до пяти утра, разложив все, что надо, на полу, я старался оказать сестре Ирме в ее художественных исканиях ту помощь, в какой она, по-моему убеждению, нуждалась.

Первым делом я набросал штук десять-двенадцать эскизов карандашом. Не хотелось идти в преподавательскую за бумагой, и я рисовал на своей собственной почтовой бумаге с обеих сторон. Покончив с этим, я написал длинное, бесконечно длинное письмо.

Всю жизнь я коплю всякий хлам, не хуже какой-нибудь сороки-неврастенички, и у меня до сих пор сохра-

нился предпоследний черновик письма, написанного сестре Ирме в ту июньскую ночь 1939 года. Я мог бы дословно воспроизвести все письмо, но это лишнее. Множество страниц — а их и вправду было множество — я посвятил разбору тех незначительных ошибок, которые она допустила в своей главной картине, особенно в выборе красок. Я перечислил все принадлежности, необходимые ей как художнику, с указанием их приблизительной стоимости. Я спросил, кто такой Дуглас Бантиг. Я спросил, где я мог бы посмотреть его работы. Я спросил ее (понимая, что это политика дальнего прицела), видела ли она репродукции с картин Антонелло да Мессина. Я просил ее: напишите мне, пожалуйста, сколько вам лет, и пространно уверил ее, что сохранию в тайне эти сведения, ежели она их мне сообщит. Я объяснил, что справляюсь об этом по той причине, что мне так будет легче подобрать наиболее эффективный метод преподавания. И тут же, единым духом, я спросил, разрешают ли принимать посетителей в монастыре.

Последние строки, вернее — последние кубические метры моего письма, лучше всего воспроизвести дословно, не изменяя ни синтаксис, ни пунктуацию.

«...Если вы владеете французским языком, прошу вас поставить меня в известность, так как лично я умею более точно выражать свои мысли на этом языке, прожив большую часть своей молодости в Париже, Франция.

Очевидно, вы весьма заинтересованы в том, чтобы научиться рисовать бегущих человечков и впоследствии передать технику этого рисунка своим ученицам в монастырской школе. Прилагаю для этой цели несколько набросков, может быть, они вам пригодятся. Вы увидите, что сделаны они наспех, очень далеки от совершенства и подражать им не следует, но надеюсь, что вы увидите в них те основные приемы, которые вас интересуют. К несчастью, директор наших курсов в преподавании не придерживается никакой системы, боясь, что это именно так. Ваши успехами я восхищаюсь, вы уже далеко ушли, но я совершенно не представляю себе, чего он хочет от меня и как мне быть с другими учащимися, людьми умственно отсталыми и, по моему мнению, безнадежно тупыми.

К сожалению, я агностик. Однако я поклонник св. Франциска Ассизского, хотя — что само собой понятно — чисто теоретически. Кстати, известно ли вам досконально, что именно он (Франциск Ассизский) сказал, когда ему собирались выжечь глаза каленым железом? Сказал он следующее: «Брат огонь, бог дал тебе красоту и силу на пользу людям, молю же тебя — будь милостив ко мне». В ваших картинах есть что-то очень хорошее, напоминающее его слова, так мне по крайней мере кажется. Между прочим, разрешите узнать, не является ли молодая особа в голубой одежде, на первом плане, Марией Магдалиной? Я говорю о картине, которую мы только что обсудили. Если нет, значит, я глубоко заблуждаюсь. Впрочем, мне это свойственно.

Пожалуйста, пока вы обучаетесь на курсах «Любители великих

мастеров», считайте меня в полном вашем распоряжении, я очень на это надеюсь. Говоря откровенно, я считаю вас необыкновенно талантливой и ничуть не удивлюсь, если в самом ближайшем будущем вы станете великим художником. По этой причине я и спрашиваю вас, является ли молодая особа в голубой одежде, на первом плане, Марией Магдалиной, потому что если это так, то боюсь, что в ней больше выражен ваш врожденный талант, чем ваши религиозные за-блуждения. Однако, по моему мнению, бояться тут нечего.

С искренней надеждой, что мое письмо застанет вас в добром здравии, остаюсь

уважающий вас (тут следовала подпись)
Жан де Домье-Смит, штатный
преподаватель курсов
«Любители великих мастеров».

Постскрипту м. Чуть не забыл предупредить вас, что слушатели обязаны представлять в школу свои работы каждые две недели, по понедельникам. В качестве первого задания попрошу вас сделать несколько набросков с натуры. Пишите свободно, без напряжения. Разумеется, я не осведомлен, сколько свободного времени уделяют вам в вашем монастыре для личных занятий искусством, и прошу поставить меня об этом в известность. Также прошу вас приобрести те необходимые пособия, которые я имел смелость перечислить выше, так как я хотел бы, чтобы вы начали писать маслом как можно скорее. Простите меня, если я скажу прямо, но мне кажется, что вы — натура страстная, порывистая и вам надо писать не акварелью, а скорее переходить на масло. Говорю это в совершенно ставленном смысле, вовсе не желая вас обидеть, наоборот, я считаю это похвалой. Прошу вас также переслать мне все ваши прежние работы, какие только сохранились, я жажду увидеть их поскорее. Не стану говорить, как невыносимо для меня будут тянуться дни, пока не придет ваше письмо.

Если это не слишком большая смелость с моей стороны, то я бы очень хотел узнать от вас, удовлетворяет ли вас монастырская жизнь, разумеется в чисто духовном смысле. Скажу откровенно, что я изучал множество религий с чисто научной точки зрения, главным образом по 36-му, 44-му и 45-му тому «Классических произведений» в гарвардском издании, с которыми вы, быть может, знакомы. Особенно я восхищаюсь Мартином Лютером, но, конечно, он был протестант. Пожалуйста, не обижайтесь на меня. Я не защищаю ни одного вероисповедания — это не в моем характере. В заключение этого письма еще раз прошу: не забудьте сообщить мне часы приема, так как конец недели у меня всегда свободен и я могу случайно оказаться в ваших краях в субботу. Пожалуйста, не забудьте также сообщить мне, владеете ли вы французским языком, потому что вопреки всем моим стараниям я с трудом нахожу слова на английском языке, так как получил беспорядочное и, честно говоря, неразумное воспитание».

В половине четвертого утра я вышел на улицу, чтобы опустить в почтовый ящик письмо сестре Ирме вместе с рисунками. Буквально ошалев от радости, я разделся, еле дыша руками, и повалился на кровать.

Уже сквозь сон за перегородкой я услышал стон из супружеской спальни Йошото. Я представил себе, как утром они оба подходят ко мне и просят, нет, умоляют

выслушать то, что их мучает, до самых последних, самых страшных подробностей. Я отчетливо представил себе, как это будет. Я сяду между ними за кухонный стол и выслушаю по очереди каждого из них. Опустив голову на руки, я буду их слушать, слушать, слушать, пока наконец у меня не лопнет терпение. И тогда я запущу руку прямо в горло мадам Йошото, выну ее сердце и, как птичку, согрею его в руках. А когда они успокоятся, я покажу им рисунки сестры Ирмы, и они разделят мою радость.

Обычно явные истины познаются слишком поздно, но я понял, что основная разница между счастьем и радостью — это то, что счастье — твердое тело, а радость — жидкое. Радость, переполнившая меня, стала утекать уже с утра, когда мосье Йошото положил на мой стол два конверта от новых учеников. В ту минуту я мирно и беззлобно работал над рисунком Бэмби Кремер, зная, что мое письмо к сестре Ирме уже ушло. Но я никак не ожидал, что придется столкнуться с таким уродливым явлением и с двумя людьми, еще более бездарными, чем Бэмби или Р. Говард Риджфилд. Чувствуя, как все мои добрые намерения испаряются, я закурил — это была первая сигарета, выкуренная в преподавательской комнате со дня моего вступления в штат. Сигарета помогла, и я снова взялся за рисунки Бэмби. Но не успел я затянуться раза три-четыре, как почувствовал, что мосье Йошото смотрит мне в спину. И, словно в подтверждение, я услышал, как он отодвигает стул. Я встал ему навстречу, когда он подходил. Донельзя противным шепотом он объяснил мне, что лично он не возражает против курения, но что, увы, школьные правила запрещают курить в преподавательской. Он широким жестом остановил поток моих извинений и вернулся в свой угол, к мадам Йошото. В совершенном ужасе я подумал, как бы мне выдержать эти тринадцать дней до понедельника, когда должно было прийти письмо от сестры Ирмы, и не спятить окончательно.

Это было во вторник утром. Весь этот день и оба следующих дня я развивал лихорадочную деятельность. Я, так сказать, распотрошил до основания все рисунки Бэмби Кремер и Р. Говарда Риджфилда и собрал их заново, заменив некоторые части новыми. Я подготовил для них буквально десятки оскорбительных для нормального человека, но вполне конструктивных убеждений по рисунку. Я написал им подробнейшие письма. Р. Говарда Риджфилда я упрашивал на время отказаться от карикатур. Со всей возможной деликатностью я просил Бэмби, если мож-

но, хотя бы временно воздержаться от посылки рисунков с заголовками вроде «И прости им прегрешения их». А в четверг утром, взвинченный до предела, я занялся одним из новых учеников, американцем из города Бангор, в штате Мэн, который писал в анкете с многословием честного простака, что его любимый художник он сам. Он называл себя реалистом-абстракционистом. Внеслужебные часы я провел так: во вторник вечером поехал на автобусе в центр Монреяля и высидел в третьяеразрядном кино целую мультипикационную программу — шел фестиваль мультфильмов, — причем меня главным образом заставили любоваться бесконечным хороводом кошек, которых целые полчища мышей бомбардировали пробками от шампанского. В среду вечером я собрал все циновки в своей комнате, навалил их друг на друга и стал по памяти копировать картину сестры Ирмы «Погребение Христа».

Чувствую большое искушение назвать четверговый вечер странным, может быть даже зловещим, но, по правде сказать, для описания этого вечера у меня просто не хватает слов. Я ушел из дома после обеда и пошел куда глаза глядят, не то в кино, не то просто прогуляться — не помню, а мой дневник за 1939 год на этот раз меня подвел: в тот день страница так и осталась пустой.

Но я знаю, почему она пустая. Возвращаясь домой после как-то проведенного вечера — ясно помню, что стемнело, — я остановился на тротуаре перед курсами и взглянул на освещенную витрину ортопедической мастерской. И тут я испугался до слез. Меня пронзила мысль, что, как бы спокойно, умно и благородно я ни научился жить, все равно до самой смерти я навек обречен бродить чужестранцем по саду, где растут одни эмалированные горшки и подкладные судна и где царит безглазый, слепой деревянный идол — манекен, облаченный в дешевый грыжевой бандаж. Непереносимая мысль — хорошо, что она мелькнула лишь на секунду. Помню, что я взлетел по лестнице в свою комнату, сбросил с себя все и нырнул в постель, даже не открыв дневника.

Но заснуть я не мог, меня била лихорадка. Я слушал стоны из соседней комнаты и заставлял себя думать о лучшей моей ученице. Я старался представить себе, как я приеду к ней в монастырь. Я видел — вот она выходит мне на встречу, к высокой решетчатой ограде, робкая, прелестная девочка лет восемнадцати, еще не принявшая постриг — она еще была вольна уйти в мир со своим избранником, так похожим на Пьера Абеляра. Я видел, как мы медленно и молчаливо проходим в глубину зеленого монастыря.

ского сада и там бездумно и безгрешно я обвивал рукой ее талию. Видение было таким неземным, что его трудно было удержать, оно постоянно улетучивалось, и я погрузился в сон.

В пятницу я проработал как каторжный все утро и полдня, пытаясь при помощи карандаша и кальки переделать в сколько-нибудь похожие деревья тот лес фаллических символов, который добросовестно изобразил на прекрасной веленевой бумаге гражданин города Бангор, в штате Мэн. К половине пятого я так отупел умственно, душевно и физически, что едва привстал, когда мосье Йошото на минуту подошел к моему столу. Он подал мне конверт — так же равнодушно, как официант подает меню. Это было письмо настоятельницы монастыря, где находилась сестра Ирма, доводившее до сведения мосье Йошото, что отец Циммерман по не зависящим от него обстоятельствам был вынужден изменить свое решение и не может позволить сестре Ирме заниматься на курсах «Любители великих мастеров». Автор письма глубоко сожалеет, если эти изменения вызовут какие-либо затруднения или неприятности для администрации курсов. Кроме того, настоятельница искренне надеялась, что первый взнос на право учения, в сумме четырнадцати долларов, будет возмещен монастырю.

Я всегда был твердо уверен, что мышь, обжегшись искрой, летящей от фейерверка, хромает восвояси с готовым, безукоризненно продуманным планом, как убить кота. Прочитав и перечитав письмо матери-настоятельницы, я долго, не отрываясь, смотрел на него и вдруг, оторвавшись от созерцания, одним духом написал письма остальным моим ученикам — всем четырем, советую им навсегда отказаться от мысли стать художниками. Я написал каждому в отдельности, что это пустая трата драгоценного времени, как своего, так и преподавательского. Я написал все письма по-французски. Окончив их, я тут же вышел и опустил их в ящик. И хотя чувство удовлетворения длилось недолго, но в эти минуты мне было очень, очень приятно.

Когда пришло время торжественно проследовать на кухню, я попросил извинить меня. Я сказал, что чувствую себя неважно. (Тогда, в 1939 году, я лгал куда убедительнее, чем говорил правду, и ясно видел, с каким подозрением взглянул на меня мосье Йошото, когда я сказал, что неважно себя чувствовать.) Я поднялся к себе в комнату и сел на пол. Просидел я так больше часа, уставившись на

светлеющую щелку в шторе, я не курил, не снял пиджак, не развязал галстук. Потом вдруг вскочил, достал свою почтовую бумагу и написал второе письмо сестре Ирме прямо тут же, на полу.

Письмо я так и не отправил. Привожу точную копию оригинала.

«Монреаль, Канада, 28 июня, 1939 г.

Дорогая сестра Ирма!

Неужели я нечаянно написал вам в последнем моем письме что-либо обидное или неуважительное и тем привлек внимание отца Циммермана и вам доставил неприятность? В таком случае осмеливаюсь просить вас дать мне хотя бы возможность извиниться за слова, сказанные с горячим желанием стать не только вашим учителем, но и вашим другом. Может быть, моя просьба слишком нескромна? Думаю, что это не так.

Скажу вам всю правду: не постигнув хотя бы элементарных основ мастерства, вы навек останетесь, может быть, и очень, очень интересным художником, но никогда не будете великим мастером. При этой мысли мне становится страшно. Отдаете ли вы себе отчет, насколько это серьезно?

Возможно, отец Циммерман заставил вас отказаться от занятий, решив, что они помешают вам выполнять долг благочестия. Если это так, то я обязан сказать, что он судит слишком поспешно и опрометчиво. Искусство никак не могло бы вам помешать вести монашескую жизнь. Я сам хоть и грешнич, но живу как монах. Самое худшее, что бывает с художником, — это никогда не знать полного счастья. Но я убежден, что никакой трагедии в этом нет. Много лет назад, когда мне было семнадцать, я пережил самый счастливый день в жизни. Я должен был встретиться за завтраком со своей матерью — в этот день она впервые вышла на улицу после долгой болезни, — и я чувствовал себя абсолютно счастливым, как вдруг, проходя по авеню Виктора Гюго — это улица в Париже, — я налетел на человека без всяких признаков носа. Покорно прошу, нет, умоляю вас — подумайте об этом эпизоде, в нем скрыт глубочайший смысл.

Возможно также, что отец Циммерман велел вам прервать обучение, потому что не имеет возможности оплатить преподавание. Буду рад, если это так, не только потому, что это снимает с меня вину, ~~но и~~ в практическом отношении. Если причина действительно такова, то достаточно одного вашего слова, и я готов безвозмездно предложить вам свои услуги на неограниченное время. Нельзя ли обсудить этот вопрос? Разрешите еще раз спросить вас — в какие дни и часы допускается посещение монастыря? Не позволите ли вы посетить вас в следующую субботу, шестого июля, между тремя и пятью часами дня, в зависимости от расписания поездов из Монреаля в Торонто? С огромным нетерпением буду ждать ответа.

С глубоким уважением и восхищением

искренне ваш (подпись)

Жан де Домье-Смит, штатный преподаватель
курсов «Любители великих мастеров».

Постскриптум. В предыдущем письме я мненоходом спросил, не является ли молодая особа в голубой одежде, на переднем плане, **Марией Магдалиной**, великой грешницей? Если вы еще не написали мне, пожалуйста, воздержитесь от ответа на этот вопрос. Возможно,

что я ошибся, но в нынешнем периоде моей жизни мне не хотелось бы испытывать еще одно разочарование. Предпочитаю оставаться в неведении».

Даже в эту минуту, через столько лет, я испытываю неловкость, вспоминая, что, уезжая на курсы «Любители великих мастеров», я захватил с собой смокинг. Но я его привез, и, окончив письмо сестре Ирме, я его надел. Все вело к тому, чтобы как следует напиться, а так как я еще никогда в жизни не напивался (из страха, что от пьянства задрожит та рука, что писала те картины, что завоевали те три первых приза, и так далее), то сейчас, в столь трагической ситуации, я счел нужным надеть парандий костюм.

Пока супруги Йошото сидели на кухне, я прокралился вниз к телефону и позвонил в отель «Виндзор» — перед отъездом из Нью-Йорка мне его рекомендовала приятельница Бобби, миссис Икс. Я заказал к восьми вечера столик на одну персону.

Около половины восьмого, одетый и причесанный, я высыпал голову из комнаты — не подкарауливает ли меня чета Йошото? Сам не знаю почему, мне не хотелось, чтобы они увидали меня в смокинге. Но никого не было, и я быстро вышел на улицу и стал искать такси. Письмо к сестре Ирме уже лежало у меня во внутреннем кармане. Я собирался перечитать его за обедом, желательно при свечах.

Я шел квартал за кварталом, не встречая не только свободного такси, но и вообще ни одной машины. Я шел словно сквозь строй. Верденская окраина Монреяля далеко не светский район, и я был убежден, что каждый прохожий оборачивался мне вслед и провожал меня глубоко неодобрительным взглядом. Дойдя наконец до того бара, где я в понедельник сожрал четыре кони-айлендские «с пылу с жару» колбаски, я решил плюнуть на заказ в отеле «Виндзор». Я зашел в бар, уселся в дальнем углу и, прикрывая левой рукой черный галстук, заказал суп, рулет и черный кофе. Я надеялся, что остальные посетители примут меня за официанта, спешащего на работу.

За второй чашкой кофе я вынул неотосланное письмо к сестре Ирме и перечитал его. В основном оно показалось мне неубедительным, и я решил поскорее вернуться домой и немного подправить его. Думал я и о своем плане — посетить сестру Ирму, даже решил было, что не худо бы взять билет сегодня же вечером. С этими мыслями, от которых, по правде сказать, мне ничуть не стало легче, я покинул бар и быстрым шагом пошел домой.

А через пятнадцать минут со мной случилась совершение невероятная вещь. Знаю, что по всем признакам рассказ об этом неприятно похож на чистейшую выдумку, но это чистая правда. И хотя речь идет о странном переживании, которое для меня так и осталось совершенно необъяснимым, однако хотелось бы, если удастся, изложить этот случай без всякого, даже самого малейшего, оттенка мистицизма. Иначе, как мне кажется, это все равно что думать или утверждать, будто между духовным откровением святого Франциска Ассизского и религиозными восторгами ханжи-истерички, припадающей лишь по воскремсеньям к язвам прокаженного, разница только внешняя.

Было девять часов, и уже стемнело, когда я, подходя к дому, заметил свет в окне ортопедической мастерской. Я испугался, увидев в витрине живого человека — плотную особу лет за тридцать, в зелено-желто-палевом шифоновом платье, которая меняла бандаж на деревянном манекене. Когда я подошел к витрине, она, как видно, только что сняла старый бандаж — он торчал у нее под мышкой. Повернувшись ко мне в профиль, она одной рукой зашнуровывала новый бандаж на манекене. Я стоял, не спуская с нее глаз, как вдруг она почувствовала, что на нее смотрят, и увидела меня. Я торопливо улыбнулся, давая понять, что не враг стоит тут за стеклом в смокинге и смотрит на нее из темноты, но ничего хорошего не вышло. Девушка испугалась сверх всякой меры. Она залилась краской, уронила снятый бандаж, споткнулась о груду эмалированных кружек и упала во весь рост. Я протянул к ней руки, больно стукнувшись пальцами о стекло. Она тяжело рухнула на спину — так падают конькобежцы, но тут же вскочила, не глядя на меня. Вся раскрасневшаяся, она ладонью откинула волосы с лица и снова стала зашнуровывать бандаж на манекене. И вот тут-то оно и случилось. Внезапно (я стараюсь рассказать это без всякого преувеличения) вспыхнуло гигантское солнце и полетело прямо мне в переносицу со скоростью девяносто трех миллионов миль в секунду. Ослепленный, страшно перепуганный, я уперся в стекло витрины, чтобы не упасть. Вспышка длилась несколько секунд. Когда ослепление прошло, девушки уже не было, и в витрине на благо человечеству расстилсяся только изысканный, сверкающий эмалью цветник санитарных принадлежностей.

Я попятился от витрины и два раза обошел квартал, пока не перестали подкашиваться колени. Потом, не осмелившись заглянуть в витрину, я поднялся к себе в комнату и бросился на постель. Через какое-то время (но

знаю, минуты прошли или часы) я записал в дневник следующие строки: «Отпускаю сестру Ирму на свободу — пусть идет своим путем. Все мы монахини». (Tout le temps de est une nonne.)

Прежде чем лечь спать, я написал письма всем четырем недавно исключенным мною слушателям. Я написал, что администрацией допущена ошибка. Письма шли как по маслу, сами собой. Может быть, это зависело от того, что, прежде чем взяться за них, я принес снизу стул.

Хотя развязка получается очень неинтересная, придется упомянуть, что не прошло и недели, как курсы «Любителей великих мастеров» закрылись, так как на них не было соответствующего разрешения (вернее, никакого разрешения вообще). Я сложил вещи и уехал к Бобби, моему отчиму, на Род-Айленд, где провел около двух месяцев — все время до начала занятий в Нью-Йоркской художественной школе — за изучением самой интересной разновидности всех летних зверушек — американской девчонки в шортах.

Хорошо ли, плохо ли, но я больше никогда не пытался встретиться с сестрой Ирмой.

Однако я изредка получаю весточки от Бэмби Кремер. Вот последняя новость — она занялась рисованием поздравительных открыток. Наверно, тут будет чем полюбоваться, если только ее таланты не заглохли.

Тедди

— Ты, брат, у меня такой волшебный день схлопочешь. А ну слезай сию минуту с саквояжа, — сказал мистер Мак-Ардль. — Я ведь не шучу.

Он занимал одну из двух коек — дальнюю от иллюминатора. Не то охнув, не то вздохнув, он с остертвенением сбросил ногой простыню — видно, прикосновение даже самой легкой материи к обожженной солнцем коже стало ему невмоготу. Он лежал на спине, в одних пижамных штанах, с зажженной сигаретой в правой руке. Головой он неловко приткнулся почти к самому основанию спинки, словно хотел доставить себе еще больше страданий. Подушка и пепельница валялись на полу, в проходе между его койкой и койкой миссис Мак-Ардль. Не поднимаясь, он протянул воспаленную правую руку и не глядя стряхнул пепел в сторону ночного столика.

— И это октябрь, — сказал он. — Что тут у них тогда в августе творится! — Он опять повернул голову к Тедди, и взгляд его не предвещал ничего хорошего. — Долго мне еще твердить? — сказал он. — Я кому говорю? Сейчас же слезай, слышишь!

Тедди взгромоздился на новехонький саквояж из воловьей кожи, чтобы было удобнее смотреть из раскрытоого иллюминатора родительской каюты. На нем были немыслимо грязные белые полукеды на босу ногу, полосатые, слишком длинные шорты, которые к тому же отвисали сзади, застиранная тенниска с дыркой размером с десятицентовую монету на правом плече и неожиданно элегантный черный ремень из крокодиловой кожи. Оброс он ужасно, особенно сзади — так обрастают только мальчишки, когда голова уже большая, а шея тоненькая.

— Тедди, ты меня слышишь?

Не так уж сильно высунулся Тедди из иллюминатора — другой бы мальчишка уже, того гляди, вывалился бы из него, а он, хоть и не очень устойчиво, стоял двумя ногами на саквояже, только одна голова торчала наружу. Однако он прекрасно слышал отцовский голос — еще бы не слышать. Мистер Мак-Ардль был на главных ролях по меньшей мере в трех радиопрограммах Нью-Йорка, и среди дня можно было услышать его голос, голос третьеразрядного премьера, — глубокий, словно упивающийся своей полнозвучностью, в любой момент готовый перекрыть все прочие голоса, даже детский крик. Когда голос его отыхал от профессиональной нагрузки, он с удовольствием то падал до бархатных низов, то вибрировал, негромкий, но хорошо поставленный, с чисто театральной звучностью. Однако сейчас было самое время включить полную громкость.

— Тедди! Ты слышишь меня, черт возьми?

Не меняя своей сторожевой стойки на саквояже, Тедди полуобернулся и вопросительно посмотрел на отца удивительно ясными и всепонимающими глазами. Светло-карие и не такие уж большие, они слегка косили, особенно левый. Не то чтобы это казалось изъянном или было слишком заметно. Упомянуть об этом можно разве что вскользь, да и то лишь потому, что, глядя на них, вы бы всерьез и надолго задумались: а лучше ли было бы, будь они у него, скажем, без косинки, или глубже посажены, или темнее, или расставлены пошире. Как бы там ни было, в его лице угадывалось, пускай не сразу, какое-то скрытое очарование.

— Немедленно, слышишь, немедленно слезь с саквоя-

жа, — сказал мистер Мак-Ардль. — Долго мне еще повторять?

— И не думай слезать, радость моя, — подала голос миссис Мак-Ардль, у которой по утрам слегка закладывало нос. Веки у нее приоткрылись. — Пальцем не пошевели. — Она лежала на правом боку, спиной к мужу, глядя в сторону иллюминатора и стоявшего перед ним Тедди. Обернув верхнюю простыню вокруг тела, по всей вероятности обнаженного, она укрылась с руками, до самого подбородка. — Попрыгай, попрыгай, — добавила она, закрывая глаза. — Раздави папочкин саквояж.

— Оч-ень оригинально, — сказал мистер Мак-Ардль ровным и спокойным тоном, глядя жене в затылок. — Между прочим, он мне стоил двадцать два фунта. Я ведь прошу его, как человека, сойти, а ты ему — попрыгай, попрыгай. Это что? Шутка?

— Если он лопнет под десятилетним мальчиком, а он еще весит на тринадцать фунтов меньше положенного, можешь выкинуть этот мешок из моей каюты, — сказала миссис Мак-Ардль, не открывая глаз.

— Моя бы воля, — сказал мистер Мак-Ардль, — я бы проломил тебе голову.

— За чем же дело стало?

Мистер Мак-Ардль резко поднялся на локте и раздал окурок о стеклянную поверхность ночного столика.

— Не сегодня завтра... — начал было мрачно.

— Не сегодня завтра у тебя случится роковой, да, роковой инфаркт, — вяло сказала миссис Мак-Ардль. Не вынимая рук, она еще плотнее завернулась в простыню. — Хоронить тебя будут скромно, но со вкусом, и все будут спрашивать, кто эта очаровательная женщина в красном платье, вон та, в первом ряду, которая кокетничает с органистом. Она такая...

— Ах, как остроумно, только не смешно, — сказал мистер Мак-Ардль, снова валясь на спину.

Пока шел этот короткий обмен любезностями, Тедди отвернулся и снова стал смотреть в иллюминатор.

— Сегодня ночью, в три тридцать две, мы встретили «Куин Мэри», она шла встречным курсом. Если это кого интересует, — сказал он исторопливо. — В чем я сильно сомневаюсь. — Голос у него был низковатый, с неожиданно прорывающейся мальчишеской хрипотцой. Каждая фраза казалась древним островком, омываемым винно-желтым морем. — Так было написано на грифельной доске у вахтенного, того самого, которого презирает наша Пуппи.

— Ты, брат, схлопочешь у меня «Куин Мэри». Сию же минуту слезь с саквояжа, — сказал отец. Он повернулся к Тедди. — А ну слезай! Сходил бы лучше постригся, что ли. — Он опять посмотрел жене в затылок. — Черт знает что, переросток какой-то.

— У меня денег нету, — возразил Тедди. Он покрепче взялся за край иллюминатора и положил подбородок на пальцы. — Мама, помнишь человека, который ест за соседним столом? Не тот, худющий, а другой, за тем же столиком. Как раз рядом с ним наш официант ставит свой поднос.

— Мм-ммм, — отзвалась миссис Мак-Ардль. — Тедди. Солнышко. Дай маме поспать хоть пять минут. Будь паникой.

— Погоди. Это интересно, — сказал Тедди, не поднимая подбородка и не сводя глаз с океана. — Он был в гимнастическом зале, когда Свен меня взвешивал. Он подошел ко мне и заговорил. Оказывается, он слышал мою последнюю запись. Не апрельскую. Майскую. Перед самым отъездом в Европу он был на одном вечере в Бостоне, и кто-то из гостей знал кого-то — он не сказал кого — из лейдеккеровской группы, которая меня тестировала, — так вот, они достали мою последнюю запись и прокрутили ее на этом вечере. И этот человек очень заинтересовался. Он друг профессора Бабкока. Видно, он и сам преподает. Он сказал, что провел лето в Дублине, в Тринити-Колледж.

— Вот как? — сказала миссис Мак-Ардль. — Они крутили ее на вечере?

Она полусонно смотрела на ноги Тедди.

— Наверное, — ответил Тедди. — Я стою на весах, а он Свену рассказывает про меня. Было довольно неловко.

— А что тут неловкого?

Тедди помедлил.

— Я сказал — довольно неловко. Я уточнил свое ощущение.

— Я, брат, тебя сейчас так уточню, если ты не слезешь с саквояжа, — сказал мистер Мак-Ардль. Он только что раскурил новую сигарету. — Считаю до трех. Раз... черт подери... Два...

— Который час? — спросила вдруг миссис Мак-Ардль, глядя на ноги Тедди. — Разве вам с Пуппи не идти на плавание в десять тридцать?

— Успеем, — сказал Тедди. — Шлеп. — Неожиданно он высунулся в иллюминатор, потом на мгновение обернулся и доложил: — Кто-то выбросил целое ведро апельсиновых очистков из окошка.

— Из окошка... Из окошка, — ядовито протянул мистер Мак-Ардль, стряхивая пепел. — Из иллюминатора, братец, из иллюминатора. — Он взглянул на жену. — Позвони в Бостон. Скорей свяжись с лейдеккеровской группой.

— Подумать только, какие мы остроумные, — сказала миссис Мак-Ардль. — Чего ты стараешься?

Тедди полуобернулся в каюту.

— Красиво плывут, — сказал он не оборачиваясь. — Интересно...

— Тедди! Последний раз тебе говорю, а там...

— Интересно не то, что они плывут, — продолжал Тедди. — Интересно, что я вообще знаю об их существовании. Если бы я их не видел, то не знал бы, что они тут, а если бы не знал, то даже не мог бы сказать, что они существуют. Вот вам удачный, я бы даже сказал, блестящий пример того, как...

— Тедди, — прервала его рассуждения миссис Мак-Ардль, даже не шевельнувшись под простыней. — Иди поищи Пуппи. Где она? Нельзя, чтобы после вчерашнего перегрева она опять жарилась на солнце.

— Она надежно защищена. Я заставил ее надеть комбинезон, — сказал Тедди. — А они уже начали тонуть... Скоро они будут плавать только в моем сознании. Интересно — ведь, если разобраться, именно в моем сознании они и начали плавать. Если бы, скажем, я здесь не стоял или если бы кто-нибудь сейчас зашел сюда и взял бы да и снес мне голову, пока я...

— Где же Пупсик? — спросила миссис Мак-Ардль. — Тедди, посмотри на маму.

Тедди повернулся и посмотрел на мать.

— Что? — спросил он.

— Где Пупсик? Не хватало, чтобы она опять вертелась между шезлонгов и всем мешала. Вдруг этот ужасный человек...

— Не волнуйся. Я дал ей фотокамеру.

Мистер Мак-Ардль так и подскочил.

— Ты дал ей камеру! — восхликал он. — Совсем спятил? Мою «лейку», черт подери! Не позволю я шестилетней девчонке разгуливать по всему...

— Я показал ей, как держать камеру, чтобы не уронить, — сказал Тедди. — И пленку я, конечно, вынул.

— Тедди! Чтобы камера была здесь. Слышишь? Сию же минуту слезь с саквояжа, и чтобы через пять минут камера лежала в каюте. Не то на свете станет одним вундеркиндом меньшее. Ты меня понял?

Тедди медленно повернулся и сошел с саквояжа. Потом он нагнулся и начал завязывать шнурок на левом полу-кеде; отец, опершись на локоть, следил за ним, точно монитор.

— Передай Пуппи, что я ее жду, — сказала миссис Мак-Ардль. — И поцелуй маму.

Завязав наконец шнурок, Тедди мимоходом чмокнул мать в щеку. Она стала вытаскивать из-под простыни левую руку, собираясь, видимо, обнять Тедди, но, пока она ее извлекала, он уже отошел. Он обошел ее постель и остановился в проходе между койками. Тут он наклонился, а когда снова выпрямился, под левой рукой у него была отцовская подушка, а в правой — стеклянная пепельница с ночного столика. Переложив пепельницу в левую руку, он подошел к столику и ребром правой ладони смел с него в пепельницу окурки и пепел. Перед тем, как поставить пепельницу на место, он протер локтем ночной столик, очистив стеклянную поверхность от тонкого пепельного налета. Руку он вытер о свои полосатые шорты. Потом он установил пепельницу на чистое стекло, причем с такой тщательностью, словно был уверен в том, что она должна либо стоять в самом центре, либо вовсе не стоять. Тут отец, неотрывно следивший за ним, вдруг отвел взгляд.

— Тебе что, не нужна подушка? — спросил Тедди.

— Мне нужна камера, мой милый.

— Тебе, наверно, неудобно так лежать. Конечно, неудобно, — сказал Тедди. — Я оставлю ее тут. — Он положил подушку в изножье постели, подальше от отцовских пяток. И пошел к выходу.

— Тедди, — сказала мать не поворачиваясь. — Скажи Пуппи, пусть зайдет ко мне перед уроком плавания.

— Оставь ты ребенка в покое, — сказал мистер Мак-Ардль. — Ни одной минутки не даешь ей порезвиться. Сказать тебе, как ты с ней обращаешься? Сказать? Ты обращаешься с ней как с отпетой бандиткой.

— Отпетой. Какая прелесть! Ты становишься таким британцем, дорогой.

Тедди задержался у выхода, вертя в раздумье дверную ручку туда-сюда.

— Когда я выйду за дверь, — сказал он, — я останусь жить лишь в сознании всех моих знакомых. Как те апельсинные корочки.

— Что, солнышко? — переспросила миссис Мак-Ардль из глубины каюты, по-прежнему лежа на правом боку.

— Пошевеливайся, приятель. Тащи сюда «лейку».

— Пццелуй мамочку. Крепко-крепко.
— Только не сейчас, — огозвался Тедди рассеянно. —
Я устал.
И он закрыл за собой дверь.

Под дверью лежал очередной выпуск корабельной газеты, выходившей ежедневно. Вся она состояла из листка глянцевитой бумаги с текстом на одной стороне. Тедди подобрал газету и начал читать, медленно идя по длинному переходу в сторону кормы. Навстречу ему шла рослая блондинка в белой накрахмаленной форме, неся вазу с красными розами на длинных стеблях. Поравнявшись с Тедди, она потрепала его левой рукой по макушке.

— Кое-кому пора стричься! — сказала она.

Тедди равнодушно поднял на нее глаза, но она уже прошла, и он не обернулся. Он продолжал читать. Дойдя до конца перехода, где открывалась площадка, а над ней стенная роспись — святой Георгий с драконом, — он сложил газету вчетверо и сунул ее в левый задний карман. Он стал подниматься по широким ступенькам трапа, устланым ковровой дорожкой, на главную палубу, которая находилась пролетом выше. Шагал он через две ступеньки, но неторопливо, держась при этом за поручень, весь напряженный, словно сам процесс подъема по трапу доставлял ему, как и многим детям, известное удовольствие. Ступив на главную палубу, он направился прямиком к конторке помощника капитана по материальной части, где в данный момент восседала хорошенская девушка в морской форме. Она прошивала скрепками отпечатанные на ротаторе листки бумаги.

— Прошу прощения, вы не скажете, во сколько сегодня начинается игра? — спросил Тедди.

— Простите?

— Вы не скажете, во сколько сегодня начинается игра?

Накрашенные губы девушки раздвинулись в улыбке.

— Какая игра, дружок?

— Ну как же. В слова. В нее играли вчера и позавчера. Там нужно вставлять пропущенные слова по контексту.

Девушка, начав скреплять три листка, остановилась.

— Ах эта, — сказала она. — Я думаю, попозже. Думаю, около четырех. А тебе, дружок, не рановато играть в такие игры?

— Не рановато... Благодарю вас, — сказал Тедди и повернулся, чтобы идти.

— Постой-ка, дружок. Тебя как зовут?

— Теодор Мак-Ардль, — ответил Тедди. — А вас как?

— Меня? — улыбнулась девушка. — Меня зовут мичман Мэттьюсон.

Тедди посмотрел, как она прошивает листки.

— Я вижу, что вы мичман. Не знаю, возможно, я ошибаюсь, но мне всегда казалось, что когда человека спрашивают, как его зовут, то полагается называть имя полностью. Например, Джейн Мэттьюсон, или Филлис Мэттьюсон, или еще как-нибудь.

— Вот как?

— Повторяю, мне так казалось, — продолжал Тедди. — Возможно, я и ошибался. Возможно, что на тех, кто носит форму, это не распространяется. В общем, благодарю вас за информацию. До свидания.

Он повернулся и начал подниматься на прогулочную палубу, и вновь он шагал через две ступеньки, но теперь уже быстрее.

После настойчивых поисков он обнаружил Пуппи на самом верху, где была спортивная площадка, на освещенном солнцем пятаке — этакой прогалинке между пустовавшими теннисными кортами. Она сидела на корточках, сзади на нее падали лучи солнца, легкий ветерок трепал ее светлые шелковистые волосы. Она сидела, деловито складывая две наклонные пирамидки из двенадцати не то четырнадцати кружков от шаффлборда¹, одну пирамиду из черных кружков, другую из красных. Справа от нее стоял как сторонний наблюдатель совсем еще кроха в легком полотняном костюмчике.

— Смотри! — скомандовала Пуппи брату, когда он подошел.

Она наклонилась над своим сооружением и загородила его обеими руками, как бы отделяя от всего, что было на этом корабле, — вот, мол, полюбуйтесь, какое я создала произведение искусства.

— Майрон! — сказала она малышу сердито. — Ты все затемняешь моему брату. Не стой как пень! — Она закрыла глаза и со страдальческой гримасой ждала, пока Майрон не отодвинулся.

Тедди постоял над пирамидами и одобрительно кивнул головой.

— Неплохо, — похвалил он. — Очень симметрично.

— Этот тип, — сказала Пуппи, ткнув пальцем в Майрона, — сроду не слышал, что такое триктрак. У них и триктрака-то нет!

¹ Шаффлборд — американская игра, в которой разноцветные кружки передвигаются по специально размеченной доске.

Тедди окинул Майрона оценивающим взглядом.

— Слушай, — обратился он к Пуппи. — где камера? Ее надо сейчас же вернуть папе.

— Он и живет-то не в Нью-Йорке, — сообщила Пуппи брату. — И отец у него умер. Убили в Корее. — Она взглянула на Майрона. — Верно? — спросила она его и, не дожидаясь ответа, заключила: — Если теперь у него и мать умрет, он будет круглым сиротой. А он и этого не знал. — Пуппи посмотрела на Майрона. — Не знал ведь?

Майрон скрестил руки и ничего не ответил.

— Я такого дурака еще не видела, — сказала Пуппи. — Ты самый большой дурак на всем этом океане. Понял?

— Он не дурак, — сказал Тедди. — Ты не дурак, Майрон. — Он повернулся к сестре. — Ты можешь меня хоть секунду послушать? Куда ты дела камеру? Она мне срочно нужна. Где она?

— Там, — ответила Пуппи, не показывая, где именно. Она придвинула к себе обе пирамидки. — Теперь мне надо двух великанов, — сказала она. — Они бы играли в трик-трак этими деревяшками, а потом им бы надоело, и они забрались бы на эту дымовую трубу, и швыряли деревяшки во всех подряд, и всех бы убили. — Она взглянула на Майрона. — И твоих родителей, наверно, убили бы, — сказала она со знанием дела. — А если у великанов не получится, тогда знаешь что? Тогда насыпь яду на мармеладины и дай им съесть.

«Лейка» обнаружилась футах в десяти, за белой загородкой, окружавшей спортплощадку. Она лежала на боку в водосточной канавке. Тедди подошел, поднял ее за ремешки и повесил на шею. Но тут же снял. И понес к сестре.

— Слушай, Пупс, будь другом. Отнеси ее вниз, пожалуйста, — попросил он. — Уже десять часов, а мне надо записать кое-что в дневник.

— Мне некогда.

— И мама тебя зовет, — сказал Тедди.

— Врешь ты все.

— Ничего не вру. Звала, — сказал Тедди. — Так что ты уж захвати ее с собой... Давай, Пупс.

— С какой это стати она хочет меня видеть? — спросила Пуппи. — Я вот ее видеть не хочу — Вдруг она шлепнула по руке Майрона, который потянулся было к верхнему кружечку из красной пирамиды. — Руки! — сказала она.

— Все, шутки в сторону, — сказал Тедди, вешая ей на шею «лейку». — Сейчас же отнеси ее папе. Встретимся

возле бассейна. Я буду ждать тебя там в десять тридцать.
Или лучше возле кабинки, где ты переодеваешься. Смотри не опоздай. И не забудь, это в самом низу, на палубе Е, так что отправляйся пораньше.

Он повернулся и пошел.

А вдогонку ему неслось:

— Ненавижу тебя! Всех ненавижу на этом океане!

Пониже теннисных кортов, на широкой площадке сразу за палубой, отведенной под солярий и открытой со всех сторон, было расставлено семьдесят с лишним шезлонгов; они стояли в семь-восемь рядов с таким расчетом, чтобы стюард мог свободно лавировать между рядами, не спотыкаясь о вещи загорающих пассажиров, об их мешочки с вязаньем, романы в дешевых изданиях, флаконы с лосьоном для загара, фотоаппараты. К приходу Тедди почти все места уже были заняты. Тедди начал с последнего ряда и методично, не пропуская ни одного шезлонга, независимо от того, сидели в нем или нет, переходил от ряда к ряду, читая таблички с фамилиями на подлокотниках. Один или два раза к нему обратились — то есть отпустили шуточки, которые иногда отпускают взрослые при виде десятилетнего мальчика, настойчиво ищущего свое место. Сразу было видно, как он сосредоточен и юн, и все же в его поведении, пожалуй, отсутствовала, или почти отсутствовала, та забавная важность, которая обычно настраивает взрослых на серьезный либо снисходительный лад. Возможно, дело было еще и в одежде. Дырку на его плече никто бы не назвал «забавной» дырочкой. И в том, как сзади отвисали на нем шорты, слишком длинные для него, тоже не было ничего «забавного».

Четыре шезлонга Мак-Ардлей, с уже приготовленными подушками для удобства владельцев, обнаружились в середине второго ряда. Намеренно или нет, Тедди уселся таким образом, чтобы места справа и слева от него пустовали. Он вытянул голые, совсем незагорелые ноги, положил их на подставку и почти сразу же вытащил из правого заднего кармана небольшой десятицентовый блокнот. Мгновенно сосредоточившись, словно вокруг не существовало ни солнца, ни пассажиров, ни корабля — ничего, кроме блокнота, он начал листать страницы.

Кроме нескольких карандашных пометок, все записи в блокноте были сделаны шариковой ручкой. Почерк был размашистый, какому сейчас обучают в американских школах, а не тот, каллиграфический, по старой пальмовой методе. Он был разборчивый, без всяких красиво-

стей. Что в нем удивляло, так это беглость. По тому, как строились слова и фразы, — по одному этому внешнему признаку — трудно было предположить, что все это написано ребенком.

Тедди довольно долго изучал свою последнюю запись. Занимала она чуть больше трех страниц:

Запись от 27 октября 1952 г.
Владелец — Теодор Мак-Ардль.

Каюта 412, палуба А

За нахождение и возврат дневника будет выдано соответствующее, и вполне приличное, вознаграждение.

Не забыть найти папины армейские бирки и носить их как можно чаще. Для тебя это пустяк, а ему приятно.

Постараться ответить при случае на письмо профессора Манделя. Попросить профессора, чтобы он больше не присыпал книжки стихов. У меня и так уже запас на целый год. И вообще они мне надоели. Идет человек по пляжу, и вдруг, вот беда, ему на голову падает кокосовый орех. И голова его, вот беда-то, раскалывается пополам. А тут его жена идет, напевая, по бережку, и видит 2 половники, и узнает их, и поднимает. Жена, конечно, расстранивается и начинает душераздирающе рыдать... Дальше я эти стихи читать не могу. Лучше взяла бы в руки обе половинки и прикинула на них, сердито так: «Хватит безобразничать!» Конечно, профессору советовать такое не стоит. Вопрос сам по себе спорный, и к тому же миссис Мандель — поэт.

Узнать адрес Свена в Элизабет, штат Нью-Джерси. Интересно, будет познакомиться с его женой, а также с его собакой Линди. Однако сам я заводить собаку не стал бы.

Написать доктору Уокаваре, выразить соболезнования по поводу его нефрита. Спросить его новый адрес у мамы.

Завтра утром, до завтрака, заняться медитацией на спортплощадке, но только не терять сознания. А главное, не терять сознания за обедом, если этот официант опять уронит разливательную ложку. В тот раз папа был просто в ярости.

Вернуть в библиотеку книги и посмотреть в словаре слова и выражения —

нефрит

мириады

дареный конь

лукавый

триумвират

Быть учтивее с библиотекарем. Если он начнет сюсюкать, перевести разговор на общие темы.

Тедди затем вытащил из бокового кармана шорт маленькую шариковую ручку в виде гильзы, снял колпачок и начал писать. Блокнот он положил на правое колено, а не на подлокотник.

Запись от 28 октября 1952 г.

Адрес и вознаграждение те же,
что указаны 26 и 27 октября

Сегодня, после утренней медитации, написал следующим лицам:
д-ру Уокаваре

проф. Манделю

проф. Питу

Бёрджесу Хейку-младшему

Роберте Хейк

Сэнфорду Хейку

бабушке Хейк

м-ру Грэму

проф. Уолтону

Можно было бы спросить маму, где папины армейские бирки, но она скорее всего скажет, что они мне ни к чему. А я знаю, что он взял их с собой, сам видел, как он их укладывал.

По-моему, жизнь — это дареный конь.

Мне кажется, со стороны профессора Уолтона довольно бес tactно критиковать моих родителей. Ему надо, чтоб все люди были такими, как он хочет.

Это произойдет либо сегодня, либо 14 февраля 1958 года, когда мне исполнится шестнадцать. Но об этом даже говорить нелепо.

Написав последнюю фразу, Тедди не сразу поднял глаза от страницы и держал шариковую ручку так, словно хотел написать что-то еще.

Он явно не замечал, что за ним с интересом наблюдают. А между тем наверху, в восемнадцати-двадцати футах от него и футах в пятнадцати от первого ряда шезлонгов, у перил спортивной площадки, в слепящих лучах солнца стоял молодой человек и пристально смотрел на него. Он стоял так уже минут десять. Но вот молодой человек наконец на что-то решился, потому что он вдруг снял ногу с перекладины. Он бросил на Тедди последний взгляд и исчез. Однако через минуту он появился среди шезлонгов, загораживая собой солнце. На вид ему было лет тридцать или чуть меньше. Совершенно невозмутимо (если учесть, что, кроме него, здесь никто не стоял и не расхаживал) он направился прямиком к шезлонгу Тедди, шагая через мешочки с вязаньем и прочее хозяйство и ничуть не считаясь с тем, что его тень скользит по раскрытым романам, отвлекая пассажиров.

Тедди же как будто и не замечал, что кто-то стоит перед ним, не замечал, что на дневник его легла чья-то тень. Другое дело люди, сидевшие за ним и дальше. Они таращились на молодого человека так, как, вероятно, можно таращиться на кого-то, только сидя в шезлонге. Но молодой человек, который стоял, засунув руку в карман, обладал, очевидно, завидным самообладанием, и поколебать его было не так-то просто.

— Мое почтение! — сказал он Тедди.

Тедди поднял голову.

— Здравствуйте.

Он прикрыл блокнот, а дальше тот сам собой захлопнулся.

— Не возражаете, если я тут присяду? — Молодой человек произнес это с нескрываемым дружелюбием. — Здесь не занято?

— Вообще-то эти четыре шезлонга принадлежат нашей семье, — сказал Тедди. — Только мои родители еще не встали.

— Не встали? В такое утро?! — удивился молодой человек. Он уже опустился в шезлонг справа от Тедди. Шезлонги стояли так тесно, что подлокотники соприкасались. — Но ведь это святотатство. Сущее святотатство, — сказал он, вытягивая ноги.

Ляжки у него были мощнейшие, почти как два туловища. Одет он был с почти классической разностильностью, как одеваются, отправляясь в круиз, в Новой Англии: на нем были темно-серые брюки, желтоватые шерстяные носки, рубашка с открытым воротом и твидовый пиджак «в елочку», который приобрел свою благородную потерять не иначе как на престижных семинарах в Йейле, Гарварде или Принстоне.

— Бог мой, какой райский денек, — сказал он с чувством, жмурясь на солнце. — Я просто пасую перед игрой погоды. — Он скрестил свои толстые ноги. — Вы не поверьте, но я, бывало, принимал самый обыкновенный дождливый день за личное оскорбление. А такая погода — да это же манна небесная.

Хотя его манера выражаться выражала в нем человека образованного, в общепринятом смысле этого слова, было в ней и нечто такое что должно было, как он, видимо, считал в душе, придать его словам особую значительность и изысканность, а по возможности даже оригинальность и увлекательность — как в глазах Тедди, к которому он сейчас обращался, так и тех, кто сидел за ними, если они слушали их разговор. Он искоса взглянул на Тедди и улыбнулся.

— А в каких вы взаимоотношениях с погодой? — спросил он. Улыбался он вроде бы собеседнику, однако его улыбка, при всей ее открытости, при всем дружелюбии, адресовалась им, скорее, себе самому. — А вас никогда не смущали загадочные атмосферные явления? — продолжал он с улыбкой.

— Не знаю, я не принимаю погоду так близко к сердцу, если вы это имели в виду, — сказал Тедди.

Молодой человек расхохотался, запрокинув голову.

— Прелестно, — восхитился он. — Кстати, меня зовут Боб Никольсон. Не помню, представился ли я вам тогда в гимнастическом зале. Ваше имя, я, конечно, знаю.

Тедди слегка отклонился, чтобы засунуть блокнот в задний карман шорт.

— Я смотрел вон оттуда, как вы пишете, — сказал Никольсон, показывая наверх. — Клянусь богом, в этой увлеченности было что-то от юного спартанца.

Тедди взглянул на него.

— Я кое-что записывал в дневник.

Никольсон улыбнулся и понимающе кивнул.

— Как вам Европа? — спросил он непринужденно. — Понравилось?

— Да, очень.

— Где побывало ваше семейство?

Тедди вдруг наклонился и почесал ногу.

— Знаете, перечислять все города — это долгая история. Мы ведь были на машине, так что поездили прилично. — Он снова сел прямо. — А дольше всего мы с мамой пробыли в Эдинбурге и в Оксфорде. Я, кажется, говорил вам тогда в зале, что со мной хотели побеседовать. Особенно в Эдинбургском университете.

— Нет, насколько мне помнится, вы ничего не говорили, — заметил Никольсон. — А я как раз думал, занимались ли вы там чем-нибудь в этом роде. Ну и как все прошло? Помуряжили вас?

— Простите? — сказал Тедди.

— Как все прошло? Интересно было?

— И да, и нет, — ответил Тедди. — Пожалуй, мы там пробыли слишком долго. Папа хотел вернуться в Америку предыдущим рейсом. Но должны были приехать люди из Стокгольма и из Инсбрука познакомиться со мной, и нам пришлось задержаться.

— Да, вот она — жизнь.

Впервые за все время Тедди пристально взглянул на него.

— Вы поэт? — спросил он.

— Поэт? — переспросил Никольсон. — Увы, нет. Отнюдь. Почему вы так решили?

— Не знаю. Поэты всегда принимают погоду слишком близко к сердцу. Они вкладывают эмоции в то, что лишено всякой эмоциональности.

Никольсон, улыбаясь, полез в карман пиджака за сигаретами и спичками.

— Мне всегда казалось, что в этом-то как раз и со-

стоит их ремесло, — заметил он. — Разве в первую очередь не с эмоциями имеет дело поэт?

Тедди явно не слышал его или не слушал. Он рассеянно смотрел то ли на дымовые трубы, похожие друг на друга, как два близнеца, то ли мимо них, на спортивную площадку.

Никольсон не без труда раскурил сигарету — с севера потянуло ветерком. Он поглубже уселся в шезлонг и сказал:

— Насколько я понимаю, здорово вы озадачили...

— Песня цикады не скажет, сколько ей жить осталось, — вдруг произнес Тедди. — Нет никого на дороге в этот осенний вечер.

— Что это? — улыбнулся Никольсон. — Ну-ка еще раз.

— Это два японских стихотворения. В них нет особых эмоций, — сказал Тедди. Он вдруг подался вперед, склонил голову набок и похлопал ладошкой по правому уху. — У меня в ухе вода, — пояснил он, — после вчерашнего урока плавания. — Он еще слегка похлопал себя по уху, а затем откинулся на спинку и положил руки на подлокотники. Шезлонг был, конечно, нормальных размеров, рассчитанный на взрослого человека, и Тедди в нем просто тонул, но, казалось, он чувствует себя в нем достаточно уютно.

— Насколько я понимаю, вы здорово озадачили этих педантов из Бостона, — сказал Никольсон, глядя на него. — После той маленькой стычки. С этими вашими лей-деккеровскими обследователями, насколько я мог понять. Помнится, я говорил вам, что у меня с Элом Бабкоком вышел долгий разговор в конце июня. Кстати сказать, в тот самый вечер, когда я прослушал вашу магнитофонную запись.

— Да. Вы мне говорили.

— Насколько я понимаю, они были здорово озадачены, — не отставал Никольсон. — Из слов Эла я понял, что в вашей тесной мужской компании состоялся тогда поздно вечером небольшой похоронный разговорчик — в тот самый вечер, если я не ошибаюсь, когда вы записывались. — Он затянулся. — Вы, как я понял, сделали кое-какие предсказания, которые весьма взволновали всю честную компанию. Я не ошибся?

— Не понимаю, — сказал Тедди, — отчего считается, что надо непременно испытывать какие-то эмоции. Мои родители убеждены, что ты не человек, если что-то не кажется тебе очень грустным или неприятным или...

неправедливым, что ли. Отец волнуется, даже когда читает газету. Он считает, что я бесчувственный.

Никольсон стряхнул в сторону пепел.

— Я так понимаю, сами вы не подвержены эмоциям? — спросил он.

Тедди задумался, прежде чем ответить.

— Если и подвержен, то, во всяком случае, не помню, чтобы я давал им выход, — сказал он. — Не вижу, какая от них польза.

— Но ведь вы любите Бога? — спросил Никольсон, понижая голос. — Разве не в этом заключается ваша сила, так сказать? Судя по вашей записи и по тому, что я слышал от Эла Бабкока...

— Разумеется, я люблю Его. Но я люблю Его без всякой сентиментальности. Он ведь никогда не говорил, что надо любить сентиментально, — сказал Тедди. — Будь я Богом, я бы вовсе не хотел, чтобы меня любили сентиментальной любовью. Очень уж это ненадежно.

— А родителей своих вы любите?

— Да, конечно. Очень, — ответил Тедди. — Но, я чувствую, вы хотите, чтобы для меня это слово значило то же, что оно значит для вас.

— Допустим. Тогда скажите, что вы понимаете под этим словом?

Тедди задумался.

— Вы знаете, что такое «привязанность»? — обратился он к Никольсону.

— Имею некоторое представление, — суховато сказал тот.

— Я испытываю к ним сильную привязанность. Я хочу сказать, они ведь мои родители, значит, нас что-то объединяет, — сказал Тедди. — Мне бы хотелось, чтобы они весело прожили эту свою жизнь, потому что, я знаю, им самим этого хочется... А вот они любят меня и Пуппи, мою сестренку, совсем иначе. Я хочу сказать, они, как видно, не могут любить нас такими, какие мы есть. Они не могут любить нас без того, чтобы хоть чуточку нас не переделывать. Они любят не нас самих, а те представления, которые лежат в основе любви к детям, и чем дальше, тем больше. А это все-таки не та любовь. — Он опять повернулся к Никольсону, подавшись вперед. — Простите, вы не скажете, который час? — спросил он. — У меня в десять тридцать урок плавания.

— Вы не опоздаете, — сказал Никольсон, не глядя на часы. Потом отдернул обшлаг. — Сейчас только десять минут одиннадцатого.

— Благодарю вас, — сказал Тедди и сел поудобнее. — Мы можем побеседовать еще минут десять.

Никольсон опустил ногу на пол и раздавил окурок.

— Насколько я могу судить, — сказал он, откидываясь в шезлонге, — вы твердо придерживаетесь, в согласии с Ведами, теории перевоплощения.

— Да это не теория, это скорее...

— Хорошо-хорошо, — поспешил согласиться Никольсон. Он улыбнулся и слегка приподнял руки, словно шутливо благославляя Тедди. — Сейчас мы об этом спорить не будем. Дайте мне договорить, — он снова скрестил свои толстые ноги. — Насколько я понял, посредством медитаций вы получили некую информацию, которая убедила вас в том, что в своем последнем воплощении вы были индусом и жили в святости, но потом как будто сбились с Пути...

— Я не жил в святости, — поправил его Тедди. — Я был обычным человеком, просто неплохо развивался в духовном отношении.

— Ну ладно, пусть так, — сказал Никольсон. — Но сейчас вы якобы чувствуете, что в этом своем последнем воплощении вы как бы сбились с Пути перед окончательным Просветлением. Это правильно, или я...

— Правильно, — сказал Тедди. — Я встретил девушку и как-то отошел от медитаций. — Он снял руки с подлокотников и засунул под себя, словно хотел их согреть, — Но мне все равно пришлось бы переселиться в другую телесную оболочку и вернуться на землю, даже если бы я не встретился с этой девушкой, — я хочу сказать, что я не достиг такого духовного совершенства, чтобы после смерти остаться с Брахманом и уже никогда не возвращаться на землю. Другое дело, что не повстречай я эту девушку, и мне бы не надо было воплощаться в американского мальчика. Вы знаете, в Америке так трудно предаваться медитациям и жить духовной жизнью. Стоит только попробовать, как люди начинают считать тебя ненормальным. Например, папа видит во мне какого-то урода. Ну а мама... ей кажется, что зря я думаю все время о Боге. Она считает, что это вредно для здоровья.

Никольсон пристально смотрел на него.

— В своей последней записи вы, насколько я помню, сказали, что вам было шесть лет, когда вы впервые пережили мистическое откровение. Верно?

— Мне было шесть лет, когда я вдруг понял, что все вокруг — это Бог, и тут у меня волосы стали дыбом и все такое, — сказал Тедди. — Помню, это было воскресенье.

Моя сестренка, тогда еще совсем маленькая, пила молоко, и вдруг я понял, что она — Бог, и молоко — Бог, и все, что она делала, это переливала одного Бога в другого. Вы меня понимаете?

Никольсон молчал.

— А преодолевать конечномерность пространства я мог, еще когда мне было четыре года, — добавил Тедди. — Не все время, конечно, но довольно часто.

Никольсон кивнул.

— Могли, значит? — повторил он. — Довольно часто?

— Да, — подтвердил Тедди. — Об этом есть на той пленке... Или я рассказывал об этом в своей апрельской записи? Точно не помню.

Никольсон, не сводя глаз с Тедди, снова достал сигареты.

— Как же можно преодолеть конечномерность вещей? — спросил он со смешком. — То есть я что хочу сказать: к примеру, кусок дерева — это кусок дерева. У него есть длина, ширина...

— Нету. Тут вы ошибаетесь, — перебил его Тедди. — Людям только кажется, что вещи имеют границы. А их нет. Именно это я пытался объяснить профессору Питу. — Он поерзал в шезлонге, достал из кармана нечто, отдаленно напоминавшее носовой платок, — жалкий серый комочек — и высморкался. — Почему людям кажется, что все имеет границы? Да просто потому, что большинство людей не умеет смотреть на вещи иначе, — объяснил он. — А сами вещи тут ни при чем. — Он спрятал носовой платок и посмотрел на Никольсона. — Подымите на минутку руку, — попросил он его.

— Руку? Зачем?

— Ну подымите. На секундочку.

Никольсон слегка приподнял руку над подлокотником.

— Эту? — спросил он.

Тедди кивнул.

— Что это, по-вашему? — спросил он.

— То есть как — что? Это моя рука. Это рука.

— Откуда вы знаете? — сказал Тедди. — Вы знаете, что так называется рука, но как вы можете знать, что это и есть рука? Вы можете доказать, что это рука?

Никольсон вытащил из пачки сигарету и закурил.

— По-моему, это пахнет самой, что ни на есть отвратительной софистикой, да-да, — сказал он, пуская дым. — Помилуйте, это рука, потому что это рука. Она должна иметь название, чтобы ее не спутали с чем-то другим. Нельзя же взять да и...

— Вы пытаетесь рассуждать логически, — невозмутимо изрек Тедди.

— Как я пытаюсь рассуждать? — переспросил Никольсон, пожалуй, чересчур вежливо.

— Логически. Вы даете мне правильный осмысленный ответ, — сказал Тедди. — Я хотел помочь вам разобраться. Вы спросили, как мне удается преодолевать конечномерность пространства. Уж наверное не с помощью логики. От логики надо избавиться прежде всего.

Никольсон пальцем снял с языка табачную крошку.

— Вы Адама знаете? — спросил Тедди.

— Кого-кого?

— Адама. Из Библии.

Никольсон усмехнулся.

— Лично не знаю, — ответил он сухо.

Тедди помедлил.

— Да вы не сердитесь, — сказал он. — Вы ведь задали мне вопрос, и я...

— Бог мой, да не сержусь я на вас.

— Вот и хорошо, — сказал Тедди. Он поглубже устроился в шезлонге, по-прежнему глядя на Никольсона. — Помните, Адам съел в раю яблоко? Про это есть в Библии, — сказал он. — А знаете, что было в том яблоке? Логика. Логика и всякое знание. Больше там ничего не было. И вот что я вам скажу: главное — это чтобы человека стонило тем яблоком, если, конечно, он хочет увидеть вещи как они есть. Я хочу сказать, если оно выйдет из вас, вы сразу разберетесь с кусками дерева и все прочим. Вам больше не будут мерещиться в каждой вещи ее границы. И вы, если захотите, поймете наконец, что такое ваша рука. Вы меня слушаете? Я говорю понятно?

— Да, — коротко ответил Никольсон.

— Вся беда в том, — сказал Тедди, — что большинство людей не хотят видеть все вокруг как оно есть. Они даже не хотят перестать без конца рождаться и умирать. Им лишь бы переходить все время из одного тела в другое, вместо того, чтобы прекратить это и остаться вместе с Богом — там, где действительно хорошо. — Он задумался. — Удивительно, как все набрасываются на яблоки, — сказал он. И покачал головой.

В это время стюард, одетый во все белое, обходил отдыхающих; он остановился перед Тедди и Никольсоном и спросил, не желают ли они бульона на завтрак. Никольсон даже не отозвался. Тедди сказал: «Нет, благодарю вас», и стюард прошел дальше.

— Если не хотите, можете, конечно, не отвечать, — сказал Никольсон отрывисто и даже резковато. Он стряхнул пепел. — Правда или нет, что вы сообщили всей этой лейдеккеровской ученой братии — Уолтону, Питу, Ларсену, Сэмюэлсу и так далее, — где, когда и как они умрут? Правда это? Если хотите, можете не отвечать, но в Бостоне только об этом и говорят...

— Нет, это неправда, — решительно возразил Тедди. — Я сказал, где и когда именно им следует быть как можно осмотрительнее. И еще я сказал, что бы им стоило сделать... Но ничего подобного я не говорил. Не говорил я им, что во всем этом есть неизбежность. — Он опять достал носовой платок и высыпался. Никольсон ждал, глядя на него. — А профессору Питу я вообще ничего такого не говорил. Он ведь был единственный, кто не дурачился и не засыпал меня вопросами. Я только одно сказал профессору Питу: чтобы с января он больше не преподавал, больше ничего. — Откинувшись в шезлонге, Тедди помолчал. — Остальные же профессора чуть не силой вытянули из меня все это. Мы уже покончили с интервью и с записью, и было совсем поздно, а они все сидели и дымили и заигрывали со мной.

— Так вы не говорили Уолтону или тан Ларсену, где, когда и как их настигнет смерть? — настаивал Никольсон.

— Нет. Не говорил, — твердо ответил Тедди. — Я бы им вообще ничего такого не сказал, если бы они сами об этом все время не заговаривали. Первым начал профессор Уолтон. Он сказал, что ему хотелось бы знать, когда он умрет, потому что тогда он будет знать, за какую работу ему браться, а за какую нет, и как получше использовать оставшееся время, и все в таком духе. И тут они все стали спрашивать... Ну я им и сказал кое-что.

Никольсон молчал.

— Но про то, кто когда умрет, я не говорил, — продолжал Тедди. — Это совершенно ложные слухи... Я мог бы сказать им, но я знал, что в глубине души им этого знать не хотелось. Хотя они преподают религию и философию, все равно я знал, смерти они побаиваются. — Тедди помолчал, полулежа в шезлонге. — Так глупо, — сказал он. — Ты ведь просто бросаешь свое тело, и дело с концом... И всё. Тысячу раз все это проделывали. А если кто забыл, так это еще не значит, что этого не было. Так глупо.

— Допустим. Допустим, — сказал Никольсон. — Но факт остается фактом, как бы разумно...

— Так глупо, — повторил Тедди. — Мне, например, через пять минут идти на плавание. Я спущусь к бассейну,

а там, допустим, нет воды. Допустим, ее сегодня меняют. А дальше так: я подойду к краю, ну, просто глянуть, есть ли вода, а моя сестренка подкрадется сзади и подтолкнет меня. Голова пополам — мгновенная смерть. — Тедди взглянул на Никольсона. — Это вполне возможно, — сказал он. — Мой сестренке всего шесть лет, и она прожила человеком не очень много жизней, и к тому же она меня недолюбливает. Так что все возможно. Но разве это такая уж трагедия? Я хочу сказать, чего так бояться? Произойдет только то, что мне предназначено, вот и все, разве нет?

Никольсон хмыкнул.

— Для вас это, может быть, и не трагедия, — сказал он, — но ваши мама с папой были бы наверняка весьма опечалены. Об этом вы не подумали?

— Подумал, конечно, — ответил Тедди. — Но это от того, что у них на все уже заготовлены названия и чувства. — До сих пор он держал руки под коленками. А тут он оперся на подлокотники и посмотрел на Никольсона. — Вы ведь знаете Свена? Из гимнастического зала? — спросил Тедди. Он дождался, пока Никольсон утвердительно кивнул. — Так вот, если бы Свену приснилось сегодня, что его собака умерла, он бы очень-очень мучился во сне, потому что он ужасно любит свою собаку. А проснулся бы — и увидел, что все в порядке. И понял бы, что все это ему приснилось.

Никольсон кивнул.

— Что из этого следует?

— Из этого следует, что, если бы его собака и вправду умерла, было бы совершенно то же самое. Только он не понял бы этого. Он бы не проснулся, пока сам не умер, вот что я хочу сказать.

Никольсон в задумчивости медленно потирал правой рукой затылок. Его левая рука — с очередной, незажженной сигаретой — неподвижно лежала на подлокотнике и казалась странно белой и неживой в ярком солнечном свете.

Внезапно Тедди поднялся.

— Извините, но мне в самом деле пора, — сказал он. Присев на подставку для ног против Никольсона, он заставил тенниску в шорты. — У меня осталось, наверное, минуты полторы до бассейна, — сказал он. — А это в самом низу, на палубе Е.

— Могу я вас спросить, почему вы посоветовали профессору Питу оставить преподавание после Нового года? — спросил вдруг Никольсон довольно невпопад. — Я хорошо знаю Боба. Поэтому и спрашиваю.

Тедди затянул ремень из крокодиловой кожи.

— Да потому что в нем сильно развито духовное начало, а эти лекции, которые он читает, только мешают настоящему духовному росту. Они выводят его из равновесия. Ему пора выбросить все из головы, а не продолжать забивать ее. Стоит ему только захотеть, и он бы мог почти совсем вытравить из себя яблоко еще в этой жизни. Он очень преуспел в медитации. — Тедди встал. — Правда мне пора. Не хочется опаздывать.

Никольсон пристально посмотрел на него, словно хотел удержать его своим взглядом.

— Что бы вам хотелось изменить в нашей системе образования? — спросил он несколько туманно. — Не задумывались над этим?

— Мне правда пора, — сказал Тедди.

— Ну, последний вопрос, — настаивал Никольсон. — Педагогика — это, так сказать, мое кровное дело. Я ведь преподаю. Потому и спрашиваю.

— Ммм... даже не знаю, что бы я сделал, — сказал Тедди. — Знаю только, что я не стал бы начинать с того, с чего обычно начинают в школах. — Он скрестил руки и задумался. — Пожалуй, я прежде всего собрал бы всех детей и обучил их медитации. Я постарался бы научить их, как разобраться в том, кто они такие, а не просто знать свои имена и так далее... Но сначала я бы, наверно, помог им избавиться от всего, что внущили им родители и все окружающие. Даже если родители успели внушить им только то, что слон большой, я бы заставил их и это забыть. Ведь слон большой только рядом с кем-то — например, с собакой или с женщиной. — Тедди остановился и подумал. — Я бы даже не стал им говорить, что у слона есть хобот. Просто покажу им слона, если тот окажется под рукой, и пусть они подойдут к слону, зная о нем не больше того, что слон знает о них. То же самое с травой и всем остальным. Я бы даже не стал им говорить, что трава зеленая. Цвет — это всего лишь название. Сказать им, что трава зеленая, — значит подготовить их к тому, что она непременно такая, какой вы ее видите, и никакая другая. Но ведь их трава может оказаться ничуть не хуже вашей, может быть, куда лучше... Не знаю. Я бы сделал так, чтобы их стопнило тем яблоком, каждым кусочком, который они откусили по настоянию родителей и всех вокруг.

— А вы не боитесь воспитать целое поколение маленьких незнаек?

— Отчего же? Они будут не большими незнайками, чем, скажем, слон. Или птица. Или дерево, — возразил

Тедди. — Быть кем-то, а не казаться кем-то еще не значит, что ты незнайка.

— Нет?

— Нет! — сказал Тедди. — И потом, если им захочется все это выучить — про цвета и названия и все прочее, — пусть себе учат, если так хочется, только позже, когда подрастут. А начал бы я с ними с того, как же все-таки правильно смотреть на вещи, а не так, как смотрят все эти любители яблок. Понимаете? — Он подошел вплотную к Никольсону и протянул ему руку. — А сейчас мне пора. Честное слово. Рад был...

— Сейчас-сейчас. Присядьте на минутку, — сказал Никольсон. — Вы не думаете заняться наукой, когда подрастете? Медициной или еще чем-нибудь? С вашим умом, мне кажется, вы могли бы...

Тедди ответил, хотя садиться не стал.

— Думал когда-то, года два назад, — сказал он. — И с докторами разными разговаривал. — Он тряхнул головой. — Нет, что-то не хочется. Эти доктора все такие поверхностные. У них на уме одни клетки и все в таком духе.

— Вот как? Вы не придаете значения клеточной структуре?

— Придаю, конечно. Только доктора говорят о клетках так, словно эти клетки сами по себе невесть что. Словно они существуют отдельно от человека. — Тедди откинулся рукой волосы со лба. — Свое тело я вырастил сам, — сказал он. — Никто за меня этого не сделал. А раз так, значит, я должен был знать, как его растить. По крайней мере бессознательно. Может быть, за последние какие-нибудь сотни тысяч лет я разучился осознавать, как это делается, но ведь само-то знание существует, иначе как бы я им пользовался? Надо очень долго заниматься медитацией и полностью очиститься, чтобы все вернуть, — я говорю о сознательном понимании — но при желании это осуществимо. Надо только раскрыться пошире.

Вдруг он нагнулся и взял правую руку Никольсона с подлокотника. Дружески встряхнув ее, Тедди сказал:

— Прощайте. Мне пора.

И он так быстро пошел по проходу, что на этот раз Никольсону не удалось его задержать.

Несколько минут после его ухода Никольсон сидел неподвижно, опершись на подлокотники и все еще держа несожженную сигарету в левой руке. Потом вдруг рассеянно поднес правую руку к вороту рубашки, словно не был уверен, расстегнут ли он. Затем прикурил сигарету и снова застыл.

Он докурил сигарету до конца, резким движением опустил ногу на пол, затоптал сигарету, поднялся и торопливо пошел по проходу.

По трапу в носовой части он еще поспешнее спустился на прогулочную палубу. И без промедления устремился дальше вниз, все так же быстро, на главную палубу. Затем на палубу А. Затем на палубу В. На палубу С. На палубу Д.

Здесь трап кончался, и какое-то мгновение Никольсон стоял в растерянности, не зная, как ему быть дальше. Но тут он увидел того, кто мог указать ему дорогу. Посреди перехода, неподалеку от камбуза, сидела на стуле стюардесса; она курила и читала журнал. Никольсон подошел к ней, коротко спросил о чем-то, поблагодарил, затем прошел еще несколько метров в сторону носовой части и толкнул тяжелую, окованную железом дверь, на которой было написано: «К бассейну». За дверью оказался узкий, ничем не застеленный трап.

Он уже почти спустился с трапа, как вдруг услышал долгий пронзительный крик — так могла кричать только маленькая девочка. Он все звучал и звучал, будто метался меж кафельных стен.

СОДЕРЖАНИЕ

НАД ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ. Повесть. Перевод Р. Райт-Ковалевой	3
ВЫШЕ СТРОПИЛА, ПЛОТНИКИ. Повесть. Перевод Р. Райт-Ковалевой	162
ФРЭННИ. Повесть. Перевод Р. Райт-Ковалевой	215

РАССКАЗЫ

Грустный мотив. Перевод И. Бернштейн	240
Хорошо ловится рыбка-бананка. Перевод Р. Райт-Ковалевой	259
Лапа-растяпа. Перевод Р. Райт-Ковалевой	271
Перед самой войной с эскимосами. Перевод С. Митиной	285
Человек, который смеялся. Перевод Р. Райт-Ковалевой	298
В лодке. Перевод Н. Галь	311
Дорогой Эсме с любовью — и мерзопакостью. Перевод С. Митиной	320
И эти губы, и глаза зеленые... Перевод Н. Галь	341
Голубой период де Домье-Смита. Перевод Р. Райт Ковалевой	351
Тедди. Перевод С. Таска	376

Джером Дэвид Сэлинджер

НАД ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ

Повести и рассказы

Редактор В. Вещунов

Младший редактор И. Дробышева

Художник А. Пикула

Художественный редактор С. Черкасов

Технический редактор В. Мошкина

Корректоры Л. Кондратюк, О. Костенко

ИБ 709

Литературно-художественное издание. Сдано в набор 01.06.88. Подписано в цехать 31.01.89. Формат 84x108^{1/32}. Бум. тип. № 2. Усл. печ. л. 21. Усл. кр.-отт. 31. Уч.-изд. л. 24,8. Печать высокая. Гарнитура Литературная. Тираж 120 000 экз. (1—60 000 экз., 1-й завод). Цена 2 руб. 90 коп. Заказ 575. Дальневосточное книжное издательство, 690091, Владивосток, ул. Ленинская, 43. Типография № 1 Управления издательства, полиграфии и книжной торговли, 680620, Хабаровск, ул. Серышева, 31.

